



“Не знаю, будут ли кому интересны мои записи, но выбросить их не поднимается рука. Ведь в них фактически моя жизнь, много пережитого, выстраданного, память о встречах, поездках, житейские истории, разговоры, замыслы – всё о нашей любимой России. Тут заметки начала 60-х и есть сделанные только что. Думал, как назвать? Это же не что-то цельное, это практически груда бумаг: листки блокнотов, почеркушки, клочки газет, салфетки, программки. Да и груда не очень капитальная, много утрачено в переездах, в пожарах (у меня рукописи горят). Всякие просились названия: “Куча мала”, “Отрывки из обрывков”, “Конспекты ненаписанного”, “Записи на бегу”. Называл и “Жертва вечерняя”, и “Время плодов”, то есть как бы делал отчёт, подбивал итоги. Хотя, перед кем и в чём? И кому это нужно? Детям? У них своя жизнь. Внукам? Тем более. Всё-таки печатаю и надеюсь, что найдётся родная душа, которой дорого то, что дорого и моей душе. Вообще, просилось название “Крупинки”: и маленькие и фамилия такая. А потом думал, да не всё ли равно, лишь бы прочли, и мне бы от того стало повеселее. Читать можно с любой страницы”.

В следующих номерах журнала читайте камерную прозу нашего постоянного и горячо любимого автора — Владимира Николаевича Крупина, писателя из легендарной плеяды “деревенщиков” — Белова, Астафьева, Распутина, Абрамова, Екимова, Шукшина. Для ценителей этого направления русской литературы — поистине читательское лакомство!

НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№6 2020

90 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова



Исполнилось 90 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова. Известность принесли ему многочисленные живописные работы, составляющие яркую художественную летопись досоветской, советской и постсоветской истории нашей страны.

Уроженец Ленинграда, выживший в блокаду, окончивший художественную мастерскую Бориса Иогансона, он начал с картин, посвящённых родному городу, воплощая тревожную и таинственную атмосферу его улиц, переулков и дворов, с работ на темы романов Достоевского и пришёл к многофигурным полотнам “Мистерия XX века”, “Вечная Россия”, “Разгром храма в Пасхальную ночь”, “Великий эксперимент”, “Рынок нашей демократии”.

Он был фактическим создателем клуба “Родина”, стоял у истоков воссоздания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Во многом благодаря ему в конце 1970-х годов был отменён генеральный план реконструкции Москвы, грозивший полным разрушением большей части исторических памятников. Он организовал Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, а также Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.

Он вошёл в историю живописи XX столетия как своими портретами, так и своими плакатными работами в жанре “китча”, несправедливо третируемыми при его жизни многими коллегами. Так или иначе, его имя осталось в ряду таких художников, как Михаил Врубель, Михаил Нестеров, Виктор Васнецов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Павел Корин.

Не вдаваясь в подробные идейно-эстетические оценки творчества юбиляра, отметим особо талант Глазунова-публициста. Не всегда и не во всём соглашаясь с ним, убеждённым монархистом, мы разделяем его ключевую жизненную позицию: “Русский тот, кто любит Россию!” И не случайно именно “Наш современник” опубликовал первую часть большой книги-исповеди художника “Россия распятая”.

110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского



В 1960 году отмечался 50-летний юбилей Александра Твардовского. Ожидалось, что он получит звание Героя Социалистического Труда, но получил орден Ленина, и, как гласит легенда, кто-то сказал: “Вёл бы себя осмотрительнее, получил бы Героя”, на что Твардовский ответил: “Вот уж не думал, что Героя дают за трусость!”

С той поры прошло 60 лет, но имя Александра Трифоновича Твардовского до сих пор почитаемо русскими людьми, причём самой разной идеологической направленности.

После смерти Сталина Твардовский писал:

*Когда бы мы отдать ему могли
своё биенье сердца и дыханье,
мы, как один, к нему бы в Кремль пришли,
преодолев любые расстоянья.*

Впоследствии лауреат трёх Сталинских премий за поэмы “Страна Муравия” (1941), “Василий Тёркин” (1946) и “Дом у дороги” (1947), кавалер трёх орденов Ленина Твардовский, возглавив “Новый мир”, повёл его в либеральном направлении и под влиянием своего окружения боролся против неосталинистов.

Но мы теперь помним не идеологические пристрастия и повороты Александра Трифоновича, а его замечательные стихи и, прежде всего, поэму “Василий Тёркин” как одно из самых выдающихся произведений о Великой Отечественной войне, 75-летие которой мы отметили и продолжаем отмечать в этом году.



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Проза

- Роман СЕНЧИН
Обратный путь. Повесть 6
- Александр ПРОХАНОВ
Таблица Агеева. Роман 42
- Михаил ТАРКОВСКИЙ
42-й до востребования.
Отрывки из книги 109
- Владимир ЧУГУНОВ
Долгожители. Рассказ 131

Поэзия

- Николай АЛЕШКОВ
Мы родились под салютом
Победы 3
- Евгений ЮШИН
Красная дорога 34
- Николай КОНОВСКОЙ
Веку вопреки 39
- Евгений СТЕПАНОВ
По законам любви 106
- Валентин СОРОКИН
Есть тайна и уют... 125
- Александр ПОШЕХОНОВ
И только небо – без границ.... 128
- Виктор ПАСТУХОВ
Русская тетрадь 140

Очерк и публицистика

- Геннадий ЗЮГАНОВ
Русский стержень державы 143
- Елена ЛАРИНА,
Владимир ОВЧИНСКИЙ
Пандемия и мобилизация 171
- Сергей ШАРГУНОВ
Стоны страны 175
- Валентин ОСИПОВ
Опасно: конъюнктуришки! 179
- Василий ЛИТОВЧЕНКО
Воспоминания 189
- Светлана ЗАМЛЕЛОВА
Сознание и бытие 211

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
*первый заместитель
главного редактора* —
(495) 625-01-81

С. С. Куняев —
*заместитель главного
редактора,
зав. отделом критики* —
(495) 625-02-81
ns-kritika@yandex.ru

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

Я. В. Сафронова —
*редактор по связям
с общественностью* —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Сергей ДМИТРИЕВ
Пушкин и болдинский карантин.
*Советы поэта во время
эпидемии 1830 года* 216

Критика

Борис КУРКИН
Тема чуда
в трагедии А. С. Пушкина
“Борис Годунов” 236

Александр РАЗУМИХИН
“Я числюсь по России...” 247

Эдуард АНАШКИН
Тревожное небо Сибири 271

В конце номера

Станислав КУНЯЕВ
“Слово читателя”, или
История одной публикации 274

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: www.nash-sovremennik.ru, эл. почта: n-sovrem@yandex.ru

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.
При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова
Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 05.06.2020. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ №0102-2020. Тираж 4000 экз.

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.
Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

НИКОЛАЙ АЛЕШКОВ



МЫ РОДИЛИСЬ ПОД САЛЮТОМ ПОБЕДЫ

МОИМ ОДНОГОДКАМ

Мы не ползли под обстрелом
По хуторам обгорелым,
Не коченели от стуж,
Мёрзлую землю не рыли,
Каской в походах не пили
Ржавую воду из луж.

Нас не пытали в гестапо
И не везли по этапу
В рейх из российской глуши.
Что ж так остра в наших генах
Память о бедах военных —
Горькая ноша души?

АЛЕШКОВ Николай Петрович родился в селе Орловка Челнинского района ТАССР в 1945 году. Работал монтёром связи, электриком, кровельщиком, диспетчером домостроительного комбината. После службы в армии работал корреспондентом газеты Московского округа ПВО "На боевом посту" (г. Москва). Был редактором набережночелнинской городской газеты "Время", а также редактором межрегиональной литературной газеты "Звезда полей". В 1982 году окончил Литературный институт им. М. Горького (семинар Н. Н. Сидоренко). В 1984 году принят в Союз писателей СССР. Автор множества поэтических книг, изданных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Набережных Челнах. В настоящее время — главный редактор литературного журнала "Аргамак. Татарстан". Лауреат нескольких литературных премий. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан.

Мы из военного теста.
Боль Сталинграда и Бреста
Спрятана в нашей крови.
Мы из родительской боли
Вырвались, как из неволи.
Родина, благослови!

Родина благословила.
Света с избытком хватило.
Всё засияло кругом.
Мы родились под салютом
Трудной победы над лютым
И ненавистным врагом.

Небо нам с вами досталось
Мирное, но оказалось —
Мы в промежутке живём.
Дети ползут под обстрелом,
Дети встают под прицелом
Над обгорелым жнивьём...

НАДЬКА

Рос бедовым, не пугливым,
на реку чуть свет бежал.
Там, в низине под обрывом,
до июня снег лежал.

Если прыгну в снег с обрыва,
“Подвиг!” скажут пацаны.
Надька лыбится игриво:
все веснушки мне видны.

— Не вчера ль Серёжка Спрыгин
поборол тебя при всех?
Вот зараза! Как не прыгнуть?
Не стерплю я Надькин смех...

Разбегаюсь. А Валерка
без разбега — камнем вниз.
Тоже Надькина проверка
или собственный каприз?

Так иль нет — герои оба.
Смелость негде взять взаймы.
В грязной мякоти сугроба
оказались рядом мы.

Ноги целы, руки тоже.
А в свидетелях друзья.
Поборол меня Серёжа,
но с обрыва прыгнул я.

Что Валерка? Мы не пара.
На два года старше он.
Несчетово! Без базара —
я сегодня чемпион.

Мы с Валеркой даже в омут
прыгнем. Надьку не пойму.
Надька как-то по-другому
улыбается ему...

МАЛЬЧИШНИК

Хлеба горбушку и сала шматок
С кружкой холодного кваса —
Лучшей еды и не будет, браток,
Вплоть до последнего часа.
Кто-то добавит зелёный лучок
И огурец малосольный
Рядом с картошкой. Про водку — молчок
В нашей беседе застольной.
Лучше не дома, а возле реки,
Ласточки чтобы кружили.
Али не русские мы мужики,
Али друг другу чужие?
Песню старинную вспомним — споём.
Годы, как быстрые реки.
Вовсе не страшно, что скоро уйдём
Все — друг за дружкой — навеки.
Витька да Сашка, да тёзка — Колян,
Васька, приехавший в гости.
Песня не ладится? Бросьте баян!
Просто обнимемся — бросьте...
Детство ли вспомним: герань у окна,
Складки отцовской шинели.
Послевоенная рвань и шпана,
Что же вы так поседели?
Живы покуда. И память остра
Вплоть до последнего часа.
Ну-ка, старшой, разливай у костра
Из фронтového запаса...

* * *

Виктору Суворову

Вот и мы постарели, мой друг, но не будем о грустном.
Для самих-то себя мы давно ничего не хотим,
Лишь бы вновь увидеть — журавли пролетели над Русью.
Только где она, Русь? Мы в сердцах её молча храним.

Нам с тобою, наверно, счастливое детство досталось.
После самой свирепой и самой великой войны
Из окопов промёрзших сквозь боль, и тоску, и усталость
Возвратились отцы, чтобы мы появились, сыны.

И когда мы вдвоём держим путь к православному храму —
Помолиться за них и поставить к распятой свече
За ушедших любимых и — каждый — конечно, за маму,
Вдруг заплачет душа: “Я от них уходить не хочу!”

Не спеша за столом поминальные чарки наполним.
Впереди и у нас предназначенный Господом срок.
А рождественский снег всё летит на житейское поле.
Мы идём по нему — горизонт... как небесный порог...

.....
*Коллектив редакции сердечно поздравляет
нашего постоянного автора и друга с 75-летием!*

РОМАН СЕНЧИН



ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

ПОВЕСТЬ

1

Дембельский поезд ползёт сквозь чёрные еловые леса, мимо покрытых синим льдом озёр. Снег с них постоянно сдувает, и так стрёмно гонять на “Буранах” по этому льду во время сработок.

Поезд останавливается на каждой станции.

Названия пока нерусские, смешные и пугающие, как слова из заклинаний мухоморной колдуньи, — Куокканиэми, Хухоямяки, Яккима, Ихала, Элисенваара, Хийтола... Но когда-нибудь в окне появится родное: Приозёрск, следом Девяткино, а там... Не надо пока об этом... лучше не думать...

Дембелей мало, ведут себя более-менее — изо всех сил держатся, но всё равно заметней всех. То и дело вскакивают с сидений, идут курить, стуча подбитыми сапогами, бряцая знаками. Говорить шёпотом просто не могут, сами собой рвутся восклицания, строки песен.

— Покидают карельские края // молодцы-погранцы дембеля!..

— А нас ждут девушки, бульвары и кино!..

— Наутро встану, головушка болит, // и ничего не сделает товарищ замполит!..

Пассажиры понимающе молчат: случайные люди в таких — медленных, межобластных — поездах редки. А эти навидались и оглушённых страхом неизвестности призывников, и едущих в отпуск, и тех, кто оттрубил свои два

СЕНЧИН Роман Валерьевич родился в 1971 году в городе Кызыле Тувинской АССР. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор нескольких книг прозы и публицистики. Лауреат премий “Ясная Поляна”, Правительства России, “Большая книга” и др. Публикуется в “Нашем современнике” с 1998 года. Живёт в Екатеринбурге.

года и сейчас сходит с ума от нетерпения выскочить на перрон Финляндского вокзала свободным человеком.

Нет, до свободы ещё далеко. Военники у сопровождающего — молодого лейтёхи, — а он сразу, только расположились, куда-то исчез. Бойтся, наверно, что сейчас напьются солдаты и от души, за всё, что было, что делали с ними шакалы, отоварят.

Да не отоварят. Его даже жалко. Вот через каких-нибудь два часа перед ними откроется огромный, яркий, фантастический мир — гражданка. А он вернётся в отряд и будет там гнить.

Но слишком вольно высказывать на перрон рискованно. Все последние месяцы дембеля рассказывали друг другу, как на вокзале дежурят патрули и хватают пьяных или расхристанных и отправляют на губу. Окружную, лютую.

Точных сведений об этом нет — дембельнувшиеся раньше исчезают, словно их на самом деле и не было никогда, — может, это вообще солдатские байки, страшилки, но помнить об опасности надо.

Поэтому Женька Колосов — для пацанов Джон, Жэка, Кол — и не налегает на портвейн. Делает глоток и ставит стакан под стол, на бортик обогревателя. Обогреватель чуть тёплый, в вагоне прохладно, но ему в шинели нормально. Да и осталось ехать уже...

Их в отсеке плацкарты шестеро. Билеты сидячие. Один боец, Дания, сразу, как только загрузились в Сортавале, залез на вторую полку, отвернулся к стене. Может, спит, может, просто ждёт. Остальные пятеро облепили стол. Познакомились вчера днём, когда оформляли бумаги в отряде, сдавали обмундирование, получали деньги.

С некоторыми Женька где-то когда-то встречался, но не помнит подробностей. Служба нормального погранца такая: четыре месяца или полгода — кому когда повезло призваться — учебка, а потом полтора года на заставе. Если не заболел настолько серьёзно, что нужно в госпиталь, если не выслужил отпуск, если не умер близкий родственник, то все эти полтора года ты можешь торчать на одном клочке земли, выполняя одни и те же дела, видя одних и тех же людей. Хлебовозка — событие, переброситься словом с кем-то из жён офицеров или прапора — любовная интрижка, пополнение — начало новой эры.

Женька провёл на заставе девятнадцать с половиной месяцев с единственным — десятидневным — перерывом. Заболел вдруг ветрянкой и был отправлен в госпиталь в Сортавале. Эти десять дней, особенно первые четыре, когда находился совершенно один, еду подавали, будто в тюремной камере, через окошечко в двери, — вспоминаются как самые лучшие за время службы. Может — счастливые.

Спал сколько хотел, читал книгу за книгой — санитары приносили из библиотеки, даже стихи сочинял. Точнее, тексты песен. Неудачные, правда, потом выкинул...

— Эх-х-х! — протяжно и крепко, словно излишек силы, выдохнул Балтон, хлопнул ладонями по коленям. — Когда ж доползёт?..

— Не думай, отвлекись, — советует Гурьч.

— Легко сказать...

Балтон здоровяк, сразу видно, что много времени проторчал в качалке. Он в забанном по всем правилам, и даже с перебором, дембельском наряде, с гирляндой аксельбантов, выгнутых из-за вшитого внутрь винила, с парадными погонами на перекроенном, чтоб тельник видно было до груди, камуфляже, с обработанным бритвочкой шевроном, фура с обрезанным козырьком и вздыбленной почти вертикально тульей; на ногах — укороченные и отутюженные кирзачи... Балтона Женька помнил по учебке — сталкивался в столовой, в курилке, на плацу. Тогдшний Балтон выглядел щуплым, бестолковым, затюканным. Да и Женька наверняка был таким же.

Потап раза два-три оказывался за рулём хлебовозки, доставлявшей на заставу не только хлеб, но и всю остальную жратву. А главное — новости из большого мира...

Остальных же — Дано, Гурыча, Ваку — он если и видел где, то мельком. Не выделил, не отметил. Как и они его.

— Чо, допили? — Вака потянул с пола бутылку. — Плескаю. Кому?

Удалось кушить у проводницы три пузыря “Тарибана”. Выложили за каждый семьдесят рублей — охренели, но деваться некуда... Бутылки шершавые, этикетки истлевшие, на дне — беловатый осадок. Сколько лет этому “Тарибану”?

Лезет туго, хуже одеколону — глотаешь, и сладкая, вязкая капитонка медленно спускается в живот. И лежит, не растекаясь. Лишь потом, постепенно, впитывается во внутренности, несёт в голову волну липкого тумана. Во что превратится этот туман, когда начнётся похмелье, лучше не думать.

— Ну, — Балтон поднимает стакан, — за гражданку, чуваки!

— Тише, — просит осторожный Потап. — Ментов не хватало.

— Да откуда?

— Менты везде есть. Особенно там, где мы...

— Что ж, мудро... Давайте.

Сдвигают стаканы. Громко, преодолевая тошнотные спазмы, вгоняют в себя.

— Что там у нас? — Вака отодвигает шторку.

За окном непроглядная тьма, хотя на часах всего-то начало седьмого. Ну а что? Карелия, шестнадцатое декабря. Они — одна из последних партий в этом году. По заставам и отрядам Северо-западного округа остались самые-самые раздолбай и залётчики. А гнутики дома уже почти два месяца...

Впрочем, некоторым из гнутиков не повезло — на их заставу вернули самого раннего, Паху. Так он хорошо служил, таким был исполнительным. Отпустили на дембель при первой возможности — дней через пять буквально после приказа. А на следующее утро Паха вернулся.

Оказалось, лично командир отряда, полкан Шейбин, первых дембелей осматривал. Ну, и докапывался до каждой мелочи. Обнаружил что-то неуставное у Пахи и отправил дослуживать. И недели две — долгие две недели после такого облома — Паха кис на заставе. Да нет, не кис, конечно, а ходил в наряды, бегал по сработкам, морозился, жрал перляк, наматывал портосы.

А теперь офицерью уже пофиг — вон каких отпускают расписных, типа Балтона. Гусар прямо.

— У меня одноклассник третий киоск открыл, — как раз хвалится, — башли гребёт. Всем всё надо, а у него — есть. Везёт и из Польши, из Италии куртки, из Китая прямые поставки. К себе зовёт. Пойду, блин. А что?

— Да ясен перец. Сейчас самое время деньги стричь, — кивает Гурыч. — Я тоже искать буду ходы.

— А мой батя “КамАЗ” прити... приватизировал, — сообщил Потап. — Дальнобоём с ним займёмся. Армии спасибо — права на грузовик получил.

Гурыч нахмурился:

— А что это за приватизация?

— Ну, можно выкупить машину там, гараж государственный... Ну, вот батя и решил. АТП всё равно разваливается.

— Отберут.

— Кто отберёт? Деньги заплачены.

— Государству твои деньги...

— А, — Балтон поморщился, — где оно уже, государство это... Джон, а ты как? Какие перспективы?

Все они из Питера или области, кроме Женьки. Да и Женька формально питерский — призван Невским военкоматом. Но в Питер он приехал за полтора года до армии. Учиться на мозаичника. Когда приехал, оказалось — места мозаичников все заняты, есть на штукатуров-облицовщиков-плиточников. Пошёл туда. Через несколько месяцев переехал из общаги — снял комнату на другом конце города, училище стал посещать реже и реже. На втором курсе, буквально через неделю после дня рождения, его прихватили из военкомата...

— Может, в путягу вернусь, доучусь, а нет, — он пожал плечами. — Не знаю. Домой, наверно. Тем более проездной дотуда выписан.

- А откуда ты?
- Из Пригорска.
- Эт где это?
- В Хакасии.
- Сибирь?
- Ну да...
- Далеко.

2

Домой не хотелось. За эти три с лишним года родина, квартира их, родители, сёстры стали как бы и не совсем реальными. Он писал туда письма, получал ответы, иногда — когда жил в Питере — вызывал их на переговоры через соседей, у которых был телефон, потом, когда служил, им удавалось дозвониться до него, и, под взглядами офицеров в канцелярии, он бубнил: “Всё нормально... Служу... Питаюсь нормально...” А потом, стоило положить трубку, начальник заставы или замполит выговаривали: “Не “нормально”, Колосов, не “нормально”, а отлично. Отлично!”

После восьмого класса он ушёл из школы, никуда не стал поступать. Подрабатывал, шабашил — несмотря на возраст, был крепким, — и, подкопив денег, в конце августа восемьдесят восьмого, получив ответ из ПТУ № 98, уехал в Ленинград.

Уехал почти тайно. В последний момент сказал, что едет учиться на мозаичника, деньги есть, уже и билет куплен на поезд... Мама бессильно покачала головой, отец, уставший после смены, закричал, сёстры были маленькие, мало что соображали. В общем, никто его не стал спрашивать, зачем, почему. Ведь есть же недалеко — в Абакане, например, — свои училища.

А если бы стали, что бы он ответил? Зачем именно в Ленинград? Тогда он не мог себе объяснить. Как-то сошлось для него — передачи про дворцы и каналы, та музыка, которая оказалась его, которую хотелось слушать постоянно, ощущение, что там — его настоящая родина... Это бы он не мог тогда объяснить семье — сам не понимал, но чувствовал. Уже в поезде, на третьей сутки лежания на верхней полке, понял: хочется красоты. За ней поехал.

ПТУ находилось, по сути, за городом. На самой-самой его окраине. Женька добирался туда от метро на автобусе и с каждой минутой разочаровывался, падал духом всё сильнее — вот остались позади старинные здания, вот переехали Неву, вот появились панельки, из каких состоит их Пригорск. Но кончились и панельки, а автобус всё ехал. Уже по пустырю. И за этим пустырём стояли две пятиэтажки. Как оказалось — общежития.

Потом Женька узнал, что там два училища, две общаги рядом, и между ними идёт война с каких-то незапамятных времён... Училища были за общагами, — дальше пустое то ли поле, то ли болото. А слева — с десяток угонных, кривых, но обитаемых избушек.

Порядки в путяге оказались почти армейскими — в десять часов вечера дверь общежития запирается, и опоздавший может спать на улице; девушки на одном этаже, парни на другом, и этажи на ночь перекрываются; у каждой группы учащихся есть воспитатель (прямо как в детском садике), и слушаться его нужно беспрекословно; прогулы, даже опоздания на занятия будут учитываться во время будущей работы — много опозданий, а тем более прогулов, — зарплата ниже. А главное — перед началом учёбы им дали подписать документ, что на протяжении трёх лет после окончания ПТУ они будут обязаны отработать на том предприятии, куда их пошлют. Иначе... Пугали даже уголовкой.

Тогда, помнится, Женьку это оскорбило — крепостное право какое-то, а теперь он надеялся на роспись в той бумаге. Не зря же страна тратилась на него полтора года. Легче доучить, и пусть работает на благо города...

Зря он съехал из общаги. Сейчас она представляется вполне пригодной для жизни. По сравнению с казармой в отряде и кубриками на заставе. Но в те месяцы Женька просто мучился. Комната ещё ничего — на четырёх человек, тумбочки, стол у окна, шкаф возле двери, — а вот умывалка,

туалет, душ... Они мало отличались от того, с чем потом он столкнулся в армии. Хотя подъём был шадящий, не подрывались все разом и не бежали мочиться по трое в один унитаз, не толкались у раковин...

Да, зря съехал, снял комнату. Учиться после этого совсем расхотелось. Да и ездить далеко — с Васьки до Народной. Реально через весь город с запада на юго-восток. Линия метро прямая, но до станций и там, и там пелёхаться... На Ваське полчаса минимум, а с “Ломоносовской” до путяги пешком около часа.

Женька усмехнулся: поймал себя на том, что, сожалея, вспоминает этот путь с удовольствием, и подумалось, услышь тогда, в военкомате, когда согнулся перед столом, готовясь поставить подпись в военном билете и тем самым уже наверняка признать себя призванным: “Выбирай, или оставшиеся полтора года ни одного прогула, ни одного опоздания, или забираем на два года”, — он бы, конечно, выбрал “ни одного прогула и опоздания”. А смог бы выполнить? Да вряд ли. Вряд ли...

До армии он был совой — ложился поздно, вставал всегда через силу, под крики сначала родителей, потом, в общежитии, воспитателя. Когда снял комнату, будить стало некому, и он мог проспять часов до десяти. Какое уж тут училище... Да и не хотелось учиться — не видел смысла.

Нравилась только уроки архитектуры. Вел их... Женька напрягся, но ни имени, ни отчества преподавателя вспомнить не мог. Зато самого видел памятью отлично, слышал его голос, мягкий, увлекающий, но в то же время грустный. Словно бы преподаватель, сам любивший свой предмет больше всего на свете, пытавшийся передать эту любовь им, сидящим за партами, в то же время не верит, что получится, что они вообще слышат его.

Так оно, в общем-то, и было. Пятнадцатилетние ребята не шумели, сидели тихо, даже другими делами не особенно открыто занимались. Но в их глазах было полнейшее безразличие. Обречённость на то, что в этом процессе создания построек — хоть обычных хрущёб, хоть дворцов — им отведена будет роль самая низовая. Ну, не самая, но сразу после землекопов и каменщиков. Они, если окажутся на стройке, станут штукатурить стены и потолки, облицовывать, в лучшем случае — класть плитку.

Правда, ещё во время зачисления директор объявил, что лучших выпускников рекомендуют в строительные и архитектурные институты, но этому, кажется, никто не придавал значения...

Особенно мучительно было для этого препода общение с учениками. “Сарвин, расскажите нам, пожалуйста, что такое пилястры”, — предлагал он как-то давясь, заранее зная, что ничего толкового Сарвин ему не ответит. И Сарвин не отвечал — мычал, мекал, чесался.

Чаще всего преподаватель архитектуры просто говорил: “Сарвин, — или Ухов, или Потапова, или Голобородько, или Мухтабаев, или Колосов (подавшись общему безразличию, и он, хоть и был старше остальных на год-полтора, быстро стал пропускать рассказы препода мимо ушей, ничего не записывая), — садитесь”. Но иногда не выдерживал: “Ребята, это в школу вас загнали насильно. Хочешь не хочешь, а приходилось ходить. Но ведь сюда же вы пришли сами, сознательно. Значит, вы стремитесь узнать, как строят здания, стремитесь научиться, обрести профессию, наконец. Почему же вы такие равнодушные? Почему, ребята?”

Большинство смотрело на препода тупым взглядом, самые совестливые отводили глаза или утыкались в столешницы своих парт.

3

— О, блин, Девяткино! — подскочил Балтон, дёрнул шторку вбок, и штёр, на котором она висела, вылетел из дырки в стене; вставлять не стали, положили штёр и шторы на стол.

В натуре, поезд проплывает мимо платформы, явно сбавляя скорость. Вот и указатель с заветным словом “Девяткино”.

— Девяткино, — шепчет мечтательно на своей полке Даня. — Дома, дома почти...

Да, это уже Питер. Здания — высокие, новые — далеко, за пустырем, — но всё равно уже город. Здесь метро. Построили, наверно, с запасом, предполагая, что микрорайоны дойдут досюда в ближайшее время... Можно выскочить из поезда и сесть в метро. И услышать голос из динамика: “Следующая станция — “Гражданский проспект””.

А там ещё, ещё станции, и — “Площадь Восстания”. Невский, Московский вокзал, Лиговка, “Колизей”. Люди, жизнь, гражданка...

Поезд останавливается и стоит. Пацаны, как заворожённые, смотрят на двухэтажный кособокий домишко с чёрными окнами.

— Что, выйдем курнём, — предлагает Балтон, — дыхнём родным воздухом.

Срываются с места и бегут по проходу. Но в тамбуре их тормозит проводница:

— Очнулись. Отправляемся. Через двадцать минут конечная.

— Финбан? — глуповато уточняет Потап.

— Ну, не Москарик же! — хохочет Балтон. — Ладно, потершим.

Возвращаются в свой отсек, разливают остатки портвейна. И Дане, хоть он и не вкладывался, дают... Последний тост, прощание со службой:

— Ну, за тех, кто в наряде! — И им сейчас кажется, что до конца жизни они за каждым столом будут его произносить, представлять плетущихся в эту минуту вдоль “системы” — контрольно-следовой полосы и забора из колючки — пацанов...

Громко глотают терпкую, щиплющую гадость. Вставляют стаканы в подстаканники; Потап относит пустые бутылки в мусорку возле туалета.

— А я в Девяткино четвертак выиграл, — говорит Женька. Неожиданно вспомнил, и так захотелось похвалиться.

И те мгновенно заинтересовались:

— Как?

— Во что?

— В напёрсток.

— Да ну!

— Чтoб кто-то чужой у них выиграл...

— В натуре выиграл. — Женька не горячится, понимает, что они не верят не совсем по-настоящему, подзуживают, чтoб рассказал, — старый армейский способ убить время: послушать байку.

— Ну, и как это было? — спрашивает Вака. — Научи.

— Поехал за джинсами... А там же рынок, самый дешёвый, как...

— Да, — кивает Даня, — я тоже туда часто за шмотьём гонял.

— И тут, почти у платформы метро — напёрсток. Я остановился. Смотрю, чувак, такой простоватый вроде, неопытный, стаканчики передвигает... И ведь знал — всё подстава, всё разыграно у них, а что-то заставило достать этот свой четвертак, который на джинсы копил, и показать, где шарик.

— Ну?

— Ну, угадал — они ведь в первый раз часто дают угадать. И тут же: “Давай по полтиннику. Твой полтинник на мой полтинник”. Я говорю: “Не, извини. — Э, тут такие правила!” Выхожу из толпы, а уже вижу, что в ней пара ребят точно из этих...

— Маяки называются, — подсказывает Балтон.

— Наверно... Я выхожу, и они за мной. Так не спеша, но ясно — сейчас с двух сторон сожмут и вынут и тот четвертак, и мой. — Женька увлёкся, ноги задрожали, как в тот момент, два с половиной года назад. — И тут заметил — поезд метрошный стоит, двери открыты. Я никогда так не бегал. Реально!.. Влетаю, и двери — хлоп. И эти двое в них влипают. Морды звериные вообще!

— Свезло, — говорит Потап. — Могли и загасить, если б успели.

— Да наверняка. Тем более, вагон пустой был...

— А джинсы-то не купил? — спрашивает со смехом Гурыч.

— Джинсы я потом на Мира купил. Нормальные. — Какие именно, вслух уточнять не стал: это были болгарские “Рила”. Если не приглядываться, могли сойти за настоящие...

И вслед за джинсами, которые и поносить по-настоящему не успел, вспоминается хозяин квартиры, у которого снимал комнату. Старикан с отчеством, ставшим именем, — как из анекдотов — Степаныч. Степанычу он оставил на хранение сумку с ботинками, джинсами, пальто.

Жив он ещё? Не прошил шмотки? Бухнуть-то он был любитель... Завтра надо заехать. Забрать... После того как получит паспорт...

Двадцать минут растягиваются безмерно... Поезд движется со скоростью человека, часто вообще замирает, содрогается, потом толчками, будто из последних сил, трогается дальше.

Парни беспрерывно смотрят в окно. Называют места, мимо которых проезжают:

— Пискарёвка... Богословское кладбище... Цоя здесь похоронили... Кушелёвка... Кантемировка...

— Вот, чуваки, — говорит Даня. — Возвращаемся, а Цоя нет, Майка нет, “Аквариума” нет.

— И Ленинграда нет, — подхватывает Гурыч, — Санкт-Петербург. И что нас ждёт вообще...

Балтон хлопает его по спине:

— Не ссы — прорвёмся! — Но настоящей уверенности в его голосе не слышно.

4

Не стали ломиться первыми — дождались, пока выйдут другие пассажиры, тогда уж чинно, слегка вразвалку, двинулись из вагона. Вещей почти нет — у каждого обязательный дембельский “дипломат”, у Балтона с Гурычем ещё и спортивные сумки... Конечно, можно было купить за копейки “заполярку” — отличный, тёплый бушлат, — другое обмундирование, но Женька не стал. И денег жалко, и не хотелось тащить в гражданскую жизнь следы службы.

Если Степаныч не сохранил его вещи или умер вообще, купит самое дешёвое на рынке. А шинель побудет вместо пальто — у нефоров это модно.

На перроне сразу столкнулись с сопровождающим. Как мгновенно исчез сразу после Сортавалы, так же неожиданно возник.

— Все здесь? — пробежал взглядом по головам, открыл первый военник: — Гурьянов.

— Я.

Сопровождающий протянул военник ему:

— Держи. Спасибо за службу... Колосов.

Мгновение Женька решал, как отозваться, но ничего не придумал, кроме этого привычного “я”.

— Держи. — В военник был вложен маршрутный лист. — Ты на родину?

— Посмотрим.

— Учти — через неделю обязан встать на воинский учёт. Иначе — вплоть до уголовной ответственности.

— Угу...

— Так, — сопровождающий не стал лезть в бутылку, хотя от “угу” покривился. — Так, Потапов.

— Здесь.

Женька отошёл на пару шагов, закурил. Сигарет оставалось полторы пачки... За неделю до дембеля автолавка неожиданно привезла к ним на заставу не старую пересушенную “Астру” и не дорожные, по десять в пачке, индийские, а нормальный “Бонд”. Женька купил блок, и вот растянул. Позавчера, перед отъездом с заставы, набил ими, а не пайковым “Памиром”, традиционную дембельскую колодку — в деревянную плашку с отверстиями для пятидесяти патронов вставил сигареты и угодил остающимся. Пацанов было четырнадцать человек, кому-то досталось по три сига. В тот момент он не жалел, а теперь надо думать, где купить курева — с ним, говорят, и здесь дефицит...

— Счастливо, товарищи солдаты! — громко говорит сопровождающий и почти бегом направляется к вокзалу. Вряд ли куда торопится, наверняка хочет скорее отделаться от них.

Женька, Гурыч, Балтон, Потап, Дания, Вака стоят кружком на уже опустевшем перроне. Сейчас попрощаются и больше, скорее всего, никогда не увидятся. Дембельский поезд, благодаря которому оказались вместе, прибыл на конечную.

— Ну, давайте!

— Счастливо!

— Мочите, чуваки!

Короткие объятия и отпихивания — будто отправляют друг друга в далёкий путь... И уже оказавшись один, шагая со своим “дипломатом” по площади Ленина, Женька удивился — почему никого из них не встречали? Ведь есть же родители, братья-сёстры, может, у кого девушки... Или не принято сообщать о номере поезда, вагона, чтоб не показывать чувакам радостные слёзы матерей, чтоб не слышали: “СЫночка мой родной!..”

Заметил слева, через дорогу, светящееся голубым слово “Гастроном”. Решил зайти. И так поглазеть, и, может, чего купить. С пустыми руками на ночлег являться некультурно...

Гастроном был просторный, потолки высокие, стены облицованы старой, надёжной плиткой. Простор усиливала пустота. Ни людей, ни продуктов. На полках стояли пирамидками упаковки детского питания с румяным младенцем, в витринах-холодильниках под стеклом выложены ромбики из кильки в томате и салата из морской капусты. На одном поддоне зеленело что-то вроде той же морской капусты или папоротника...

Возле весов, облокотившись на прилавок, дремала продавщица — стук подбитых Женькиных ботинок её не потревожил. Скорее всего, уверена, что он ничего не попросит... Почти напротив прилавка была огороженная фанерой и оргстеклом касса. Кассирша тоже дремала.

Женька растерянно постоял, поозирался и тут заметил столб из нескольких пластиковых ящичков. А в них — пепси-кола! Почему-то не там, по ту сторону прилавка, не на полках, а здесь, рядом с кассой.

Он сделал шаг к ящичкам, и кассирша сразу очнулась. Подобралась, устала на Женьку.

— Можно три бутылки? — сказал он, вытягивая из брюк пачку денег.

— А тара есть на обмен? — Голос у кассирши был раздражённый, точно посылающий подальше.

— В каком смысле — тара?

Она присмотрелась, видимо, осознала, что перед ней пришелец из другого мира, и объяснила почти по-доброму:

— Для того чтобы купить полную, нужно принести пустую бутылку. Требование завода... Стоимость стекла вычитается...

После гастронома и вокзал, и площадь с фигурой Ленина на башне Броневика, и дома вокруг показались Женьке не такими уж весёлыми и живыми. Не как два года назад. Чем-то таким из времён гражданской войны веяло.

Да, хотел увидеть праздник и салют в свою честь — вот он я, я вернулся, встречайте и радуйтесь! — а обнаружил зимний будний вечер переживающего не лучший свой период города.

Конечно, почти ежедневно Женька смотрел программу “Время”: это была обязанность свободных от службы — политически развиваться; разворачивал приходящие на заставу газеты, чувствовал неладное в письмах от родителей. Но чтобы так... пустой магазин... “Пепси” в обмен на пустую бутылку... горящие через один фонари, холмы необранного снега...

5

План действий на остаток сегодняшнего дня у Женьки был простой: добраться до своего армейского друга Лёхи Нехорошева и у него переночевать. Лёха был не просто товарищем или сослуживцем, с которым общаешься по обязанности или от скудости людей вокруг, а именно другом.

Увольняясь весной, Лёха взял с Женьки слово приехать к нему. “Обязоном, понял? Посидим, отметим, и поживёшь, если надо, — у нас квартира в центре, на Лиговке, четыре комнаты”.

В начале октября, когда вышел приказ об увольнении солдат осеннего призыва — “пингвинов”, Лёха — “фазан” — единственный прислал на заставу, но адресованную Женьке (иначе бы не доставили) телеграмму: “Ребята поздравляю желаю быстрее оказаться дома Женька Колосов жду”. Остальные из дембелей прошлых партий промолчали. Да вряд ли и заметили такой важный для тех, кто служит, приказ.

Звонить Лёхе Женька не стал, хотя номер его телефона был записан в блокнотике. Боялся, что если Лёха начнет искать повод отказаться его принять, то дружба их треснет. И придётся мучительно думать, где ночевать. На Степаных надежды почти нет — Женькину комнату наверняка сдаёт, — да и не хотелось ехать сегодня к нему. Хотелось поболтать с Лёхой, рассказать про заставу, оставшихся пацанов — Лёхиных “сынов”, которые теперь на пороге перехода в дембеля, про Женькиных “сынов”, про офицеров, прапора-хомута... Может, и выпить что найдут...

Собрался было идти пешком. Сейчас казалось, что не так уж далеко — через мост на Литейный, по нему до Невского, а там налево, на Лиговку. Но нескольких минут на улице хватило, чтоб начать мерзнуть. Зря не взял ушанку, а фуражка только холодит, да и ботинки вот-вот промокнут; брюки парадки тонкие, а кальсоны Женька из дембельского ухарства не надел, сдал при увольнении.

Был уже восьмой час, но людей в вестибюле метро битком. Это ведь привокзальная станция. Женька давно заготовил пятак, мечтал, что вот сейчас сунет его в щель турникета, услышит приятный звяк и королём пройдёт к эскалатору... Раньше часто сидел на ступеньках, но сейчас, в шинели, не будет, конечно. Будет стоять, свята зелёным сукном погранцовского фургона.

Бросил монету, услышал звяк, пошел, и — с одной стороны по бедру, с другой по “дипломату” хлестанули стальные клешни, преградили дорогу. И тут же его крепко взяли за плечо, отвели от турникета. Развернули лицом к себе двое мужиков.

— Что такое? — разозлился Женька скорее не из-за этого грубоватого задержания, а несбывшегося действия. Все два года представлял, как он войдёт в метро...

— Эт мы хотим узнать — что, — ответил один из мужиков, напоминающий нанятого для задержания зайцев пожилого гопника. — Турникет просто так не закроется.

— Я оплатил. Пятак бросил.

— Пятак — ха-ха! Проезд с весны пятнадцать стоит... Да тебе вообще платить не надо, ты ж с армии.

— Да. Но я хотел...

— Проходи вон справа, где будка. Там бесплатники.

Прошёл, где велели. Благополучно встал на эскалатор. Но ожидаемой торжественности и торжества не почувствовал. Женька был обычным, одним из десятков и десятков поднимающихся и спускающихся — никто на него внимания не обращал, девушки не замечали... И он почувствовал усталость и подавленность. Наверное, это начиналось похмелье...

Доехал до “Площади восстания”, поднялся на улицу. Покурил, любясь стелой, Московским вокзалом, огромной гостиницей с буквами на крыше “Город-герой Ленинград”. Отметил: не сняли. Казалось, после переименования города всякое упоминание о Ленинграде вытравят тут же. По крайней мере, в программе “Время” были такие сюжеты, неодобрительные, конечно, а в газете “Советская Россия” так и вовсе писали, что власть в Ленинграде захватили враги страны. И нового начальника города критиковали. Недавно, например, пригласил в город кого-то из Романовых, какого-то старенького великого князя, который во время войны призывал народы Европы пойти с Гитлером освобождать Россию от коммунистов.

Надо разбираться... Надо прийти в себя, привыкнуть и решить, как жить дальше. Как, где... Сейчас вот стоит, прижавшись к стене станции, и боится

пойти. Столько людей вокруг, машин. Гул, снег шипит под колесами... Одичал на заставе, одичал во всех смыслах.

Так, какой там у Лёхи дом?

Зажал “дипломат” меж коленей, достал из внутреннего кармана шинели блокнот. Лиговка, дом шестьдесят пять. Это в ту сторону, к Обводному каналу. И, судя по всему, недалеко.

Не без робости пересёк Невский проспект. Хотя и на зелёный свет светофора, но... Больше опасался не машин, а столкновения с людьми. Все так быстро ходят, так умело лавируют, а он — как слепой. Нет, оглушённый.

И тянет глазеть-глазеть по сторонам. Хватать знакомое, и воспоминания распирают и мозг, и душу.

Московский вокзал — Москарик, Маша. Часто по вечерам с пацанами ездили сюда. И на поезда посмотреть, и на проститутку. Следили за какой-нибудь одинокой девушкой и представляли, что проститутка. Не путана, а именно проститутка. Путаны обитали там, в гостиницах, в дорогих ресторанах, куда им вход был заказан, а здесь... Имелись бы деньги, подошли бы. Были уверены, что подошли бы, уверяли друг друга.

Но карманы всё время были пусты. Жалкая мелочь. И, насмотревшись, как одна девушка знакомится с парнем или мужчиной, потом другая, третья, возбуждённые, возбуждённые и от этого проголодавшиеся, бежали к ларьку, где продавали пирожки с ливером — “тошнотики” за семь копеек.

Хотя кормили в путяге класно. От души. Поварихи были полные, румяные, добрые. Давали добавку с радостью... По сути, чаще всего голод гнал Женьку с Васильевского острова в училище. Поесть, а заодно и на занятиях посидеть.

6

Дом нашёл быстро — красивый, огромный, с эркерами. А в поисках нужной парадной пришлось побродить по внутренним дворам... Вот, кажется.

Хм, парадная... Скорее чёрный ход... Дверь открыта, вошёл. Стал подниматься по лестнице и сразу отметил, что она сделана по дореволюционным правилам — пологая, ступени широкие, никакой одышки после четырёх этажей, усталости.

Дверь. Сверился с блокнотом — та самая. Поправил фуражку, вспомнил, что ничего не купил, испугался и тут же решил: вместе сбегаем. Вдавил кнопку старого, полужакошенного бурой эмульсионкой звонка. Услышал вдали дребезжание, противное, как у армейского тапика. А спустя полминуты — скрип двери. Не этой, наверное, внутренней.

— Кто там? — женский голос.

Настроившись на то, что откроет ему сам Лёха, Женька в прямом смысле потерял дар речи. Стоял и таращился на деревянную бурую дверь. Даже глазка нет — не увидят, что стоит погранец. Как и Лёха.

— Кто это? — голос женщины стал испуганным.

— Простите... А Лё... Алексей дома?

— Нет его. А что вы хотели?

Первым желанием было развернуться и уйти. Такая обида на Лёху накатила — сам ведь звал.

“А что, — осадил себя, — он должен сидеть и ждать неделями, когда приедешь?”

— Это Евгений Колосов, друг Лёши, из армии. Вместе служили, и он меня пригласил...

— Его нет, к сожалению...

Женька уже набрался храбрости:

— Я только что уволился, я не местный... И некуда...

— А где вы служили?

— На заставе... Одиннадцатая погранзастава, Сортавальский отряд.

Скрежетнул засов, дверь приоткрылась. На цепочке. Потом цепочка упала, и дверь открылась шире. За ней стояла невысокая, пожилая женщина.

Лицо скорбно-усталое, но глаза живые и острые. И взгляд из подозрительного постепенно, словно забыв, как это делается, становится приветливым.

— Да, я вас узнала. У Алёши на фотографиях... Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Он на дежурстве. Будет только завтра после полудня.

— Да?.. — Женька почувствовал, как отяжелели ноги, и в голове завертелся волчок: куда пойти, где ночевать? На вокзал?.. К Степанычу?..

Снова нахлынула обида, и он спросил довольно нагло:

— В милицию, что ли устроился?

— Нет-нет, что вы! В метро. Ремонтник... Курсы окончил, второй месяц работает.

— Ясно... хорошо...

— Да, слава богу, — согласилась мать Лёхи. — С работой в последнее время совсем стало... Никакой работы.

И замолчала. И Женька молчал. Покачивал своим “дипломатом”. На лестнице было тепло, сухо, и он бы, наверно, переночевал на площадке. А утром — за паспортом.

— А вам совсем некуда? — с усилием спросила мать Лёхи.

— Получается, да. Мог бы в общежитие, где до армии... но оно на окраине, и вряд ли вот так пустят. Утром надо в военкомат, паспорт получить... Хотел добавить: “Что ж, поеду на вокзал”, — но не добавил. Продолжал стоять. Чувствовал, что женщина может впустить. И не ошибся.

— Ну, если совсем некуда... Только прошу извинить за беспорядок — гостей давно у нас не бывало... — Она посторонилась, пропуская, и заодно представилась: — Ирина Михайловна, мама Алёши.

— Евгений.

— Я помню.

Снял шинель и сразу ощутил, какая она неудобная и тяжёлая. За всю службу надевал считанные разы — в основном ходил в заполярке... Вспомнилась байка, что шинели специально сконструировали так, чтобы было неудобно поднимать руки вверх — в плен сдаваться. Может, и правда...

— Угостить мне вас, Евгений, особенно нечем. У нас, кажется, дело снова к блокаде идет.

— Я заметил... Хотел купить что-нибудь, зашёл в один магазин...

— Пусто? — с каким-то злорадством перебила женщина. — Везде пусто. Шаром покати. Даже по талонам не выкупить... Пока Ленинград был, ещё обеспечивали, а теперь...

Женька сочувственно вздохнул.

А есть хотелось. Надо было всё-таки потыкаться в магазины, найти столовую или кафе. Но ведь думал, что здесь Лёха...

— Ячку с подливой будете? — словно услышав его, предложила Ирина Михайловна. — Капуста есть квашеная.

— Не откажусь... — И Женька тут же заторопился: — Я могу сходить. Скажите, где что может быть. Деньги есть.

— Деньги и у нас есть... немного. Только вот купить нечего. Или по таким ценам!.. Спекулянты... Мойте руки, еда ещё тёплая — поужинала только.

Раньше у квартиры явно была другая планировка. Нынешние стены выглядели слишком тонкими — то ли из гипсокартона, то ли вообще из фанеры, обклеенной обоями. Санузел крошечный, а ванна — на кухне, прикрытая занавеской.

— Вот, пожалуйста, — Ирина Михайловна поставила перед Женькой тарелку с желтовато-серой кашей. Сбоку коричневатое озерцо подливы с малюсенькими кусочками чего-то мясного — жил, а может, брюшной плёнки.

— Спасибо.

— Да за что здесь спасибо... Вот хлеб, капуста. Зато чай настоящий, цейлонский! Будете?

На сей раз Женька нашёл силы отказаться:

— Да я воды просто, и — спать. — И мысленно пропел: “Давись чайком в своей каптёрке, старшина!”

— Что ж, не буду настаивать. — Мать Лёхи присела напротив. — Там-то как кормили?

— Ну, неплохо. Только в последние месяцы... С мясом тяжело стало. Стали привозить... — Серега замылся, не решаясь сказать — самому не очень-то верилось. — Привозят полтуши. Я как раз на разгрузку попал. Ну, думаю, класс — баранина. Я сам из Сибири, люблю баранину. Только какое-то мясо очень черное. Кладу в холодильник, смотрю — штамп, а на нём “1949”. И это не баранина оказалась, а говядина.

— Господи-господи, это вообще самые закрома вычищают!

— Только не пересказывайте, а то скажут, что панику сеете.

— Да чего здесь сеять. Всё уж посеяно. За яблоки гнилые дерёмся.

Женька покачал головой. Как-то даже стыдно стало есть...

Их посёлок был полусекретным, комбинат принадлежал Министерству обороны, обеспечение лучше, чем в городах. Но и сосиски, и сыр были там в восемьдесят восьмом, когда он уезжал, страшным дефицитом. И тогдашний Ленинград поразил Женьку обилием и разнообразием еды в магазинах, столовых. Всё, в общем, было, даже красную рыбу иногда заставлял. И если так сейчас здесь, то что у них там, в Пригорске?.. В недавних письмах домой он жаловался: надоела гречка.

7

Ирина Михайловна показала ему комнату Лёхи — почти квадратная, уютная, со старой, покрытой лаком мебелью, толстыми шторами, — но для ночёвки определила другую.

— Мы с Алёшей вдвоём остались, так что места много... Вот здесь располагайтесь. Сейчас постель застелю.

— Да я сам...

— Хорошо. Принесу бельё.

Женька увидел проигрыватель на этажерке.

— Извините, а можно я одну пластинку послушаю?

Маму Лёхи эта просьба, судя по выражению лица, не слишком обрадовала. Наверняка хотелось тишины... Женька на всякий случай добавил:

— С лета храню, а послушать негде было... Последний альбом “Кино”.

— Да, правда? — Она вдруг расцвела, превратилась на несколько секунд в девушку, и Женьке захотелось её обнять; он испугался, отвёл взгляд. — И где же вы его раздобыли там, в лесу?

— Заказал наложенным платежом... В каптёрке лежала. У нас на заставе проигрыватель сломан.

— Давайте, конечно. Я тоже послушаю. Не возражаете?

Женька улыбнулся. Достал из “дипломата” жёлтый пакет с красным, будто кровавым, перекрестьем, и словом “Кино”. В пакете был свёрнутый в трубочку плакат с фотками и текстами песен, и сама пластинка — в чёрном конверте. Пакет за эти месяцы кое-где поцарапался, конверт слегка потёрся, но коробка, в которой они пришли по почте, не вмещалась ни в вещмешок, ни в “дипломат”.

Ирина Михайловна включила проигрыватель, сняла с иглы комочек пыли, Женька опустил пластинку на резиновую подложку. Послышалось такое знакомое ему шуршание, и вот — первые звуки мелодии. Энергичной, ритмичной, однообразной.

Раз квадрат. Второй. И голос Цоя:

*Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо
Про то, что больше не могу смотреть на дерьмо,
Про то, что больше нет сил,
Про то, что я почти запил,
Но не забыл тебя...*

На конверте диска не было списка песен. Эту Женька уже слышал. По телевизору, в какой-то из вечерних музыкальных программ в выходные. Их теперь много...

Цой, “Кино” были одной из главных причин, почему он поехал в Питер. Хотелось слушать их вживую, попытаться стать, как они.

В первые месяцы — осенью восемьдесят восьмого — Женька почти все деньги тратил на концерты. “Ноль”, “Аукцион”, “Кошкин дом”, “Бригадный подряд”, “Телевизор”, “Опасные соседи”, “Объект насмешек”, “ДДТ”, “Алиса”... На “Кино” попасть никак не удавалось. Выступали они в Питере редко, да и то в СКК, куда билеты стоили намного дороже, чем в рок-клуб, в разные ДК.

После концертов он знакомился с разными ребятами, иногда с самими музыкантами. Случалось, играл перед ними на гитаре, показывая своё мастерство. Но интереса они не проявляли — подобных, а то и куда круче, сочиняющих отличные тексты, было полным-полно. Женька тоже пробовал писать, но получалось беспомощное, вроде такого:

*Я вышел из метро на станции “Купчино”,
Ветер гоняет по асфальту листву.
Я знаю, что жизнь моя почти кончена —
Скоро в армию я ухожу.*

Хотя строки эти родились из страшной картины: Женька ехал в трамвае с Васильевского острова в центр и увидел на набережной человек десять парней. На костылях. У кого не было правой ноги, у кого — левой. Только недавно кончилась война в Афгане... Позже узнал, что где-то в том месте был протезный центр.

Хотелось стать рок-музыкантом. Быть причастным к исполнению сильных, честных песен. Как причастен Юрий Каспарян, гитарист “Кино”.

Пик их популярности, а главным образом, конечно, Цоя, Женька наблюдал, находясь в эпицентре, — в городе, с которым “Кино” неразрывно связывали. Когда приехал, все пели, вернее, твердили, как заклинания, песни из “Группы крови”; выпедший весной восемьдесят девятого альбом “Звезда по имени Солнце” очень полюбили подростки. Просто с ума сходили... К тому же Цой стал актёром — эпизод, зато какой, в “Ассе”, главная роль в “Игле”. На сеансы “Иглы” было в Питере не попасть...

И в то же время Цой сделался в родном городе гостем. Если Кинчева, Шевчука, Майка, не говоря уж о Гаркуше, Фёдоре Чистякове, можно было чуть ли не каждый день встретить на Невском, то Цой приезжал коротко, на концерты.

Сейчас, слушая песни с “Чёрного альбома”, Женька вспоминал разные случаи. Как, например, они с училищным приятелем Максом пришли в гости к девчонкам.

Где познакомились? Как?.. Наверное, в кинотеатре — они с Максом тогда часто ходили в ближайший от общаги “Невский”. А может, и у метро “Ломоносовская”, на автобусной остановке... Как звали девчонок?.. Тогда было столько новых людей, что имена почти всех стёрлись. А с этими девчонками у них и был один вечер.

Они где-то то ли учились, то ли работали, снимали квартиру в башенке возле Володарского моста, и Женька с Максом пришли к ним в гости с двумя бутылками кислющего и малоградусного “рислинга”. Но уж что сумели раздобыть. Заранее договорились, что Макс будет обхаживать коренастую, зато горячую, дерзкую, с выбеленными волосами, а Женька — худую, сивенькую, скромную. “Скромные потом такими, бывает, становятся!..” — помнится, обнадежил Макс; он был старше на год, учился не в самом ПТУ, а в ТУ — техническом училище при путяге, куда принимали получивших среднее образование и учили не три года, а всего год.

Выпили вина, поболтали о пустяках, и Макс предложил выключить люстру. Выключили. В полутьме — с улицы даже сквозь шторы бил свет — разделились. Женька со своей сивенькой сел на одну кровать, Макс с горячей — на другую. Некоторое время обнимались и целовались, причём сивенькая, как и предсказывал Макс, становилась с каждой минутой всё страстней... Они уже легли на кровать — лежа целоваться удобней...

И тут Макс начал расспрашивать свою, зачем она приехала в Питер, что вообще ей интересно, какую музыку слушает.

Сначала она отвечала как-то спокойно; Женька почти и не слушал, увлечённый обнимашками, но потом голос горячей стал злым, она поднялась, сама налила себе вина, быстро выпила. И понеслось:

— К Цою приехала! Да! Его люблю. У дверей его стояла, а он... А он к этой свалил, в Москву! И зачем ко мне в душу лезть? Думаете, я с вами вместо него буду? Да на хрена вы мне сдались?

— С дуба ёкнулась? — растерянно спросил Макс.

— Она просто таблетки принимает... Обещала сегодня пропустить, чтоб с алкоголем не мешать, — стала объяснять сивенькая.

— Ты вообще заткнись! Ты под любого готова, сука... А я не буду, не буду! — Горячая схватила нож и стала полосовать себя по руке.

В общем, Макс с Женькой пришлось сваливать.

Другой случай. Похожий, но без истерик.

Почти перестав ходить на занятия, потеряв стипендию, Женька по субботам и воскресеньям подрабатывал на хладкомбинате — снимал с ленты стаканчики с пломбиром и складывал в коробки. Простая, но выматывающая однообразием операция... И часто напротив него оказывались одни и те же девушки... Нет, молодые женщины в его тогдашнем восприятии — им было прилично за двадцать. Как звали двух, запомнил — Ольга и Наталья. Самые обычные имена, но с этими девушками он сдружился.

Они работали на прядилке — прядильной фабрике, денег не хватало, пришлось в выходные по несколько часов стоять на конвейере.

После первой зарплаты Женька пригласил их в ближайшую чебуречную, а потом они стали приглашать его в гости. Жили в общежитии в районе метро “Проспект ветеранов”, хотя от станции нужно было еще идти минут двадцать дворами, через пустыри, мимо садовых участков. Поэтому выбирался к ним нечасто, но, преодолев злую вахту, оказавшись в их уютной, обжитой комнате, чувствовал себя как дома... Да, именно так — как дома.

Он и отвальную у них справил, они подстригли его, напугав, что в армии не стригут, а рвут волосы тупыми машинками...

Ольга и Наталья относились к нему заботливо, словно к младшему брату, а может, и сыну. У них детей не было, и при тогдашнем раскладе — вряд ли могли появиться. Работали на прядилке по лимиту, а в случае беременности могли лишиться места в общежитии.

— По закону не имеют права, — говорила Наталья, — но по жизни — выживают. Им ведь рабочие руки нужны, а не мамашки в декрете.

— По закону они нам давно квартиры должны дать, — отзывалась Ольга. — Мы по шесть лет отпахали!..

Но такие вспышки горечи случались редко. В основном велись душевные беседы, и по большей части о родных местах. Ольга рассказывала о своем селе рядом с Тулой и часто угощала привезёнными оттуда огурцами, приговаривая:

— У нас в Туле огурцы лучше всех солить умеют!

Наталья была из Лудейного Поля, это не так далеко от Питера — часа три езды. Про детство там вспоминала сладко, смешивая разными историями, но теперь туда не ездила. О причине Женька не расспрашивал.

На Ольгиной половине над кроватью висела фотография Цоя. Не того звёздного, каким он стал после “Группы крови”, а раннего, мало кому известного. Длинные пышные волосы, нижняя челюсть ещё не так сильно выпячена вперёд, на шее бусы, глаза подведены, белая рубашка с широким воротником. Этакая восточная девушка. В нижнем правом углу фото виднелся гриф гитары, колки. А в нижнем левом, поверх рубашки, — завитушка подписи... Год, наверное, восемьдесят третий — восемьдесят четвёртый. Женька тогда учился в шестом классе, а девчонки, наверно, уже бегали в рок-клуб...

Теперь ходили на концерты вместе. Правда, в рок-клубе их становилось всё меньше — более-менее известные группы предпочитали Дворцы

культуры, популярные концертные залы вроде “Юбилейного” или “Октябрьского”, а знаменитые — СКК имени Ленина.

Однажды, ранней осенью восемьдесят девятого, Женька узнал, что “Кино” в городе и даёт единственный концерт. Примчался к девушкам, но Ольга сразу отрезала:

— Я не пойду.

— Денег нет, Оль? Я куплю билеты.

— Не хочу. Не пойду.

Женька оторопел, потом оглянулся на фотку.

— Но у тебя же вот... Цой здесь.

— Вот именно — здесь. Мой. Тот. А этого не хочу.

Тогда он ничего не понял. Просто расстроился. Пошёл на концерт один. Там, в толчее под сценой, познакомился с девочкой Аллой.

...Проигрыватель щёлкнул, рычаг с иглой поднялся. Пластинка медленно остановилась.

— Бедный мальчик, — вздохнула мама Лёхи. — Совсем ведь молоденький погиб.

— В двадцать семь, — с несогласием в голосе ответил Женька, которому двадцать исполнилось три недели назад.

— Поверь, это совсем ничего... О-ох. — Женщина поднялась. — Пойду спать. Спокойной ночи.

— Спокойной...

Она прошла куда-то по коридору. Послышался звук запираемой двери. “Боится”, — усмехнулся Женька.

8

Ждать Лёху с дежурства не стал: “Я позвоню днём”. Нужно было ехать сначала в военкомат, потом — в училище. Ирина Михайловна не уговаривала подождать, а под конец, когда Женька оказался на площадке, сказала:

— Да, так правильно. Он ведь невыспавшийся придёт. Вечером что-нибудь придумаете.

На улице, в сравнении со вчерашним, заметно похолодало. Ещё и этот ветер — как у Гоголя в “Шинели” — налетал со всех четырёх сторон. Пришлось всю дорогу до “Маяковской” придерживать фуражку.

Да, было время, Женька много читал, запоями. Последний запой был в госпитале... В общем-то, и Питер он полюбил в основном по книгам. Там он был мрачным, жестоким, но одновременно таким каким-то манящим, с тёплыми норками, в которых можно продремать всю жизнь. Дремать и сознавать, что дремлешь не где-нибудь, а в Петербурге.

К эскалатору пошёл уверенно мимо будки, где не было турникета, но дежурная задержала:

— Покажите документы.

— Какие? Я вчера из части, еду в военкомат.

— Ну, так вам должны были выдать бумаги.

Пришлось лезть в карман, доставать военник, вложенные в него предписание, требование на перевозку...

— Хорошо, — кивнула дежурная, глянув на даты. — Тут повадились — месяцами в форме ездят, чтоб не платить. Проходите.

Через двадцать минут был на “Ломоносовской”. Сначала не узнал окружающую площадь. Да, и два года назад здесь располагался рыночек, но маленький, скромный, а теперь каждый метр был уставлен коробками, ящиками со всем, кажется, на свете. От банок к солёным помидорам до подсвечников и бюстов Наполеона. Позади коробок и ящиков сидели или стояли тепло одетые люди.

Женька собрался сразу направиться в военкомат, но почувствовал голод — у Лёхиной мамы только чаю попил с намазанной вареньем краюшкой, от ячки отказался — и сделал крюк: помнил, что во втором от станции доме по Бабушкина была столовка. Дешёвая и приличная.

Сохранилась. Правда, меню стало коротеньким, а цены пугающими. Или он просто не привык?.. “Студень говяжий — 0-90, салат из квашеной капусты — 0-53, рассольник ленинградский с курой — 1-25, солянка сборная — 1-87, каша молочная рисовая — 0-25, гуляш говяжий — 1-75, мясо духовое — 2-13, бифштекс рубленый — 0-98, картофельное пюре — 0-50, капуста тушёная свежая — 0-64...” Два года назад можно было нормально наесться на рубль, а теперь... С другой стороны, у него в кармане лежала приличная сумма. Правда, выдали её для того, чтоб он добрался до своего родного посёлка в четырёх тысячах километров отсюда.

Мясо духовое стоило дороже всего, но и масса больше — “45/250”.

— А что такое мясо духовое? — спросил.

Повариха, полная, напминающая тех, из училища, вот только не улыбающаяся, дёрнула плечами:

— Ну, духовое и духовое, вроде жаркого.

— Это с картошкой?

— Картофель, морковь, лук...

— А мясо какое?

— Свиное. — Повариха стала раздражаться.

— Тогда — гуляш с пюре. — Гуляш “75/15”; “15”, надо понимать, подлива. — И солянку.

Повариха налила солянки, плюхнула пюре, начерпала ложкой гуляша.

— Хлеб? Пить?

— Два куска... И чай.

— С сахаром?

— Да.

Обед или поздний завтрак обошёлся в четыре рубля семьдесят шесть копеек. Мда, если тратить в день на жратву по пятнахе, то его приличной суммы хватит на полмесяца. Но ведь будут и другие траты — надо отметить дембель. С Лёхой и другими пацанами с заставы или со Степаньчем.

К Степаньчу надо обязательно. В фуражке он много не находит, да и в шинели... И в ботиночках этих парадных...

Еда оказалась вкусной. Готовить в Питере не разучились. Правда, солянка была жидковата, но ничего — поднялся приятно отяжелевший, омытый горячим потом. Теперь можно и в военкомат.

9

Не думал, что так далеко от метро. Голова успела превратиться в задубевший кочан, пальцы на ногах, казалось, постукивают о подошвы, пот остыл и царапал лопатки... Но увидел знакомое багрово-жёлтое из-за облупившейся краски, напоминающее Брестскую крепость здание, и сразу согрелся. От страха.

Теперь-то, понимал, ему ничего не угрожает, всё пройдено, испытано, долг отдан, но страх только креп. Он шёл, словно на сложную операцию, необходимую и с неизвестным результатом. Операция могла спасти, а могла убить.

Без труда нашёл в доме из нескольких соединённых блоков нужную дверь, открыл, шагнул и сразу почувствовал запах армии. Смесь запахов ваксы, дыма сигарет без фильтра, кожи ремней, ношенных портянок, сукна, ещё чего-то, чем прошиваются стены казарм... Но ведь здесь нет казармы — вроде бы обычное государственное учреждение, а запах есть. Скорее — дух. Дух учреждения, где вчерашних школьников и пэтэушников превращают в духов.

Усмехнулся этому каламбурчику, спросил дежурного:

— Не подскажете, где здесь выдают паспорта?

Дежурный уставился на Женьку ошарашенно, молчал.

— Я за паспортом пришёл...

Глаза дежурного, немолодого уже старлея, может, когда-то за что-то разжалованного из капитанов, побелели. И, заикаясь от бешенства, он зарычал:

— Т-товарищ солдат, из-звольте доложиться!

Женька поставил “дипломат” на пол, подтянулся, приложил руку к фуражке.

— Виноват. Рядовой Колосов прибыл для получения паспорта в связи с увольнением с военной службы.

Им не объясняли в части, как и что говорить в военкомате, да и вообще с этими уставными формальностями Женька за два года сталкивался редко. На заставе не требовалось при каждой встрече с начальником, его замом, прапором отдавать честь и представляться, приказы наряду произносились заученной скороговоркой, на ежедневной боевом расчёте от бойцов не требовалось вести себя, как на параде. На заставе шла работа — работа по охране границы, и чистота сапог, блеск пряжки или brave отдание чести в этой работе стояли далеко не на первом месте.

— Предъявите документы, — потребовал дежурный.

Женька достал военник, бумаги; дежурный слишком внимательно, явно мучая его, читал, листал. Оттягивал момент превращения этого за сутки бывшего об армейском порядке, припухшего бойца в гражданского человека.

Но в конце концов документы вернул, буркнул:

— Пятый кабинет.

В пятом кабинете сидел смутно знакомый Женьке майор. Кажется, как раз он два года назад руководил призывниками — загонял в просторное помещение, похожее на школьный класс, коротко рассказывал о том, как они разъедутся по частям, что можно брать с собой, что нет (неразрешенное можно было ещё успеть отдать провожающим), вызывал по одному, велел расписываться в военных билетах...

Наученный недавним опытом с дежурным, Женька на пороге метнул ладонь к виску, четко произнёс:

— Здравия желаю, товарищ майор!

— И вам того же, — не поднимаясь, ответил тот. — С чем пожаловал?

— Отслужил и хочу забрать паспорт.

— М-м, дело хорошее. Присаживайся.

Подойдя к столу, Женька заметил, какое огромное у майора пузо — оно начиналось от ключиц и шаром упиралось в ребро столешницы... У того тоже было пузо, но меньше. Хотя — за два года наверняка успело вырасти.

— Где служил? — спросил майор.

И дальше последовал подробный допрос: откуда родом, что собирается делать дальше, останется здесь или поедет на родину. Женьке это напомнило сцены из фильмов, где зеки выходят на свободу.

— Значит, — покачал головой майор, — будущее туманно.

— Хочу закончить училище...

— За последний год многое изменилось. Попробуйте, конечно... Но вот мои предложения: школа милиции принимает курсантов, и вы после прохождения службы, да ещё с такими наградами... — Майор раскрыл военник. — “Отличник ПВ — II степени”, “Старший пограннаряда”...

Женька хотел объяснить, что это для чего-то записали уже в отряде, перед увольнением, парадку показать без единого знака, даже без комсомольского значка... Не стал. Сидел, слушал.

— Уверен, они с руками оторвут. И койко-место на первое время, а потом — отдельная квартира, и обмундирование, питание. Или — ещё не поздно на сверхсрочную перейти. Специалисты нужны. Тем более — перешли ведь мы на полтора года. Кто, — голос майора стал тихим и доверительным, — специалистом-то будет. Сами знаете — год в армии выживаешь, полгода в курсе дела входил, а полгода — служишь по-настоящему. У нас эти полгода отняли. — Помолчал, глядя в глаза Женьки своими унылыми и умными глазами. — Как?

— Товарищ майор, — Женька вдруг почувствовал себя виноватым, — разрешите на гражданке пожить? Очень мечтал. Если не получится, то, конечно...

— А, знаю я эти “конечно”... Бандитом станешь, и найдут тебя через месяц в мусоросборнике...

— Ну, ладно уж. — Потянуло засмеяться, но глаза майора не дали;

и потребовались усилия, чтоб Женька сказал: — Разрешите получить паспорт, товарищ майор?

Тот отвёл его к окошечкам, где женщина через десять минут нашла и выдала темно-красный, слегка помятый паспорт с гербом и надписью “СССР”. Женька глянул в него, увидел себя шестнадцатилетнего, с пробормом по центру головы. “Щегол”.

— По закону, — сказала женщина в окошечке, — встать на учёт нужно не позднее десяти дней с момента увольнения. Ясно? Иначе — всесоюзный розыск и уголовная ответственность.

Женька хотел ответить, что Союз-то вроде закончился и теперь будет Содружество — “всесодружественный розыск, что ли?” — но не стал. Кивнул и пошёл.

Проходя мимо дежурки, услышал:

— Товарищ рядовой, рядом с вами старший по званию!

Выхватил из кармана паспорт и помахал им.

— Военная форма обязывает! — гавкнуло вслед.

Вошёл во двор, сорвал погоны, бросил в урну всё равно не греющую фуражку, давящий горло галстучек мышинного цвета, отетегнул хлястик. Поднял ворот шинели и так пошёл вдоль Невы... Ему с детства хотелось почувствовать себя генералом Хлудовым из фильма “Бег”. Жалко, что его шинель была короче хлудовской.

10

В училище с Женькой поговорили коротко и жёстко.

— Времена, молодой человек, другие. Иногородних мы больше не принимаем, общежитие аннулируется. Теперь у нас только ленинградские ребята.

— Но я ведь полтора года отучился...

— Что ж, надемся, этот опыт пригодится вам в дальнейшей жизни.

Женька помялся, не зная, какой бы ещё аргумент найти. Чувствовал, тот канат, что связывал его с городом все два года службы, перерубается острым и тяжёлым топором. А может, и не существовало этого каната, он сам его выдумал, за выдуманное держался...

— Сделайте исключение, а? — попросил жалобно. — Ведь кто-то ещё доучивается... и я доучусь.

Завуч смотрела на него сквозь свои очки с холодной ненавистью. Молчала. Просто не удостоивала ответом такую глупость... Наверняка она его вспомнила — вспомнила, как убеждала не пропускать занятия, а он хмыкал и блуждал взглядом по стенам, потолку. И теперь метит.

— Ясно. — У него что-то оборвалось внутри, наверно, тот выдуманный канат лопнул, и стало одновременно и страшно, и легко. — А где мой аттестат?

— Мы всё отправили по месту вашей прошлой прописки. Так что, — завуч развела руками, — прощайте.

Женька вышел в фойе. Здесь проводились линейки, отчитывали злых прогульщиков, хулиганов, делались важные для всех учащихсья объявления. Там вон, направо по коридору — столовая...

“По месту прошлой прописки”, — повторились в мозгу слова завуча.

Вынул паспорт, нашел страницу с прописками. Да, отсюда его вышибли ещё в марте девяностого. Теперь он — формально — бомж. И в другое училище не сунешься: аттестат дома... Надо домой позвонить. Найти ближайшую почту и позвонить. И что сказать? Еду к ним или как?..

В училище как раз началась перемена, фойе заполнили подростки и сверстники Женьки. По крайней мере, на вид некоторым было лет по двенадцать-двадцать... Прошла мимо — нет, проплыла — поразительно красивая девушка. С такой бы в одну группу... Она наверняка местная... Но даже не глянула на него, на его необычную шинель без погон...

Вышел на улицу, медленно добрёл до общаги. Пятиэтажка из сероватого кирпича. Вот лавочка, на ней курили перед тем, как идти внутрь.

Присел, завернув полы шинели, чтоб не промочить брюки, достал сигареты. Пачка почти пуста. В “дипломате” последняя... Закурил, смотрел на окна, сейчас, днём тусклые, какие-то матовые. Ничего за ними не видно. Живут там, нет...

Из общаги он хотел вырваться с первых недель учёбы. Страшное место — вечные разборки, разговоры о том, что кого-то зачмырили, кого-то завафлили, ту-то отымели толпой, а она встряхнулась и продолжает жить, как ни в чём не бывало...

Денег на комнату — тридцать рублей — удалось скопить только через пять месяцев. Стипендию получал, но она почти вся уходила на сладкое, алкоголь, “тошнотики”, кой-какие шмотки.

В училище выдавали талоны на сахар, стиральный порошок, мыло, чай, и пацаны ездили на площадь Мира — там тогда был огромная толкучка — продавали, взамен покупая бухло. На площади Мира Женька и познакомился со Степаньчем — тот стоял с картонкой “Сдаю комнату. Васильевский остров”. И поселился у него.

Что ж, надо ехать к Степаньчу. И молиться, чтобы он был жив, не спился окончательно, чтобы сумка с вещами была цела. Переодеться и решить...

— Может, будет хоть день, может, будет хоть час, когда нам повезёт, — напел скуляще, просяще, и тут же усмехнулся: если б Цой исполнял такое на концертах сейчас, если б был живой, многие бы ругались: уж ему-то чего жаловаться — слава, деньги, ему повезло. А вот как получилось: обеспеченный, знаменитый, он спел это, и через несколько дней погиб. И мы слушаем и сострадаем ему: просил о везении, но не дождался...

Бросил докуренную сигарету в урну, встал. Ноги были тяжёлые, не гнулись. Нет, не устали, наоборот — полтора года почти каждый день Женька проходил пешком по двадцать-тридцать километров или в наряде вдоль “системы”, или часовым, а теперь третий день, считай, отдыхает. Да, сегодня прошёлся от метро до военкомата, от военкомата до путяги, но разве это расстояния...

II

Отсутствие погон дало о себе знать. В автобусе проехал бесплатно, зато при входе в метро опять остановили. Женька уже привычно достал бумаги.

— А форма-то неполная, — оглядывая его, сказала дежурная.

— Это чтобы честь не отдавать. Устал.

Она понимающе кивнула и остерегла:

— Смотри — заметут. С этим строго.

В вестибюле “Василеостровской” напоролся на патруль: лейтенант и двое курсантов по бокам. Увидев его, лейтёха оскалился, как голодный хищник.

— Т-товарищ солдат!

Женька сделал вид, что не слышит. Лейтёха дал команду, и курсанты бросились наперерез, умело преградили путь: один встал спереди, другой — сзади.

— Что за вид, рядовой?! — Лейтёха, парень лет двадцати пяти, был в бешенстве.

— Я уже не боец, — хмыкнул Женька и показал паспорт.

— А что за форма одежды?

— Ну, вот такая. Нравится.

— Требую переодеться в общегражданскую, а не устраивать цирк!

— Как только найду — переоденусь. Обещаю, товарищ лейтенант.

Это “товарищ лейтенант” лейтёхе слегка польстило. Он мотнул головой курсантам: дескать, пусть идёт.

Пошёл. Поднялся. Вышел. Остановился на высоком крыльце станции. Внизу, направо и налево был Средний проспект. Знакомые дома, вывески; вот трамвай прозвенел... Люди идут по тротуарам, перебегают улицу, небольшими волнами поднимаются по ступеням на станцию, вытекают из

станции. Небо здесь высокое, чистое. И воздух не совсем тот, что был на “Ломоносовской”. Свежее, с привкусом моря...

Закурил, чтоб отогнать, прибить волнение. Волнение и от встречи с местом, где прожил больше года, и от того, что его ожидает через полчаса.

Но сигарета показалась горькой, во рту стало сухо. Да, попить бы... Тут где-то были аппараты с газировкой... Спустился, глянул налево. Стоят, даже светятся желтым окошечки “С сиропом”, “Без сиропа”. Но стаканов нет.

— Могу предложить воспользоваться, — сказали рядом.

Мужичок, вполне приличный, держал в руке пол-литровую банку.

— Что?

— Могу предложить тару. Двадцать копеек прокат.

Первым желанием было дать мужичку в морду. Сдержался, нашёл в себе силы ответить:

— Спасибо, не надо.

Тем более, увидел, и газировка стоила не одну и три копейки, а десять и пятнадцать.

Прошёл десяток метров, наткнулся на очередь. Она была за сигаретами. Торговали прямо с фабрики Урицкого. Сигареты купить необходимо. Да и людей немного, человек двадцать.

В продаже были “Космос”, “Стрела” и “Беломор”. Цены, к удивлению, Женьки, почти как раньше. Ну, раза в полтора выше... Купил три “Космоса” и две пачки “Беломора”. На всякий случай.

Положил их в “дипломат”, защёлкнул замки и, повеселев, направился дальше.

Васильевский явно принимал его возвращение с посылной гостеприимностью. Ещё через сотню метров Женька увидел продуктовый магазин, в окнах которого мигали ёлочные гирлянды. Даже сейчас, днём, это мигание манило. И он зашёл.

Этот был повеселей, чем возле Финбана. Банки с соком, рожки, крупа какая-то, хлеб, “Завтрак туриста”, копчёный сыр даже, свинина, вернее, свиная брюшина пластами. О, вот и газировка!

— “Крем-сода” можно бутылку?

— Можно, — без радости отозвалась продавщица.

Подала.

— А открывашка есть?

— Сначала расплатитесь. Сорок пять копеек.

Женька подал рубль, принял полтинник и пятак... Продавщица протянула открывашку на веревочке. Открыл, отступил на шаг от прилавка, отпил.

— А бутылку сдать можно?

— Нет...

“Хочет, чтоб я оставил, и заберёт, — решил. — Бутылка-то не меньше двадцатика. Хрен ей”.

Уже собрался выйти, но заметил: магазин состоит из двух отделов — второй был за шторкой, и именно там мигало и оттуда звало...

Вошёл и остолбенел. Висели гроздьями колбасы разной длины и толщины, под стеклом витрин-холодильников — куски мяса, кубы сливочного масла, круги сыра. Алкоголь — целый взвод бутылок на полках.

— Это всё по талонам? — спросил продавщицу; она была примерно того же возраста, что и в соседнем отделе, но стройная, улыбающаяся, в одежде и макиаже, как на дискотеку собралась.

— Нет, — ответила не она, а сидевший у входа парень в костюме, с аккуратной причёской, — здесь товары по договорным ценам.

В голосе его слышалось: “Нечего тебе здесь делать, нищесбор в шинелишке”.

“Охранник жратвы, лакей”, — мысленно ответил ему Женька и пошёл ближе к прилавку, разглядывая обилие на полках и в витрине. Наткнулся на цены, и глаза полезли на лоб. “Колбаса с/к “Московская” — 245 руб. кг”, “Свинина, мякоть — 97 руб. кг”, “Сыр “Голландский” — 74 руб. кг”, “Водка “Столичная” — 32 руб. 0,5 л”, “Водка “Пшеничная” — 47 руб. 0,7 л”.

Слюна заполнила рот, но слюна ядовитая, едкая. Женька с трудом удержался, чтоб не сплюнуть, проглотил. Запил газировкой. И сказал так, будто бросался с высокого обрыва в реку, не зная глубины:

— Бутылку “Пшеничной”, полкило вот этой колбасы, мортаделлы, и триста грамм сыра... — Покосился на сыр, заметил, что “Пошехонский” на полтора рубля дешевле, — “Пошехонского”.

Продавщица задвигалась. Не суетясь, но и не так, как другие, делая одолжение. Красиво задвигалась, с радостью и изяществом.

— Водка ноль пять, ноль семь?

— Ноль... — Ноль пять “Пшеничной” стоил на восемь рублей дешевле. — Ноль семь, — пальнул Женька и сам испугался, что сказал это.

Потом подрагивающими руками впихивал покупки в “дипломат”, принимал жалкую сдачу с двухсотки. И в голове колотилось: “Идиот, что ты наделал? Кретин! Как дальше?”

— Спасибо! — сказал продавщице и поиграл глазами. — До свидания, — высокомерно попрощался с охранником.

12

Призвав “дипломат” к груди, шёл тем же маршрутом, что и два года назад. “Два года и одиннадцать дней”, — уточнил. Да, тем же маршрутом, только в обратном направлении.

Чем дальше от метро, тем магазинов, разных заведений, контор на первых этажах становилось меньше, и Женька постепенно погружался в воспоминания. Не хотел, но погружался, как в воронку утягивался. Дальше, глубже.

Шёл тогда, как на убой. Скотину гонят, а он шёл сам. Повсюду озабоченные люди, но они знают, что через полчаса, через два часа, вечером придут домой, лягут в свою постель, а он... Где он будет вечером? Где уснёт? Что с ним произойдёт завтра или послезавтра, или через три дня, когда привезут в часть? Армия, дедовщина... Афган вроде кончился, зато другого появилось навалом — Азербайджан грызётся с Арменией, в Фергане резня, в Казахстане, в Грузии; Прибалтика рвётся из Союза...

Немного успокаивало, что его призывают не во внутренние войска, не в стройбат, а в пограничники. Там, кажется, и дедовщина не такая злая, и в горячую точку не пошлют. Хотя... Может, вообще врут про погран — чтоб пришёл. Придёт, а его куда-нибудь в Азербайджан...

Одет был в обноски. Частью свои, частью те, что дал Степаньч. Жалко было нормальной одежды — наверняка там сразу отберут... Лысая голова мёрзла под засаленным петушком. И ноги в кроссовках. Утро, помнится, было морозное.

Шёл и шёл, с каждым шагом приближаясь к метро. Потом проедет до “Ломоносовской”, но не сядет там в автобус, чтоб ехать в путягу, а пойдёт в военкомат. А оттуда... Оттуда его куда-то повезут.

Дрожал от страха. Действительно было страшно. Но кроме армии, он сейчас не видел никаких путей. Сдаться, положиться на судьбу, а через два года вернуться. Если повезёт. За два года многое изменится. А главное — он сам. Повзрослеет, окрепнет, поймёт, как жить. А убьют или зачмырят до состояния животного, значит, так ему и надо.

Позавчера вечером ему показалось, что нашёл другой путь. Бродил по центру: Пять углов, Рубинштейна, перекусил в “Гастрите”, дошёл до Центрального телефона, отправил бодрую телеграмму родителям, что, мол, ухажу служить Родине, позвонил Алле и попрощался. Пустая и заснеженная Дворцовая площадь. Ветер на ней играет, хотя на Невском было спокойно.

Дошёл до Зимней канавки. Спустился к воде. Вернее, ко льду. Лёд был ребристый, как стиральная доска. Снег с него смело, и ребрышки напоминали заледеневшие волны. Да так оно, в общем, и было.

Дальше, ближе к Неве, перед мостом, поблескивала вода. Поблестит и погаснет — это проползает белая матовая льдина, — а потом снова заблестит, и снова погаснет.

Дней пять назад был почти плюс, а дальше навалились морозы. Наверняка завтра-послезавтра Нева встанет.

И захотелось ступить на лёд и пойти туда, к Неве, к открытой воде. Уйти в неё... На нём было драповое пальто. Такое тяжёлое, что давило плечи. Его подарил отец, когда Женька уезжал в Питер. “Там нужно хорошо выглядеть, — сказал. — Культурный город”. Сам отец нигде за пределами Хакасии не бывал. Родился в деревне, поступил в ФЗО в Абакане, отслужил в армии и стал работать на стройках, потом пригласили строить комбинат в Пригорске, дали квартиру.

Да, армия показала отцу пространство земли — отправили под Калинин. Он часто с удовольствием рассказывал про службу разные байки, анекдоты... Но тогда время было другое, и армия была другая, и страна. А теперь...

Пойти, пойти и уйти. Исчезнуть. Наверное, и испугаться не успеет — ледяная вода обожжёт, в голове заклинит. Вдохнёт пару раз и станет опускаться на дно. Пока хватятся, что исчез, — Нева превратится в поле до самого залива.

Достал деревянными пальцами сигарету, согнулся, прячась от ветра, закурил. О том, что его призывают, уже забылось, вместо этого тянуло узнать, как это будет, — соскальзывание со льда в воду. Может, лёд проломится, а может, он при следующем шаге не обнаружит под ногой опору. И — бульк...

Втягивал в себя дым, переминался, чувствуя, что коченеет. И вода стала представляться тёплой, мягкой. Захотелось в неё. Укрыться, спрятаться... И ничего не будет — ни армии, ни проблем.

А в армию, получается, он сбегает от проблем. Нечем платить за комнату, негде нормально работать; парней — Дрона, Вэла, — с которыми только-только стали зашибать хоть какие-то баблишки мелкой фарцой, позабирали в армию. Да ещё эта Алла...

В начале сентября на концерте “Кино” в СКК познакомился с малолеткой.

Цой на сцене пел свои хиты, а она стояла под сценой и плакала. Но не от восторга, а от обиды.

— Что случилось? — прокричал ей в ухо Женька.

Она подняла на него сморщенное личико и тоже крикнула:

— Зачем они так?

— Кто? — не понял Женька.

— Вон те.

Недалеко от них была толпа крепких взрослых парней, человек тридцать, наверно. Как только кончалась очередная песня, они начинали выкрикивать:

— “Кино” — говно! “Кино” — говно!

Парни не были похожи на гопников. По виду — обычные нефоры. Но Женька сказал ей:

— Не обращай внимания. Урла решила поглумиться. — И приобнял, и она с готовностью ткнулась лицом ему в грудь.

Позже Женька решил, что это, наверно, те бывшие фанаты “Кино”, что не могли простить Цою переезда в Москву, концертов группы на больших сценах вместо ДК, рок-клуба...

А с Аллой... Он проводил её сквозь забитый орущими, свистящими, откуда-то доставшими бухло чуваками парк Победы до метро. Предложил встретиться, и Алла дала ему номер телефона и объяснила, во сколько лучше звонить, чтоб трубку взяла она, а не родители. Женька хмыкнул на это подростковое словцо. А через два дня позвонил, стали встречаться, гуляли вместе.

Женьке нравилось, он напевал: “О-о, восьмиклассница!...” А Алла каждый раз поправляла:

— Я уже в десятый перешла. Так что не надо.

— Ну, так целый класс перескочила. — В том году школы стали одиннадцатилетками.

— А если по-старому — в девятой. Всяко-разно не восьмиклассница. — И Алла смеялась.

Она пригласила его домой. “Родичи на работе”. Он пришёл. Алла жила в Купчино, недалеко от метро “Звёздная”. Новая девятиэтажка, светлая и незахламлённая квартира. За год жизни сначала в общежитии, потом в норе у Степаныча Женька там прибалдел. Развалился на диване в большой комнате и пил чай из фарфоровой чашки. Алла смотрела на него пристально и серьёзно. Он не хотел понимать этот взгляд.

Недели через две она снова пригласила, и он снова приехал. Тогда и случилось...

Потом, понимая, что совершил, быстро собрался и убежал. Долго не звонил. Всё это время не проходили тошнота и страх. Снилось, что она залетела, рассказала про него, за ним приходит наряд, выводят, везут...

Может, просто не решился подойти к автомату и набрать её номер, может, выжидал, чтоб узнать, случилось или нет, — сам не мог понять. Но в конце концов, не выдержал.

Алла услышала его голос и стала кричать, давясь спазмами: “Где ты был?! Где ты был?! Я хотела умереть без тебя!”

На другой день встретились. Она требовала, чтоб он приехал к ней, но Женька настоял на встрече в центре. Алла была в школьной форме и куртке-дугике, с сумкой, в которой лежали учебники.

Была середина ноября, но день выдался тёплый. Может, и не очень выше нуля, но без ветра, с чистым небом. И они долго гуляли. От Гостиного Двора до Стрелки, по набережной Макарова...

— Слушай, а ты домик видел? — Алла резко остановилась.

— Какой? Тут сплошные дома...

— Не дом, а домик. Пойдём!

Схватила его за руку и потащила в арку. Женька затревожился — мало ли чего можно ожидать от пятнадцатилетней и явно влюблённой девочки...

Во дворе, прилепившись к глухой кирпичной стене, стояла избушка. Совсем деревенская. С палисадником, в котором росло кривоватое, явно плодородное дерево, с узорами на наличниках, с верандочкой...

— Ни фиги себе! — вырвалось у Женьки. — Как он уцелел вообще?

— Вот такие у нас в Ленинграде чудеса.

Алла в этот момент была такой... Не то чтобы красивой, а светлой, солнечной, что Женька чуть не обнял её. А она, не дождавшись этого объятия, убрала улыбку, сказала:

— Не бойся. У меня есть...

И с тем видом, с каким дети в детском саду показывают друг другу необычные фантики или бутылочные стеклышки, достала из кармана гармошку презервативов.

— Я с тобой хочу... Я люблю...

Он собрался ей много чего сказать, но всё об одном — “нельзя”. Вместо этого обнял и повёл к себе.

А пятнадцать минут назад сообщил, что уходит в армию. Всё. Алла там, внутри трубки, зарыдала, и он повесил трубку на крючок.

Её родители стопроцентно были дома. Прибежали, стали спрашивать, что случилось. Она им рассказала. И папа потребовал адрес, и, наверное, уже мчится на Четырнадцатую линию. Чтоб задавить эту мразь. То есть его, Женьку Колосова. Если б он был отцом пятнадцатилетней девочки из хорошей ленинградской семьи, он бы задавил.

Женька сосутил с гранитной плиты на лёд. Но одной ногой, и даже не ногой, а носком. Поймал себя на этом, и встал твёрдо. Сделал шаг, слегка подпрыгнул. Сделал ещё шаг.

Ветер здесь, в рукаве канала, дул с ровным и упорным напором, как в трубе. Нет, не с ровным, а пульсирующим. Будто где-то стоял великан с огромными мехами и качал воздух. И каждая порция этого воздуха становилась сильнее и плотнее. Женька нагнулся вперёд, чтоб ветер не опрокинул, вспомнил, что в подобной позе изображена свита Петра Первого на картине Серова, бормотнул язвительно:

— Да, не Пётр... — Швырнул в сторону окурок, пошёл вперёд уверенно, сам за собой наблюдая, гадая: утопитесь или нет?

И тут заметил — льдины впереди ползут не справа налево, а наоборот — вверх по течению. Решил, что показалось, что уже начались предсмертные глюки, что он и совершает это всё, потому что крезанулся от страха и безысходности.

А потом лёд канала ожил. Не ломаясь, не крошась, он стал двигаться навстречу Женьке, поигрывая рёбрышками, вспыхивая искрами.

Женька остановился, не понимая, что это, что с ним такое, со всем окружающим миром, таким реальным несколько секунд назад, и вдруг соскочившим с петель или с оси, и полетевшим на него...

На него шла вода. Слой воды. Это она, вода, шевелилась, наскокивая на рёбрышки, она искрилась отсветом фонарей.

Он развернулся и побежал, скользя, пробуксовывая, валясь то вбок, то назад. Но успел — заскочил на гранитную плиту, дёрнул вверх по лестнице. А вода прошла мимо, тихо шурша, булькая пузырями вырывающегося из трещин во льду воздуха.

Постоял, посмотрел и захохотал. Хохотал над собой, над всей этой ситуацией, и так, хохоча, пошёл на квартиру. Отца Аллы он не боялся — теперь хотел, чтобы тот оказался там и отделал его в фарш. Ссыкло такое, ничтожество, гниду безвольную...

13

Пересёк Малый проспект. И вот последние сотни метров пути. Дом 75, дом 77 — школа... Здание, слишком для школы суровое, — как старинный заводской корпус... Дом 85 возвышается одиноко, напоминает клык. За ним 89, четырёхэтажный, приятный... Уже скоро... Ему нужен 97Д. Арка в нём. И там, в глубине дворов, прикрытая от посторонних глаз навесом спуска в подвал, дверь лестницы. Первый этаж, налево...

На бульварчике, разделяющем Четырнадцатую и Пятнадцатую линии, стояла женщина, а рядом, отдёргивая от снега лапы, бегал дог. Женька узнал их — соседка Дина и её Бах. Дина, кажется, в том же пальто, что и два года назад.

— Здравствуйте, — сказал, подходя, и заулыбался; хотелось улыбаться, погладить пса, обнять Дину.

— О, здравствуйте! — Она не столько обрадовалась, сколько удивилась. — Вернулись?

— Да вот... отгарабанил.

Они часто встречались именно на этом месте — Дина выгуливала Баха, а Женька отправлялся утром в училище или возвращался вечером домой. Иногда коротко разговаривали. Дина была вечно грустноватой, а может, задумчивой. У неё была странная профессия: нотный корректор. Наверное, всё время слушала музыку, играющую у неё в голове, и пыталась найти ошибку.

Бах остановился, несколько секунд с подозрением смотрел на Женьку, а потом как-то по-щенячьи визгнул и подскочил к нему. Чуть не сшиб.

— Привет, привет! — потрепал его Женька по толстой и твёрдой шее. — Вспомнил... А, это, — обратился к Дине, — хозяйина моего видите? Степаныча... Жив он, нет?..

— Жив-жив, ещё как! Шустрит всюю.

— Ну, это хорошо. — У Женьки отлегло от сердца, даже задышалось легче. — Спасибо. Пойду тогда, попроведаю.

Дина грустно кивнула... Женька понимал, что нужно спросить, как у неё дела, хотя бы из вежливости, но будто сильный невидимка тянул его в арку. Скорее увидеть Степаныча, узнать про сумку... Да и замёрз он прилично. Особенно голова.

Арка. Один двор. Ещё арка, второй двор, крошечный, в самые ясные дни сумрачный. Глянешь вверх, и создаётся впечатление, что стены возвышаются не вертикально, а с наклоном внутрь двора, и пятачок неба совсем-совсем крошечный.

Вот навес над подвалом — жёсть доржавела до дыр, — а вот и дверь. Деревянная, двустворчатая, но одна створка приколочена к коробу; как-то жильцы, то ли выезжающие, то ли въезжающие, таскали мебель и выдрали гвозди, но потом кто-то — дух дома, не иначе — снова эту створку забил...

На лестнице пахнет прелью, как и тогда. Может, так же пахло и двадцать лет назад, и сто двадцать. Ну, не сто двадцать — дому поменьше. Начала века, судя по виду. Хотя за эти восемь десятилетий состарился он не меньше, чем человек.

Степаныч здесь — на Ваське — родился и прожил всю жизнь, даже в блокаду. С тринадцати лет работал — с осени сорок первого. Героический вообще-то человек, хотя на вид...

Так, так, спокойно. Пришёл. Будь дома, Степаныч, и не пропей мои несчастные шмотки... Пальто, джинсы, ботинки, шапку... кроличью тёплую шапку...

Вместо кнопки звонка два провода. Соединяем, и в коридоре раздаётся дребезжание. А следом — дверь тонкая, со щелями — шарканье и недовольное бормотание.

— Кто?

— Я, Степаныч! — Женька пугается своего голоса, одновременно и тонкого, и хриплого. — Я!..

Хруст, лязг. Дверь отползает.

— Ух, ё-о! Женья!

Два года никто не называл его Женей. Женька, Джон, Жундос... И Женька морщится, мигает, пряча слёзы.

— Проходи!

Сели на крошечной кухне. Степаныч потирал руками колени — искал, что сказать и не находил. Улыбался, чернели остатки зубов... Женька открыл “дипломат”, вынул водку, колбасу, сыр.

— Ух, бога-ато! — И Степаныч, не вставая, выхватил с полки две стопки. — За возвращеньеце?

— Наверно... Рад, что жив...

— Кто? Ты?.. И я рад.

— Рад, что ты жив, Степаныч.

— А, я... Мне-то что делается... Я — долгоиграющий.

Посмеялись. Коротко и натужно.

Побулькала, словно бутылка отмеривала глотки, сначала в одну стопку, потом в другую. Тускло звякнуло друг о друга толстое стекло.

— Ну, с возвращением!

— Да.

Водка вошла так легко, что Женька решил: разбавлена. Слабее вина градус. Почмокал губами, ища жжение... Нашёл. Стало жечь. И во рту, и там, в груди... Наверно, от волнения сначала не почувствовал.

— Пошинковать? — кивнул Степаныч на закуску. — У меня помидорки есть. Ты ж голодный... О, супик ещё, немецкий!

— В смысле — немецкий?

— У нас тут палатку возле рынка поставили и выдают пенсионерам с двух до четырех. Хожу — бидончика на три дня хватает.

— А при чём здесь немцы?

— Ну, они выдают. Гуманитарная помощь... Хороший супик, густой, с салом...

— Не, я лучше колбасы.

Степаныч хотел подскокнуть, Женька остановил:

— Давай сначала ещё по одной. Замёрз... Сумка-то моя целая?

— А как же! Лежи-ыт. Как было, так и осталось. Ты что?..

— Да я так... мало ли за два года...

— Два года. И ни слуху, ни духу. Написал бы хоть.

Женька усмехнулся:

— Да что писать... Служил как мог...

— Отслужил — и слава богу. — Степаныч поднял свою стопку. — Отдал долг родине. Меня вот не взяли — малокровие, рахит, ещё разное попадали...

— Ну и ладно. Не хрена там делать.

— Не скажи. Тогда это позором считалось — не отслужить. Может, у интеллигенции и по-другому, а у нас...

— Ладно. — Женька решил не продолжать этот полуспор; тем более день сворачивал к вечеру, нужно было выяснить главное.

Выпили, закурили, и он спросил:

— А комнату сдаёшь?

Степаныч покачал головой утвердительно.

— Ну, а как, Жень...

— Да, я понимаю. Ничего.

— Можешь у меня первое время — топчан широкий. А я побегаяю — может, сдаёт кто. Или его, ну, жильца нынешнего туда, или тебя... Мне бы с тобой, конечно. Тот такой... кривится всё...

Водка начала свою работу: тело расслабилось, в голове образовалось лёгкое тёплое колыхание. Хотелось отвалиться к стене, неспешно балякать, покуривать, жевать что-нибудь и время от времени подбрасывать внутрь ещё стопочку, чтоб колыхание не прекращалось. Держать его, не думать ни о чём. Тем более о том, что делать завтра, дальше...

— Домой поеду, — выдал Женька. — Всё равно не на что жить, и за комнату платить. Вот бутылку купил, закусить, и почти пустой. Билет хоть бесплатный оформили...

— Так, погоди! Кого — домой? — перебил Степаныч только сейчас, будто не сразу осознал первую Женькину фразу. — Там-то что? Там, поди, совсем... Везде вон всё закрывают. А Ленинград — он стоит пока. Держимся.

— Да я увидел...

Взгляд Степаныча стал строгим. Жёстким, скорее. Неожиданно и как-то для Женьки ново.

— Ты не кривись. Это так, внешнее. Держимся, понимаешь? И тебя удержим. Люди пропасть не дадут... Так! — осторожно забычковал сигарету и положил в ложбинку пепельницы. — Счас нарежу твоих деликатесов, помидорок, и потолкуем. Без харчей пить нельзя — попадаем просто...

Снял с гвоздя деревянную доску, оглядел близоруко, понюхал, положил на стол.

— О, погоди! — повернулся к Женьке. — О тебе ж тут справлялись!

— Что?

— Приходила одна месяца полтора назад, спрашивала.

Женька повторил:

— Что? — но уже понял, о чём и о ком говорит Степаныч, и страх, смешанный с радостью и надеждой, напряжинил тело, остановил колыхание.

Степаныч почти побежал к себе в комнату, чем-то там громыхнул и вернулся. В руке были розовые шерстяные перчатки.

— Вот, оставила, — протянул Женьке и с театральным напором добавил: — Забыла, видать.

Женька принял их, мягкие и тёплые, будто только что снятые с рук. Помял, и почувствовал, что внутри бумага.

Вынул сложенный несколько раз лист в клеточку. Развернул, прочитал: "Позвони. Алла". И номер телефона.

14

Последний по алфавиту расписался и сел на место. Майор-пузан оглядел лысые и волосатые головы, подвигал челюстью. Казалось, сейчас рявкнет первую в их армейской жизни команду. Но майор не рявкнул — сказал почти ласково:

— Десять минут на прощание с родными и близкими, а потом — в автобус. — И всё-таки не удержался, хлестнул громким: — Ясно?

Пацаны ломанулись стадом.

Женька не торопился. Его провожали ребята из путяги, но все напутствия были сказаны по пути сюда, на призывной пункт, единственная бутылка портвейна распита. Оставалось высосать с ними сигарету, получить хлопок по плечу...

В коридоре была толчея. Плакали, смеялись, слипались в объятиях по двое, трое, четверо... Офицеры и сержанты покрикивали:

— Проходим на улицу. — Но не жёстко, сдерживаясь: служба ещё не началась.

Женька протискивался к выходу. Хотелось курить, да и просто — на воздух.

— Жень, — голос, тихий и неуверенный, с вопросительной интонацией; знакомый голос.

Он глянул по сторонам, натываясь на близкие спины, затылки, лица чужих людей. Но вот мелькнуло знакомое. Мелькнуло и заслонило чьим-то туловищем.

— Жень!

Он дёрнулся и разглядел Аллу. Стояла, прижавшись к крашенной зелёным стене.

— Ты... — Женька захлебнулся. — Ты откуда?

— Тебя жду. Второй день.

— А как узнала, где?

До этого вопроса лицо Аллы было растерянно-счастливым, а теперь сделалось злым:

— Да вот нашла... Ты же говорил, где училище, посмотрела, какой район, военкомат... — И перевела взгляд выше, улыбнулась. — Какой ты прикольный без волос!

— Уху...

— Дай потрогать.

Не дожидаясь, поводила ладонью ото лба до макушки, повторила:

— Прикольно... Обними.

Он обнял, ткнулся в щёку губами, словно целовал младшую сестру. Пошёл на улицу.

Там уже начинало темнеть. Во дворе горел костёр, слабо тренькала гитара, и человек двадцать горланили:

Армия жизни — дети могил!

Армия жизни — сыновья помоек!

Армия жизни — солдаты дна!

Армия жизни помнит о том, что на Земле никогда...

Не прекращалась война-а!

Ребята — Макс, Юрец, Сява — пошли навстречу, но увидели, что он с девушкой, оторопело остановились. Про Аллу никто не знал.

Женька извиняясь глянул на них, потом дальше — на автобус. Вытащил сигарету из пачки.

— Возвращайся, — попросила Алла. — Я тебя буду ждать.

— Алл...

— Честно.

— Целых два года. Ты что?.. Не надо. Сейчас для тебя каждый месяц, как год — я помню себя в пятнадцать.

— Мне шестнадцать через неделю.

— Ну и что?

Она обиженно прикусила губу, шикнула:

— Ничего...

— Не обижайся. Забудь лучше.

— Не забуду. — И твёрдо, твёрже, чем в прошлый раз, повторила: — Я тебя буду ждать.

— Давай к чувакам подойдём. Они меня провожают.

Подожли. Женька сказал:

— Это Алла.

Ребята назвали сами. Вопросов не задавали.

Стояли, топтались на скрипучем снегу. Типа песню слушали. Ждали... Алла держалась за рукав Женькиной куртки.

Из военкомата повалили люди. Возле костра запели громче, злее:

*Им так не хватало солнца,
Но ночь была с ними на “ты”.
Вы их называли “шпаной”! Хой!
Они вас называли “менты”!..*

— В автобус! — раздалась команда. — В автобус!

Майор, потряхивая арбузом живота, пробежал к автобусу, словно первым решил её выполнить. Занял место у передней двери и стал выкрикивать фамилии.

— Я, наверно, путягу брошу, — сказал Макс. — Деньги надо зарабатывать.

Женька кивнул, чтоб как-нибудь отреагировать, пожелал:

— Удачи. Может, после армейки к себе возьмёшь. Как они... телохранителем.

— Может! — заржал Макс. — Возвращайся, короче. Береги себя.

Сам Макс был от армии освобождён — в детстве ему отбили почку так, что пришлось вырезать...

Послышалась фамилия Женьки, и сразу стало пусто внутри. Хлопки по плечам и спине, короткие пожелания: “Давай, Джон... держись... счастливо”. И Аллино:

— Возвращайся. Я буду ждать.

Отговаривать её при ребятах было глупо и унижительно. Женька обнял, отпустил и сказал:

— Пока.

И быстро пошёл к автобусу.

Сразу пробрался на заднюю площадку. Выдохнул. Вспомнил, что у него нет её адреса, и стало ещё легче. Всё — отрезало. Новая жизнь.

Призывники влипли в окна, махали провожающим. Стекла запотевали, они тёрли их рукавами... Женька стоял спиной к заднему окну, смотрел в пол, покачивал сумкой с колобками носков, трусами, щёткой, пастой, парой бутеров...

Военкомовский майор забрался в автобус и отрывисто, сквозь одышку, сказал водителю:

— В карантинку... на Обводном... давай.

Женька не выдержал, оглянулся.

Дым из выхлопной трубы ударил Аллу по коленкам, и автобус тронулся.

1991-1992, 1998, 2020

ЕВГЕНИЙ ЮШИН



КРАСНАЯ ДОРОГА

ИЮНЬ

Какой поэт тебя придумал?!
Каким ты вырвался огнём?!
Май полыхнул, пропел — и умер,
И скачут зори день за днём.

Срывает шапку одуванчик,
Дорога прячется в пыли,
И колокольчик в свой стаканчик
Мёд поднимает из земли.

И всё гудит: поля пшеницы,
И в жилах кровь, и дальний гром.
И шмель велюровый кружится
Над полыхающим цветком.

Ныряют на верёвке майки.
Кружи, июнь, меня, кружи!

ЮШИН Евгений Юрьевич родился в 1955 году в городе Озёры Московской области. Детские годы прошли на Оке и на Воже в рязанской деревне Лужки. Школу и историко-филологический факультет педагогического института закончил в Улан-Удэ. С 1978 года работал редактором в Центральном Доме культуры железнодорожников г. Москвы, здесь же несколько лет руководил литературным объединением "Магистраль". В 1986 году перешёл на работу в журнал "Молодая гвардия", которым руководил с 2000-го по 2014 год. Автор двенадцати поэтических книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени Александра Невского "России верные сыны", Большой литературной премии России.

По-женски вскрикивают чайки,
Стрижи черкают чертежи.

И, обомлев под небесами,
Склоняются на водопой
Коровы с волглыми глазами
И кони с бархатной губой.

Я здесь родился: в этих травах,
В счастливом щебете лесном,
В искристых волнах-переправах —
Лучом на листике резном.

Здесь вечерами свет старинный
Зари тягучей, словно мёд.
В мохнатой шубе комариной
Июнь по берегу идёт.

Его мы ждали с новостями
От земляничных бугорков,
С туманом, с полными горстями
Росы в ладонях лопухов.

И он пришёл! Ликуют птицы!
Густы и пенны острова,
И реки
 синие рубахи
С утра вдевают в рукава.

Пасут мальков Ока и Кама,
Хрустят кабаньи камыши,
О дорогой и близкой самой
Малинник шепчется в тиши,

И сладковато тлеет сено.
Я жду, любимая, когда
Твоих кудрей густая пена
Меня заманит в невода.

Звезда сорвалась, словно кричит,
И на стожок туман прилёт.
И сердце бьётся и трепещет,
Как подфонарный мотылёк.

И ты горячая, родная,
У костерка, где сон и тишь,
Зарёй колени поливая,
Меня, конечно, соблазнишь.

И долго будет ветер жгучий
Ночную заметать золой
Певучий луг и сад кипучий
Под самоварною луной.

БЕЛОМОРЬЕ

Было всё: и боль, и горе,
Счастье, песня и любовь.
Я теперь на Белом море
Остужаю в жилах кровь.

Мне понятен стон гагары,
Песня скриплого весла,
Отдалённый звон гитары
В серой роздыми села.

Растревожены гостями,
Завели собаки лай.
Сохнет роба под сетями,
Сгрызен ветрами сарай.

Стынут сломанные кости
Лодок, сваленных на бок.
Вбиты камни, словно гвозди,
На распятых дорог.

Снится ветру берег дальний,
Соснам — зори на крови.
Мир счастливый, мир печальный —
Песня боли и любви.

Эти дали нерушимы.
Но и здесь ползёт прогресс,
И скуластые машины
По дороге тащат лес.

Ветер — солью. Ближе небо.
Валуны да валуны.
Ловят волны в серый невод
Отражение луны.

Море пляшет, берег светит,
Катер бьётся, ветер жжёт...
Хорошо на белом свете!
Вечер звёзды стережёт.

Камни — в мшарнике ослизлом.
Куртка мокрая тесна.
Понял я, что слаще жизни
Я ещё не видел сна.

КОЛЫБЕЛЬ

Божья люлька — Земля. Нам желанно в родной колыбели,
В белой пене ромашек кружиться, в метельных ухлёстах.
Тополя наши пьяные! В окна щебечут капли.
Как всё это родимо, молитвенно, как это просто!

Как печально за звёздами в небе следить одиноком!
И робеет душа, холодеет, поёт и трепещет.
И когда осыпаются звёзды, как листья у окон,
Только струйка рассветной зари от печали излечит.

Я за тихими звёздами в небе слежу из акаций.
Словно в космос взлетаю. Комет золочёные гривы!
Осьминогами жадными щупают протуберанцы
Беспредельный простор, нашу Землю и сизые сливы.

Эти хищные бури готовы сожрать всё на свете!
В дикой пляске, ощерясь, бросаются в топкую бездну!
А у нас на Земле — частоколы дождей на рассвете,
Запотевшие окна и сердцем зажжённые песни.

А у нас на Земле и крапива-то жжётся, но лечит.
Колыбельную слышу... Всю жизнь свою
матушку слышу.
Для чего мы живём? Я на этот вопрос не отвечу,
Но и сам запою от восторга созвездиям рыжим.

Как прекрасно за звёздами в небе следить одиноком.
Но звезда полетела, угасла — и нет её вовсе...
Колыбельная песня плывёт от негаснущих окон,
А кленовые звёзды ветрами срываются в осень.

ДИЧОК

Мимо ровно сложенных поленниц,
Мимо огородов и берёз
Тонкой лодкой проплывает месяц,
Расставляя вешки первых звёзд.

Хорошо, что здесь дорог не слышно.
Притулившись к сонному стожку,
Можно любоваться стройной вишней
И её цветущему снежку.

И живут тут Верка с бабой Шурой.
Молодёжь — давно по городам.
Что тут слушать? Как лягушки-дуры
Раздувают песни по прудам?

У крыльца медами плещут липы.
А вдали за тридевять холмов
По калёной трассе гонят “джипы”
Горячащий воздух городов.

Я познал неоновые брызги
И дворцов заморских кружева,
И теперь готов под небом близким
Понимать, зачем душа жива,

Понимать печалинку пичуги
Подпевать дождевикам и заре.
Мне-то в радость тишина округи,
Только Верке скучно в тишине.

На пруду толкаются утята,
Две овцы у бабкиных ворот.
Смотрит Верка зло и виновато,
Перстень одуванчиком плетёт.

И под грозный шум густого вяза
На тягучий и удушный смог
Выбегает яблонька на трассу —
Бестолкушка милая, дичок.

УРАГАН

Кусты — в узлы! Вонзает ливень пули
В берёзу, в крышу, хлещет по двери!
Во тьме шныряют молнии-ходули.
Стихия!!! Ничего не говори!

Молчи, ничтожный! Ты ещё не знаешь,
Гордынею объятый человек,
Что эти ураганы ты рождаешь,
Враждой и злобой засевая век.

Вот отчего природы потрясенье!
Кардиограммы молний — знак суда.
Молись, несчастный, о своём спасенье.
Господь простит, природа — никогда.

.....
Поздравляем нашего давнего автора и дорогого друга с юбилеем!

НИКОЛАЙ КОНОВСКОЙ



ВЕКУ ВОПРЕКИ

УЕДИНЕНИЕ

...Небо, болота, леса —
Всё укрупняет слеза.

Полдень восстал высоко, —
Не дотянуться рукой.

Светом горит озерцо,
Как дорогое лицо.

За островами ольхи
Коршун сужает круги.

Сонно кузнечик звенит.
Луг благовонный пьянит.

Как поднебесный простор —
Мой добровольный затвор!

...Клеверным мёдом из сот
Время неслышно течёт.

КОНОВСКОЙ Николай Иванович родился в селе Варваровка Алексеевского района Белгородской области. Окончил Литературный институт имени Горького. Автор книг "Равнина", "Твердь", "Зрак", "Врата вечности", подборок в периодической печати. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

ВРАЖДА

...А были, веку вопреки,
Они — мелеющей реки
Крутыми берегами.
Потом — такая вот беда, —
Что разделила их вражда
И сделала врагами.

Не научила ничему
Нас жизнь, и пьёт ночную тьму
Готовый вскрикнуть петел.
И мысли наши и слова
Вражды слепые жернова
Перетирают в пепел.

Сказать бы, змия сокруша:
Мой брат, во тьме моя душа
Ослепла и оглохла, —
И вот тебе моя рука:

Ведь наша русская река
Почти что пересохла!..

* * *

Страшного мира жиличка,
Ставшая близкою вдруг, —
Птичка моя невеличка,
Что загрустила, мой друг?

Счастья неверного спичка
Вспыхнет, сжигая себя.
Птичка моя невеличка,
Я не обижу тебя.

Сада продрогшая дичка,
Перед тобою в долгу, —
Птичка моя невеличка,
Чем я тебе помогу?..

Рыщет по древней привычке
Не пощадивший нас рок.
...Птичка моя невеличка
Сжалась в дрожащий комок.

ТЕ, КТО БЫЛ БЛИЗОК И ДОРОГ...

Застольные речи обманны,
Но стих не лукав и не лжив...
Вот жизнь промелькнула, но странно,
Что я ещё всё-таки жив.

И путь утомительно долог
По рваному краю земли,
А те, кто был близок и дорог,
Растаяли в вечной дали.

Но снова бессмертное солнце
Восходит, поют соловьи...
Скажите, как там вам живётся,
Как можется, други мои?..

В блаженные годы, до срока,
Мог разве я предугадать,
Что люто их так и жестоко
Не станет когда-то хватать...

ТОЛЬКО БУРЯ И ВЕТЕР

...Заалеет не скоро в ночи за окошком восток.
Слава Богу, что мир равнодушен к тебе и жесток:
В нём не думай согреться.
Не с того ли, вперяясь глазами в кромешную тьму,
Жизнь листая, всё тщишься и тщишься понять, почему
Стало каменным сердце.

Слушай, слушай пронзающий душу неумолчный вой —
Мир, пустой и безлюдный, в котором и нет ничего —
Только буря и ветер...
Как золою холодной в ночи стал горящий огонь,
Как водою текучей ушла из ладони ладонь,
Жизнь прошла — не заметил...

УТРАТА

Струи речные, горящие, как лемеха!..
В окна открытые жарким глядящая летом,
Так нескончаемо и потаённо-тиха
Белая горница, чистым залитая светом!

Там, за окном, — щебетаньем наполненный сад,
Там — восходящая к небу, за садом, пшеница.
Тень промелькнёт да порою в тиши заскрипят
Музыкой дивной разохшиеся половицы.

Под зацветающей липою полутемно.
В зное сгустившемся дремлет недвижно отара.
Россыпью тяжкой горит на ладони зерно,
Сном опочившее в недрах дремучих амбара.

Долгое пламя пахучее льётся из сот.
Долго над степью висит неподвижная птица.
День нескончаемый!.. неуследимо поёт,
Дышит, блаженствует, в медленных водах дробится!

Врезанный вечностью в сердце отеческий край!
Влага летучая, роща безмолвно-сырая!..
Так на земле вспоминал свой потерянный рай
Изгнанный некогда вышнею волей из рая...

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



ТАБЛИЦА АГЕЕВА

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У Петра Дмитриевича Агеева вдруг начинали дрожать руки. Это вынуждало его откладывать ложку, ставить поднятую рюмку, воздерживаться от рукопожатий. Дрожание рук было следствием контузии, которую Пётр Дмитриевич получил в Афганистане, управляя боевой машиной разминирования. В Герате, в районе Деванча, машина села на фугас, взрыв подбросил железный короб и оглушил экипаж. Они с напарником сидели среди едкого дыма, залитые кровью, которая хлестала из горла, ушей и ноздрей.

Пётр Дмитриевич был из профессорской семьи, родился в Москве, жил на улице Горького в сталинском доме, увешенном мемориальными досками с именами актёров, конструкторов и полководцев. Из окон был виден памятник Пушкину, две кремлёвские звезды и великолепный перекрёсток улицы Горького с Бульварным кольцом. Пушкинскую площадь полосовали крест-накрест пылающие потоки машин, и он зачарованно смотрел на этот волшебный огненный крест.

Тверской бульвар, то весенний, изумрудный, то зимний, с чёрной графической деревьев на белом снегу, был местом его детских гуляний и юношеских свиданий.

Отец и мать преподавали историю в университете. Дома стоял застеклённый шкаф, в котором хранилась библиотека деда и прадеда, множество

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов "Чеченский блюз", "Красно-коричневый", "Идущие в ночи", "Господин Гексоген", "Крейсерова соната", "Человек звезды", "Время золотое", "Убийство городов", "Губернатор", "Гость". Живет в Москве.

удивительных книг. Ещё не умея читать, он перелистывал эти книги, пахнувшие старым клеем, как пахнет горький миндаль.

Когда он болел, мама приносила ему в кровать тяжёлые тома “Истории культуры”, и он рассматривал египетские храмы, испещрённые иероглифами, гробницы ацтеков с коричневыми мумиями, из которых выглядывали кости, а кругом стояли глиняные сосуды, каменные божки и светильники. Вечером, когда поднимался жар, в горячих сумерках летали над ним египетские иероглифы, похожие на таинственных насекомых, и маслянисто горели у потолка глиняные светильники.

Позже, школьником, он перечитал подшивки журналов “Аполлон” и “Весы” с певучими стихами неведомых поэтов, с изысканными статьями неизвестных философов, с сиреневыми садами Борисова-Мусатова, с пленительными дамами Бенуа. Этот книжный шкаф со звоном стеклянных створок казался забытым домом, в котором притаились молчаливые обитатели, дожидаясь времени, когда выйдут на свободу.

Прощальный школьный бал запомнился девушками в белоснежных платьях, зарёй на Москве-реке, серебряными чайками, скамейкой в сквере, где он впервые поцеловал мягкие девичьи губы, получил в подарок голубые стеклянные бусы. Девушка обещала прийти на свиданье в этот сквер, на эту скамейку. Не пришла. Он больше её не встречал. От синих бус остался стеклянный шарик, а потом и тот куда-то бесследно закатился.

Он готовился поступать в университет на исторический факультет, надеясь при поступлении получить поддержку отца-профессора. За несколько дней до экзаменов отец и мать погибли в авиационной катастрофе. Их самолёт разбился, когда возвращался из Сочи. Много лет спустя он всё представлял, как мать и отец в последние секунды, взявшись за руки, падали к земле.

Смерть матери и отца была сокрушительной, словно чья-то свирепая лапа вырвала клочок жизни, оставив рваную пустоту.

Он подходил к платяному шкафу, прижимался лицом к материнскому платью, вдыхая тонкий вянувший запах духов. Разглаживал отцовский пиджак, сохранивший запах вкусного табачного дыма. Надевал на себя галстук отца, в котором тот уходил в университет читать лекции, и лежал в этом галстукке недвижно, с глазами, полными слёз.

Он не пошёл на экзамен и осенью был призван в армию. Радовался тому, что внешняя строгая воля подчинила себе его безвольную жизнь, увела из дома, где всё напоминало любимых, причиняло нестерпимую боль.

Его отправили в учебный лагерь в казахстанских предгорьях. Загорелые грубоватые офицеры и сержанты учили стрелять из автомата, бегать по горам, водить неуклюжую, на гусеницах, боевую машину разминирования с тралом. Гроздья тяжеловесных катков утюжили землю, прокладывая проходы в минных полях.

Через два месяца самолёт опустил его в горячей степи Шиндандского гарнизона. Лёжа на железной койке в брезентовой палатке среди спящих солдат, он вдруг ярко, обморочно вспоминал входящую с мороза маму, её меховой воротник с тающим снегом, её лицо божественной красоты.

Он был командиром машины, а его подчинённым, механиком, толкавшим рычаги управления, был солдат. Его звали Фаддеем, фамилия — Лоб, чернявый, вёрткий, с глазами цвета чёрной смородины, в которых вдруг появлялся металлический медный отблеск. Он верил в пришельцев, считал себя одним из них. Любил смотреть в ночное небо, указывал среди сверкающих звёзд ту, с которой явился на землю. Среди дневного пекла машина раскалялась так, что прикосновение к броне вызывало ожоги. Они с Фаддеем размачивали в воде чёрствый хлеб, лепили к броне мякиши и ели горячие душистые лепёшки.

Вечерами, в сумерках, когда наступала прохлада, солдаты покидали БТРы и танки, сходились вместе в открытой степи. Рыли в земле лунки, наливали солярку и грели на огне банки с консервами. В ночи горело множество светильников, озаряя солдатские лица. Казалось, теплились лампы, и над ними склонились молитвенники, словно шло таинственное богослужение среди военных колонн, нацеленных в завтрашний бой.

Дивизия выдвигалась к Герату, тяжело переваливалась фургонами, тягачами, танками. Разместилась в пригороде, словно улёгся многолапый железный зверь. Устремились к пылающему небу чаши антенн. Нацелились на Герат стволы самоходных гаубиц и трубы “Ураганов”.

Город туманился в горчичной пыли, как мираж, с проблесками изразцовых мечетей. Взрехали “Ураганы”, посылая в Герат плазменные вихри. Город глотал снаряды, которые исчезали бесследно в горчичной пыли. Неохотно, лениво над городом начинали возрастать чёрные клубы дыма, вяло тянулись в небо, как одноногие великаны, танцующие медленный танец.

Бронеколонна входила в мятежный район Деванча. Боевые машины пехоты развернули пушки в разные стороны, втягиваясь в узкие улицы, и долбили из орудий по глинобитным домам и дувалам.

Он сидел в машине разминирования. Видел, как Фаддей ворочает рычагами, направляет машину в узкий прогал. Сквозь смотровые щели виднелись глинобитные стены с бойницами. Проплыла синяя луковка мечети, крашенные зелёные ворота. Трал с катками, как борона, качался перед носом машины.

Первый взрыв оторвал у трала каток. Удар прокатился по броне, и Фаддей отпустил рычаги. Машина, потеряв управление, боднула тралом гончарную стену, прочертила в ней борозду. Второй взрыв рванул под днищем, подбросил машину.

Спустя много лет Пётр Дмитриевич продолжал ощущать тот железный удар, расколовший голову, разломавший рассудок. Летела синяя луковка мечети, разбилась в щепы зелёные ворота. В голове открылся провал, из которого дул железный горячий ветер. Он и Фаддей сидели, залитые кровью. Из ноздрей Фаддея выдувался красный пузырь, блестели на губах выбитые розовые зубы.

В медсанбате его трясло. Он мычал. Рядом с ним мычал и сотрясался Фаддей. Всё указывал рукой в потолок, словно взывал к звёздам, хотел улететь на свою космическую прародину. Санитарный самолёт унёс их в Москву, где они расстались, обменялись адресами, но ни разу не написали друг другу.

После контузии дрожали руки и сохранился страх к земле, по которой осторожно ступал, боясь, что в тротуары и дорожки Тверского бульвара вживлены фугасы и мины.

В военкомате решили, что он может продолжить службу. Но теперь не в Афганистане, а на Байконуре, на космодроме, где ему дали тягач, и он перевозил тяжеловесные грузы.

Казахстанская степь цвела весенними маками, струилась серебристыми травами, топорщилась осенними колючками. Из этих маков, трав и колючек взлетали ракеты. Вдруг начинало угрюмо гудеть. Степь озарялась вспышкой. Появлялся белый бушующий шар. Жаркий факел выносил ракету. Она взмывала, оставляя в облаках туманную прорубь. Небо начинало играть. Летали радуги, горели перламутровые сполохи.

Он останавливал тягач и смотрел с восхищением, как зарастает небесная прорубь, вслушивался в замирающий гул.

Пётр Дмитриевич был благодарен судьбе за то, что стал свидетелем чуда. Гигантская ракета “Энергия”, подобная слепящему взрыву, ушла в небеса, унося с собой волшебную бабочку прильнувшего к ней “Бурана”. Казаюсь, над степью зажглась огромная люстра. Крылатое диво в буре огня вознеслось на небо, оповещая громогласным рёвом начало фантастических времён, о которых мечтали люди.

В тишине после взлёта ракеты всё замерло, чутко прислушивалось, бессловесно молилось. Ожидало, когда с неба вернётся гонец, принесёт долгожданную весть.

Дул ледяной ветер. По степи летели бесчисленные перекасти-поле, комья колючек. Казалось, мчатся бесчисленные духи, стараясь покинуть землю перед тем, как явится посланец небес. Возвестит о начале новых времён.

Пётр Дмитриевич помнил, как стоял у своего тягача среди летящих колючих ворохов и, не зная ни единой молитвы, молился. Увидел, как над

степью возникло небесное тело, ослепительное, будто серебряный слиток. “Буран”, покидая космос, приближался к земле. За ним следовали два истребителя, приветствуя космического собрата. “Буран” коснулся бетона, полыхнул синим дымом. Два тормозных парашюта бурлили, рвались, гасили бег челнока. Казалось, в парашютах ещё бушует Космос, не желает отпускать восхитительную белую птицу.

Там же, на Байконуре, он видел, как маститые академики, генералы, конструкторы обнимали, поздравляли высокого человека с восхищённым лицом, на котором сияли чудесным светом глаза, словно они увидели неземное диво. Это был министр Богданов, душа космического проекта “Энергия” — “Буран”. Его сияющие космические глаза.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Отслужив в армии, он вернулся в Москву, в свою родную квартиру на Пушкинской. В ней ничего не изменилось. Всё тот же чудесный книжный шкаф с запахом миндаля. Тот же комод с материнскими платьями и отцовскими костюмами, от которых едва уловимо пахло духами и табаком. Кресло-качалка, в которое можно сесть и сладко, с закрытыми глазами, качаться, слыша, как в соседней комнате смеются мать и отец.

В доме было всё то же. Но снаружи, на улицах, бурлила незнакомая страстная жизнь. Под окнами в сквере с утра собирался народ. Кричали, вскакивали на парапет, размахивали кулаками. Человек с благовидной бородкой, в русской косоворотке, выкрикивал в мегафон:

— Товарищи евреи, большая к вам просьба! Собирайте чемоданы и, пожалуйста, уезжайте в Израиль!

Его сторонники яростно восклицали:

— Чемодан, вагон, Израиль!

Тут же проходил другой митинг. Полная женщина, грассируя, гудела в мегафон:

— Русские фашисты, предупреждаю, вас ждёт Нюрнбергский процесс! Помните судьбу Гимmlера и Риббентропа!

Её поддерживали криками:

— Фашизм не пройдёт! Долой коммуно-фашистов!

По улице Горького шли демонстрации. Плотные взвинченные колонны рвались к Красной площади. Их встречали внутренние войска с дубинками и щитами. Обе силы сталкивались на перекрёстке. Грохотали щиты, взлетали дубинки. Визжало, ревели, стеноло. Он смотрел с тротуара, как бежит молодая женщина с окровавленным лицом, как ковыляет старик, и солдат в каске догоняет его и бьёт дубинкой.

Он не понимал смысла этих столкновений. Не запоминал имена вождей. Не знал, к кому примкнуть. Ему казалось, что осыпается огромная, казавшаяся неподвижной гора. Из неё выпадают камни, осыпаются склоны, сходит оползень.

Он свыкался с этой неутрахающей бурей. Ее волны исходили от необычных людей, с которыми он ненадолго сходил, жадно внимал их проповедям. Но рядом с прежним появлялся новый проповедник, и его проповеди казались ещё привлекательней.

Седовласый философ с восторженными глазами волхва делил всех людей на “властителей” и “гармонителей”. Первые, подобно Сталину, были насильники и разрушители, проливали моря крови. Вторые, подобно Горбачёву, исцеляли раны, возвращали, как садоводы, а не рубили, как лесорубы.

Был страстный аналитик, полагавший, что Советский Союз следует раздробить на восемьдесят частей и каждую отдельно встраивать в европейскую цивилизацию, тем самым наполняя содержанием формулу: “Европа — наш общий дом”.

Измождённый писатель, хлебнувший горя в сталинских лагерях, хотел, чтобы каждый конвоир и надзиратель, каждый чекист и член трибунала посадил яблоню, и, когда дерево покроется цветами, они будут прощены.

Другой писатель, напротив, требовал выявить всех, кто был причастен к репрессиям, чтобы их всенародно судить, объявив коммунистическую партию и госбезопасность преступными организациями.

Кто-то предлагал все ракеты и танки свалить в единую гору, вбить в эту гору огромный железный кол и назвать это сооружение “Горой мира”.

Известный историк предлагал переименовать Россию в Московию. Другой историк полагал, что казаки и поморы — не русские, а совсем особый народ. Третий считал, что Ленина следует извлечь из мавзолея, отправить в стеклянном гробу в круиз по континентам, выставлять в мировых столицах, но брать за это деньги, пополняя оскудевший бюджет.

Пётр Дмитриевич вспоминал это время, как время колдовства. В околдованных людях просыпались притаившиеся сущности, и люди начинали летать. Раз в году из муравейника появляются крылатые муравьи, выются поблескивающим роем, а их быют на лету пучеглазые голубые стрекозы.

Потом появились танки. Они катили по улице Горького, грызли асфальт, окутанные синей гарью. Стекла дрожали. Танки угрюмо качали стволами. Один танк попятился кормой, встал у памятника Пушкину, направил орудие на перекрёсток.

Тогда же по телевизору он слушал заявление первых лиц государства о создании Комитета, который брал на себя управление страной. Среди членов Комитета он узнал Богданова, создателя “Энергии” — “Бурана”.

Улицы вмиг опустели. Так холодный ветер сдувает комаров-толкунов.

Он смотрел на танки, вспоминая бронекolonны на афганских дорогах, и ему казалось, что война докатилась теперь до Москвы.

Однако с полудня люди снова появились на улицах. Опасливо обходили танки. Осторожно к ним приближались. Здоровались с танкистами. Выносили из домов бутерброды, кофе в термосах, бутылки с водкой. Появились девушки, ярко накрашенные, смешливые. Одна поцеловала танк, оставив на броне отпечаток помады. Другая залезла на броню и обнималась с танкистами, и её утянули в люк, в глубь танка. На броню бросали цветы. Танки стояли в ворохах цветов, притихшие. Из жерла пушек торчали букетики гвоздик.

А потом танки ушли, и на телеэкране вместо аметистовых балерин и неловких, с дрожащими руками политиков появились бурлящие толпы. Колонна, возглавляемая Ельциным, шла по проспекту. Несли перед собой огромное трёхцветное полотнище, как рыбаки несут бредень. Улавливали в этот бредень всё новые и новые толпы. Вся Москва, как пойманная рыба, колыхалась в трёхцветном бредне.

Ночью он спускался по улице Горького к Кремлю, видя под ногами изрезанный гусеницами асфальт. Было людно, как во время гуляний. Незнакомые люди подходили к нему, обнимали, восклицали: “Свобода! Свобода!” Было много трёхцветных флагов, цветов. На дощатой эстраде стоял музыкант с чёрной остроконечной бородкой, с вихрами, похожими на козлиные рожки, и играл на саксофоне. Инструмент извивался в его руках, как серебряная змея.

Казалось, что дует горячий втер, могучий сквозняк. Выдувая из города воздух, уносит с земли атмосферу. Город задыхался, здания иссыхали, становились плоскими, шелушились. С них опадала чешуя.

На Лубянской площади здание КГБ жутко чернело окнами. В свете прожектора, среди кричащей толпы, качался в железной петле памятник Держинскому. Люди обращали вверх счастливые лица, глядя на бронзового висельника.

На Старой площади, у здания ЦК, толпились люди. Чернявый вёрткий парень в джинсах и замызанной майке с изображением американского флага залез по стремянке и долотом сбивал с фасада надпись: “Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза”. Золотые буквы отскакивали от стены, со звоном падали на асфальт. Люди с хохотом их подбирали. Золочёная буква “М” упала ему под ноги. Он поднял её и держал.

— Петруха, ты, что ли? С нами? Отлично! — парень с долотом окликнул его. Это был Фаддей Лоб. Спустился по лестнице. Обнялись.

— Мы, пришельцы, установим космический порядок! Пойдём со мной в Белый дом! Там выступает Ельцин!

Фаддея закурили другие люди, куда-то утащили. А он остался один, держа в руке букву “М”.

На улицах и площадях дул сквозняк. Незримые духи покидали Москву, уносились туда, откуда когда-то явились.

Что запомнилось Петру Дмитриевичу из последующих лет? События напоминали пластилин, сплипались. Из лишнего месива полыхал огонь, летели пули, лилась кровь. Кто-то постоянно кричал, звал, проклинал, умолял.

В доме, где он жил, обитали знаменитые поэты, артисты, учёные. На фасаде красовались мраморные и гранитные доски в честь именитых жильцов. Теперь же двор дома облюбовали проститутки. Собирались в сумерках в глубине двора. Подкатывал вместительный джип. В свет фар набегали проститутки. Мерцали их разноцветные юбочки, накрашенные лица. Здоровенный парень обходил их ряд, заставлял поворачиваться спиной, открыть рот. Так на ярмарках покупали лошадей. Три или пять проституток забирались в джип. Машина уезжала, а проститутки оставались в темноте двора, пока не подъезжала другая машина. Утром, когда он выходил из подъезда, в нос шибал едкий запах мочи. Это проститутки ночью мочились у стен дома.

Он не долго выбирал, чью сторону взять среди бесчисленных столкновений. Выбрал ту, что ходила под красными флагами. Вместе с демонстрантами попал под дубины солдат.

Его били у Белорусского вокзала, когда нестройно шли ветераны, писатели, рабочая молодёжь. Они сели на мокрый асфальт, закрыв голову руками, а солдаты внутренних войск ходили среди них и наносили удары дубинками.

Их били у площади Маяковского, когда он нёс впереди колонны красный флаг. Навстречу двигался сомкнутый строй солдат в касках, с железными щитами. Когда два строя сошлись, он ударил ногой в железный щит, и гулкий удар слился с другим ударом, прозвучавшим когда-то в Герате.

Их били в Останкино. ОМОН в белых шлемах, размахивая дубинками, вламывался в толпу, и какая-то женщина визжала, карабкалась на фонарный столб, и он видел перед собой узорное литье столба и её голые ноги.

Он ненавидел. Был готов стрелять в костоломов, в тяжеловесных парней, уводивших в джип раскрашенных девушек, в музыканта, похожего на бородатого козлика с серебряной змеей в руках, в тяжкого хриплого, жуткого в своей разрушительной мощи Ельцина, окружённого роем крикливых, назойливых, беспощадных сподвижников.

Он был с баррикадниками, которые упорно, как муравьи, сносили к Белому дому из окрестных дворов доски, арматуру, старые ящики и комоды. Громоздили весь этот хлам перед мраморным фасадом Дома Советов. А потом пели, танцевали, читали стихи, ходили крестным ходом, и он нёс перед собой тяжёлую доску с Богородицей, а над баррикадой трепетали три флага: красный, Андреевский и чёрно-золотой имперский. Там был милый смешливый парень с забавным хохолком. Он кричал кукушкой, одаривая баррикадников долготетьем. Его так и звали — Кукушка.

Хождение по чёрным, без света и тепла, коридорам Дома Советов, где мерцали и гасли фонарики, теплились свечки. Вспыхивал на мгновение ствол автомата, нашивка приднестровского батальона, знак баркашовца, золотой погон отставного офицера. Было чувство, что осаждённый Дом Советов, окружённый колючей спиралью, цепями солдат, был неприступной крепостью, откуда начнётся победное наступление, опрокинет ненавистную власть.

Тот чудесный, стужённый день, солнце, голубое небо, когда многолюдье прорвало оцепление солдат, разметало колючую проволоку, и состоялось братание, словно соединились два фронта. Люди целовали друг друга. И среди этого ликования, обнимая кого-то, он обратил вверх лицо и увидел в зелёном осеннем небе клин журавлей. Журавли кружились, курлыкали, а потом медленно покинули зелёное каменное небо, и все притихли, провожали печальный клин.

Потом горело Останкино. Грохотали пулемёты, длинные пунктиры врывались в толпу, выстригая в ней пустоты. Он слышал, как чмокнула пуля в бегущую рядом женщину. Шальной БТР носился, разрубая толпу. Из люка смотрело сумасшедшее, с белыми глазами лицо водителя. Ненависть к этому водителю, к осатанелому БТРу была столь велика, что он кинул бутылку с бензином. Промахнулся. Бензин горел на асфальте, а по нему с воём бежали люди.

Он вернулся в Дом Советов, лёг на пол и завернулся в ковёр. Дрожал, то ли от холода, то ли дала себя знать контузия, которая вновь в нём воскресла.

Танки били болванками по Дому Советов, стоя на мосту, вздрагивая при каждом выстреле. Он ждал, когда в окно ворвётся снаряд, расплющит его красной кляксой. Паренёк, которого звали Кукушкой, взял образ Богородицы и вышел навстречу танкам. Шёл, пел, куковал, выставил икону, умоляя прекратить стрельбу. Его скосила пулёмётная очередь, и он остался лежать на асфальте.

Их выводили из Дома Советов с поднятыми руками. Рядом бесновалась толпа, размахивала велосипедными цепями. Было солнечно, жутко. Униженный, погранный, он покидал Дом Советов. Сзади разгорался пожар, белые стены лизала чёрная копоть.

Он бежал из проклятой Москвы, спасаясь от погони. За ним гнались духи в чёрных масках. Сквозь прорезь смотрели свирепые, налитые кровью глаза. Их вёл по следу музыкант, похожий на козлика. Путь указывала серебряная змея.

Он пересаживался с поезда на автобус, с попутной машины на электричку. Путал следы, кидался вспать, ночевал на вокзалах и вскакивал ночью, слыша приближение погони. Он убегал, не зная куда, гонимый едким страхом, слыша за спиной стук солдатских сапог, рёв толпы, хруст стены, которую пробивает снаряд. Стремился туда, куда во все века стремились беглые каторжники, староверы, попы-расстриги, измученные крепостные крестьяне. Огромный русский ветер раздувал его пальто, гнал на восток, пока вдруг не утих.

Он стоял на берегу осенней реки, на окраине села. Кругом великолепными иконостасами золотились леса, синели ели, летела в небе одинокая сойка, дрожала на реке студёная рябь.

Он очнулся. Бег его прекратился. Именно сюда он стремился. Мечтал о реке, о синих далях, в которых туманились золотые леса, о холодной капле дождя, которая упала ему на лицо. Он вздохнул, благодарный кому-то, кто смотрел на него из осенней тучи. Пошёл в село, в крайний дом, просить-ся на постой.

Он поселился у одинокой старушки, тётки Поли, которая охотно отвела ему каморку за печкой. Устроился лесником, и началась для него удивительная жизнь среди лесов, туманных просек, болот со ржавыми камышами.

Он срывал с куста малины запоздалую ягоду, чувствовал на губах её сладкую каплю. Слушал, как стихает стрекот улетавшего рябчика. Видел, как из ельника просовывается губастая лосиная голова с фиолетовыми глазами.

С лесниками, деревенскими мужиками они клеймили лес, и он ударял в гулкий ствол железным клеймом. Собирали еловые и сосновые шишки на семена, чтобы высаживать на гарях и пустошах хвойные саженцы. Пили водку, сначала молча, а потом все разом начинали галдеть, и он любил их гомон, их обветренные небритые лица, их хитрости, когда они сбывали на сторону незаконно спиленный лес, их издёвки над начальством и незлые насмешки над ним, горожанином, профессорским сыном, занесённым в их глухомань.

В селе была библиотека, большая, запущенная, примечательная тем, что в неё в смутные времена свозили книги из разорённых дворянских поместий. В её собрании были великолепные дореволюционные издания Гоголя, Лермонтова, Достоевского, а также советская фантастика. Он забирал книги, уносил в свою избу и читал, сидя за печкой.

В короткие зимние дни он бродил по лесам на широких охотничьих лыжах. А в долгие вечера садился за книги в своей каморке.

Натоленная печь слабо пахла медом. Тётя Поля раскладывала на столе карты, тасовала дам, королей и валетов. А он читал.

Прочитал всех русских поэтов от Фёдора Глинки до Твардовского. Всех русских прозаиков и советских фантастов. И по мере того как читал “Войну и мир”, или “Братьев Карамазовых”, или “Час быка” Ефремова, в нём росло чувство, что все они, писавшие свои дивные поэмы и романы, стремились познать неведомую высшую тайну, которая, непознанная, присутствовала в мире, витала над землёй, манила. Они приближались к ней, почти касались, а потом отступали, умирали, не дожив до божественного откровения.

Он прочитал хранившееся у тёти Поли старенькое Евангелие и понял, что этим откровением было Царствие Небесное, где нет смерти, нет гнёта, нет боли и где люди встретятся, забыв о земной вражде, ведая только любовь. Каждый русский писатель на свой лад писал свое евангелие, выводил путь, по которому можно достичь Царствия Небесного.

Это стремление русских писателей к недостижимому Царствию Небесному он назвал “Русской Мечтой”. Он и сам, подобно русским писателям, жил Мечтой. Был Мечтателем. В Афганистане, когда сидел в стальном коробе гусеничной машины. В толпах, шумящих под красными флагами. На баррикаде, неся в руках икону Богородицы. Он был Мечтателем, но не догадывался об этом. Теперь же это ему открылось.

Зимняя ночь. Крохотное оконце в узорном инее. Тетя Поля спит. Он читает, и ему кажется, что сейчас распахнётся потолок, откроется звёздное небо, и он устремится в сверканье, в мерцанье светил, которые расцветут сказочными цветами, несказанными дворцами. Теми, которыми полнятся русские сказки.

Весной, когда таяли снега, и кусты на опушках наливались живыми соками, стояли, как розовые и золотые шары, в селе появилась молодая женщина. Приехала из города погостить у тётки на время, пока муж находился “на северах”, зарабатывать деньги. Её звали Вера. Она была статная, с пышной грудью, шла по селу, улыбаясь, не поднимая глаз. Знала, что из всех окон наблюдают за ней. За её сапожками, меховым тулупчиком, цветастым платком, белым свежим лицом, на котором румянились губы, чернели подведённые брови, улыбались карие ласковые глаза. Он повстречал Веру на улице, поздоровался. Глаза её были весёлые, приветливые, словно она знала, что после этого ласкового взгляда он станет думать о ней, искать новой встречи.

И встреча состоялась.

Из тёмного неба сыпал мокрый снег. На улице ни души. Кое-где чуть теплятся окна. Они с Верой идут за село, откуда дует просторный ветер весны, пахнет тальми снегами, мокрой пашней, сырыми очнувшимися лесами. Они идут вдоль реки по ночной дороге. Ни пешехода, ни автобуса, ни машины. На реке в тумане плывёт огонь, рыбаки в лодке ловят на свет рыбу.

— Это боги! Это русские боги, — говорила Вера.

Он не понимал, о каких богах она говорит, но чувствовал, как вокруг витают незримые духи.

— Это русские боги! — повторяла она.

Он и Вера окружены светящимся туманом. Ночным открывшимся зрением он видит её мокрое от дождя лицо, дышащие губы. Говорит ей о Мечте что-то несвязное, восхитительное. Она отвечает ему такой же несвязной речью о русских богах, которые привели их на берег весенней ночной реки. Он обнимает её среди этой весны, опьяняющих ароматов, у туманной реки, по которой плывёт волшебный огонь. Мечта, она вот, рядом.

Автобусная будка, пустая, с шелестящим по крыше дождём. Он в темноте обнимает её, целует холодное, смеющееся лицо, прижимает губы к горячей открытой груди. Скамья, на которую он её опустил, тесная, сырая. Её тихий смех, громкий глубокий вздох. Они поднимаются, выходят на дождь

и молча идут по дороге в село. И в нём такое счастье, лёгкость, благоговение перед ней, подарившей ему эту весну, незабываемую ночную дорогу, уплывающий в тумане огонь.

К лету она уехала, не простившись. Её увёз вернувшийся муж, и больше он её не видел. Но всю жизнь вспоминал их тайные встречи, маленькую светёлку, где она жила, и он прокрадывался тайком, пробирался на ощупь сквозь тёмные сени в тёплую комнатку, где на стене висела гитара, стояла высокая, с железными шарами кровать. Её полное, голое плечо в темноте. Шары на спинке кровати, как серебряные слитки. Он засыпал, обняв её грудь. На рассвете ушёл, и она что-то сонно, улыбаясь, произнесла на прощанье. Он вышел на крыльцо. Стояла огромная малиновая заря, отражаясь в реке. Река остановилась, отяжелела от зари. Земля оставалась тёмной, на тёмной горе цвели черемухи, пахло их горечью, и по всей горе пели соловьи. Он стоял счастливый, любящий, среди соловьиных свистов, под малиновой весенней зарёй.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вскоре и он оставил село и пустился в странствия. Не задерживался подолгу на одном месте. Менял работу, пробуя себя трактористом, рабочим в геологической партии, охранником, каменщиком на стройке.

Мимо него, не задевая, не рая, прошли Чеченские войны, сначала одна, потом другая. Сменилась власть. Страну терзали теракты. Он отмахивался от них, сторонился московских треволнений и бурь.

Свою великолепную московскую квартиру он сдал богатому армянину. Тот высылал ему деньги, большую часть которых он не тратил, а сберегал.

Мечта о сказочном царстве, о небесном чуде, о вселенском братстве не оставляла его. Он видел, что русский народ-мечтатель, создавший великое государство между трёх океанов, теперь потерял Мечту. Государство разрушалось и падало, а вместе с ним погибал народ.

Признаки этой гибели наблюдались повсюду. Город, который когда-то расцвёл вокруг оборонного завода, теперь, когда завод закрыли, — город превращался в руину. Дом культуры, стадион, памятник советскому солдату ветшали, шелушились, тонули в мусоре. Рабочие превратились в бродяг, слонялись без дела. Растаскивали бесхозный завод, тащили в свои утлые жилища бессмысленные обломки. Приборы, трубы и вентили, листы железа, детали неведомых изделий, которые прежде мчались в небе, плыли под водой, взлетали на орбиты. Люди, как молчаливые муравьи, тащили мёртвых личинок, и глаза их были полны тусклого дыма.

В большом придорожном селе, где когда-то славился богатый совхоз, колосились поля, гуляло тучное стадо, теперь вместо коровников стояли скелеты, поля зарастали лесом, заборы повалились. Мужики спились, гурьбой слонялись по улице, осаждали магазин, вымаливая у продавщицы бутылку. Женщины, оставляя дома детей, молодые и старые, выходили на дорогу, предлагая себя дальнбойщикам. Возвращались в село с размазанной по лицу помадой.

Он видел страшную драку цыган и русских. Хрустели колья, хрястали железные шкворни. Бородатый цыган держал на ладони свой кровавый вытекший глаз. Русский парень схватился за бок, в котором торчала финка. Мужики с двустолками палили картечью, и цыгане убегали, волокли по земле убитых и раненых.

В городке судили подростков. Ученики старших классов изловили молодую учительницу, привязали к столу и насиловали всем классом. Вытолкали голую на улицу.

Он видел, что в народе поселился зверь. Народ-великан, народ-мечтатель, победивший в страшной войне, полетевший в Космос, потерял Мечту и превратился в народ-лилипут, народ-малOVER. Невыносимым страданием была жизнь среди погибающего народа, и он думал, как вернуть народу Мечту.

Он осел в небольшом губернском городе, поступил в институт на исторический факультет и окончил его заочно. В институте был интернет-кабинет. Он часами плавал в таинственной ноосфере интернета, читая философов, историков и богословов, статьи которых он когда-то находил в журналах “Аполлон” и “Весы”, пахнущих горьким миндалём. Теперь же эти мудрецы говорили о существовании восхитительного царства, к которому во все века стремилась русская душа. Почти достигала ослепительного чуда и вновь срывалась в сумерки.

Он чувствовал своё предназначение. Он должен изгнать из народа зверя и вернуть народу Мечту.

Однажды он шёл по горячим лугам, перебрал студёные ручьи. Кругом всё цвело, благоухало, летали стрекозы, кружили бабочки. Высоко парил медлительный ястреб. Блестела река. Он шёл без усталости среди колыхания трав и блеска солнечных вод, и его душа молитвенно стремилась ввысь, зывала, ожидала долгожданного чуда. Вдруг полыхнули воды, ослепительно вспыхнули травы, взлетели из воды все рыбы, взметнулись все луговые птицы. Могучая бесцветная вспышка ослепила его. Он поднялся ввысь и оттуда увидел всю землю, всё небо, всё мироздание. Оно цвело, благоухало волшебным садом, и в этом саду было множество прекрасных людей. Его бабушка, мать и отец, и молодой лейтенант, погибший под Гератом, и те жених и невеста, сгоревшие в Доме Советов, и зарезанный в драке парень, и изнасилованная учительница, найденная в петле. Все были живы, прекрасны, любили друг друга.

Это длилось мгновение. Вспышка погасла. Он спустился на землю, стоял в ручье, и вокруг сновали стрекозы. Он побывал в сказочном царстве. Ему открылось небывалое знание. Он был там, куда звала русская Мечта, где нет смерти, а только одна любовь.

Это чудо было сладостно, несказанно. Он ждал его повторенья. Бродил по тем же лугам, перебрал те же ручьи. Но чудо не повторялось. Тихо остывало, рождая печаль.

Но вдруг он увидел сон. Ему явилась Русская Мечта в виде золотой мозаики, которой выкладывают в храме изображение Богородицы. Он не знал, в каком храме сияло это золотое изображение, — в Святой Софии Цареградской, или в Софии Киевской, или в Новгородской. Быть может, оно сияло в том царстве, что явилось ему среди лугов и ручьёв.

Изображение Богородицы состояло из множества золотых частиц. Каждая была таинственным кодом, пробуждала в народе его сокровенные свойства, делала народ необоримым мечтателем. Эти коды в виде золотых частиц, были выложены в особом порядке, в особой последовательности. Только при этой последовательности возникало изображение Богородицы, слагался образ Мечты.

Нескольких золотых частиц не хватало, и он во сне принялся их искать, чтобы заполнить пустоты.

Сон был яркий, огненный, запечатлелся в нём, как отпечаток. Сохранился после пробуждения. Он видел последовательность кодов, видел пустоты недостающих частиц. Коды складывались в таблицу, которую предстояло дополнить.

Он записал свой сон. Нарисовал Богородицу. Начертил таблицу, в которой каждый код будил в народе то или иное чувство, а все вместе они рождали Мечту.

Он стал обладателем таинственных знаний, хранителем волшебных кодов. Владел чудотворной таблицей, коды которой преображали народ. Возвращали народу Мечту.

Он описал явленное ему видение, отправил в местную газету. К удивлению, это описание было опубликовано под рубрикой “Чудаки”.

Он написал другую работу, о Русской Мечте. Послал в московскую газету. Статья была напечатана в рубрике “Нечто”.

Его пригласили в Москву на телепрограмму, занимательную и весёлую. Он поехал, выступил. Это выступление, его рассказ о Русской Мечте породили несколько других приглашений, в другие программы, развлекательные

и научные. “Мечта” кружила воображение редакторов и телеведущих. Он решил, что так проявляет себя то несказанное чудо, которое его посетило в лугах. Тот сон, в котором ему явилась таблица. Когда вспышка, что его ослепила, утратила свой слепящий свет, он стал различать множество новых явлений, о которых раньше не ведал. Ему стало открываться таинственное содержание русской истории, тайные коды, которые в ней хранились и позволили народу создать непомерное государство среди трёх океанов.

Он стал различать музыку русской истории, “музыку русских сфер”. Невидимый пианист играл на поднебесном рояле. Нажимал одну клавишу, и русские землепроходцы и казаки выходили к берегу Тихого океана, смотрели, как всплывает из пучин сказочная рыба-кит. Нажатие другой клавиши, и русские танки танцуют кадрили на бункере имперской канцелярии, закупоривая вход в преисподнюю. Нажатие третьей клавиши, и русский человек с белоснежной улыбкой летит в Космос.

Наконец, после долгих скитаний он вернулся в Москву. Продал дорогую квартиру на Тверской. На вырученные деньги купил небольшой двухэтажный домик в ближнем Подмоскowie и машину. Перевёз из московской квартиры мебель, старомодный книжный шкаф, старинный письменный стол, светильник из наборного стекла. Оставались деньги от предыдущих накоплений, что позволяло ему скромно существовать, не заботясь о хлебе насущном. Он посадил вокруг дома ели, сосны, дубы и клёны. Завёл кота и стал жить, совершая наезды в Москву, проповедуя Русскую Мечту. Продолжал заполнять в таблице редкие пустоты, искал недостающие частицы, чтобы золотая Богородица воссияла над Россией, как солнце.

Бумажный лист, на котором была нарисована явленная во сне таблица, Пётр Дмитриевич сжёг. Она была у него под сердцем. Он видел её внутренним оком. Мог воспроизвести во всей полноте. Понимал, что обладает сокровищем. Это сокровище вручил ему сам Господь. Выбрал из миллионов людей и открыл тайну, как божественная воля сотворила Россию. Он понимал, что этой тайной могут воспользоваться дурные люди. Те, кто замышляет против России зло, кто лишил народ Мечты и не желает её возвращения.

Петра Дмитриевича посещали страхи. Он боялся нападения. Боялся не за себя, а за дивное сокровище, которое могут украсть, вырезав вместе с сердцем.

Сорокасемилетний Пётр Дмитриевич Агеев, сухощавый, с серыми тихосияющими глазами, сдержанный, но вдруг начинавший проповедовать, — таким он предстал в московских кругах, где его принимали одни за чудака, другие — за колдуна, третьи — за актёра, умевшего морочить голову публике.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кот, которым обзавёлся Пётр Дмитриевич, получил имя “Кузьмич”. Михаил Кузьмич — так звали школьного учителя словесности, который являлся на урок в застиранной косоворотке, с поношенным портфелем, неловко усаживался, хватая край стола костлявой пятернёй, и читал нараспев стихи. Его глаза широко раскрывались, словно он видел бесконечные чудные дали.

Пётр Дмитриевич полагал, что Михаил Кузьмич не умер, а переселился в кота, чтобы не расставаться с любимым учеником. Теперь, спустя много лет между ними по-прежнему сохранялись отношения взыскательного педагога и прилежного ученика.

Кот Кузьмич был крупный, пушистый, с тёмными полосами на бежевых боках. У него были великолепные усы и большие золотые глаза, которыми он страстно и неотрывно смотрел на Петра Дмитриевича. Чёрные зрачки, окружённые золотом, уводили в бесконечный сумрак вселенной, открывали ход в миры, где горели звёзды, пылали светила, реяли неведомые духи, недоступные для Петра Дмитриевича, но доступные коту. Заглядывая в эти немигающие огненные глаза, Пётр Дмитриевич сочелся с тайнами мироздания, а также с земной природой. С птицами, за которыми охотился Кузьмич. С шелестящими в траве мышами. С бабочками, за которыми гонялся кот.

С таинственной жизнью окрестных садов и огородов, где протекала ночная жизнь kota.

Русский фольклор, чудесные сказки убеждали, что переселение душ возможно. Царевич обращался в серого волка. Дева переселялась в плачущий тростник. Витязь кидался через плечо и становился ясным соколом. Поэтому превращение Михаила Кузьмича в kota не вызывало недоумения. Являлось русским волшебным кодом, делающим человека созвучным природе и всей вселенной.

Kot много гулял по окрестностям. Дома спал на излюбленном месте рядом с книжным старинным шкафом с запахами горького миндаля. Когда Пётр Дмитриевич ложился отдохнуть на диван, kot запрыгивал ему на грудь и вытягивался, придавливая своей тяжестью. Золотые глаза гасли, он тихо мурлыкал, не позволяя Петру Дмитриевичу шевельнуться. Демонстрировал свою полную власть над ним.

Утром Пётр Дмитриевич выпустил Кузьмича из дома, наблюдая, как тот осторожно, чутко вдыхая запахи трав и деревьев, направляется в кущи, исчезает в мире кузнечиков, мышей, трясогузок. Сам же Пётр Дмитриевич погрузился в чёрный, выдавший виды “Опель” и отправился в Москву на телешоу, куда был зван как “курьёзный мечтатель”.

Студия помещалась в здании огромного завода, где прежде создавались могучие машины, строились исполинские агрегаты. Завод рухнул, его разобрали на части, как разобрали на части “красную страну”. Обломки станков и кранов, осколки машин и агрегатов пустили на переплав. В пустых цехах разместились телестудии и фотоателье, пиар-конторы и юридические консультации. Места инженеров и рабочих заняли нотариусы, продюсеры, рекламные агенты. И только у высоких закопченных сводов реяли духи небывалых изделий.

Программа, куда был приглашён Пётр Дмитриевич, называлась “Культурное побоище”. Художники, писатели, режиссёры, исповедующие разные взгляды на политику и культуру, сходились в жестокой схватке. Кричали, оскорбляли друг друга. Ведущий Борис Журавлик не давал утихнуть сражению, умело стравливал соперников. Казалось, вдыхал парной запах, какой возникает во время случки собак. Зрители ужасались и восхищались, нажимали на кнопки пластмассовых пультов, выражая предпочтение тому или иному гладиатору.

Соперником Петра Дмитриевича был культовый режиссёр Эраст Богоносцев. В его спектаклях пьесы русских классиков обретали вид чудовищных фарсов, уродливых оргий. Русская жизнь, русские персонажи превращались в устрашающий скабрёзный анекдот, в собрание смехотворных уродцев. Эраста Богоносцева поощряли премиями. На его спектакли приходили министры, депутаты Государственной думы.

Петра Дмитриевича усадили в кресло на подиуме. Рядом разместился Эраст Богоносцев. У него был гордый заострённый нос, похожий на клюв. Голова надменно откинута, будто он готовился нанести удар клювом. Глаза под чёрными бровями сверкали, ходили кругами, словно высматривали жертву, которую надлежало клонуть. Узкие губы усмехались, как если бы реальность, его окружавшая, была смехотворна, заслуживала издёвки. Из рукавов чёрного сюртука выглядывали кружевные манжеты. Руки нежные, ухоженные, как у женщины, с розовым маникюром. На пальце сверкал перстень с тёмным бриллиантом.

Борис Журавлик встал между Петром Дмитриевичем и Эрастом Богоносцевым. Простёр над ними руки, покачивал ими, словно это чаши весов. Он был мягкий, полный. Его плоть оплывала от плеч к бедрам, как оплывает из квашни перезревшее тесто. Голый череп блестел. Щеки сдобно обвисли. Весёлые глазки сияли, как масляные лампадки. Он передвигался мелкими шажками, разведя мыски, будто вместо ног у него были ласты.

Зал был полон зрителей, в большинстве своём театралов, явившихся поддержать обожаемого режиссёра. В руках у всех — пластмассовые пульты, сигналы от которых выводились на экран.

— Господа! — Борис Журавлик голосом циркового конферансье обратился к залу. — И вновь перед нами поле брани, где в страшном побоище сойдутся два непримиримых бойца. Их битва будет беспощадна. Нас забрызгают кровью. Отсечённые руки, вырванные языки, выбитые глаза будут разбросаны по рядам. Одна из этих прекрасных голов покатится вам под ноги. Такова схватка современных идей! — Борис Журавлик сокрушённо вздохнул, сожалея о жестоких нравах, царящих в культуре. — Приветствую нашего великого режиссёра Эраста Богоносцева, чьи огненные спектакли испепеляют утлую традицию, открывают путь в пугающее ослепительное будущее. Увлекают за собой самых отважных и дерзких, многие из которых присутствуют сегодня в зале!

Зал отозвался овациями. Было много молодых людей, стильно одетых. Среди них — интеллигенты постарше, не пропускавшие скандальные премьеры и авангардные вернисажи.

— Богоносному витязю дерзнул противостоять Пётр Агеев, открыватель Русской Мечты, составитель волшебной “Таблицы Агеева”. С её помощью он надеется разбудить богатырские силы, дремлющие в русском народе. Пожелаем ему успеха!

В ответ раздались редкие хлопки. Пожилая женщина в блеклом платье, сутулый старичок с седыми усиками, девушка провинциального вида, казавшаяся измученной и забитой, — они захлопали и тут же устыдились своих хлопков.

Пётр Дмитриевич чувствовал враждебность зала. Лукавые глазки ведущего сулили ему поражение.

— Начнём поединок! Первое слово Эрасту Богоносцеву!

Режиссёр милостиво усмехнулся. Всё вокруг: и зал, и преданные обожатели, и велеречивый Борис Журавлик, и скромный старичок с усиками, и он сам, оказавшийся актёром на чужой сцене, — все заслуживало иронии и сарказма. Эраст Богоносцев отвёл назад остроносую голову, страстно взглянул на Петра Дмитриевича и клонул его. Резко закивал, задвигал кадыком. Казалось, он вырвал из добычи сочный клочок и жадно проглатывал.

— Мы существуем в квантовой реальности, когда единица больше, чем двойка, чёрный квадрат превращается в радугу, неподвижность стремительней скорости света. Спираль галактики повторяют спираль генома, а цифра, что умертвляет живое слово, становится залогом бессмертия. — Эраст Богоносцев долбил клювом Петра Дмитриевича, заклёвывал насмерть. — В этой квантовой реальности, где волна ослепительной красоты превращается в чёрный фотон уродства, наши русские традиционалисты, весталки погасшего огня, выносят на сцену старый сундук. Вытаскивают из него плисовые штаны дяди Вани, сальный корсет Раневской, сапоги бутылками и зипун. Называют всё это “русскими кодами”. Сморгаться в два пальца, закусывать рукавом, бить девок по заднице деревянной лопатой — это и есть ваши “русские коды”? Ваши “русские глаголы вечной жизни”? — Эраст Богоносцев захохотал, открыв чёрно-красный зев, в котором клочкотала ярость. — Мой театр — это кузница, в которой мы дробим эти мёртвые коды. Срываем печати с могильного склепа, где лежит омертвелая Россия. Хотим поднять Россию из гроба. Разбудить любой ценой, даже прижигая её сигаретами. В этом видим призвание современного русского искусства!

Эраст Богоносцев победно откинул голову, сверкал глазами, словно искал несогласных, чтобы их заклевать.

Зал аплодировал. Молодая женщина с голубыми волосами и пунцовыми воспалёнными губами крикнула: “Виват!” Мерцали вепышки. Кто-то кинул на подиум красный цветок.

— Великолечно! — восхищался Борис Журавлик. — Разящий удар! Быть может, “удар милосердия”? Ваш ответ, господин Агеев!

Пётр Дмитриевич растерянно смотрел в зал, видел ироничные, любопытствующие лица. Режиссёр был похож на беркута, чей клюв больно его изранил. Этот клюв продирался под сердце, где таилась драгоценная таблица. Хотел её вырвать, разметать на множество золотых частичек.

Пётр Дмитриевич сберегал сокровище, заслонял его сердцем, чувствовал проникающие ранения в сердце. Искал и не находил слов. Путано произнёс: — Нельзя прижигать сигаретами. Разве можно большую мать прижигать? Огни не погасли. В храме сумрак, но лампы горят. Русские коды, как бриллианты. Нельзя класть бриллианты на наковальню под удары кувалды! — Пётр Дмитриевич замялся, сбился, умолк.

— И это всё? — удивился Борис Журавлик, — Что ж, похвально, похвально! Особенно про бриллианты! Про ваш перстень, Эраст! — Он улыбнулся, сочувствуя немощному Петру Дмитриевичу. Зал отозвался улыбками и смешками.

Эраст Богоносцев взмахнул руками, словно собирался взлететь. Заплескались кружевные манжеты. Сверкнул чёрный перстень. Его голос был властным, с колдовским рокотом. Он был чародей, повелевающий заколдованными душами:

— Россия — это затонувшая подводная лодка. Она лежит на дне. В ней поселились глубоководные рыбыны, крабы, осьминоги. Она обросла ракушками. И не дай Бог, она снова всплывёт! Миру хорошо без России. В мире совершаются небывалые открытия, рождаются Нобелевские лауреаты, возникают восхитительные театральные и литературные школы. Люди сберегают природу, будь то лист папоротника или кристалл арктического льда. Охраняют зверей и птиц, набожно относятся к человеческой жизни и человеческой душе. Но если Россия всплывёт, опять начнётся мировая жуть. Двинутся по планете красновзвёздные армии, поднимутся вышки концлагерей, станут расстреливать поэтов и философов, и символом нового мира станет хамский солдатский сапог и грузинские усы под кокардой. Русские интеллигенты не позволяют поднять со дна это утонувшее чудище. Мы уничтожим коды апокалипсиса!

В зале хлопали. Борис Журавлик протянул к Эрасту Богоносцеву руки, словно держал на них блюдо, угощал зал:

— Ваш черёд, господин Агеев. Заступитесь за матушку Русь!

Пётр Дмитриевич молчал. Он был заколдован чародем. Его мысли оледенели, как замёрзшие волны на застывшем озере. Он не пускал чародея себе под сердце, где таился бесценный клад, животворящая “Таблица”. Позволял стальному клюву терзать плоть, не допуская его к золотой Богородице.

— Нет, нет, Россия не утонувшая лодка! Она ковчег спасения! Европу зальёт вода, и европейцы приплывут к нам на своих углых челнах, и мы их примем, как братьев!

Весёлые лучики сыпались из глаз Бориса Журавлика. Он наслаждался, видя немощь Петра Дмитриевича. Подмигивал залу, извинялся за беспомощность гостя. Эраст Богоносцев не торопился добывать свою жертву. Его клюв наматил место, куда будет нанесён завершающий удар:

— Читателем моего театра будет интересно узнать, что я начал работу над новым спектаклем. Мы ставим “Евгения Онегина” Пушкина, но в новой редакции. Мы спасаем Пушкина от забвения. В прежнем виде он несносен, его отвергает современное сознание. Мы воскрешаем мёртвого Пушкина. В нашем случае Евгений Онегин является хипстером, который умертвил своего богатого дядюшку с помощью полония и завладел его именем на Рублёвке. Соседом Евгения Онегина оказался молодой блогер и поэт Владимир Ленский. Он, как и Евгений Онегин, — гей. Между ними возникает любовь, которая заканчивается однополым браком. Вдвоём они навещают гостеприимную семью Лариных. Ветеран внешней разведки Иван Ларин, он же дядя Ваня, является опекуном трёх сестёр Лариных — Татьяны, Ольги и Вероники. Сестрам скучно на Рублёвке, они рвутся в ночные клубы и то и дело восклицают: “В Москву! В Москву!” Евгений Онегин, будучи бисексуалом, влюбляется в Татьяну Ларину. Ленский ревнует Онегина, и тот умертвляет блогера с помощью газа “Маячок”. Посмертно Ленский получает Нобелевскую премию, а Онегин, совратив Татьяну и убив Ленского, боится преследования и скрывается в Лондоне. Дядя Ваня берёт на себя грех племянницы Татьяны и женится на ней. Две другие сестры, Ольга и Вероника, становятся проституткам и в составе эскорта разезжают по всему миру.

Однажды в Лондоне на развратной вечеринке они встречают Евгения Онегина. Вспоминают своё целомудренное прошлое и восклицают: “В Москву! В Москву!” Онегин на берегу Темзы убивает чайку, приносит сёстрам, и они смотрят на бедную птицу, которая напоминает им Татьяну. Та к тому времени овдовела, ибо дядя Ваня умер. Узнав об этом, Евгений Онегин устремляется в Москву с криком: “Карету мне! Карету!” На этом спектакль не заканчивается. Пушкин спасён. Он вышел из склепа, куда его заточили блюстители традиционных ценностей с их дурацкими кодами и таблицами. Пушкин снова среди нас, завтракает по утрам в ресторане “Пушкин” в обществе миллиардера Тайванчика!

Эраст Богоносцев торжественно смотрел на соперника, отпуская ему ещё несколько минут жизни, прежде чем ударит в него отточенным кловом. И тогда восхищённый зал увидит, как хищный коршун станет хлопать крыльями над несчастной жертвой, добывая её беспощадным кловом.

Пётр Дмитриевич испытал лёгкий толчок, какой случается в момент пробуждения. Волшебная Таблица, дремавшая под сердцем, вдруг просияла дивными переливами. Дурной сон оборвался. Пётр Дмитриевич выходил из сна свежим, помолодевшим, с сияющими глазами. Он не испытывал неприязни к хулителю, к его словам, которыми тот стремился причинить боль. Отточенный клов не наносил вреда. Пётр Дмитриевич не чувствовал боли, не подчинялся лукавым правилам, которые придумал вероломный Борис Журавлик. Пётр Дмитриевич был волен, не подвержен злым чарам.

— Известно, что Адольф Гитлер, желая вдохновить немецкий народ, утративший волю, веру, поверженный физически и духовно, создал тайный орден, секретное подразделение “Аненербе”. Чародеи подземных глубин и маги “Аненербе” находили истоки “сумрачного германского гения” в древнем эпосе. В мифах о нибелунгах, о Зигфриде, о Золоте Рейна. Гитлер подключил немцев к тайным кодам немецкой истории, и эти коды сотворили Германию, которая покорила Европу. Сделали немецкого солдата непобедимым. Этого непобедимого жестокого солдата Гитлер бросил на Россию.

— Позвольте, господин Агеев, при чём здесь Пушкин? Где Пушкин, а где Зигфрид? — Борис Журавлик смешно скосил нос в одну, потом в другую сторону, видимо изображая Гитлера и Пушкина.

Пётр Дмитриевич не обратил внимания на ироничную гримасу:

— Перед войной Сталин повелел сделать Пушкина самым великим и известным советским поэтом. Пушкина издавали миллионными тиражами, его стихи читали по радио, декламировали в школах, в рабочих коллективах, на приграничных заставах. Звучали романсы на слова Пушкина. Шли оперы по мотивам пушкинских поэм и сказок.

— Ну, это же “дела давно минувших дней, преданья старины глубокой!” — перебил Петра Дмитриевича Борис Журавлик. — Что вы можете возразить Эрасту Богоносцеву?

— Пушкин был тем колодцем, из которого пил перед боем советский народ. Пушкин будил в русском человеке потаённые коды, которые сделали русского человека самым трудолюбивым, возвышенным, верящим и бесстрашным. Позволили русскому народу создать невиданное государство между трёх океанов. Эти пушкинские коды соединили народ с глубинными силами, сделавшими народ неодолимым.

— Вы хотите сказать, что маршал Жуков был пушкинист? — засмеялся Борис Журавлик.

— Русский народ — пушкинист. Пушкин сражался вместе с советскими солдатами под Москвой, громил немцев у Волоколамска и Истры. Он стоял насмерть на Волге под Сталинградом, смыкая кольцо окружения. Умирал от голода в блокадном Ленинграде. Горел в танках на Курской дуге, стеная от ожогов вместе с танкистами в лазаретах. Ходил в контратаки с морской пехотой под Севастополем. В Берлине, на куполе рейхстага вместе с советскими пехотинцами сжимал древко знамени Победы. Пушкин победил Зигфрида. “Медный всадник” победил “Аненербе”!

Пётр Дмитриевич слышал, как по залу катится ропот. Люди изумлённо переглядывались, что-то шептали друг другу. То ли возмущались, то ли

соглашались. Усатый старичок бодро расправил плечи, озирался, искал вокруг себя тех, кого взволновали слова Петра Дмитриевича, кто считал себя “пушкинистом”. Пожилая женщина распрямилась в кресле, посветлела лицом. Девушка, казавшаяся забытой и изнурённой, улыбалась, её губы шептались, благодарили Петра Дмитриевича.

Эраст Богоносцев стал похож на ночную птицу, которую ослепил дневной свет. Крутил носатой головой, не понимая, откуда грозит опасность.

Пётр Дмитриевич испытал счастливое озарение. Он катился по сверкающей снежной дороге, и в лицо летело множество серебристых снежинок. Чудесный шелест полозьев, лошадь встряхивает заиндевелой гривой, разбирается в стороны букеты белого пара, и шишки на елях малиновые в вечерней заре.

Пётр Дмитриевич закрыл глаза и читал нараспев стихи, которые изливались из его уст восхитительным нескончаемым потоком, захватили и несли туда, где “бег санок вдоль Невы широкой, // девичьи лица ярче роз”. Игла в золотой морозной дымке, колонны в белых пушистых шубах, на бронзовом всаднике белая шляпа снега, и он целует на морозе её мягкие губы, она смеётся, отстраняется, и фонарь на Марсовом поле окружён летучими радугами. Обнявшись, идут вдоль Зимнего дворца, и в окна переливается перламутровый город, над которым в вечернем небе плещутся “лоскутья сих знамён победных, // сиянье шапок этих медных, // насквозь простреленных в бою”.

Дивизия выдвигалась к Герату, 101-й Гератский полк встретил их кострами, и танки скрипели в песке, пятились среди костров, направляя пушки в ночь. Он вдруг вспомнил отца, его прекрасное печальное лицо в свете настольной лампы, и странный скрипучий звук, словно хрустнула половица паркета. Те зимние бури, что крыли “небо мглою”, и он выбегал из натопленной избы на мороз и смотрел на синюю луну, по которой бежала мгла, ему хотелось подняться на цыпочки, дотянуться до ночного светила и тронуть его губами. В избе тётя Поля раскладывала на клеёнке королей и валетов, было слышно, как потрескивает от мороза тесовый забор. Тётя Поля шла в сарай, снимала с насеста кур и несла в избу, опускала в погреб, чтобы птицы не отморозили гребни. У петуха был горячий огненный гребень и яркий мерцающий глаз. Ночью из погреба раздавался крик петуха, и казалось, что в центре земли живёт волшебный вещий петух. “Я помню чудное мгновенье...” Тот чудесный весенний дождь, когда таяли ночные снега, и пахло первыми распустившимися в оврагах цветами. Они шли с Верой вдоль реки, по которой плыл туманный огонь и раздавались голоса рыбаков. Шоссе было пустынным в дожде, и они спрятались под крышей автобусной будки, видели, как проплывает мимо речной огонь. Он обнял её, целуя холодное лицо и горячую дышащую грудь. И когда расцвела по крутым берегам черёмуха, и он выходил от неё под латунной недвижной зарёй, и по всей земле пели соловьи, он испытал ликующую радость и силу под этой недвижной зарёй, среди соловьиного пения, и жизнь казалась ему бесконечной.

Пётр Дмитриевич очнулся, улыбался, как блаженный. Не понимал, читал ли он вслух стихи, или они звучали в нём восхитительными виденьями.

Зал рукоплескал. Казалось, что по лицам летают зарницы. Пожилая женщина в небрежной одежде помолодела, в ней ожила былая красота, платье её струилось шёлком. Старичок с усиками больше не казался старичком, а выглядел молодцевато, рукоплескал и выкрикивал: “Браво!” Девушка уже не казалась опечаленной и усталой. На её лицо упал луч, озарил, и она стала красавицей. Посылала Петру Дмитриевичу воздушный поцелуй.

— Берите пульты, господа! Нажимайте красные кнопки! Выказывайте своё предпочтение! — Борис Журавлик приглашал зрителей вынести свой приговор и назвать победителя. По экрану бежали цифры. Две трети зрителей присудили победу Петру Дмитриевичу.

Эраст Богоносцев язвительно улыбался, не признавал поражение. Отбросил стул и покинул подиум.

— Вы были великолепны, Пётр Дмитриевич. Вы нащупали в людях код, который я бы назвал “код Пушкина”. Я поверил в “Таблицу Агеева”.

— Вот теперь и вы пушкинист, — добродушно рассмеялся Пётр Дмитриевич.

— Я хотел передать вам приглашение. Завтра состоится вечер, который раз в году затевает наша популярная радиостанция “Эхос Мундис”. Там будут выдающиеся политики и художники, а также самые прекрасные светские львицы. Вот вам пригласительный билет, — Борис Журавлик протянул Петру Дмитриевичу карту, на которой изображалось ухо с волнами влетающего в него звука. — Надеюсь, завтра снова увидимся.

Пётр Дмитриевич, взволнованный успехом, возвращался в свой загородный дом. Покидая вечернюю, озарённую огнями Москву, сворачивая на загородное шоссе, он вспоминал эпизоды недавней схватки. Тот чудесный полёт по снежной дороге, золотую иглу, окружённую морозным туманом, и девушку в зале, на которую упал луч и сделал её прекрасной.

Он поставил машину подле дома, под клёнами. После горячей Москвы здесь пахло пионами, тёмными, полными ночных ароматов берёзами. У дверей в темноте его встречал кот Кузьмич, нетерпеливо мяукал, требуя, чтобы его впустили в дом.

— Отчитываюсь перед вами, Михаил Кузьмич. Ваши уроки литературы пошли впрок. Пушкин победил, и Пётр “промчался пред полками, // могуч и яростен, как бой”! — он впустил Кузьмича в прихожую, где кот с радостным урчанием принялся поглощать свои лакомства.

Уже в постели, перед сном Пётр Дмитриевич подумал, что прожил день не напрасно. Был открыт ещё один русский код — “Пушкин”. Золотая Богородица — Русская Мечта — обрела ещё одну золотую частицу. “Таблица Агеева” пополнилась ещё одним волшебным элементом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пётр Дмитриевич раздумывал, принять ли ему приглашение, поступившее от радиостанции “Эхос Мундис”. Посетить ли престижную вечеринку, вход на которую доступен лишь избранным. Или внять заповеди, гласившей: “Блажен муж, не идущий на совет нечестивых”. И словам другой заповеди: “Не ходи в дом врага”. Ибо “Эхос Мундис” — радиостанция “врагов” и “нечестивцев”.

Все либеральные кумиры, фрондирующие оппозиционеры, язвительные богохульники, утончённые извращения, ниспровергатели основ, духовные смутьяны, безоглядные западники — все получали эфир на “Эхос Мундис”. Радиостанция была больше, чем радиостанция. Она была партия, искусно управлявшая умами и душами, школа, готовящая либеральных политиков, организация, подавлявшая “русские коды” везде, где они обнаруживались, — в политике, искусстве, в дискуссиях и спорах. Петру Дмитриевичу, когда он слушал “Эхос Мундис”, казалось, что из радиоприёмника нескончаемо изливается горячий вар, заливает умы и души раскалённой тьмой. В этой тьме гаснут разноцветные образы русского мира, и вместо них вырастают чертополохи и колючки с огненными цветами преисподней.

Вечеринка проходила в художественной мастерской скульптора-гигантомана. Его латунные великаны высились над крышами городов, рождая в жителях реликтовый ужас, воспоминания о временах, когда землю населяли жестокие исполины. Некоторые из латунных гигантов прохудились от времени, и когда дул ветер, начинали выть, стелать, скрежетать. Это побуждало горожан покидать родные места, у женщин вызывало выкидыши, увеличивало число самоубийств. Знаменитого скульптора это не останавливало. Громадного роста писатели, цари, полководцы перекликались друг с другом, посылали из города в город стенающий звук, который нёсся над пустынными полями России, пугая одиноких путников.

Пётр Дмитриевич протиснулся сквозь толпу желавших попасть на приём, предъявил в дверях пригласительную карту и оказался в зале приёмов.

Просторное помещение напоминало ассирийский или египетский храм. Подобно древним богам, высились громадные статуи, подширала латунными шлемами, фуражками, бородами сумрачный свод.

Из мрака вдруг начинал смотреть выпуклый, с медным отливом, глаз. Вспыхивал жилистый кулак, сжимавший громадный меч. Усы, лишённые лица, казалось, прилетели из космоса и одиноко висели во тьме.

У ног великанов, у их башмаков, подошв, каблучков кипело многолюдье. Множество возбуждённых мужчин и женщин двигались встречными потоками, описывали круги и эллипсы. На мгновение встречались, обнимались, целовались, озарялись ослепительными улыбками и исчезали, чтобы в другом месте снова оказаться в чьих-нибудь объятьях, обменяться поцелуями и легкомысленными фразами.

Пётр Дмитриевич был захвачен этим броуновским движением, вовлечён в вязкое кружение. Так движется магма, изливаясь из жерла тягучими языками. Запах, который стоял в помещении, был запахом гари, железного тумана, какой витает над кратером. Навстречу ему являлось множество лиц, среди них известные политики, журналисты, телеведущие. Проплыл пожилой, лысый, с белоснежными искусственными зубами телеведущий, бравирующий своим французским и американским гражданством. Приветливо улыбался, зная, что его обожают, что нет ему равных в красноречии и европейском шарме. Промелькнуло узкое, с козлиной бородкой, лицо публициста, который в роковую ночь перед расстрелом мятежного парламента призывал “добить гадину”. Прошла в вечернем платье с голой спиной, двигая лопатками, певица, славная тем, что на одном из концертов разделась донага и спела песню “Священная война”.

У некоторых в руках искрились бокалы с шампанским. Они водили глазами в поисках того, с кем можно чокнуться.

Петру Дмитриевичу казалось, что каждый при виде его выделяет капельку яда, обжигая его. Чувствовал, как тело под одеждой начинает гореть, словно его отстегали крапивой.

Все они были специалистами по истреблению “русских кодов”. Тот весельчак, вызывающе одетый в цвета тропического попугая, занимался осквернением Православия. Другой, жеманный, манерный, похожий на даму, потешался над русскими народными песнями, превозносил рэп. Третий, с радужным бантом, делал восторженные репортажи из Амстердама, где в кирхах совершались однополые браки.

Петру Дмитриевичу начинало казаться, что его окружают загадочные насекомые. У каждого вместо лица — заостренное рыльце с хоботками, зубчиками, буравчиками, напильниками. Они точат, сверлят, надкусывают, подпиливают невидимые столпы и опоры, отчего кругом стоит непрерывный шелест и хруст, какой издают жуки-короеды.

Среди непрерывного вращения, в центре круговорота стоял хозяин торжества, редактор и владелец “Эхос Мундис” Плиний Краснопевцев. Казалось, он управляет силовыми линиями, вдоль которых вращаются людские потоки. Не подпускал к себе обожателей, отталкивая их невидимой силой. Был отделён от толпы колдовским светящимся пространством, делал знаки избранным, кого ненадолго пускал в заколдованный круг. Плиний Краснопевцев был невысок, с огромным лбом, яростно говорящим ртом. Большие зубы не помещались в толстых верблюжьих губах и выступали наружу. Вокруг головы разлеталась седая грива, которую не способен был расчесать ни один гребень. Плиний был одет в красную клетчатую ковбойку, что выделяло его среди сюртуков и вечерних платьев, он казался маткой этого громадного муравейника. Руководил его таинственной деятельностью. Давал каждой особи задание, которое особь беспрекословно исполняла. Удалялась и вновь возвращалась в муравейник, заноса в него мёртвую личинку, хвойную иголку, комочек умершей плоти. Муравейник шелестел, рос. Знатоки библейской истории утверждали, что “Эхос Мундис” — это Третий храм, который возводится в центре Москвы.

— Ба, ба, ба! Пётр Дмитриевич! — Борис Журавлик сиял лучистыми, как лампадки, глазами, колыхал слоистым подбородком. — Словно и не расставались! — Он дружески приобнял Петра Дмитриевича, и тот почувствовал мякоть жирного тела. — Ваше выступление на моей передаче произвело

фурор. Столько звонков! “Кто такой Агеев? Что за “Таблица Агеева”?” Даже из администрации президента звонили.

— Президент не звонил? — Петра Дмитриевича удивило это преувеличенное дружелюбие. Обычно едкий, исполненный тонкой неприязни Борис Журавлик обласкивал Петра Дмитриевича, обклеивал сладкими улыбками, липкими прикосновениями:

— Нет, нет, президент не звонил. Наш президент находится где-то в горах Сибири. Вчера показали по телевизору удивительный сюжет. Президент сидит на горе, на вершине мира. Внизу леса, реки, облака. Он держит в руках найденный гриб и сосновую шишку. Это вам ни о чём не говорит?

— Ни о чём. Обычная прогулка по лесу.

— Ну, как же, Пётр Дмитриевич! А ваши “русские коды”? Вы не усмотрели намёк? Президент показал нам, что в России созрел монархический проект, и нас извещают об этом таким иносказательным образом.

— В чём иносказание?

— Гриб в руке президента — это скипетр, а шишка — держава. Гора — это трон, с которого будущий царь управляет Россией. Он — царь мира, царь грибов. Ведь это извечный “русский код”. Русские — монархический народ! — Борис Журавлик счастливо засмеялся, веря, что эта опасная штука останется между ними, друзьями.

— Позвольте побеждённому склониться перед победителем! — Из толпы появился Эраст Богоносцев, картинно склонился перед Петром Дмитриевичем. Он был в голубом фраке с длинными фалдами. На груди пенилось кружевное жабо. Узкие губы не кривились надменно, а дружески улыбались. Острый нос не казался жестоким клювом, а глаза под чёрными бровями не изливали фиолетовую ненависть. — Мы вчера поспешно расстались, и я не успел сказать, что восхищён вашей способностью владеть зрительным залом. Вы мгновенно превратили зрителей из недругов в обожателей. Вы владеете магическими приёмами. Используете ваши “русские коды”. Я готов поучиться у вас режиссуре, постичь тайну “русских кодов”! — Он протянул Петру Дмитриевичу холёную ладонь, и Пётр Дмитриевич пожал её, почувствовав холод бриллиантового перстня.

Петру Дмитриевичу было лестно слушать похвалу прославленного режиссёра, кумира интеллигенции, который ещё недавно казался лютым врагом, окскервнителем святынь, а теперь был дружелобен и мил, очаровывал искренностью.

— Хочу побывать на ваших спектаклях. Извините за вчерашние резкости. Это был полемический азарт. — Петру Дмитриевичу было неловко за бестактные высказывания, которые вырвались во время вчерашнего единоборства.

— Эраст, отчего ты не знакомишь меня с новой знаменитостью? — Ксения Фалькон, телеведущая, светская львица, крестница президента, неумолимая любовница миллиардеров, героиня эротических шоу, во время которых она оголялась, открывая ягодницы, где именитые любовники оставляли свои автографы. “Книга жалоб и предложений”, — шутила Ксения Фалькон, играя ягодницами, приглашая обладателей миллиардов расписаться в “гостевой книге”. — Я смотрела вчера “Культурное побоище” и видела бедняцкого Эраста, который со своим орлиным клювом выглядел, как жалкий цыплёнок.

— Справедливо, дорогая, меня обработали “русскими кодами”, и я потерял моё оперенье, — благодушно рассмеялся Эраст Богоносцев.

Пётр Дмитриевич почувствовал, как стоящая перед ним Ксения Фалькон взглядом раздела его. От неё пахло духами и парной плотью, как если бы она, благоухающая “Живанши”, стояла за мясным прилавком.

— Господин Богоносцев — достойный соперник, — смутился Пётр Дмитриевич. — Его одолел не я, а Пушкин.

Ксения Фалькон хотела. Её алые влажные губы приближались к губам Петра Дмитриевича. В глубоком вырезе красного платья дрожала грудь, по которой скользила змейка золотой цепочки. У Ксении Фалькон были волосы цвета меди. Тяжёлый лошадиный подбородок говорил о воле

и властолюбии, которыми она покоряла мужчин. Толстый горбатый нос с жарко дышащими ноздрями ещё больше придавал ей сходство с лошадьё. Но, видимо, эта грубая животная плотоядность и близость к президенту делали её столь привлекательной для пресыщенных миллиардеров, многие из которых имели тюркское происхождение и помнили родные степи с табунами неистовых кобылиц. “Лошадьё Пржевальского” назвал Ксению Фалькон злоязыкий блогер, который вскоре после этого исчез из интернета.

— Вам, дорогой господин Агеев, одному из первых сообщаю, что мы с Эрастом Богоносцевым решили пожениться. Приглашаем вас на свадьбу. Мы хотим сыграть нашу свадьбу в русском стиле, с венчанием, каретами, рысаками. Одним словом, нам нужны ваши советы, ваши “русские коды”. Не так ли, Эраст?

— Пётр Дмитриевич обещал проконсультировать меня в моих театральных поисках. Наша свадьба будет спектаклем, который оживит русскую традицию, сделает её вновь привлекательной для мирового зрителя.

Топла расступилась, как расступилось когда-то Чермное море, и посуху, не замочив ног, прошёл Плиний Краснопецев в своей клетчатой ковбойке, с огромным одуванчиком седых волос.

— Рад видеть вас, господин Агеев, в нашем собрании нечестивцев. Кажется, так вы назвали либеральную интеллигенцию в программе своего друга Бориса Журавлика? Я не мог оторваться от телевизора, наблюдая поединок. А вы подкачали, Эраст. Оказались бессильны против “русских кодов”.

Плиний Краснопецев сиял голубыми прозрачными глазами. От него исходил жар, будто под ковбойкой пряталась раскалённая топка. Сквозь прозрачные глаза было видно бушующее синее пламя. Одуванчик волос дрожал от раскалённого ветра, который вырывал из головы Плиния летучие семена, разносил по миру, и они прорастали едкими побегами. Пётр Дмитриевич боялся обжечься об эту жаровню, которую накалял подземный огонь.

— Глядя на мою внешность, господин Агеев, едва ли можно заподозрить меня в славянофильстве. Но я считаю, что русский народ, потерпевший историческое поражение, должен воскреснуть. У русского народа должны появиться свои мудрецы и пророки. Без русского народа не выживет ни один другой народ, в том числе и евреи. Я верю, что открытые вами коды ведут к русскому возрождению. Приглашаю вас в эфир моей радиостанции. Кстати, Пушкин был русский либерал, как и его друг Чадаев. — Произнеся это, Плиний Краснопецев вновь погрузился в толпу, которая расступилась, как библейское море, открывая морское дно. Плиний Краснопецев шёл, и у него под ногами шевелились устрицы, рачки и улитки.

Пётр Дмитриевич продолжал кружение у подножья сумрачных истуканов, повинаясь силовым линиям, которые управляли перемещениями толпы. Каждый из гостей был именной персоной, телезвездой, влиятельным художником или политиком. Но все они, честолюбцы и гордецы, подчинялись невидимой, управлявшей ими власти, которая не имела имени, а безымянно правила ими.

Петру Дмитриевичу было худо. Он не уходил, стараясь понять, сколь долго сможет выдержать пребывание во враждебной среде. Сколь долго земное дерево, высаженное на Марсе, может жить без земной атмосферы.

Ровный шелест ног, звон бокалов, невнятные возгласы создавали вязкий неразборчивый шум. Но Пётр Дмитриевич вдруг почувствовал собой, услышал прилетевший сигнал. Так астрофизик среди неразличимых ропотов вселенной вдруг поймает крохотный импульс, слабый всплеск, исходящий от неизвестной звезды.

Пётр Дмитриевич стал оглядываться, желая отыскать источник сигнала.

Сквозь толпу приближался человек, высокий, темноволосый, с благообразной чёрной бородкой. Приближаясь, он улыбался Петру Дмитриевичу. Что-то знакомое сквозило в гибких движениях, в улыбке, в глазах цвета чёрной смородины, в которых вдруг пролетал медный отсвет.

— Здравствуй, Петрусь. — Человек протянул Петру Дмитриевичу руку. — Неужели я так изменился?

— Боже, Фаддей? Или я ошибаюсь?

— Фаддей Аристархович Лоб явился, чтобы засвидетельствовать любовь и дружбу старому фронтовому товарищу, с кем вместе делили хлеб, пили из одной фляжки и который чуть не угробил меня в Герате, посадив на фугас машину боевого разминирования.

— Боже мой, Фаддей! — Они обнялись. Проскользнувшая мимо дама пьяно им улыбнулась.

— Сколько лет? Тридцать? Больше? — Растроганный Пётр Дмитриевич смотрел на лицо Фаддея, сухое, с тёмной благородной бородкой, стараясь угадать в нём худого вёрткого юнца, с которым пекли лепешки на раскалённой броне, копали лунку, наполняли горячей соляркой и грели тушёнку на крохотном очаге. Ночью выходили из палатки, смотрели на звёзды, Фаддей указывал на звезду, с которой прилетел на землю, чтобы изучить жизнь землян, и где-то в степи звучал одинокий выстрел — караульный случайно разрядил автомат.

— А помнишь Храпенко, которому оторвало ногу? Он держал в руках оторванную ногу, смеялся и умер.

— А помнишь таджика Шарифа, который удавил собаку, сделал собаке рагу, и все ели, нахваливали, а потом он сказал про собаку, и всех чуть не вырвало?

— А помнишь дорогу в Герат с соснами на обочинах? Танк ударил в сону, дерево проломило череп сержанту, а фамилия сержанта была “Соснов”?

— И как же мы тогда в Деванче сели на фугас?

Пётр Дмитриевич вспомнил гончарные лепные дувалы с бойницами, синюю главку мечети и железный удар под днищем, который разорвал перепонки в ушах и глазные сосуды. Они с Фаддеем, оглушённые, сидели, прижавшись друг к другу головами, кровь текла у обоих, и они пачкали один другого кровью.

Пётр Дмитриевич почувствовал, как у него начинают дрожать руки. Взрывная волна, толкнувшая его тело, притаилась где-то в костях и мышцах, и время от времени просыпалась, вызывая дрожание рук.

— В последний раз я видел тебя на Старой площади. Мы с друзьями захватывали здание партии. Я сбивал с фасада золочёную надпись. Помню, ты поднял с земли отлетевшую букву. Кажется, букву “О”?

— “М”. Некоторое время я её хранил, а потом она затерялась.

— Мы хотели с тобой повидаться, но не пришлось. Такое было время безумное.

— Как ты жил эти годы?

Они отошли в сторону, чтобы их не толкали. Остановились у медного каблука на чём-то огромном ботфорте.

— Как я жил? — Фаддей помолчал, словно вспоминал множество случившихся за эти годы событий, выбирая главные. — Сначала крутился здесь, в политической карусели. Потом, благодаря протекции, уехал в Америку, окончил Колумбийский университет. Работал во всяких аналитических центрах, изучавших Россию. Написал работу о “Законе и Благодати” митрополита Илариона. Исследовал тексты Феофана Затворника. Несколько раз приезжал в Россию, чтобы полюбоваться на картину Петрова-Водкина “Купанье красного коня” и на скульптуру Мухиной “Рабочий и колхозница”. Вот где “русские коды”, мечта о земном рае! Искал тебя, но не нашёл. Только в последнее время прочитал несколько твоих работ. Узнал о “Таблице Агеева”. Очень интересно. Был бы рад поговорить с тобой о “Таблице”.

Пётр Дмитриевич испытал странное беспокойство, необъяснимую тревогу, какая возникает, когда солнце вдруг начинает мутнеть, окутывается дымкой, перед ненастьем или затмением. В природе всё замирает, умолкают птицы, стихает ветер, не дрогнет лист, не пролетит бабочка, и душа тоскует в предчувствии горя или напасти.

Пётр Дмитриевич смотрел на Фаддея и не мог остановить дрожанье рук. Казалось, толпа, кипевшая вокруг, остановилась, замерла, перестала волноваться и шелестеть. Людей словно запаляли в прозрачный куб, и Пётр Дмитриевич видел их остекленелые лица, открытые рты, немигающие глаза. Это длилось мгновенье, потом всё снова пришло в движение, загомонило,

зашелестело. Прошествовал, озираясь страстными ненавидящими глазами, публицист, которого недавно избили казаки за хуление церкви. Мелькнули медная причёска Ксении Фалькон и птичий клюв Эраста Богоносцева. Окружённые почитателями, они приглашали друзей на предстоящую свадьбу.

Постепенно руки Петра Дмитриевича перестали дрожать. Тревога улетучилась. Он был рад негаданной встрече. Давнишний гератский взрыв разбросал его и Фаддея в разные стороны, но, не будь этого взрыва, их встреча не была бы столь сердечна.

— Ты по-прежнему считаешь себя пришельцем из космоса? — усмехнулся Пётр Дмитриевич. — Не собираешься вернуться на космическую родину?

— Угадал, собираюсь. Изучаю “космические коды”. Русский, немецкий.

— И чем же они отличаются?

Пётр Дмитриевич испытал острое любопытство. Фаддей увлекался тем же, чем увлекался Пётр Дмитриевич. Среди незнакомой, чуждой по духу толпы вдруг возник человек, который отгадывает те же загадки, что и Пётр Дмитриевич. Думает о том, о чём большинство не думает, не знает или хочет забыть.

— Чем отличается русский Космос от немецкого?

— Ты же вчера, Петрусь, всё объяснил в своей передаче. Немецкий Космос тёмный, зловещий. Питает “сумрачный германский гений”. Там Валгалла, нибелунги, угрюмый Рейн, его сокровенное золото. Там Зигфрид, валькирии. Там небесная Германия, которая вращает в мироздании свою серебряную свастику. Ты говорил об этом в программе “Культурное побоище”, и лучше не скажешь. Гитлер поручил Вернеру фон Брауну разработать “оружие возмездия”, чтобы разрушить Англию и Америку. Но он хотел, чтобы Вернер фон Браун достиг немецкого Космоса, небесной Германии. Вагнер своей музыкой пробил коридор в тёмный немецкий Космос. Ницше своей философией определил траекторию полёта. Оставалось спроектировать космический корабль. Оставалось запустить немецкий “космический код”. Но они не сумели. Видно, им помешал Пушкин!

Петра Дмитриевича удивила осведомлённость Фаддея. Программа “Культурное побоище” была не столь популярна, но Фаддей посмотрел её. Их сегодняшняя встреча на вечеринке состоялась после тридцати лет разлуки. Но Фаддей не предавался воспоминаниям, а говорил о передаче, которая оказалась важнее для него, чем все воспоминания.

— А в чём же, по-твоему, “русский код”? — спросил Пётр Дмитриевич. Он знал ответ. Русский “космический код” влёт русскую душу в лазурный Космос, где благоухают райские сады, живут бессмертные люди, не ведающие страхов и ненависти, а только любовь. В этот Космос стремились Николай Фёдоров и Эдуард Циолковский, Пушкин и Гумилёв. Золотой наездник на красном коне и два серебряных ангела, воздевшие к небу молот и серп. Королёв строил ракеты, нацеленные на Америку, но его космические корабли стремились в лазурный Космос, в котором любовь, красота, справедливость, где люди обретут бессмертие. Всё это почувствовал однажды Пётр Дмитриевич, когда на Байконуре видел старт ракеты “Энергия” и космического корабля “Буран”.

— Русские люди забыли свой космический код, — произнёс Фаддей. — Может, в “Таблице Агеева” он существует? Открой мне его, Петрусь!

Пётр Дмитриевич не успел ответить.

— А вот и моя ученица! — воскликнул Фаддей, указывая на молодую женщину, которая выбиралась из вязкой толпы.

Женщина приближалась. Её молодое лицо светилось. Волосы, расчёсанные на прямой пробор, в сумерках казались тёмными, но вдруг на них мелькал золотой отлив. Она шла, опустив глаза, по прямой, словно по натянутому канату, словно боялась открыть глаза, чтобы не упасть в пропасть.

И пока она приближалась, Пётр Дмитриевич узнавал в ней вчерашнюю зрительницу, наблюдавшую поединок с Эрастом Богоносцевым. Там, в зале, она казалась измученной, смущённой, нелепо, провинциально одетой. Но потом, когда Пётр Дмитриевич стал читать стихи, преобразилась. Лицо

озарилось красотой, платье заструилось шёлком. Восхищённая, она кинула на подиум красный цветок.

— Познакомьтесь, — произнёс Фаддей, — Пётр Дмитриевич Агеев, которому во сне явилась золотая Богородица, она же Душа России. Ирина Волхонцева, аспирантка, которую, как и тебя, Пётр Дмитриевич, интересуют “русские коды”.

Женщина протянула руку. Пётр Дмитриевич пожал узкую горячую ладонь. Её глаза были серыми, чуть зеленоватыми, брови — светлыми и пушистыми. Петру Дмитриевичу вдруг захотелось подуть на эти брови, чтобы они ещё больше распушились, и тогда она удивлённо отстранится, и её изумлённые глаза волшебным позеленеют.

— Я так хотела, чтобы вы разгромили этого святотатца, — сказала Ирина. — Я молилась за вас. Кинула вам цветок.

— Цветок не долетел, но я знал, что цветок для меня.

— Ваш соперник чувствовал себя победителем, но вдруг вы стали читать “Евгения Онегина”, “Полтаву”. “Медного всадника”. Я видела, как он сник, сморщился, из него пошёл дым. А вы, напротив, посветлели, возвысились, стали блистательным. “И он промчался пред полками, // могуч и яростен, как бой!”

— Победил не я, а Пушкин. Пушкин — русский Победоносец.

— Я пошла на вчерашнее представление, чтобы познакомиться с вами. Но не довелось. Фаддей Аристархович пригласил меня на эту вечеринку, сказал, что вы придёте.

— Ирина хочет узнать, действительно твоя “Таблица” явилась во сне? Как Менделееву?

— Когда-то русским людям снились вещие сны. А потом перестали сниться. Теперь русских людей снова посещают вещие сны, — сказала Ирина. — Я пишу диссертацию об исторических русских энергиях, которые делают русских необоримым народом. Была бы признательна, если бы вы согласились встретиться со мной и побеседовать на эту тему.

— Расскажи Ирине о “русских кодах”. Расскажи о “Таблице Агеева”.

— Конечно, — согласился Пётр Дмитриевич, видя, как по её волосам пробежал золотой отсвет, а глаза на мгновение стали изумрудными. — Вот моя визитка, звоните.

Внезапно толпу кольхнуло. Людская волна плеснула и смыла Фаддея и Ирину. Пётр Дмитриевич был прижат к ботфорту медного великана и видел, как освобождается середина зала.

Люди выстраивались вдоль пустого коридора, начинали аплодировать. В лучах света в зал выкатилась инвалидная коляска. Её толкали двое в чёрных, наглухо застёгнутых пиджаках, похожие на кладбищенских служителей. В коляске, пристёгнутый ремнями, жирно оплывая, свесив бессильно руки, сидел Михаил Сергеевич Горбачёв. На лице, синеватом, со следами тления, кривилась гримаса, похожая на предсмертную улыбку. Рот съехал набок, из него тянулась желтоватая слюна. На голом черепе чернело знакомое пятно, которое разрослось за годы и напоминало фиолетовую ящерицу. Глаза были выпучены и наполнены слезью. Огромный зоб вываливался из рубашки, кольхался, как студень, словно к горлу прилепился громадный моллюск. Ноги закрывал плед, кисти рук были испачканы землёй. Казалось, Горбачёв прошёл эскумацию, был извлечён из могилы.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как по залу распространился трупный запах. Было невозможно дышать, подкатывался рвотный ком. Но все, кто присутствовал в зале, тянулись к коляске, дышали и не могли надыхаться духом сырой могилы, впитывали сладковатые испарения истлевающей плоти.

Плиний Краснопевцев в клетчатой ковбойке приблизился к погребальной колеснице, держа букет роз. Что-то восхищённо говорил Горбачёву. Тот, не мигая, смотрел мимо, кривил рот, пускал желтоватую слюну. Плиний Краснопевцев положил на колени Горбачёву букет роз, осторожно, как кладут цветы в гроб. Все аплодировали.

Пётр Дмитриевич чувствовал приближение рвоты. Руки снова дрожали. Голова гудела от давнишнего взрыва. Ему в грудь летели удары. Множество

крохотных пуль стремились вонзиться в сердце, где хранилась золотая “Таблица”. Сокрушить, раздробить каждый код в отдельности и всю золотую Богородицу целиком. Пётр Дмитриевич отбивался от разящих ударов. Прижимал к сердцу руки, заслоняя его от пуль. Раненое сердце ходило ходуном, скакало, вскрикивало от каждого попадания.

Пётр Дмитриевич протиснулся наружу, на московскую, освещённую огнями улицу. Брёл среди особняков, вдыхая вечерний воздух.

Дома он принял душ, смывая частицы истлевшей плоти. Лёг в постель. Ему чудилась дыра, спиралью уходящая в землю, похожая на угольный карьер. Из центра земли железные ковши извлекли отвратительный труп, выставляли на солнце. Труп разлагался, отекал разноцветной слизью. Из него, разрывая сгнившую кожу, выползали бесчисленные червячки и жуки, расползались по земле.

На кровать запрыгнул кот Кузьмич и свернулся в ногах. Пётр Дмитриевич чувствовал теплую тяжесть кота. Успокаивался. К нему явились блаженные воспоминания детства. Новогодняя ёлка в маленьких мерцающих лампочках. Отец надевает на колочую вершину серебряную звезду.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пётр Дмитриевич делил утреннюю трапезу с котом Кузьмичом. Пил кофе, ел согретый в тостере хлеб с ломтями колбасы или красной рыбы. Кот сидел рядом на табуреточке, страстно взирая золотыми глазами. Следил, как рука Петра Дмитриевича подносит ко рту вожделенную колбасу или рыбу. Лакомство исчезало в жующих губах Петра Дмитриевича. Глаза Кузьмича наполнялись возмущением, укоризной. В них трепетало негодование. Пётр Дмитриевич, устыдившись, клал колбасу на край стола. Кузьмич коготками изящно цеплял лакомство, скидывал на пол и там, подальше от Петра Дмитриевича, поедал.

— Конечно, Кузьмич, я обязан тебе знаниями русской литературы и орфографии, и в знак признательности кормлю тебя сёмгой. Но, ведая тайну переселения душ, почему не расскажешь, каково быть оборотнем? “Русские коды” предполагают способность русского человека в известных обстоятельствах превращаться в волка, в сокола и, как доказывает твой пример, в кота. Так поведай же мне, в каких космических сферах ты обитал, пока я скитался по свету? Не является ли Космос временным прибежищем душ, где они, покинув Землю, ждут своего нового воплощения?

Упоминание о Космосе в беседе с котом было не случайно. Вчерашний разговор с Фаддеем на праздной вечеринке о “космическом коде” волновал Петра Дмитриевича. Он решил посетить Степана Кирилловича Богданова, того счастливого победителя, кого в день пуска “Энергии” и “Бурана” подбрасывали к небу восхищённые соратники.

В далёком прошлом Богданов был могучим партийцем и министром, который управлял космическим проектом “Энергия — Буран”. Один из последних советских правителей, кто пытался отстранить Горбачёва, остановить крушение “красной страны”.

Страна не устояла. Великий космический проект пал. Богданов очутился в тюрьме. Вышел и оказался в пустоте, где больше не было его министерства, не было страны. Отрешённый от дел, всеми забытый, он старился, чахнул, болел. Это был последний живой отросток огромного засохшего дерева.

Его торопила повидать Пётр Дмитриевич, который, изучая “русские коды”, уверовал в космическое происхождение русского народа.

Богданов жил в подмосковном доме, сохранившем с советских времён свою строгую деревянную архитектуру. Дом ветшал, рассыхался. Стены облысели и местами покрылись мхом. Было видно, что в нём живёт одинокий старик, не способный вбить гвоздь, подмести веранду, усыпанную жёлтыми сосновыми иглами.

Кругом на обширном участке росли сосны. Земля была усеяна шишками, но их не собирали, не разводили самовар, не пахло чудесным самоварным

дымком. Вокруг деревянного дома на соседних участках теснились роскошные особняки и дворцы. Казалось, эти дворцы надменно возвышаются над углым жилищем, унижают его своим великолепием.

Тут был дворец с мраморными колонами, белыми львами, геральдикой на фронтоне, как если бы здесь жил потомок древнего рода. Однако владельцем усадьбы был бакинец, хозяин торговой сети.

Во дворце, напоминавшем буддийскую пагоду с золочёной крышей, обитал работник коммунального хозяйства, который обладал таким богатством, что его стерегли овчарки и автоматчики.

Тут же возвышался средневековый замок, подобный тем, что встречаются в долине Рейна, с готическими арками, стрельчатой кровлей, разноцветными витражами. Здесь проживал генерал таможни. Он редко появлялся в Подмоскowie, потому что подобный же замок построил под Петербургом. Оба замка строились по его рисункам, которые он делал с натуры, плавая на яхте по Рейну.

Пётр Дмитриевич и Богданов сидели на открытой веранде, за столом, где были небрежно рассыпаны бумаги, стояла хлебница с несвежей булкой. В чашке с недопитым чаем торчала ложка.

— Угостить вас нечем, — извинялся Богданов. — Чайник сгорел. Заварка куда-то делась. Дочка придет, всё наладит. Понимаете, я ничего не вижу. Всё куда-то девается. — Богданов тоскливо улыбался. На нём была домашняя блуза. Одной пуговицы не хватало, другая висела на нитке. Он был сух, сгорблен, с костлявыми скрипучими руками. Лицо тёмное, в печальных складках. В них держалась мутная гарь. Он походил на дерево, обугленное пожаром, который обжёт ствол, спалил живые ветки, оставил неровные трещины, полные золы. Сквозь очки смотрели голубые, с размытыми зрачками глаза. Он водил глазами по столу, хлопал корявой, с негнуцимися пальцами пятернёй:

— Куда же я её задевал? Только что здесь была.

Из оправы очков выпало стекло. Со звяком упало на пол. Богданов охнул, бессильно сник. Пётр Дмитриевич нагнулся, искал стекло. Видел тощие, вставленные в шлёпанцы ноги Богданова, приспущенные носки. Отыскал стекло, поместил в оправу очков.

— Представляете, только вставлю, опять выпадает, — жаловался Богданов Петру Дмитриевичу. Блёклые голубые глаза, увеличенные очками, наполнились слезами.

Пётр Дмитриевич хотел угадать в этом слабом старике того восхищённого победителя, которого множество могучих рук подбрасывали и ловили. На это смотрел прилетевший из Космоса белоснежный дельфин, окружённый стеклянным светом. В небе, откуда спустился “Буран”, оставалось сияющее окно, и казалось, в это окно стремился улететь восхищённый человек.

— Так что вы хотели? Почему интересуетесь Космосом? — Богданов шарил по столу костлявыми пальцами, словно что-то хотел нащупать. — Я ведь уже никто. Меня давно отстранили.

— Я служил на Байконуре водителем тягача. Видел, как уходила в Космос “Энергия”, как садился “Буран”. Видел вас в окружении генералов, конструкторов. Когда все ушли с посадочной полосы, я взял на буксир “Буран” и отвёз его в ангар. Я подошёл к “Бурану” и коснулся его. Погладил белые, покрывавшие его чешуйки. “Буран” был ещё тёплый, нагретый. От него исходил запах тёплого хлеба. Будто его испекли в космической пекарне. Вот эта рука, — Пётр Дмитриевич показал Богданову ладонь, — эта рука касалась “Бурана”. Мне кажется, я тоже побывал в Космосе, — Пётр Дмитриевич смотрел на свою ладонь, которая спустя тридцать лет помнила волшебное прикосновение.

— Вы видели запуск “Энергии”? Касались “Бурана”? — Богданов схватил руку Петра Дмитриевича, сжал и не отпускал. Будто эту руку протянули ему во спасение. Эта рука соединяла его с великим исчезающим временем, когда и он был велик и счастлив. — Вы слышали гром, летящий по небу, так что валило с ног? Видели свет, озаривший степь, так что на секунду глаза ослепли? А вы правы, “Буран” действительно пахнул хлебом. Он прилетел из

небесной пекарни, где пекут хлеб не земной, а небесный. Мы тогда понимали, что не только хлебом земным сыт человек!

Холодные пальцы Богданова, сжимавшие ладонь Петра Дмитриевича, становились теплее. Пётр Дмитриевич переливал Богданову своё живое тепло. Не позволял остыть. Рука Петра Дмитриевича соединяла Богданова с Космосом.

— Это было великое время! На “Буран” и “Энергию” работали тысячи заводов, тысячи лабораторий и институтов. Эта работа сводилась воедино по дням, по часам, по минутам. Metallурги создавали небывалые сплавы. Появлялась неслыханная электроника. Изобреталось невиданное топливо. Строились двигатели чудовищной мощности. Конструировались сопла, изрывающие плазму. Рождались тугоплавкие материалы, выдерживающие солнечный жар. Там работали гении, понимаете? Только гении! Каждый крохотный узел, каждый сварочный шов или заклёпка были гениальным открытием, научной диссертацией. И всё это жило, двигалось, сходилась в фокус, приближало старт. “Энергию” и “Буран” делала вся страна. Крохотная деревенька с сельской школой, нанайское стойбище в дельте Амура и, конечно, заводы-гиганты. Все любили друг друга, слышали друг друга. В братской работе сошлись русские, украинцы, эстонцы. Весь народ стремился в Космос, весь народ поднялся в небо, когда взлетел “Буран”! — морщины на лице Богданова расправились. В них исчез серый пепел, на щеках появился слабый румянец. — Какие были люди! Академики, профессора, генералы! Инженеры, способные сделать всё, что не противоречит законам физики! Рабочие с воображением художников! Это были великаны, скажу я вам! Народ-великан устремился в Космос! — Богданов расправил плечи, стал шире, крупнее. Был одним из тех великанов.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как окрепло рукопожатие Богданова, как моложе и звонче стал голос.

— Мы хотели лететь на Луну и на Марс. Были готовы космонавты, богатыри! Архитекторы проектировали марсианские и лунные города. Давали названия площадям и проспектам. Пушкин, Гагарин, Александр Матросов, Циолковский! Ботаники подбирали травы, злаки, деревья, которые должны были “надыхать” атмосферу Луны и Марса. Горняки строили оборудование для добычи гелия и редкоземельных металлов. Был создан гигантский марсианский телескоп, раздвигающий горизонты Вселенной. Военные собирались создать лунные и марсианские базы, перед которыми меркли американцы, их “стратегическая оборонная инициатива”. Ни одна американская ракета не посмела бы взлететь без разрешения из Кремля, ни одна! Но в Космос мы летели не за гелием, не ради орбитальных группировок и дальнобойных лазеров. Вы понимаете, мы летели за другим! — Богданов смахнул очки. Его глаза, ярко-голубые, сияли, словно он узрел нечто чудесное. — Мы летели в Космос за великой правдой, за великим знанием о чудесной жизни, в которой нет низменного, порочного, смертного. Мы летели в Космос за чудом, о котором мечтал русский народ, создавая своё космическое советское государство. Мы летели в Космос на Родину, которую когда-то покинули и теперь возвращались обратно, — восторг Богданова, как жаркая волна, переплеснулся в Петра Дмитриевича.

— Как вы правы, Степан Кириллович! Русский народ — космический! Русская история — космическая! Пушкин — космический! Жуков — космический! Победа — космическая! Советский союз — гигантская ракета, летящая в Космос, искупающая все жертвы, все непосильные труды, все горести!

— Но всего этого не случилось! — Богданов вскрикнул, словно его подстрелили. Отпустил руку Петра Дмитриевича. Костлявые пальцы со стуком ударились о стол. — Космос нас не пустил. Всё это сдуло жутким ветром!

Пётр Дмитриевич вспомнил казахстанскую степь, железный ветер, который гнал по степи колючие комья. Они летели, как бессчётные души бессмысленно и безвестно погибших. Колючий ворох, пролетая, зацепился за кочку, дрожал на ветру, похожий на отрубленную голову с растрепанными волосами. Ворох сорвало и умчало. Он сгинул навеки среди остывшей Вселенной.

— Нас не пустили в Космос. Советский Союз разгромили, чтобы мы не вырвались в Космос. Советский Союз пилили на части, как на части пилили “Энергию”. Разрушали, как разрушали “Буран”. Все тысячи заводов были закрыты и разграблены. Все тысячи лабораторий и институтов были остановлены, и они опустели. Секретные чертежи самолётами вывозили в Америку. Профессора, инженеры торговали китайскими куклами. Великие заводы, где строили космические корабли, стали выпускать канцелярские скрепки. Экипажи космонавтов пошли работать таксистами. “Буран”, тот самый, что побывал в Космосе, был выставлен напоказ, и в нём устроили общественную уборную. Так казнили нашу космическую мечту! — Богданов задохнулся, заклокотал горлом, словно там скопились рыдания. — Дольше всех держались ботаники. Он берегли теплицы с саженцами для лунных и марсианских лесов. Когда пришли разорять теплицы, чтобы на их месте построить торговый центр, ботаники унесли с собой кусты и деревья и посадили на своих домашних участках. А позже высадили их в парке “Зарядье”. Я ходил туда, чтобы вдохнуть глоток марсианского воздуха.

Богданов сник. Глаза наполнились мутью. Виски провалились. Морщины засыпала пыль.

— Но почему вы, обладая всей государственной властью, контролируя армию, разведку, милицию, почему вы допустили распад государства? — Пётр Дмитриевич хотел причинить Богданову боль, чтобы эта боль не дала ему умереть. — Почему позволили двум предателям разрушить космическую страну? Распилить “Буран” и “Энергию”? У вас не нашлось ни одной снайперской винтовки? — Пётр Дмитриевич вспомнил давнишний август и ужасную ночь, когда на площади клубилась толпа, в железной петле качался памятник, и в здании госбезопасности вдруг зажглись окна, словно там шёл праздничный бал. — Хватило бы одной только пули, и сегодня мы бы жили в Советском Союзе!

Богданов понуро сидел. Его синие губы чуть слышно шептали:

— Я во всем виноват. Я ошибался. Мы стремились в “лазурный Космос”, в Космос сверкающих звёзд. И забыли, что есть “чёрный Космос”. Мы попали в “чёрную дыру”, из которой нет выхода. Я это понял в тюрьме. Понял, что во всём виноват. Я ввёл в гироскоп “Бурана” неверные координаты, и он влетел в “чёрную дыру”. В тюрьме я разорвал простыню и сделал петлю. Я не мог больше жить. Я задохнулся в петле, узел давил на артерию. Но надзиратели вынули меня из петли. И вот теперь я живу. Зачем? Зачем мне жить? — Богданов продолжал лепетать, но его не было слышно. Он умирал.

Пётр Дмитриевич видел, как он оседает в кресле, как валится набок его голова.

— Нельзя, Степан Кириллович! Не позволю! — Пётр Дмитриевич схватил Богданова за руку, сжимал, тянул на себя. Он чувствовал, как Богданова затягивает чёрная пропасть. Засасывает непроглядная топь. Не пускал Богданова. Не давал ему утонуть. — Нельзя, Степан Кириллович! Держитесь! Вам нельзя утонуть! Вы светоч, мечтатель! Вы живы, и жива мечта!

Богданов погружался в топь. В “чёрную дыру” утягивала его непомерная сила, которой невозможно противостоять. Эта сила утягивала вместе с Богдановым Петра Дмитриевича. Он чувствовал ужас неотвратимого погружения, действие беспощадных неумолимых законов, по которым “чёрный Космос” сжирает лазурь, гасит звёзды, уносит с земли леса и озера, любовь и память, божественную Мечту и бескорыстное творчество. Заглатывает мирозданье.

— Вы, Степан Кириллович, великий, непревзойдённый! Вы хранитель космической мечты! Мечта вернётся! “Буран” вернётся! Мы полетим с вами в Космос! — Пётр Дмитриевич тянул Богданова за руку. Слышал, как в запястьях хрустят сухожилия, как лопаются сосуды в глазах. Они с Богдановым, взявшись за руки, как космонавты, куврыкались в открытом Космосе перед “чёрной дырой”. Их затягивал чёрный зев. В них дул железный ветер, тот самый, что нёс по степи комья сухих колючек, прах исчезнувших цивилизаций, пепел сгоревших книг, души забытых героев. — Мы полетим с вами

в Космос, Степан Кириллович! Туда, где ясновидец Гумилёв увидел Млечный Путь, расцветший неожиданно садом ослепительных планет! Куда мчался красивый конь Петрова-Водкина! Куда воздела руки алая Берегиня на старинных русских вышивках! И золотая Богородица на софийской мозаике!

— Я хочу в Космос. — Голос Богданова был едва слышен. Он цеплялся за Петра Дмитриевича. Они оба задержались на незримой черте, разделявшей два Космоса, “лазурный” и “чёрный”. — Хочу на Байконур. Хочу на корабль. Пусть меня возьмут. В детстве ночью мама выносила меня в сад, клала в коляску, и я смотрел на звёзды. Я помню звёздное небо, планеты, созвездия. Младенцем я стремился в Космос. Туда, к этим звёздам, я стремился всю мою жизнь. В Космосе прекрасно! Вы знаете, как там прекрасно! Там одна красота, одна любовь. Там никто не умирает. Там мама, наша деревянная хлебница, мои детские рисунки. Там Советский Союз. Его хотели разгромить на земле, а он улетел в Космос, и там сияет во всей красоте и могуществе. Улечу в Советский Союз. Там Сталин, парад Победы, Жуков, Королёв, Гагарин! Вместе с тобой полетим!

У Петра Дмитриевича иссякали силы. Чудовищная бездонная яма заглатывала обоих. И уже не уповая на собственные силы, Пётр Дмитриевич растворил сердце, где хранилась бесценная “Таблица”, и оттуда хлынул свет. Полюхнули стоцветные вспышки, загорелись небесные радуги, расцвели небывалые цветы, закружились хороводы светил, в волшебном танце плыли планеты и луны. И там, где царила крошечная тьма, теперь сияла лазурь.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как удаляется “чёрная дыра”, стихает железный ветер. Они летели с Богдановым в лазурном Космосе, и Петру Дмитриевичу казалось, что он уже был однажды среди несравненных красот. Мчался на лыжах по сверкающему снежному полю с вихрями прозрачных метелей. Влетал в лесные синие тени. Видел дося, окружённого сиреневым паром. В этих космических даях стояла изба, и тётя Поля сидела у окна, раскладывала на клеёнке королей и валетов. К ночи, когда от мороза потрескивал старый забор, тётя Поля вносила в избу петуха и кур, спускала в погреб. В центре земли кричал петух с огненным гребнем и синими перьями. Там, в Космосе, среди вечной весны гремели овраги и цвели придорожные ивы. Плыл по реке туманный огонь, женщина целовала его душистыми губами. Когда вышел в сумерках из душевой избы, латунная заря отражалась в реке, пахло черёмухой, и по всей округе страстно пели соловьи.

Пётр Дмитриевич и Богданов, два очарованных космонавта, облетев вселенную, вернулись на землю. Сидели за столом на деревянной веранде. Улыбались друг другу.

— Спасибо, Степан Кириллович, что приняли меня. Мне пора.

— Провожу вас.

Они спустились с веранды. Шли под соснами. На одной сосне виднелось дупло. Богданов остановился, огляделся вокруг, прошептал на ухо Петру Дмитриевичу:

— Видите это дупло? В него я спрятал чертежи “Энергии” и “Бурана”. Там все расчёты. Когда настанет время, мы достанем чертежи и построим “Буран”. Пусть об этом никто не знает. Опустите руку в дупло, и вы нащупаете этот клад.

Пётр Дмитриевич подошёл к сосне, опустил руку в дупло, но оно было полно древесного сора.

— Ну как, убедились? — спросил Богданов.

— Да, там лежат чертежи, — ответил Пётр Дмитриевич, видя, как счастливо озарилось лицо Богданова.

Под другой сосной на открытом воздухе стояла кровать с мятым одеялом.

— Я здесь сплю. Смотрю на звёзды. Хочу улететь в Космос.

Пётр Дмитриевич возвращался домой. Навстречу, пылая фарами, мчались автомобили. Сановники, торговцы, банкиры возвращались в свои мраморные дворцы и золочёные пагоды. Где-то под соснами худой старик ложился на деревянную кровать, чтобы посмотреть на звёзды.

Космическая мечта была спасена. Тайнственный код, увлекающий русскую душу в беспредельные дали, где немеркнущая красота, неиссякаемая

любовь и бессмертие, — этот код был найден Петром Дмитриевичем и пополнил “Таблицу Агеева”. Ещё одна драгоценная крупица легла в золочёный лик Богородицы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Кот Кузьмич имел обыкновение проводить дни за пределами дома, вступая в отношения с соседскими котами и кошками, а также предаваясь охоте на трясогузок. Милые птички слетали с ветвей на тропинку, скакали, подёргивая хвостиками, и нередко становились добычей Кузьмича. Полосатыми боками кот сливался с травой, подстерегал беспечную птицу, от которой, в конце концов, оставался крохотный ворох перьев.

К ночи Кузьмич возвращался домой, усаживался у двери, поджидая Петра Дмитриевича, раздражённо мяукал, требуя, чтобы ему отворили дверь.

Но иногда прогулки Кузьмича затягивались, и он возвращался под утро. Вспрыгивал на оконный карниз. Смотрел сквозь стекло страстными золотыми глазами, возмущаясь Петром Дмитриевичем, который делал вид, что не замечает кота, преспокойно попивал кофе. Наконец, Петр Дмитриевич приоткрывал окно, Кузьмич протискался в щель длинным телом, спрыгивал с подоконника на пол. Вытягивал передние лапы, выгибал спину, совершая своё особенное гимнастическое упражнение. Развязно играя бедрами, удалялся в комнаты, не обращая внимания на Петра Дмитриевича. Тот тщетно его окликал, манил кусочками колбасы или красной рыбы. Но Кузьмич не отзывался. Дремал на диване, лишь изредка вскидывал голову, брызгая золотыми глазами.

Пётр Дмитриевич был зависим от Кузьмича. Так случилось, что кот стал хранителем воспоминаний обо всех событиях, что случались в жизни Петра Дмитриевича. Даже о тех, о которых сам Пётр Дмитриевич едва помнил или забыл. Пётр Дмитриевич передал Кузьмичу ключи от драгоценного хранилища, где содержались свидетельства самых ранних, младенческих переживаний Петра Дмитриевича, вплоть до недавних, случившихся накануне. Пётр Дмитриевич поручил коту этот бесценный архив, заглянув однажды в солнечные глаза Кузьмича. Медленно, как переливают мёд из одной бакалги в другую, перелил в эти глаза все свои воспоминания. Кот стал владельцем уникальных свидетельств, но не злоупотреблял своим положением. Продолжал ловить трясогузок.

Помимо воспоминаний детства, памяти о первой любви, о взрыве фугаса в гератском проулке, о бойне на московских площадях, Пётр Дмитриевич передал Кузьмичу драгоценную таблицу “русских кодов”, “Таблицу Агеева”, после чего кот стал обладателем великой тайны, через которую случится преобразование России, к народу возвратится Мечта.

Зазвонил телефон. Пётр Дмитриевич смотрел, как трепещет выброшенная на берег мерцающая рыбка. Не брал телефон. По другую сторону нежного настойчивого звука таилась неведомая новость, которая стремилась вторгнуться в его жизни и произвести в ней перемены. Быть может, малые, как удар дождевой капли, или чудовищные, как крушение самолёта, того, что унёс жизни матери и отца.

Пётр Дмитриевич взял телефон.

— Пётр Дмитриевич, извините ради Бога. Это беспокоит вас Ирина Волхонцева.

— Кто, простите?

— Ирина Волхонцева. Вы помните, мы недавно встречались. Вы дали свой телефон, сказали, что я могу позвонить.

— Да, да, я помню, — неуверенно ответил Пётр Дмитриевич, стараясь вспомнить, где могла произойти их встреча и отчего он дал телефон. Вначале возникли медные ботфорты истукана, чья голова пропала в сумраке. Рокот, шелест толпы, из которой вдруг возник его фронтовой друг Фаддеем Аристархович Лоб с аристократической тёмной бородкой. И следом женщина, которая приближалась, опустив глаза, словно боялась соскользнуть с каната.

Её серые, с зеленоватым отливом глаза. Тёмные, с золотистым отблеском волосы, расчёсанные на прямой пробор. Пушистые брови, на которые Петру Дмитриевичу вдруг захотелось дунуть...

— Ну конечно, я вас узнал! Вы аспирантка, и вас интересуют “русские коды”.

— Мне хочется с вами встретиться, задать несколько вопросов. Фаддей Аристархович сказал, что вы сможете мне помочь.

— Конечно, мы выберем время.

— Я должна сдавать реферат. Мне так нужна ваша помощь.

Пётр Дмитриевич не хотел встречаться. У него были другие заботы. Он наметил серию визитов, которые помогут ему обнаружить недостающие в “Таблице” “русские коды”. Собираясь отказать малознакомой аспирантке, он вдруг вспомнил, что Богданов во время недавней встречи сообщил, что в парке “Зарядье” были высажены растения, предназначенные для марсианских лесов. Там особенный воздух, и если им надышаться, то ощутишь невесомость. Пётр Дмитриевич хотел посетить “Зарядье”, и теперь для этого представился случай.

— Что ж, если у вас есть время, приезжайте сегодня в парк “Зарядье”. Пообедаем и побеседуем.

— Приеду. Я вам так благодарна.

Кот Кузьмич недовольно раскрыл медовые глаза и вновь погрузился в сон.

Пётр Дмитриевич оставил автомобиль на стоянке. Шёл по набережной Москва-реки, глядя на речные трамвайчики. Каждый проносил по реке разноцветный ворох пассажиров, окружённых громогласной музыкой. Музыка гасла по мере того, как кораблик удалялся к розовому Кремлю или в противоположную сторону, к сталинской высотке.

Парк “Зарядье” размещался на искусственном насыпном холме, где прежде находилась гостиница “Россия”, пример пуританской хрущёвской архитектуры, несовместимой с аристократическими претензиями новых времён.

Пётр Дмитриевич вошёл в парк, но не стал углубляться, а направился к ресторану, где занял столик лицом к реке и стал поджидать аспирантку. Посетителей в ресторане было немного, но все они, как показалось Петру Дмитриевичу, были чем-то взволнованы. Заставляли обращать на себя внимание. Две женщины сидели за столиком и о чём-то беседовали. Внезапно прерывали беседу, поднимались и начинали раскачиваться, как если бы они были водоросли, колеблемые течением. Вновь опускались на стулья, продолжали беседу.

За соседним столиком два молодых человека шумно смеялись, что-то праздновали. Поднялись, держа бокалы, желая чокнуться, но промахнулись. Бокалы прошли мимо. Весельчаки ещё раз попытались сдвинуть бокалы, и опять бокалы не нашли друг друга. Молодые люди расхохотались, сели и выпили, не чокаясь.

Рядом обедала семья. Видный мужчина, милая женщина, маленький мальчик и младенец, который лежал на стуле, закутанный в свёрток. Младенец стал попискивать. Мать взяла его на руки, скинула с себя лёгкую блузку, обнажила полные млечные груди. Поднесла младенца и кормила, голая по пояс. Молодые парни, перестав смеяться, уставились на большие сочные груди.

Официант, кудрявый брюнет, принёс меню. Улыбался, тихо ухмылялся. Его что-то веселило. Не то, что находилось вокруг, а что было в нём самом, что-то легкомысленное и приятное.

Пётр Дмитриевич читал меню. Блюда показались ему несколько странными. Холодная камбала с мёдом и семенами липы. Бульон из кальмаров с куриными лапками и молодыми желудями. Стейк, посыпанный осиными крылышками, сдобренный белками оленьих глаз.

— Я никогда не пробовал этих блюд, — изумился Пётр Дмитриевич. — Это какая-то особая кухня?

— Это кухня “Зарядье”, — тихо засмеялся официант. — Её избрёл наш повар. Он был обычный парень, но у нас в ресторане стал творцом. К нам пообедать приходят послы. Повара собирается перекусить английская королева. Ей понравились жуки-плавунцы, пойманные в Чистых прудах.

— Интересное у вас заведение. И посетители интересные. — Пётр Дмитриевич указал на гологрудую женщину и на молодых парней, которые тщетно пытались чокнуться.

— Вчера к нам привезли человека в инвалидной коляске. Он отведал хвостиков ящериц с лепестками нераспустившихся роз. Встал с коляски и пошёл. А на прошлой неделе пришёл посетитель, который заказал бруснику, найденную в желудке убитого тетерева. Отведал, вскочил и стал кричать: “Я убил! Позовите полицию!” Он оказался убийцей, объявленным в розыск. А вы что хотели бы отведать?

— Пока ничего, — осторожно отказался Пётр Дмитриевич. — Только вино, надеюсь, из винограда, а не из тресковой печени.

Он увидел, как приближается женщина, которой он назначил встречу. “Кажется, Ирина Волхонцева”, — вспомнил он имя. Женщина шла, закрыв глаза, по прямой, как по канату, под которым темнеет пропасть. Так ходят во сне лунатики. Пётр Дмитриевич испугался, что вдруг она откроет глаза, проснётся и сорвётся в пропасть.

Она подошла, подняла лицо. Посмотрела на Петра Дмитриевича сияющими серыми глазами, которые на мгновение стали зелёными. Петру Дмитриевичу вдруг захотелось дунуть на её пушистые брови, чтобы они распушились ещё больше.

— Я немного опоздала, простите. Я отнимаю у вас время. — Ирина протянула Петру Дмитриевичу руку, и тот, пожимая узкую ладонь, вспомнил пожатие хрупких пальцев там, на вечеринке, когда её внезапно выплеснула толпа, а потом толпа отхлынула, и они остались вдвоём среди гигантских статуй, какие высекали в горах исчезнувшие огнепоклонники.

— Вы знакомая моего друга Фаддея. Я вам не мог отказать. — Пётр Дмитриевич усадил Ирину, заглядывая в карту. — Что мы закажем? Здешний повар — колдун. В каждое блюдо он добавляет снадобье, от которого люди на время сходят с ума. Одни начинают летать, другие разговаривают на языках умерших народов, третьи переживают вселенскую любовь.

— Я уже летаю, летела к вам, как на крыльях. Я исследую “русские коды”, утратив которые наш народ умер. А вселенскую любовь я испытала в первые секунды нашего знакомства. — Ирина засмеялась.

Петру Дмитриевичу, который неохотно шёл на свидание, тяготился встречей с неизвестным человеком, стала интересна эта молодая женщина, настоявшая на свидании.

— Тогда просто вино, — сказал он.

Они пили вино, брали с блюда тонкие ломтики сыра. Сквозь окно виднелась река. Плыли кораблики с ворохами разноцветной толпы, но музыки не было слышно. Пётр Дмитриевич, заслоняясь бокалом, осторожно поглядывал на Ирину, стараясь угадать, сколь откровенен он может с ней быть, в чём её тайный умысел.

— На вечеринке я ничего не успела вам сказать. Меня подхватила толпа и куда-то унесла. Меня в одну, вас в другую сторону. Мне вдруг стало душно. Показалось, что сейчас кого-то убьют.

— Там было много убийц. Один убивал веру в Победу. Другой осквернял алтари. Третий портил русский язык. Четвёртый хулил русскую историю. Я ушёл, хватаясь за стену, когда на боевой колеснице появился главный палач. На его голове шевелила цепкими лапками фиолетовая ящерица.

— Да, это было ужасно! — воскликнула Ирина.

Пётр Дмитриевич убедился, что собеседница сотворена из той же плоти, что и он. Её кровяные тельца разрушаются, попадая в ядовитое излучение. Она содрогнулась, видя, как в царской колеснице появился убийца сокровенных святынь.

— Я собиралась сказать, как я вам благодарна. На том ужасном представлении у Бориса Журавлика мне казалось, что меня казнят. Богоносцев

пытал меня, причинял страшную боль, губил во мне самое драгоценное. Губил стихи, которые я читала на школьных вечерах. Губил цветы, которые мама в детстве ставила в вазочке у моей кровати. Губил ту чудесную церквушку в переулке, посыпанную снегом, у которой я любила гулять. Губил русскую песню, которую мы разучивали в хоре. Я умирала, и все вокруг умирали. И никто не мог защитить колокольчики и ромашки в маминой вазочке, песню о тройке, которая мчится по Волге-матушке зимой. Никто не мог защитить моего прадедушку в гимнастёрке с медалями, который погиб под Берлином. И вдруг вы, ваш голос, ваши глаза, ваши необычайные слова! Вы спасли меня. Спасли всех, кто умерал в этом зале. Поэтому я и кинула вам красный цветок.

Она протянула к Петру Дмитриевичу руку, словно хотела благодарно его коснуться. Но испугалась, виновато отдернула руку. Петра Дмитриевича взволновало это признание. Он видел, как сияют её серые глаза, переливаясь изумрудом.

— Я тоже умирал. Этот колдун превратил меня в каменный столп. Но вдруг кто-то тронул меня перстом, вот сюда. — Пётр Дмитриевич коснулся шеи, где билась потаенная жилка. — Быть может, Пушкин пришёл мне на помощь.

— Вы декламировали оду “Вольность”, “Сказку о золотом петушке”, “Сон Татьяны”, “Клеветникам России”. А потом нараспев, будто сказитель, стали вспоминать, как видели всплывавшего в Охотском море кита. Как марийские волхвы поклонялись священному дереву, и на это дерево слетелись дятлы, совы, синицы, ястребы, дрозды, крохотные трасогузки. Рассказали о девушке, которая в юности подарила вам бусы. Эти синие бусины вы разбросали по всей земле, а потом стали их собирать, и это были “русские коды”, которые сложились в дивное ожерелье. Вы говорили о каком-то восточном городе с изразцовыми мечетями, мимо которых шли танки, и горы в вечернем солнце становились синими, красными, золотыми, и на ваш автомат вдруг села большая стрекоза со слюдяными крыльями. Какой-то волшебный огонь плыл по вечерней реке, и женщина на прощанье протягивала вам розовую мальву, обещала новую встречу.

— Неужели я это всё рассказал? — Пётр Дмитриевич не помнил ничего из того, о чём говорила Ирина.

По Москва-реке за окном плыл корабль, белоснежный, с зеркальной рубкой. Над ним развевалась малиновая хоругвь, на которой сиял златовласый Спас. Корабль плыл медленно, будто хотел, чтобы Пётр Дмитриевич его запомнил. А ему казалось, что этот корабль — мираж, и сидящая перед ним женщина — тоже мираж, и её пушистые брови, и серые, с зеленью глаза, и влажные от вина губы, и близкие волосы, которые можно погладить, — всё это мираж, наваждение. И оно сейчас расплывётся, растает, как изображение на горящей бумаге.

Это было тихое помешательство, которое испытывал всякий, кто оказывался в парке с марсианскими деревьями.

— Я что-то хотел спросить. — Пётр Дмитриевич провёл перед глазами рукой, устраняя виденье. — Вы сказали, что пели в хоре народные песни?

— Я разучивала народные песни. Когда их пела, казалось, что мне открываются потаённые сущности, те, что вы называете “русскими кодами”.

Петру Дмитриевичу почудилось, что где-то высоко запел печальный восхитительный голос. Пел про дальнюю дорогу, про милого, который уехал, про вдовью долю весь век горевать и печалиться.

— А вы как обрываете эти волшебные коды? — спросила Ирина.

Пётр Дмитриевич сомневался, следует ли открывать едва знакомому человеку потаённые знания, плод чудесного ясновидения. Но так искренне звучал её голос, так сияли её глаза, так странно и сладко дышалось воздухом марсианских лесов, что Пётр Дмитриевич решил не таить от Ирины свои сокровенные открытия.

— Я путешествовал по Брянщине, по деревням, маленьким городам, по холмам, где когда-то стояли монастыри и палаты, а теперь пестрели полевые цветы. Я искал то место, где родился святой монах Пересвет. Его послал

Преподобный Сергей на Куликово поле биться с татарами. Соперником Пересвета был татарский богатырь Челубей. Копьё Челубея было длинней и тяжелей копия Пересвета. Он убивал соперников прежде, чем те успевали дотянуться своими копьями. Пересвет снял с себя монашескую рясу, кольчугу, голый по пояс вскочил на коня и понёсся навстречу сопернику. Он подставил грудь под копьё Челубея, насадил себя на копьё и тем самым приблизился к врагу. Уже мёртвый, с пробитым сердцем, дотянулся он копьём до татарина и убил его. Тем самым предрешил победу русских на Куликовом поле. Я искал то место, где когда-то появился на свет святой монах. Но оно не было отмечено в летописях, не значилось на картах. Я чувствовал, что оно где-то рядом, то ли на этом холме, то ли дальше. Вдыхал воздух, надеясь уловить запах дыма, признаки исчезнувшего жилища. Но пахло сладким ветром и полевыми цветами. Я прикладывал ухо к земле, не раздастся ли топот копыт. Но шелестели травы, трещали кузнечики, и в синей далёкой туче перекачивался гром. Я смотрел в небо, не будет ли мне знака, ни сверкнёт ли луч, как перст Божий, указывая на заветное место. Но в небе кружил ястреб, и стояла высокая синяя туча. И вдруг я услышал зов, не звук, а влечение. Будто кто-то указал мне на далёкий холм, к которому я должен идти. Я шёл через поле, распутивая серебристых птиц. Перобрёл мелкую речку с брызнувшими мальками. Спустился в овраг, где меня обожгла крапива. Вышел к холму. Холм был высокий, в красных цветах, над которыми летали маленькие голубые бабочки. Вершина холма была плоской, срезанной. Дул ветер, красные цветочки дрожали, бабочек сносило в сторону. Я вдруг понял, что здесь, на этом месте, родился Пересвет. Так дул ветер, так дрожали цветы, так блестела далёкая речка, так белела просёлочная дорога, и так из-за синей тучи падал луч. Я лёг на вершине холма. Земля была тёплая, в меня из тёплой земли потекли волшебные силы. Я испытал небывалую любовь, несказанное обожание к этим затуманенным далям, белевшему просёлку, крохотной деревеньке, к синей туче с расплавленной кромкой. Туча закрыла солнце, посыпался лёгкий дождь. Дождь мочил меня, цветы, все окрестные травяные холмы. А когда кончился, и вышло солнце, всё вокруг засверкало алмазами, вся бескрайняя русская даль светилась и сверкала. И я понял, что здесь появился Пересвет, и его подвиг родился из бесконечной любви, из молитвенного обожания, которые передались мне, и я на мгновение стал Пересветом.

Я много думал, и мне открылось, что русские — это народ-Пересвет. Иван Сусанин, заманивший поляков в чащобу и погибший от польской сабли, был Пересвет. Александр Матросов, закрывший грудью амбразуру немецкого дота, был Пересвет. Народный святой Евгений Родионов, которому отсекли голову чеченские боевики за то, что он не отрёкся от Родины, — он был Пересвет. “Русский код”, который живёт в каждом русском, я называю “код Пересвет”.

Пётр Дмитриевич умолк. Продолжал слышать шелест дождя в траве, вдыхал запах цветочной пыльцы, видел крохотную бабочку-голубянку, сбившую каплей дождя.

Ирина коснулась его руки:

— Господи, какой вы чудесный! Как много вы мне открыли! Как мне хочется учиться у вас, вам помогать!

Она убрала руку, не сразу, а медленно, и пока её пальцы скользили по его руке, он испытывал сладость, благодарность к ней за то, что воскресила эти изумительные мгновенья. Подумал: ещё недавно они были едва знакомы, он испытывал к ней отчужденье, но теперь она тронула его своей чудесной рукой, и он любит её скользящими пальцами.

— Я хотела вам что-то сказать. В чём-то признаться. Вы не узнаете меня? — Ирина повернула лицо к окну, свет реки упал на её высокий лоб, позолотил волосы, линии носа и губ стали тоньше, словно их провёл живописец, глаза стали прозрачнее и зеленей. — Не узнаете меня?

— Не узнаю. — Пётр Дмитриевич никогда не дул на эти пушистые брови, не пожимал эти чудные пальцы, не целовал эти мягкие розовые губы. — Не помню.

— Вглядитесь в меня.

— Нет, не помню.

Пётр Дмитриевич отвечал неуверенно. Воздух марсианских лесов кружил голову, рождал миражи, побуждал верить в невероятное.

— Сейчас я живу на Сретенке. Но моё детство прошло в Люблино. Там есть большой пруд с остатками старой усадьбы. Летом на пруду плавали лодки, а зимой снег расчищали и устраивали каток. Я любила смотреть на первый лёд, когда он кажется стеклом. Мальчишки кидали камни, камни летели, отскакивали ото льда, а некоторые камни пробивали лёд, и начинала пузыриться вода.

Я шла по берегу и увидела на льду куклу. Она была растрёпанная, раздёрганная. Кто-то её кинул. Мне её стало жаль. Я пошла на лёд, чтобы спасти куклу. Лёд провалился, я ухнула в воду. Ушла с головой, будто кто-то ужасный тянул меня на дно. Стала барахтаться, кричать, а меня утягивало. Я захлебнулась, потеряла сознание. Очнулась на берегу. Кругом люди, среди них молодой мужчина, весь мокрый. Это он кинулся за мной в прорубь. Меня повели домой, чтобы я не замёрзла. А мужчина повернулся и пошёл. Я видела, как он выжимает кепку. Я запомнила его лицо. Подумала, что непременно его найду.

— Нашли?

— Нашла.

— Кто же он?

— Это вы!

— Вы ошибаетесь, — отмахнулся Пётр Дмитриевич. — Я никого никогда не вытаскивал из пруда.

— Это были вы. Когда я увидела вас на программе у Бориса Журавлика, сразу узнала вас. И пошла на вечеринку, чтобы убедиться. Это были вы. Я вас нашла. Вы мой спаситель.

— Да нет же, я никого не спасал. Не знаю пруд в Люблино.

— Все эти долгие годы я искала вас и теперь нашла. Вы мой спаситель.

Пётр Дмитриевич видел её благодарные глаза. Ему вдруг стало казаться, что был пруд, сизый лёд, растрёпанная кукла, бурлящая прорубь, и в ней бьётся, кричит светловолосая девочка.

Это был мираж. Он и она надышались воздуха марсианского леса, и их посетили миражи.

За окном на реке снова показался белоснежный корабль с зеркальной рубкой. Теперь он плыл обратно, и над ним развевалась малиновая хоругвь со златовласым Спасом.

— Нет, нет, я никого не спасал, — произнёс Пётр Дмитриевич. — Нам пора идти.

Они покинули ресторан и простились. Ирина спустилась к набережной с непрерывным блеском машин. Пётр Дмитриевич поднялся по выложенной плитками дорожке в парк. И ему открылся восхитительный вид. Варварка с золотыми куполами струилась, лилась, приближаясь к Кремлю с его розовыми зубцами, белоснежной колокольней Ивана Великого, на которой горело золотое солнце. На заострённых башнях мерцали капли рубина. Храм Василия Блаженного казался огненной клумбой райских цветов.

Пётр Дмитриевич смотрел на Кремль, испытывая восхищение, волшебное озарение от несравненной красоты, которой не было равной в мире. Эта красота казалась родной, обожаемой. Он хранил в себе эту красоту на войне, в скитаниях. Она вдохновляла его, сладко погружала в бесконечное прошлое, делая это прошлое близким и драгоценным. Очертания башен, стен, золочёных куполов находились в таинственной гармонии с его дыханием, сердцебиением. Казалось, он создан по тем же законам, по тем же божественным чертежам, что и Кремль.

Воздух, окружавший Кремль, светился и чуть трепетал. Так трепещет отражение, потревоженное тихим ветром. Земной Кремль был отражением небесного, который сиял в бездонной лазури. Земной Кремль сошёл в Москву с небес, был образом небесного царства. Пётр Дмитриевич был одарён этим небесным образом.

В парке былолюдно. Посетители шли по дорожкам, наклонялись к диковинным растениям, вдыхали их запах, и этот аромат действовал на них, как веселящий газ. Все смеялись. Смеялась невеста в белом платье, обнимая жениха в чёрном костюме с красным цветком в петлице. Смеялись молодые люди, которые шли пританцовывая, перебрасывая друг другу чей-то жёлтый картуз. Смеялась молодая женщина, которая катила перед собой колясочку с ребёнком, и тот, оглядываясь на мать, смеялся.

Пётр Дмитриевич увидел в конце дорожки мужчину и женщину. Они шли, обнявшись, и смеялись. Он испугался и счастливо замер, узнав в них отца и мать, которые не разбились в злосчастном самолёте, а остались живы и шли теперь, молодые и прекрасные, и смеялись. Пётр Дмитриевич кинулся их догонять, но они свернули на другую дорожку и исчезли, а перед ним оказался изумительный куст жасмина, усыпанный благоухающими цветами.

Пётр Дмитриевич рассматривал растения, пересаженные в парк из космической лаборатории. У берёзы был розовый ствол и плакучие ветки. От неё исходил запах церкви, убранной на Троицу берёзовыми ветками, чуть увядшими среди кадильного дыма и пылающего воска. У сосны были длинные серебряные иглы, словно она стояла среди рождественского мороза, и от неё веяло холодом. Клён имел маленькие перламутровые листья, и они пахли, как те заповедные книги из семейного шкафа с подшивками “Весов” и “Аполлона”. Дуб был огненно-красным, и от него полыхало жаром.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как что-то приближалось, огромное, чудесное. Накатилось волной света. Он увидел каждый кирпичик в кремлёвской стене, каждый изразец в храме Василия Блаженного, каждого голубя, притаившегося в звоннице колокольни. Он любил Москву, город своего рождения и своей будущей смерти, зная, что смерти нет. Все они сойдутся в небесном Кремле, и ему откроется, наконец, тайна его появления в этом божественном мире, в божественном городе, где его ожидает несказанное чудо.

Петру Дмитриевичу казалось, что он совершил полёт в мирозданье. Очертил круг и вернулся на землю. Во время полёта он добыл ещё один “русский код” — “код Москвы”. Пополнил “Таблицу Агеева”. Вложил золотую частицу в хитон Богородицы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вечером Пётр Дмитриевич вернулся домой, в свой уютный загородный дом. Кот Кузьмич выскочил из кустов и побежал впереди машины. Пётр Дмитриевич убавил скорость, позволяя Кузьмичу важничать, делать вид, что он своей милостью пропускает Петра Дмитриевича к дому. Кот умудрялся различать машину Петра Дмитриевича среди всех проезжавших мимо машин. Бежал впереди к воротам, задрал хвост и перебирая лапами в свете фар. Кот полагал, и, быть может, справедливо, что именно он является хозяином дома, пускает в него Петра Дмитриевича. Снисходительно позволяет Петру Дмитриевичу насыпать корм в мисочку, брать себя на руки и мурлыкать, скрывая недовольство. Пётр Дмитриевич ни в чём не перечил коту, признавал его превосходство. Помнил, что этот полосатый златоглазый зверь хранит в глубине своей кошачьей души “Таблицу Агеева”.

Позвонил телефон:

— Дорогой Петрусь, ты предпочитаешь кружить голову юным аспиранткам и забываешь своего старого фронтového товарища! — Голос Фаддея был бархатным, сочным, дружелюбным. В воображении Петра Дмитриевича возникли сразу три Фаддея. Один — поникший, с окровавленной головой. Другой — вёрткий, счастливый, сбивающий с фасада блестящие буквы. Третий — пристойный, светский, с благообразной бородкой.

— Фаддей, рад тебе. Хочу повидаться.

— Ирина тобой восхищается. Называет тебя Пересветом. Когда повидаемся?

— Как скажешь.

— У меня есть предложение. Не удивляйся. Существует Сигарный союз. Люди собираются и курят сигары. Что-то вроде клуба любителей санскрита. Дымят, молчат, пьют вино. Приходи завтра вечером в клуб. Подымим, побеседуем, повспомоинаем.

— Приду, называй адрес.

Сигарный клуб помещался в ампирном особняке у Чистых прудов. Пётр Дмитриевич постоял у янтарного, с белыми колоннами, фасада, любуясь чугунным балконом и таким же, из узорного чугуна, крыльцом. Позвонил и был впущен. Строгий привратник спросил:

— Вы к кому, господин?

— К Фаддею Аристарховичу, — ответил Пётр Дмитриевич, разглядывая стены прихожей, увешанные фотографиями именитых курильщиков с сигарами во рту. Среди портретов были те, кого Пётр Дмитриевич видел на телешоу, в репортажах из Думы, а также важные незнакомцы, быть может, банкиры, промышленники, послы.

— Пётр Дмитриевич, я вас встречаю. Меня зовут Майкл Вякио. Фаддей Аристархович вас ждёт! — скорым шагом к нему подошёл человек с усиками на круглом лице. На нём были клетчатая кепка, ладный пиджак из клетчатого сукна, на ногах — вязаные гетры. Он напоминал шофёра, который водит автомобиль с клаксоном. — Здесь у нас бывают миллиардеры, принцы крови, отставные разведчики. Мы вам очень рады, Пётр Дмитриевич.

Любезный человек в клетчатом одеянии проводил Петра Дмитриевича коридорами и ввёл в просторную залу с колоннами. Здесь было сумрачно, мглисто. Стояли кожаные диваны и кресла. В них расположились курильщики. Загорались и гасли огоньки сигар. Поднимались вялые дымы, медленно текли, сливались, тянулись к потолку, где слабо светлела роспись, — колесница, богиня, летящие купидоны.

— Вон, видите, господин в чёрном смокинге? — осторожно с порога указывал Майкл Вякио. — Это вице-президент “Альфа-банка”, старейший член нашего братства.

Костлявый старик с лошадиным черепом погрузился в кресло. Во рту его торчала сигара. Он сделал вдох. Красный уголёк загорелся в сигаре. Двумя пальцами он вынул изо рта сигару. Задвигал подбородком, толстыми губами. Выпустил колечки дыма. Колечки излетали одно за другим, текли вверх, медленно увеличивались в размерах.

— Рядом с ним, в малиновом смокинге, владелец сталелитейной компании. Друг президента.

Узколицый господин с зоркими глазами стрелка сделал затяжку. Сжал губы в трубочку и выпустил струю дыма, целясь в дымные кольца соседа. Струя пронзила кольцо, рассекла, и кольцо, как сбитый самолёт, стало снижаться и падать.

— А рядом, видите, в вязаной кофте? Это разведчик-нелегал, работавший в Бельгии. Его вернули в Россию по обмену.

Рыхлый толстяк в домашней блузе отвалился на диване, закрыл глаза, раскрыл оскаленный рот. В опущенной руке дымилась сигара. На пальце блестел перстень. Изо рта медленно валил дым, будто внутри у разведчика что-то тлело, чадило. Там истлевало его нелегальное прошлое.

— А вот и Фаддей Аристархович!

Фаддей появился из сумрака, и Пётр Дмитриевич подумал, что Афродита родилась из морской пены, а Фаддей был сотворён из табачного дыма.

— Петрусь, с гератским приветом! — Они обнялись. Бородка Фаддея кольнула щеку Петра Дмитриевича. Фаддей был в вельветовом пиджаке, в рубахе апаш, в модных джинсах и чёрно-белых туфлях, отличаясь от чопорных, в смокингах, послов и банкиров.

— Майкл Вякио, принесите нам сигары! — попросил Фаддей, увлекая Петра Дмитриевича в уединённый угол залы, где стояли два кожаных кресла и столик с бокалами и бутылкой вина. — Поставим дымовую завесу, чтобы нам никто не мешал.

Фаддей принял от Майкла Вякио две сигары. Серебряными щипчиками откусил у обеих концы. Одну из сигар передал Петру Дмитриевичу,

дождался, пока тот взял её в рот. Зажигалкой с газовым язычком поджёг сигару, наблюдая, как Пётр Дмитриевич делает первый вдох. Тлеющий огонёк погрузился в табачные листья. Фаддей закурил свою сигару. Удобно уселся в кресле, закинув ногу на ногу, и выпустил дым в сторону Петра Дмитриевича, но не в лицо, а мимо, вдоль виска.

— Ну, мой друг, расскажи, как ты жил эти годы?

— Всего не расскажешь. Много странствовал, от Магадана до Смоленска. Один раз тонул в Мезени. Другой раз едва ни замёрз в Хибинах. Били кастетом в Туле. Стреляли из дробовика под Ростовом. Уцелел, как видишь.

— Собирал “русские коды”?

— Они, как зёрна. Ими засеяна вся русская пашня.

— А где урожай? Снопы обмолочены, а хлеба нет. Одна мякина.

— Что ж, придётся перебирать мякину, высккивать оставшиеся зёрна, вновь засеять русскую пашню, дожидаться нового урожая.

— Уж не знаю, наполним ли мы когда-нибудь наши русские амбары? Вкусим ли досыта хлеба?

— Лишь бы снискать хлеб небесный, а насущный приложится.

Они дымили. Пётр Дмитриевич не глотал вкусный дым. Выдувал его обратно. Его дым сливался с дымом Фаддея, и их дымы общим облаком поднимались вверх.

— А ты как жил, Фаддей? Когда-то ты сообщил мне, что являешься инопланетянином. Улетал к своим на звезду?

— Побывал на чёрной звезде. Там всё в чёрном свете. Жил в Америке, но решил вернуться в Россию. Во мне живут “русские коды”. Хотя я — обмолоченный сноп, но два-три живых зерна во мне осталось.

Они вспоминали свалку за расположением полка, где на солнце искрились консервные банки, и в сухом знойном небе кружили грифы. Спускались на помойку, били мучнистыми клювами ржавую жесть. Ротный стрелял по грифам из снайперской винтовки.

Вспоминали московскую ночь, когда на проспектах оставались следы гусениц, и носились счастливые ватаги с трёхцветными флагами. Латунные буквы откалывались от фасада и звонко скакали по асфальту.

Дымы истекали из них, сливались в душистое облако.

— Я услышал о тебе, Петрусь, когда находился в Америке. По интернету прочитал твои статьи о “Русской Мечте”. Видел передачу с твоим участием. Потом узнал про “Таблицу Агеева”. Меня это поразило. Ведь я, как и ты, изучаю “русские коды”. Ищу их в “Повести временных лет”, в русских волшебных сказках, в учении старца Филофея и патриарха Никона. Я перечитал всю русскую поэзию, её “золотой век”, “век серебряный”, Маяковского, Твардовского. Я тоже хотел составить таблицу, в которой “русские коды” стройно воплощались бы в “Русскую Мечту”. Не получилось. Все коды рассыпались, враждовали друг с другом. “Мечта” не складывалась. Как ты пришёл к своей “Таблице”? — Фаддей выпустил дым, который свился в спираль и, как выюн, устремился ввысь.

Пётр Дмитриевич не глотал дым, держал его во рту, чувствуя гортанью и нёбом горьковатую прелесть тлеющих листьев. Открывал рот, плавно выпускал дым на свободу. Облако медленно расплывалось, и Петру Дмитриевичу казалось, что вместе с дымом улетучиваются несколько секунд его жизни.

— “Таблица Агеева” явилась мне во сне. Как Менделееву его таблица.

— В те годы, когда жил Менделеев, русским людям снились великие сны. Неужели эти времена возвращаются? Как же это случилось? — Дым, который изошёл из Фаддея, коснулся дыма, принадлежащего Петру Дмитриевичу, но не слился с ним, а обнял, словно одна душа заключила в объятья другую. — Как сделать так, чтобы мне приснился подобный сон?

— Была весна. Я гулял вдоль лесной опушки. Цвели ивы, похожие на золотые подсвечники, и в каждой свече гудела пчела. Дома я размышлял об удивительной способности русских превращать тьму в свет. В “Храме на крови” висит чудотворная икона Царской семьи. Расстрелянные в Ипатьевском доме, святые мученики не требуют отмщения и возмездия, но прощают, зывают к примирению. Не проклинают, но благословляют. С этими

размышлениями я уснул. Во сне услышал дивный аромат. Это пахла медом цветущая ива, и этот запах превратился в аромат маминых духов. Так пахло её летнее платье. Я сидел в боевой машине разминирования, где-то рядом был ты. В смотровую щель я видел глинобитную стену и над ней синюю главку мечети. Эта главка превратилась в синюю бусину от стеклянных бус, которые мне подарила девушка в день окончания школы. В нашем доме на столе стояла бабушкина хрустальная ваза. Я потянулся к ней, желая кинуть бусину в вазу. Но ваза упала и разбилась. Рассыпалась на множество блестящих осколков. Я закричал, но осколки собрались воедино и сложились в хрустальную вазу, полную солнца. Это была “Таблица Агеева”. Всё множество кодов сложилось в стройную систему, где один код сочетался с другим, и вместе они составляли “Русскую Мечту”. Таблица отпечаталась во мне. Оставалось только нарисовать её.

— Поразительно! Так русским святым являлись иконы и звучал во сне голос Господа! — Фаддей выдохнул дым, который проник в дым Петра Дмитриевича и остановился в нём, как сердцевина. — Сегодня русский народ — это ваза, разбитая на тысячи осколков. — Фаддей держал сигару двумя пальцами, водил ею в воздухе, рисуя дымом письма. — Все “русские коды” сместились, перепутались, уничтожают друг друга. Одни коды погибли, другие, неведомые, появились. Народ сошёл с ума. Не понимает себя, не понимает мира. Не видит, где его гибель, а где спасение. Ты должен спасти народ. Должен предъявить чудесную таблицу, чтобы расколота ваза снова сложилась. Чтобы вазу наполнило солнце. В этом твоё предназначение! Для этого тебе Господь показал во сне вещь “Таблицу”!

— Но в ней присутствуют ещё не все элементы. — Пётр Дмитриевич следил за письменами, возникавшими из дыма, но не мог прочитать. Фаддей писал на неизвестном языке. — В “Таблице” остаются пустоты. Я должен открыть ещё несколько кодов и найти им место в “Таблице”. И главное, я должен обнаружить ключевой код, который оживит всю “Таблицу”, превратит её в могучую силу. Ключ “живой воды”, который оросит “Таблицу” и с её помощью воскресит народ. Я ищу этот таинственный ключ, волшебный родник русской жизни.

— Так давай вместе искать. Давай вместе заполним “Таблицу” недостающими кодами. Все эти годы я занимаюсь тем же, что и ты. Я изучаю “русские коды”. Собираю те, что ещё уцелели. Отыскиваю те, что погибли под развалинами русской истории. Я создал хранилище “русских кодов”, как создают хранилище элитного зерна. Когда-нибудь мы вместе посеём эти зёрна. Покажи мне свою “Таблицу”. Мы её оцифруем, и в цифровом исполнении введём во все структуры одряхлевшей русской жизни. В затухающую космическую отрасль, превратим её в “Космос Русской Мечты”. В атомную энергетику и воссоздадим “Реактор Русской Мечты”. В армию, наградив её “Религией русской Победы”. В культуру, где сейчас правят бал такие, как Богоносцев и его невеста Ксения Фалькон, и провозгласим “Культуру Русской Мечты”. Везде, где существуют системы управления, где присутствует “искусственный интеллект”, мы внесём в них цифровую “Таблицу Агеева”, и она преобразит всю русскую жизнь. Даст долгожданный полёт русскому государству. Открой мне “Таблицу”, Петрусь!

Пётр Дмитриевич старался прочитать письма, которые выводила сигара Фаддея. Они казались ему арабской вязью. Или персидским орнаментом. Или китайскими иероглифами. Или шумерской клинописью. Их смысл оставался сокрытым, и только завораживала дымная струйка, выводившая витиеватую строку.

— Я не могу открыть тебе “Таблицу”, Фаддей. “Таблица” — сокровенная власть. Кто владеет “Таблицей”, обладает властью, способной устремить Россию в великое будущее, вернуть русскому народу непочатые силы. Или, если “Таблица” попадёт к врагу, с её помощью можно погубить народ, навсегда запечатать Россию в чёрных пещерах истории. Я храню “Таблицу Агеева” там, где её не достать врагу. Я поместил её в моего домашнего кота Кузьмича. Кот хранит её, а не я. Не хочу, чтобы “Таблица” попала к врагу, и враг поступил с “русскими кодами”, как поступили с ними в горбачёвскую перестройку.

— Я предоставлю тебе мой сейф. В него невозможно проникнуть чужому. Он снабжён электронными замками, такими системами, которые охраняют склады ядерных боеприпасов, золотые слитки в банке. Положи “Таблицу” в мой сейф, и ключи будут только у тебя и у меня.

— Я не могу открыть тебе “Таблицу”, Фаддей. Только президенту.

— Ты мне не веришь? Ведь у нас с тобой одна судьба, одна война. Нас покалечил один и тот же взрыв. Одна и та ж перестройка. Мы вместе сбивали с партийного фасада золочёные буквы, и ты держал в руке сбитую мной букву “М”. Мы русские люди. Как никто, любим Россию, хотим её возродить. Вооружить русский народ накануне тяжёлых испытаний. Если надо, отдадим за Россию жизнь, как отдавали жизнь за нашу красную исчезающую Родину!

У Петра Дмитриевича плыла голова. Дымы, его окружавшие, казались разноцветными облаками, и он парил среди разноцветных облаков на воздушном шаре. Огонь на конце сигары проникал вглубь, сжигал табачные листья, превращал в дым душистые смолы, пьянящие эфиры, наполнял дурманами лёгкие, летал по крови и возвращался в воздух в виде голубого дымного облака. В этом облаке витала душа курильщика, его тайные чувства и помыслы.

Пётр Дмитриевич любил Фаддея, чувствовал свою с ним тайную связь. Оба были порождением взрыва. Оба встретились, чтобы вместе совершить великий подвиг во имя ненаглядной Родины. Оба исповедовались друг другу, но не словами, а летучими дымами.

— А ты не боишься, Петрусь, что кто-нибудь вдохнёт твой дым и узнает тайну “Таблицы Агеева”?

— Он увидит золотую Богородицу, стоящую на облаке.

Пётр Дмитриевич блаженно улыбался, посылая своему другу, своему единомышленнику облако серебристого дыма. Некоторое время они молчали, улыбались, витали в разноцветных туманах. Глотали волшебный огонь, который разлетался по крови, рождая видения.

— Хочу познакомить тебя, Петрусь, с господами, прилетевшими в Москву из Америки. Они прилетели охотиться за “русскими кодами”. Охотиться на тебя, Петрусь. Я знаю об их задании. Я работал с ними в Бостоне. Они умны, жестоки. Они умеют под пыткой выбивать из человека информацию. Умеют водить боевые истребители. Умеют взламывать социальные сети. Я предлагаю тебе защиту. Мы спрячем “Таблицу Агеева” так, что они её не достанут. Но ты запомни их лица и берегись их!

Фаддей поднялся из кресла и повёл Петра Дмитриевича через залу.

Пётр Дмитриевич заметил, как по зале движется Майкл Вякио. Тот держал в руках сачок, каким ловят бабочек. Осторожно приближался к облаку дыма, ловко вычерпывал, уносил куда-то и вновь возвращался. Искусный ловец, он подкрадывался к добыче, улавливал вялый клуб дыма и бережно уносил.

— Что он делает? — Пётр Дмитриевич зачарованно наблюдал охоту за дымами.

— Майкл Вякио коллекционирует дымы известных персон. У него огромная коллекция. Ты можешь подарить ему свой дым.

Несколько диванов и кресел были сдвинуты, образуя купе. Здесь уединились три курильщика, чем-то похожие один на другого. Все трое были в чёрных смокингах, с усами, колючими, пушистыми, вразлёт. Усы закрывали верхнюю губу, из-под которой истекал дым. Казалось, вместе с сигарами дымятся усы.

Фаддей не представил Петра Дмитриевича, но каждого американца называл по имени. Пётр Дмитриевич, опьянённый дурманом сторевших листьев, не запомнил имён. Опустился в кресло и стал наблюдать, как дым просачивается сквозь усы курильщиков, и те одинаковыми движениями языка выталкивают дым изо рта.

— Надо признать, что наша работа не была доведена до конца, — произнёс тот, что имел усы щёткой. Он говорил на прекрасном русском, и лишь конец фразы слегка загибался вверх, как восточный чувяк. — Нами были уничтожены все “советские коды”, “красная” Россия пала и, казалось, больше не

возродится. Но, видимо, оставался ещё один неведомый код, малый ключик, который не удалось обнаружить. Русские спрятали его в какое-нибудь русское животное, в сказочную утку или в зайца. Может быть, укрыли его в дупле дерева или на кончике сосновой иглы. Мы должны отыскать этот код, чтобы ошибка не повторилась. Не случилось воскрешения русских.

— Но, может быть, мы ищем этот волшебный ключик на земле, а русские прячут его на небе? — произнес второй, с пышными усами. Во рту его виднелись два желтоватых резца, придававшие ему сходство с бобром. — Русские считают себя небесным народом, объясняют своё происхождение чудом. Чудо позволяет русским воскреснуть после очередной смерти. Из чудесного сосуда капает в мёртвую Россию капля “живой воды”, и Россия воскресает. Мы должны искать “русский код” на небе. На том, до которого не долетают космические корабли.

— Насколько я понимаю, для русских чудом является Победа. — Третий господин носил усы вразлёт, причём один ус был короче другого, словно короткому усу не хватало питания, и он отстал в своём росте. — Русские понимают Победу как одоление адской тьмы райским светом. Считают своих павших солдат ангелами, а Сталина — архангелом. Нам не удалось сжечь икону русской Победы, и они перенесли эту икону из “красной” России в нынешнюю. Может быть, они спрятали свой волшебный код в Победу?

— А что думает русский коллега? — спросил похожий на бобра.

Петру Дмитриевичу казалось, что он кружится в вальсе. Так действовал на него табачный дурман. Он понимал, что сидящие перед ним усачи были врагами, принимавшими участие в убийстве его “красной” Родины, и явились в Москву, чтобы добить Россию. Он не испытывал ни вражды, ни страха. Дымы действовали на него, как наркоз, снимавший боль и гасящий бдительность. Рядом сидел его друг Фаддей, готовый защищать драгоценные коды, сберегать от врагов “Таблицу Агеева”. Продолжая вальсировать под хрустальными люстрами, среди восхитительных дам и блистательных кавалеров, Пётр Дмитриевич произнёс:

— Вы хотите узнать, господа, где таится русский волшебный код, коим совершится воскрешение России? Этот код таит в себе Пушкин, потому в него и стреляли, но промахнулись. Этот код хранится в “коте учёном”, а также в основном дупле возле дома старого космиста. Он сбережён в Победе, которую пытались отнять у русских, поливали грязью, жгли огнемётами, били из танков у Дома Советов. Но русские перенесли Победу из “красного” времени в нынешнее. Так выносят из окружения знамя полка, наматывая его на просторенную грудь. Переносят через линию фронта, поднимают, и под знаменем вновь собирается полк. Не трудитесь, господа, отыскивать этот “русский код”. Завтра я отправляюсь в Новый Иерусалим, где хранится тайна главного русского кода — “Кода Победы”. Вам его не найти, господа. Вам не помогут никакие усы! — Пётр Дмитриевич встал с лёгкостью молодого танцора, продолжил кружение. Майкл Вякио махнул перед его глазами сачком, стараясь поймать облако дыма, но промахнулся, и дым улетел к потолку, где богиня неслась на колеснице в окружении купидонов.

— Хочешь посмотреть хранилище дымов? — Фаддей взял Петра Дмитриевича под руку, чтобы тот не упал, — Ты зря сообщил этим трём колдунам, что отправляешься завтра в Новый Иерусалим. Как бы они не увязались за тобой.

— Что ж, покажите мне ваш колумбарий! А эта усатая троица мне не помеха.

Майкл Вякио, отложив сачок, повёл Петра Дмитриевича и Фаддея вниз по лестнице на подземный этаж, где располагалось хранилище. Вдоль стен от пола до потолка высились стеллажи. На них плотно стояли стеклянные сосуды. В каждом что-то неясно туманилось. Это были дымы, которые когда-то излетели из уст знаменитых курильщиков. Сами знаменитости были давно мертвы, а их дыхание вместе с дымом уловлено в сосуды.

— Здесь есть дымы русских царей и русских писателей, — пояснял Майкл Вякио, бережно касаясь сосудов. — Есть дым Гитте и Струве. Дым Зинаиды Гишпиус и Владимира Маяковского. Дым Гесса, взятый у него в тюрьме Шпандау за неделю до самоубийства.

— Что вы делаете с этой драгоценной коллекцией? — поинтересовался Пётр Дмитриевич, постепенно освобождаясь от табачного дурмана.

— Каждый дым содержит тайну человека, курившего когда-то сигару, — пояснил Майкл Вякио. — Если вдохнуть этот дым, вам откроется эта тайна. Мы узнаём тайны дымов и пишем историю, основанную не на слухах и случайных документах, а на помыслах тех, кто творит историю.

— Какие же тайны вам удалось разгадать?

— Вот, например, дым Наполеона. — Майкл Вякио тронул сосуд, в котором таилась голубоватая дымка. — Отведав этого дыма, мы выяснили, что между Наполеоном и Александром Первым был заключен Пакт о ненападении, который имел секретные протоколы. По этим протоколам совершался раздел мира между Россией и Францией. России отходила Индия, бывшая тогда английской колонией, а Наполеон забирал себе Африку, Австралию и саму Британию. Поход атамана Платова в Индию провалился, потому что случился падёж лошадей, и казакам не на чем было добраться до Индии.

— Могу я попробовать дым Наполеона? — робко поинтересовался Пётр Дмитриевич.

— Это весьма опасно, — деликатно отклонил просьбу Майкл Вякио. — К нам приходил один петербургский профессор. Он обожал Наполеона и во всём ему подражал. Он отведал дым императора, вернулся в Петербург и расчленил молодую красавицу, полагая, что это символическое расчленение мира. С четвертованной женщиной он решил переправиться через Березину, но, как вы знаете, переправа прошла неудачно.

— А какой дым я могу отведать? — продолжал настаивать Пётр Дмитриевич.

— Пожалуй, дым от сигары Василия Ивановича Чапаева.

— Чапаев курил сигары?

— Он разгромил штаб Колчака и нашёл там сигары. Перед атакой он курил сигары.

Майкл Вякио достал с полки стеклянный флакон. В нём содержалась серая муть. Поставил флакон на подставку, как это делают с электрическим чайником, и нажал кнопку. Муть взволновалась, обрела розовый цвет, стала огненно-красной. Майкл Вякио снял флакон с подставки, достал пластиковую трубочку и вставил её в сосуд, словно в нём содержался коктейль.

— Отведайте, — пригласил Майкл Вякио Петра Дмитриевича, — Только пожалуйста, самый малый глоточек!

Петр Дмитриевич ухватил губами трубочку и втянул дым.

Почувствовал слабый ожог, будто проглотил капельку уксуса. Ему показалось, что в язык укусила пчела, и он вскрикнул от боли. Жаркая боль проникла в сердце, и оно расширилось, взбухло. Глаза стали выпучиваться, польхнул ослепительный свет, и Петра Дмитриевича подхватило, помчало, понесло. Кругом свистело, грохотало. Сливались размытые дали. Мелькали города, реки, горы. Летели звёзды. Визжали осколки. Это были осколки разорванных планет и рассечённых галактик. Пётр Дмитриевич мчался в седле с криком: “Даёшь”! В руке сверкала верная сабля с отражением Млечного пути, и от неё отлетали отрубленные головы встречающих планет.

Пётр Дмитриевич очнулся. Майкл Вякио и Фаддей приводили его в чувство. А Пётр Дмитриевич, испытавший восторг русской атаки, помещал в свою “Таблицу” ещё один русский код — “код Чапаева”.

— Мне пора идти, — слабо произнёс Пётр Дмитриевич. — В следующий раз я приду и сделаю две затяжки.

Его провожал Фаддей:

— Ещё раз прошу, Петрусь, давай работать вместе. Покажи мне “Таблицу Агеева”.

— Не могу, Фаддей. Только президенту России. Она находится под грифом “Секретно”.

— Я не настаиваю. Вместе нам было бы легче её охранять. И ещё раз скажу, что зря ты сообщил этим трём усачам, что отправляешься завтра в Новый Иерусалим.

Друзья обнялись, условились встретиться вновь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Пётр Дмитриевич не сомневался, что кот Кузьмич любит его. Просто кот был скуп на внешние изъявления чувств. Ему была чужда привычка вспрыгивать Петру Дмитриевичу на колени. Он редко позволял себе забираться на кровать хозяина и спать у него в ногах. Нехотя оборачивался, когда Пётр Дмитриевич окликал его. А иногда и просто делал вид, что не замечает, следовал мимо, не оглядываясь. Не откликался на все заискивания и оклики.

Но между котом и Петром Дмитриевичем существовала молчаливая связь, которая не нуждалась в словах и признаниях, в умилительных знаках внимания. Когда Пётр Дмитриевич выходил из дома и усаживался в кресле под сосной, глядел, как из-за дерева медленно появляется белое облако и мимо пролетает бабочка-белянка, и в этом блаженном созерцании являются образы детства, милые лица близких, строка ползузабытого стихотворения, кот Кузьмич появлялся и ложился в стороне, так чтобы его мог видеть Пётр Дмитриевич. Они часами находились рядом, не докучая друг другу, погружённые в единое сладостное созерцание, в полуденный свет, где они оказались вместе среди запаха цветов, белого облака, пролетевшей бабочки и мимолётной строки: "...младая будет жизнь играть". Кот Кузьмич знал эту строку, как и всё пушкинское стихотворение. Знал всё, что знал Пётр Дмитриевич, и гораздо больше. Ибо имел заоблачное, космическое происхождение. Был мудрее и совершеннее Петра Дмитриевича. Недаром Пётр Дмитриевич доверил коту сбережение самого драгоценного своего достояния — "Таблицы Агеева".

"Вера в Чудо" была "русским кодом", который приводил в движение множество других "русских кодов". "Таблица Агеева" была Чудом. Чудом была и сама Россия с её историей, где череда смертей сменялась чередой воскresений. Это придавало русской истории пасхальный смысл.

Желая увидеть, как сходит на Россию благодатный огонь, Пётр Дмитриевич отправился к своему знакомцу, отцу Андрею, обитавшему в подмосковном селе вблизи Нового Иерусалима.

Новоиерусалимский монастырь был прекрасен. Колокольня струилась в лазурь, похожая на восхитительное райское древо. Главы соборов, как воздушные шары, колыхались, касались друг друга, издавали тихие перезвоны. Стены с башнями были покрыты серебристым тёмом, и если подняться на стену, открывались зелёные дали, синие леса, блестела река, и в небе летели птичьи стаи. Шатёр Воскресенского собора, полный голубых лучей, казался небесным сводом. В нём витали ангелы. Песнопения вместе с душистыми дымами утекали ввысь, и там, под куполом, что-то сотворялось из лучей, дымов, песнопений, плещущих ангельских крыльев. Оттуда тихо стекало сусальное золото, и лица молящихся казались озарёнными.

Было много старушек в блёклых разноцветных платочках. Пожилые мужчины стояли без шапок, сутулые, с задумчивым тихими лицами. Молодые крепкие парни теснились вместе и истово, одновременно осеняли себя крестным знаменем. Были паломники и паломницы в стоптанных башмаках и чёрных подрясниках. Был юродивый, который кривлялся и что-то выкрикивал. Малые дети шалили и бежали по храму. Было несколько солдат в форме с фуражками под мышкой. Молились казаки с лампасами, усыпанные крестами.

Петру Дмитриевичу было хорошо. Он был вместе со своим народом, молился, ставил свечки, не стеснялся слёз, когда хор страстно, неземными голосами пел: "Богородице, Дево, радуйся". Всё вокруг начинало плыть, плавилось, отекало золотом, и хотелось, чтобы не кончались песнопения, не кончались слёзы, не кончалась любовь.

Юродивый в обносках, кривляясь, шлёпая слюнявым ртом, шёл среди прихожан с картонной коробкой, собирая деньги. Подходил к каждому, говоря:

— Клади рубль, возьми два!

Люди сыпали деньги. Юродивый подошёл к Петру Дмитриевичу. Пахнуло кислым потом. Одноглазое лицо ухмылялось.

— Клади рубль, возьмёшь три!
— Почему три, а не два? — Пётр Дмитриевич кинул в коробку купюру.
— У собак лица, а у людей морды. Такое время, — произнёс юродивый и пошёл толкаться среди прихожан.

Петру Дмитриевичу показалось, что из толпы сверкнула вспышка. Кто-то сделал снимок. Мелькнул человек с аппаратом и скрылся. Его лицо показалось знакомым. Пушистые усы и два резца во рту, как у бобра. Такое лицо Пётр Дмитриевич видел накануне в курительной зале, где Фаддей знакомил его с тремя усачам. Однако Пётр Дмитриевич мог обознаться и скоро об этом забыл.

Пётр Дмитриевич и прежде бывал в монастыре. Патриарх Никон, основатель монастыря, волновал его. Грозное лицо, косая борода, чёрные навывкате глаза, тяжёлый нос и толстые губы, могучий кулак, сжимающий посох, — таким выглядел Никон на старой парсуне, перед которой долго простаивал Пётр Дмитриевич. Старался разгадать тайную мечту Патриарха.

Тот решил возвести среди подмосковных берёз точное подобие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Перенёс из Палестины в Подмосковье образы и названия Святой земли, где прошла земная жизнь Иисуса Христа, где ступала нога Спасителя, где его постигла мученическая смерть и случилось чудесное воскрешение. В монастыре и вокруг были Крестный путь, Голгофа, Гефсиманский сад, Фавор, Генисаретское озеро — Галилейское море. Речка Истра именовалась Иорданом.

Пётр Дмитриевич не мог понять могучую и пугающую идею Патриарха, который перенёс под Москву, как по воздуху, палестинский Иерусалим. Не стал завоевывать, как крестоносцы, залившие Палестину кровью. А волей и духом переместил под Москву светоносную землю. Победил пространство и время. Присоединил к Москве Палестину, как до этого присоединили Сибирь и Малороссию.

Эта затея могла показаться прихотью. Новый Иерусалим мог выглядеть макетом, копией подлинного Иерусалима. Но здесь, у монастырских стен, веяло таинственной силой, будто и впрямь эти опушки, деревеньки, просёлки “в рабском виде Царь Небесный // исходил, благословляя”.

Несколько раз во время этих размышлений ему казалось, что он видит вспышку фотокамеры. Кто-то фотографировал его, укрываясь в толпе. Вечерашняя усатая тройца мерещилась ему среди прихожан. Усы щёткой, пушистые и вразлёт мелькали среди подсвечников и лампад. Но, быть может, ему это только казалось.

В раздумьях Пётр Дмитриевич покинул монастырь и отправился к отцу Андрею поразмышлять о Русском Чуде. Он застал отца Андрея в саду под яблонями за чаепитием. Сtatный, с каштановой бородой, ясным взглядом, отец Андрей в белом подряснике поднялся навстречу Петру Дмитриевичу. Благословил, усадил за стол. Придвинул чашку и вазочку с земляничным вареньем, вокруг которого кружила оса. Сквозь яблони, на которых наливались плоды, белела церковь, блестел пруд с плавающими гусями. Слышался свист косы. Громадного роста казак в шароварах с лампасами, в рубахе на выпуск махал косой, выкашивая бурьян.

— Какими судьбами, Пётр Дмитриевич? — отец Андрей наливал в чашку Петра Дмитриевича чай из фарфорового чайника с красным петухом.

— Да вот, переплыл Иордан и сразу к вам, отче.

— Омовение в Иордане, считайте, второе крещение.

— В чудесном месте обитаете, отец Андрей. Должно, кругом чудеса творятся?

— А это разве не чудо? — священник указал на церковь, нежно белевшую сквозь яблони. — Какой она мне досталась! Один фундамент, алтарь мерзостями исписан, смрад. “Боже, как мне её поднимать?” Но вот чудо, стоит Божья краса!

— Вы чудотворец, отец Андрей.

— Не я — Патриарх Никон. Он помогает. Откуда силы берутся? Откуда дарители являются? Патриарх присылает.

— Как же он присылает?

— Я вам расскажу, Пётр Дмитриевич. Задумал я заказать пять икон во славу русского оружия. Денег нет, где взять? Казна моя пуста. И вот приходит один человек, в брезентовом плаще, грязью заляпанный, с сумкой. Спрашивает меня. Я младенец крещу, не могу к нему выйти. Он два часа смиренно ждал под дождём. Я вышел: “Что вы хотели?” Он сумку на землю поставил. “Тут вам, батюшка, на иконы”. И ушёл. Я сумку открыл, а она полна денег. Десять миллионов. Кто прислал благодетеля? Патриарх Никон.

Они сидели, пили чай. Пот катился по лицам. В стороне свистела коса. Казак могуче двигал плечами, отирал сверкающую косу клочком травы.

— Вы спрашиваете, Пётр Дмитриевич, какие чудеса здесь творятся. Я вам скажу, какие. Я сам местный, родился в Истре. Монастырь с детства знаю. Ну, развалины, ну, немцы в войну взорвали. Всё привычно. Ушёл в армию, пришёл из армии. Ищу работу. Не нахожу подходящей. Маюсь. Стал водкой баловаться. А было Крещение. Снег, мороз. В церковь никогда не ходил. Лёг спать. Вдруг среди ночи кто-то толкнул: “Встань и иди!” Куда идти, не сказал, но я знаю. В монастырь. Взял фонарь, ночью пошёл в монастырь. Темень, ветер жжёт. Вошёл в собор. Руина. Под ногами хрустят изразцы, о кирпичи спотыкаюсь. Зажёл фонарь. Под ногами то голова ангела вспыхнет, то крыло. Вошёл в собор. Огромный, ветер в окнах ревет, а купола нет, рухнул. В небе дыра. А оттуда, из чёрной дыры, звёзды. Сверкают, переливаются, то зелёные, то голубые, то розовые. На меня с неба чудесная сила нисходит. Чей-то голос. Слов не разобрать, но гудит с ветром. И такой во мне восторг, такое счастье, такая вера в Того, Кто смотрит на меня со звёзд сквозь купол разоренного храма! Кто поёт мне свои небесные песнопения! Я ушёл из монастыря и спустился к Истре, которая есть Иордан. Берег в огнях. Свечи, лампады. Люди поют, входят в реку. Берега белые, а вода чёрная, текучая. Я разделся, принял свечу и вошёл в Иордан. Не чувствую холода. Иду в реке со свечой, и так мне хорошо, так дивно, такое благоговение. Уж потом, когда стал священником, понял. Здесь, в Иордане, принял крещение. А в соборе под звёздами был рукоположён, принял сан. Крестил и рукоположил меня Патриарх Никон.

Лицо отца Андрея светилось тихим счастьем. Он поведал Петру Дмитриевичу о чуде преображения.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как ему открывается дивное знание. Рождается долгожданный код, погружающий русского человека в бездонную благодать. “Код русского чуда”. Петру Дмитриевичу казалось, что в душе его таинственные соты наполняются мёдом. Малые восковые чашечки принимают в себя одну за одной золотые капли. Он слышал медовый аромат.

— Что же дальше, отец Андрей?

И тот продолжал:

— Я, Пётр Дмитриевич, о Патриархе Никоне всё, что мог, всё узнал, — продолжал рассказ отец Андрей. — В архивах рылся, историков читал, царские грамоты и монастырские книги перечитал. Где родился, как рос, как стал Патриархом. Как с царём поначалу дружил, а потом рассорился и попал в немилость. Как монастырь замыслил. Как монахов в Палестину посылал, чтобы те чертежи Храма Гроба Господня привезли. Как сам по округе ходил и указывал, где быть Голгофе, где — Гефсиманскому саду, где — Генисаретскому озеру. Не понимал его замысел. Чувствовал, что-то огромное, небывалое, а что, не мог понять. Постепенно приходила догадка, от которой становилось и страшно, и дивно. То один свидетель обмолвится. То в житие промелькнёт. То в богословских спорах, что он вёл с царём и протопопом Аввакумом, намёк прозвучит. Мне открылось, что Никон выбрал под Москвой место, куда Господа на Второе Пришествие приглашал. Звал в Россию, в избранную землю, в духовную Палестину, где случилось когда-то первое пришествие Христа. Никон хотел, чтобы Господь эти места узнал, как родные, спустился и отсюда повелась бы новая земля и новое небо. Грандиозная мысль! Приглашал Господа в Россию. Гордыня это или откровение, или страшная ересь? Я много исходил дорог вокруг монастыря, там, где по замыслу Никона, должна была ступить нога Спасителя. Мне казалось, он

здесь уже побывал. У этого камня сидел. К этой берёзе прислонился. В этом ручье ноги омывал. Тут, на пригорке, проповедовал. Всё в этих местах дышало святостью, каждый цветок, каждая пролетевшая птица, каждое облачко над лесом. Был, был Господь! Но когда? Когда спустился с небес на русскую землю?

Пётр Дмитриевич слушал исповедь священника. Казалось, под сердце проник волшебный луч, разбудил дремлющие воспоминания, забытые образы. словно состоялось зачатие, начинался неведомый рост. Это взрастал “код русского чуда”.

Пётр Дмитриевич вдруг вспомнил, как в детстве проснулся на рассвете, подошёл к окну. В синем небе над Пушкинской площадью летели чайки, серебряные, сияющие, и он испытал при виде серебряных чаек восторг. Вспомнил, как бабушка вела его в детский сад, и, выходя из дома, он увидел генерала в золотых погонах, в орденах, и генерал ему улыбнулся. Вспомнил, как плакала мама, а отец прижимал к груди её голову, гладил по волосам, и спина у мамы вздрагивала.

Созревание волшебного кода напоминало пробуждение весенней природы. Ещё повсюду снег, леса пустые, безмолвные. Но что-то дрогнуло в этих лесах, в вершинах осин сгустилась синь, изменили цвет кусты у дорог. И в одно мгновение что-то сверкнуло, загремели ручьи, кусты стали золотыми, лиловыми, синими, полетели в небесах птичьих стаи, и ликующая, восхитительная, явилась на землю Весна Священная.

— Продолжайте, отец Андрей! Пожалуйста, продолжайте!

И тот продолжал:

— Я, Пётр Дмитриевич, страстный грибник. Беру корзинку и на весь день в леса. Места здесь грибные, облюбованные. Раз пошёл по грибы, иду лесом и чувствую святость берёз, лесных колокольчиков, болотных горшечков, в которых дремлют бронзовые жуки. Каждый гриб, который мне является, будто светится. Как лампада в траве горит. Я его из травы вынимаю, а он мне улыбается. Собрал немного. В корзинке дна не покрыл. Один боровик, ножка белая, как из сметаны, а шляпка шоколадная. Красноголовки, парочка, крепьши в малиновых беретках. Сыроежки, жёлтые, розовые, как блюдца, и в каждой — капелька воды. Иду, наслаждаюсь. Вдруг мне навстречу дед. Тоже грибник. Борода кося, косматая. На голове шапка мятая, тёртая. В одной руке палка, ею траву шевелит. В другой руке корзина. Я в корзину к нему заглянул, а она пустая. “Что, отец, мало собрал?” — спрашиваю. “Да все к тебе пересыпал”. Смотрю, а у меня корзина полная. И все боровики, один другого крепче. “Садись, говорит, отдохнём”. Мы сели под берёзой, разговариваем. “Вот тут места такие, библейские. А люди сомневаются. Какой, говорят, Гефсиманский сад, если Христа здесь не было? Какой Фавор, если Преображение не случилось? А ведь был здесь Христос. Нисходил в наши места Спаситель, которого ждал Патриарх Никон”. “Когда же он нисходил?” — спрашиваю. “А в сорок первом году, когда немец к Москве подступил. Гитлер всю Красную армию разгромил, все русские танки и самолёты сжёг и подступил к Москве, остановился у Истры, у Нового Иерусалима и отсюда последний удар по Москве готовил. Москва без войск, без защитников, не устоит. И тут случилось чудо. В народе говорили, что свет с небес сошёл. Немцы ужаснулись света, побросали свои машины, пушки и кинулись бежать по дорогам. И этот свет гнал их от Нового Иерусалима до самого Берлина”. “И что это за свет?” — спрашиваю. “А это был сам Спаситель. Он снизошёл в час, когда Россия пропадала. Потому что немцы были демоны, которые ополчились на Царствие Небесное, хотели вернуть себе Царствие, откуда их Господь изгнал. Хотели захватить чертог Господа. А Россия есть преддверие в Царствие Небесное. Демоны хотели сначала покорить Россию, а потом захватить Небесное Царство. Вот Господь и снизошёл, совершил своё пришествие, стал во главе русских войск, загнал демонов в Преисподнюю, откуда они родом. Стало быть, пророчество Патриарха Никона о пришествии Христа в Россию у Нового Иерусалима сбылось. Оттого эти места намолены, и каждый грибок, как лампадка, светится”. Старик поднялся, поклонился мне и пошёл. На прощанье оглянулся, и я увидел, что

на голове у него митра в золоте, облачение из белой парчи, а в руке — патриарший посох, усыпанный камнями. Это был Патриарх Никон, каким он изображён на парсуне.

Отец Андрей в своём белом подряснике казался праведником, каких изображают на райских иконах. Красный петух на фарфоровом чайнике был петухом, которого тётя Поля в морозные ночи опускала в подпол, и тот из подземной тьмы пел о восходе солнца. Медовые соты переполняла золотая благодать. “Русский код” сочетал душу русского человека с Россией, данной ему, как непостижимое чудо.

Пётр Дмитриевич заметил, как среди яблонь мелькнул человек. Его сходство с бобром, распушённые усы и торчащие изо рта резцы напомнили Петру Дмитриевичу вчерашнюю курильню и трёх охотников за “русскими кодами”. Они явились в Россию из американских секретных центров, и теперь усатый американец таился в яблонях, поводил усами, как антеннами. Направлял их в сторону отца Андрея и Петра Дмитриевича, туда, где родился чудодейственный “русский код”.

Человек с внешностью бобра скрылся. На его месте появился другой, с усами шёткой, а потом и третий, с усами вразлёт. Они возникали и прятались. Искали место, где яблоня не заслоняла отца Андрея и Петра Дмитриевича. Они вели подслушивание. Слуховыми аппаратами служили усы, излучающие радиоволны. Оса, присевшая на вазочку с земляничным вареньем, почувствовала излучение и улетела.

— Отец Андрей, что за люди? — Пётр Дмитриевич указал на усатых разведчиков.

— Где?

— Да вон, за яблонями!

Теперь и отец Андрей увидел непрошенных гостей.

— А кто их знает. Может, воры. На той неделе церковь Покрова ограбили, две иконы унесли. Эй, Карп! — отец Андрей окликнул казака. Тот перестал косить. Не выпуская косу, подошёл к столу. — Карп, глянь, что за люди. Пугни-ка их!

Казаки посмотрели туда, где за яблонями скрывались лазутчики.

— Благословите, батюшка, косой пугнуть.

— Пугни, но не шибко.

Казаки напряг могучие плечи, набычились, издал рык. Взмахнул косой и с рычанием помчался на соглядатаев. Он был так страшен, так жарко пылали его лампы, так жутко сверкала коса, что американцы не выдержали и побежали. Казаки Карп вернулся и продолжал косить бурьян. Отец Андрей пригласил Петра Дмитриевича:

— Пойдёмте в храм. Хочу вас порадовать.

Они вошли в церковь. Здесь было прохладно. В золотистом сумраке витало тихое эхо утренней службы.

Песнопения, молитвы, вздохи и шелесты слабо теплились в опустевшем храме. На полу лежала красная ленточка, которую обронила какая-то маленькая девочка.

— Вот смотрите, Пётр Дмитриевич!

На стене висело пять больших икон в деревянных киотах, поля икон были украшены серебряной чеканкой. Выступая на верхнее поле, изображался святой, которого прославлял писанный образ. Ниже всё пространство иконы занимали батальные сцены. Стреляющие танки, взорванные доты, идущая в атаку пехота. Эти батальные сцены были столь правдоподобны и красочны, что казалось, танки движутся, взрывы вспыхивают, пехотинцы бегут и падают, пронзённые очередями.

— Что это, отец Андрей? — изумился Петр Дмитриевич, не встречавший прежде подобных икон.

— Это иконы Священной Победы. Как русское воинство, ведомое Христом, одолело демонов и отстояло Царствие Небесное, по пророчеству Патриарха Никона.

Пётр Дмитриевич рассматривал небывалые иконы. На иконе Георгия Победоносца красноармейцы гнали по снежным дорогам отступавших фашистов.

Краснел Кремль, летели снаряды “катюш”, мчались на лыжах автоматчики в белых халатах. Впереди наступавших войск сиял столп света, отгонявший демонов от Москвы.

На иконе Дмитрия Салунского немцев громили под Сталинградом. На Волге вздымались водяные взрывы. Пехотинцы с красным знаменем опрокидывали фашистов. Среди чёрных развалин белел знаменитый фонтан, пионеры с оторванными руками и головами продолжали вести хоровод, удерживая кольцо окружения. Над полем битвы светился поднебесный столп, направляя русских воинов в бой.

Архистратиг Михаил вел сражение на Курской дуге. Сшибались в тарахах танки. Орудья стреляли по “тиграм” прямой наводкой. Среди кромешной схватки светился лучистый столп — сошедший на землю Христос.

Ещё две иконы, — адмирала Ушакова и Александра Невского — были посвящены схватке за Севастополь и битве за Берлин. На крыше рейхстага советские пехотинцы водружали знамя Победы. Над ними раскрылось дымное берлинское небо, и оттуда летели пылающие голубые лучи победного Фаворского света.

— Это русское чудо! Чудо Русской Победы! — Пётр Дмитриевич прикладывался ко всем пяти иконам, слыша, как образа пахнут мёдом.

— Теперь же, Пётр Дмитриевич, хочешь показать место, где состоялось сошествие Христа.

Над лесом стояла высокая синяя туча. Её оплавленная кромка слепила. В глубине тучи рокотало. Пыль на дороге была горячая, белая. Вошли в лес, но не стало прохладней. Пахло баней, березовыми вениками, пряными болотными цветами. В душных соцветиях спали бронзовые жуки. На цветке иван-чая замерла бабочка, не в силах взлететь. Процокала белка и скрылась в дупле дуба.

Свернули с лесной тропинки и пробирались в чаще. Перешли ручей с мелкой чёрной водой. Ряд мухоморов глянул из травы и исчез.

Пётр Дмитриевич шагал за отцом Андреем, чувствуя немощь. Сердце ухало. Он задыхался. Казалось, они вошли в зону аномальных явлений. Здесь не действуют физические законы. Спутались магнитные линии. С неба сквозь ветви давит непомерная тяжесть. Так чувствуют себя путники, приближаясь к месту, где упал Тунгусский метеорит.

— Вот здесь, Пётр Дмитриевич.

Среди зарослей, окружённый деревьями, темнел остов легкового автомобиля. Без дверей, без крыши, без мотора, без руля — одна рама. Сквозь днище, продавив ржавый металл, росла берёза, высокая, с белыми ветвями и пышной зеленью, которая фонтаном взлетала к небу и зелёными струями ниспадала к земле.

— Что это? — спросил Пётр Дмитриевич.

— Штабной “Мерседес”. Какой-то немецкий генерал удирал по лесной дороге, и машина застряла. Окрестные мужики стекла и мотор утащили, а кузов здесь догнивает. Дорога заросла, а берёза машину насквозь пронзила и выросла до неба. Не снаряд машину подбил, не фугас, а русская берёза.

Пётр Дмитриевич смотрел на берёзу, которая была, как зелёный взрыв. Она касалась неба, черпала небесные силы и возвращала их на землю могучим взрывом, который разметал нашествие, сжёг броневики и танки. Наполнил ужасом сотрясённые души врагов и погнал из России до ворот в преисподнюю, где они исчахли и сгнули. Русский лес белизной берёз одолел немецкую тьму. Железо “Мерседеса”, рождённое на сталелитейных заводах Германии, было изъедено тихими русскими травами, улитками, божьими коровками. Ржавый скелет таял среди цветочной пыльцы, грибных запахов, свиста невидимой птицы.

— Это русское Древо Добра и Зла, — отец Андрей подхватил свисавшую ветку и поцеловал, как целуют икону. — Эту берёзу Господь посадил, когда спустился на землю.

Пётр Дмитриевич чувствовал благоухание дерева, исходящий от него таинственный свет. Недавняя немощь прошла. Ему было чудесно, светло. Казалось, он всю жизнь шёл к этой берёзе. Она звала его, оберегала от бед,

вразумляла, вдохновляла на великое служение, открывала сокровенные истины. Он был благодарен берёзе, испытывал благоговение перед ней.

Вдруг разом потемнело. Туча надвинулась и встала над головой. Грохнуло и сверкнуло. Ослепительно серебряной стала берёза. Далеко в лесу послышался шум. Приближался, гудел, наполняя лес рокотом, хлюпом. Шквальный ливень прошиб листву, обрушился вместе с громом и блеском, которые оглушали, слепили, метались над вершинами, превращая ливень в огненный водопад.

Отец Андрей и Пётр Дмитриевич стояли под берёзой, с которой, как по зелёным трубам, лилась вода. Не убегали из-под ливня. Пили воду небес. Животворящую воду Русского Чуда.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Общение Петра Дмитриевича и кота Кузьмича было глубинным. Не исчерпывалось нареканиями Петра Дмитриевича, когда кот не отвечал на приветствия или исчезал на несколько дней, не известив хозяина, и являлся исхудалым, разодранным, с истерзанными ушами.

В этом глубинном общении мяуканье кота, иногда трогательное, иногда раздражённое, не отражало всех душевных состояний, которыми Кузьмич делился с Петром Дмитриевичем. Их общение было немым. Оно требовало молчания, ибо касалось неизъяснимых материй.

Они оба знали о существовании Бога. О том, что сотворены Богом и живут в одно время и в одном месте не случайно, а в этом есть предопределение. Они знали, что рано или поздно умрут. Это знание их роднило, заставляло быть вместе, дорожить минутами общения.

Оба ведали о существовании зла, которое для Петра Дмитриевича проявлялось в несчастьях любимой Родины, а для Кузьмича — в невозможности предотвращать нашествие посторонних злобных котов. К тому же, Кузьмича больно ранило вероломство кошечек, которые ценили не ум и искренность чувств, а грубую силу, свирепую ярость и беспредельную жажду продлить свой род.

Иногда Кузьмич заболел, если во время скитаний по соседним участкам съедал некачественную снедь. Тогда он ложился на диван, сутками спал, отказывался от еды и смотрел на Петра Дмитриевича погасшими страдающими глазами. Несколько раз он являлся раненый и униженный, испытывал поражение от соперников. Пётр Дмитриевич лечил йодом его раны, не попрекал за проигрыш, а, напротив, ласкал, старался вернуть Кузьмичу чувство поправленного достоинства.

Бывало, что и Петру Дмитриевичу становилось худо. Иногда от телесной хвори, но чаще от огорчений, которые случались после встреч с чёрствыми, глухими людьми, не способными ценить божественный закон, разлитый в русской душе и в безграничном звёздном Космосе.

У Петра Дмитриевича и кота Кузьмича была общая тайна. Кот хранил в кошачьем сердце “Таблицу Агеева”. А Пётр Дмитриевич верил коту безгранично, отдавая ему своё бесценное сокровище.

Утром Пётр Дмитриевич по обыкновению выпил кофе, поделился с котом дымковской колбаской и открыл компьютер. Читал новостные ленты, перелистывал блоги, гулял по сайтам известных политологов, политических пророков, бойких всезнаек, разносивших сплетни. Эти сплетни заражали интернет, превращались в эпидемии, возникавшие мгновенно, как грипп, и столь же мгновенно пропадавшие. Где-то перевернулся автобус с детьми и унёс несколько жизней. Случился очередной пожар и разбился очередной самолёт, в который ударила очередная птица. Подросток явился в класс с обрезом и застрелил ненавистную учительницу. У любовницы банкира обнаружена собственная яхта, дворец в Ницце и несколько квартир в Москве. Начальник колонии потерял должность за то, что мучил заключённых, засовывал им в анальное отверстие пивные бутылки. Восемьдесятителетняя певичка родила ребенка и дала ему имя “Ганнибал”.

Просматривая сайт известной либеральной газеты “Макрос”, Пётр Дмитриевич натолкнулся на статью “Фашистский реванш”. Бегло её просмотрел и увидел своё имя, снова и снова. Стал читать и испытал удушье. С каждым словом сердце начинало ухать, словно в грудь кинули булыжник.

“В последнее время произошли события, указывающие на то, что фашистское подполье в России выходит из тени. Вчера никому не известный идеолог русского фашизма Пётр Агеев стал популярным героем радио и телевизионных передач. “Таблица Агеева”, которую он рекламирует, подобна работе Гитлера “Майн кампф”. Она утверждает расовое превосходство русских над другими народами России. Не случайно Агеев постоянно обращается к германской мифологии, вдохновлявшей преступников Третьего рейха. Из ряда источников стало известно о связях Агеева с влиятельными фигурами в крупном бизнесе, в армии и разведке. Его поддерживают наиболее радикальные круги Православной Церкви, националистические организации и казачество. Всё это делает реальной угрозой государственного переворота в России, прихода к власти самых консервативных, реакционных сил. Эти силы, прикрываясь пресловутой “Таблицей Агеева”, начнут фашизацию России. Еврейские круги как в самой России, так и в Израиле крайне обеспокоены этими тенденциями. Сторонники господина Агеева находятся в тесной связи с неонацистскими группировками Германии, Франции и Италии. Антифашистские силы России должны пресечь вылазку Агеева, иначе очень скоро у части российских граждан появится на одежде жёлтая звезда”.

Статья была подписана вымышленным именем “Риббентропус”. Пётр Дмитриевич был ошеломлён. Статью перепечатали несколько популярных сайтов. На неё появились ссылки и комментарии. Статья разлеталась по интернету, как низовой пожар в сухой траве. Пётр Дмитриевич стоял, окружённый жгущими огнями. Не знал, куда бежать, где искать спасенья от испепеляющего пламени. Он не сразу откликнулся на телефонный звонок:

— Вас слушаю.

— Пётр Дмитриевич, это я, Ирина Волхонцева.

— Кто, простите?

— Ирина Волхонцева. Мы с вами недавно встречались в парке “Зарядье”.

— Ах, да, — рассеянно произнёс Пётр Дмитриевич. Он ни разу за эти дни не вспомнил о ней. Теперь, когда на экране компьютера горела ужасная статья, он не хотел продолжать разговор.

— Пётр Дмитриевич, я прочитала статью! Это ужасно, подло! Вы самый светлый, добрый, чудесный! Вас хотят оклеветать, сломить! Помешать вашей святой работе! Они хотят подавить “русские коды”! Не сдавайтесь, умоляю вас! Вы так нужны народу! Так нужны русской культуре! Если могу вам чем-нибудь помочь, располагайте мной!

— Как же вы можете мне помочь?

— Я разыщу этого негодяя Риббентропуса! Плону ему в лицо!

Она задыхалась, быть может, рыдала. Петру Дмитриевичу захотелось увидеть её зелёные плачущие глаза, пушистые брови. Он хотел, чтобы она продолжала говорить. Спасала его, выводила из огненного кольца.

— Я вам благодарен.

— Мы можем увидеться. Вы не должны унывать! Вас любят, ценят. Люди не могут вам это прямо сказать. Но я за них говорю.

— Где вы сейчас, Ирина?

— Сегодня вечером я иду на спектакль. Быть может, вы знаете, экспериментальный театр. Пьеса: “С земли на небо”. Режиссёр Даниил Величко. Мы можем вместе пойти в театр.

— Я приду.

Пётр Дмитриевич отложил телефон. Выключил компьютер. Экран с пылающим текстом погас. Но оставался ожог. Всё болело, душа страдала. Женщина с пушистыми бровями пришла на помощь, она спасала его.

Они встретились задолго до спектакля на Садовой, среди шелестящих огней. Каждый огонь налетал, бесшумно раскалывался, словно сосуд, полный света, и пропадал, а ему на смену мчался другой огонь.

Ирина шла, опутив глаза, всё по той же натянутой струне, которая невидимо соединяла их. Пётр Дмитриевич чувствовал дрожанье струны, упругость её шагов, пугающую неотвратимость их встречи. Загадочное влечение направляло к нему эту женщину, переходящую во сне пропасть, и он пугался за неё, пугался за себя, смотрел, как уменьшается разделяющее их расстояние.

Она подошла, подняла глаза. В её глазах мчались огни Садового, отражались озарённые фасады, похожие на праздничные дворцы. В глазах сияла такая радость, такое обожание, такое доверие, что Пётр Дмитриевич вдруг подумал, что эту встречу он запомнит на всю жизнь, и воспоминание об этой встрече, быть может, спасёт ему жизнь.

— Как хорошо, что вы пришли! — Ирина чуть коснулась его руки. — Вы должны почувствовать, как вас любят, как восхищаются вами!

На ней была короткая юбка и лёгкая блузка, открывавшая шею с крохотным кулоном, в котором мерцал зелёный камень, под цвет её глаз. Волосы расчёсаны на прямой пробор. Лицо казалось открытым, светлым. Пушистые брови снова вызвали у Петра Дмитриевича желание потянуться к ним губами и подуть.

— Эта мерзкая статья написана завистниками и врагами. Но у вас есть друзья, много друзей. Весь русский народ — ваш друг!

До начала спектакля ещё было далеко. Они зашли в кафе и заняли столик у окна, за которым Садовое плескалось бриллиантовыми и рубиновыми огнями. Пётр Дмитриевич искал отражение этих огней в близких глазах Ирины.

— Когда я прочитала эту гадкую статью, я испугалась. Это донос, откровенный, жестокий! По этому доносу вас могут арестовать, судить, посадить в тюрьму. В университете у нас был профессор, который упомянул в своей работе “Протоколы сионских мудрецов”. Его затаскали по судам, он слёг и умер. Эта статья написана убийцами, которые желают вам смерти!

— Но ведь вы меня защитите?

— Я молюсь за вас. Отгоняю от вас зло. Вы не должны страшиться. Вы делаете доброе русское дело. За вас заступает само русское небо!

Ирина говорила так искренне, так трогательно вздрагивали её губы, так переливались в её глазах огни Садового, что Пётр Дмитриевич испытал к ней жаркую благодарность. В час его тревог она оказалась рядом, окружала его своим покровом, своей трогательной женственностью.

— Я боюсь не преследователей, не злоумышленников. Боюсь, а вдруг все мои размышления, все открытия мнимы. И эта “Таблица” — не более чем наваждение. Мне её во сне подсунул какой-то насмешник, чтобы я всю оставшуюся жизнь маялся, мучился, питался иллюзиями и других ими питал и морочил. Нет никакой “Русской Мечты”! Нет никаких “русских кодов”! Есть заблуждение, которое согревает меня самого. Уверяет меня в том, что жизнь моя не напрасна. И это всё сон, табачный дым, дурман марсианских растений. Каково же будет пробуждение?..

— Нет, нет, вы не должны сомневаться! Всё подлинно, истинно. Я убедилась в этом, когда вы победили святотатца Эраста Богоносцева. Вы разбудили в людях сокровенного Пушкина, и он сокрушил богохульника. Как прекрасно вы читали стихи!

— Моя мама в день рождения Пушкина с утра наряжалась, делала причёску, надевала синее платье и шла к памятнику, где люди читали пушкинские стихи. Она всегда читала один и тот же стих, “Клеветникам России”. Я любовался мамой. Она была прекрасна в своем синем платье, вскидывала руку, как это делал Пушкин, читая лицейские стихи. “Код Пушкина” я открыл тогда, когда мама читала стихи.

Ирина слушала, радостно кивала. Его искания были истинны, в них не было лукавства, подмены. Они явились, когда Родина нуждается в чуде. “Таблица” подобна иконе, которую обретает Россия в час испытаний. Сам Господь послал “Таблицу” в дивном ночном видении.

Пётр Дмитриевич хотел, чтобы она продолжала его убеждать. Чтобы продолжали трогательно дрожать её губы.

— Иногда мне кажется, что нужно очнуться. Отрешиться от заблуждений. Заняться чем-нибудь простым и полезным. Преподавать в школе. Или уйти в лесники, сажать на месте пожарища лес. Таблица умножения — вот подлинное знание. А “Таблица Агеева”, нужна ли она людям?

— Люди ждут исцеления, народ ждёт воскрешения. Мне кажется, сам народ в своих ожиданиях вымолил эту “Таблицу”. Вы столько скитались, столько пережили, так знаете народ, что именно вам открылась она. Она не ваша, она Божья!

— Вы верите в исцеление? Верите в воскрешение?

— Я с детства горевала, когда наступала осень и с деревьев опадали листья. Когда на клумбе увядали цветы. Когда кончался чудесный летний день, и я горевала, что он больше не повторится. В нашем роду были богатые купцы, владельцы заводов, профессора. Были революционеры. Одни пошли в белую гвардию, другие стали красными офицерами. В нашем роду много тайн, много тяжёлых преданий. Мне хочется воскресить всю умершую родню, собрать за большим столом в старинной богатой гостиной, чтобы все примирились, прекратили давнюю распрю, чтобы эта распря не перенеслась в следующие поколения. Я вижу этот стол под разноцветным фонарём, и это прекрасное собрание, где все любят друг друга.

Пётр Васильевич понимал её, он был такой же, как она. Их встреча не случайна. Они родные. Два их рода блуждали в запутанном прошлом, встречались на ярмарках, в благородных собраниях, в кровавых сечах, в тифозных лазаретах, на этапах. И вот теперь он и она встретились, и так чудесно перебиваются огни Садового в её близких глазах.

— Вы спасли меня тогда, выхватили из ледяной проруби и ушли. Я не успела вас рассмотреть. Потом всё старалась вспомнить ваше лицо. Рисовала вас, хотела уловить ваши черты. Ждала вас долгие годы. И вот вы появились. Вас привёл ко мне Пушкин, и теперь мы будем рядом. Я хочу помогать вам, служить вам. Поручайте мне любые задания. Я буду ходить по библиотекам, читать документы, исторические трактаты. Вы диктуйте мне свои мысли. Я буду записывать. Помогу вам написать вашу книгу. В мире столько чудесного. Наша встреча чудесна. И вы похожи на те портреты, которые я рисовала.

Пётр Дмитриевич больше не сопротивлялся. Верил, что действительно был тот сизый ледяной пруд, тряпичная кукла лежала на льду. Маленькая девочка осторожно скользила по льду, желая добраться до куклы. Был чёрный провал, чёрная бурлящая вода, девочка тонула, и он кинулся ей на помощь. Держал на руках, вынося из проруби, слыша, как раскалывается о живот кромка льда. Пётр Дмитриевич верил, что спас её, а теперь она спасала его.

Пётр Дмитриевич смотрел на Ирину, и видел, как таинственный свет пробегает по её лицу, делает это лицо прекрасным, родным, драгоценным. Он поднялся и, как во сне, приблизил свои губы к её пушистым бровям и дунул. Она тихо ахнула, захлебнулась, как захлебывается младенец, если кто-то любящий дунет ему в лицо. Чудесное мгновение налетело и кануло. Снова они сидели по разные стороны стола. Садовое катило бесщётные огни. И Пётр Дмитриевич не мог понять, что значило это преображение. Смущённо молчал.

— Мы опоздаем, — сказала Ирина. — Нам пора идти. — Тихо тронула его руку, словно пробуждала от сна.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Экспериментальный театр Даниила Величко помещался в особняке близ Садового. Он не имел вывески, лишь над входом горели неоновые серп и молот. В тесном фойе толпились люди. Пётр Дмитриевич и Ирина оказались стиснутыми множеством молодых людей, небрежно, порой легкомысленно одетых. Футболки, рваные джинсы, топики. Не было чопорных пиджаков и светских туалетов. У многих — значки с эмблемой серпа и молота.

Рядом с Петром Дмитриевичем стоял светловолосый парень — жёсткий бобрик, бритые виски, синие глаза. Такими в советские времена изображали на плакатах лётчиков. С ним дружески беседовал молодой человек с библейским носом, с чёрной бородкой, в которой шевелились красные жизнерадостные губы. Тут же находился якут, скуластый, раскосый, в красной футболке с символом серпа и молота. У всех было нетерпение, радостное возбуждение, предвкушение действия, в котором они будут не зрителями, но и страстными участниками.

Двери в зрительный зал открылись, Ирина и Пётр Дмитриевич медленно втекли в полутёмный зал. Стучали кресла, люди плотно заполняли ряды.

— Всё это не просто представление. — Ирина наклонилась к Петру Дмитриевичу, и тот почувствовал чудесный запах её волос. — Все зрители — это духовная паства Даниила Величко. Активисты его движения “Атака смыслов”. Его спектакли — это магические сеансы, в которых участвует зал. Мы тоже станем участниками.

— Важно, что не я один, а вместе с вами, — ответил Пётр Дмитриевич, жалея, что голова её отклонилась, и чудесный запах стал неуловим.

Пётр Дмитриевич получил афишку и ознакомился с сюжетом пьесы, чтобы не потеряться среди множества символов, метафор и аллегорий, наполнявших спектакль.

Сцена являла собой чёрный провал, без единого огонька и луча. Это была бесконечность, из которой веяло жуткой тайной. Тайна пугала и завораживала. Зал замер, словно его затягивала “чёрная дыра” вселенной, где исчезают свет и материя.

Внезапно вспыхнул одинокий фонарь, зажгёт на сцене световое пятно. В это пятно шагнул возникший из мировой пустоты Даниил Величко. Он был строен и худ, поклонился с аристократической грацией. Имел узкое бледное лицо с заострённым носом и подбородком, жгучие глаза, которые жадно блуждали по залу и вдруг замирали, словно захватывали нужную цель, сосредотачивались на ней перед тем, как поджечь. Пётр Дмитриевич оглядывался в зал, опасаясь увидеть в рядах пылающего человека. Даниил Величко напоминал ракету с головкой самонаведения, прилетевшую в мир из чёрной бездны.

— Вы увидите спектакль с моей режиссурой и по пьесе моего сочинения “С земли на небо”, она повествует о заключительной драме Советского Союза. Это мистическая интерпретация заговора, который погубил “красный проект”. Большевики мечтали о Царствии Небесном, перехватив инициативу его достижения у Церкви. Они зацепили гигантскими рычагами Небесное Царство и стали опускать его на землю. Приближение Небесного Царства к земле сопровождалось грохотом пушек, лягом гигантских строек, мольбами мучеников, песнопениями героев. Царство Небесное коснулось земли 9 мая 1945 года, в день Победы, когда ад был одолен раем. Этим раем был Советский Союз. Достигнув земли, Небесное Царство стало удаляться, и его удаление также сопровождалось грохотом пушек, лягом разрушений, мольбами жертв и песнопением героев. Спектакль — не реквием по Советскому Союзу. Это магический акт воскрешения из мёртвых. Создавая движение “Атака смыслов”, я обещал вам воскресить Советский Союз. Сегодняшний спектакль — это мистерия, воскрешающая “красный проект” усилиями веры, воли, атакой смыслов, нашей коллективной молитвой. Всем тем, что возвращают в себе носители атакующих смыслов. Итак, начинаем!

Даниил Величко покинул световое пятно, растворился в царстве мрака, откуда ненадолго явился. Тьма оставалась непроглядной. Но в ней стали возникать тени. Двигались, как привидения, молчаливые фигуры, все в чёрном. Мертвенно белели лица и кисти рук, которые совершали таинственные вращения, словно крутили веретёна, пряли историческую нить. Среди фигур выделялась одна, в чёрной сутане. Она воздевала руки, приседала, вскакивала, крутилась волчком. Из афишки Пётр Дмитриевич знал, что это Горбачёв, который перед отъездом в Форос созвал соратников. Те водили вокруг него хоровод, то в одну, то в другую сторону. Приговаривали, грассируя:

— Кагавай, кагавай, кого хочешь, выбигай!

Соратники стали карабкаться по стенам, крутили под потолком сальто. Ссыпались вниз и предстали перед Горбачёвым в позе ласточек, устремлённых в полёт:

— В потёмках долго мы брели. Но в перестройке крылья обрели.

Горбачёв подпрыгнул, перевернулся в воздухе, встал на ноги и что есть мочи прокричал:

— Я уезжаю отдыхать в Форос. А вы в стране устройте мороз. Нам Ельцина немного подморозить. И перестанет он тогда елозить.

Горбачёв ухватил канат, свисавший с потолка. Ловко вскарабкался и взирал с высоты, слегка раскачиваясь. Пётр Дмитриевич был ошеломлён. Вопли актёров, которых поливали кипятком. Чудовищные стихи, написанные графоманом. Цирковые номера, полные скрытых символов. Всё казалось уродливым и фальшивым. Но в этом уродстве таилась необъяснимая привлекательность, влекущая подлинность, которая сначала отталкивала, а потом завораживала. Будила у Петра Дмитриевича воспоминания о “времени перемен”.

Действие на сцене развивалось. Маршал Язов разбежался, сделал двойное сальто и панически выкрикнул:

— В Москву немедленно я введу войска. Пусть пальцем он покрутит у виска!

Председатель КГБ Крючков лёг плашмя, вскочил, встал на руки и прокричал:

— Устал я от него, вот крест! Отдам приказ на Ельцина арест!

Зампред Совета обороны Бакланов, вращаясь на пятке, издал свиный крик:

— В моей груди горит большая рана. Он никогда не доберётся до “Бурана”!

Вице-президент Янаев показал стиснутые кулаки. Ударился головой об пол. Стал вальсировать, издавая львиный рык:

— В борьбе не дрогнет у меня рука. Меня напрасно он считал за дурака!

Министр внутренних дел Пуго ухватил висящий канат, стал раскачиваться, перебросился на другой канат, словно это была тропическая лиана:

— Он пугало, не более того! Я ж Пуго, доберусь я до него!

Председатель передового колхоза Стародубцев сделал шпагат, затем мостик, затем встал на одну ногу, а другую задвинул себе за шею:

— Свершится месть народная должна! Узнает он крестьянского рожна!

Соратники выполнили свои упражнения и встали стенкой перед Горбачёвым, вращая руками, белея одинаковыми мертвенными лицами. Сам же Горбачёв поклоном благодарил соратников за исполненные трюки, прижал к груди белую пятерню, которая казалась гипсовым слепком:

— Ну что ж, товарищи, удачного вам дня. Максимовна Раиса ждёт меня!

Из верхнего угла сцены появилась Раиса Максимовна. Закреплённая невидимыми нитями, она шла по воздуху, перебирая ногами. Проплыла над головами государственных деятелей. Громко, по-журавлиному, прокурлыккала:

— Я дыры русские устала жить, латая. Наш “общий дом” — Европа золотая!

Сцена опустела. Чёрные тени растаяли. Зрительный зал ошеломлённо молчал. Пётр Дмитриевич хотел понять, почему столь сильно подействовал на него этот безвкусный лубок. В чём задача бесцеремонного вторжения в психику? В чём сила этой вульгарной атаки? Это был удар в подсознание, раздробивший личность. Измельчённая на осколки личность была бессильна сопротивляться любому воздействию. Беспомощно ждала этого воздействия. Была готова подчиниться сторонней воле. Это был магический сеанс закабаления души, отдающий душу во власть мага. А именно Даниила Величко.

Пётр Дмитриевич посмотрел на Ирину. Убедился, что и она оказалась подвержена магическому гипнозу. Хотел вывести её из транса. Но спектакль продолжался. В Москву по приказу Язова входят войска. По улицам грохочут танки. На сцене в потёмках перемещались какие-то чёрные кубы. Один

из них остановился, изображая танк, быть может, тот, что когда-то встал на улице Горького перед домом Петра Дмитриевича. Из чёрного куба выдвинулся отросток, означавший пушку. Появились три танкиста в тёмных балахонах. Стали кувыркаться на танке, отбивали чечётку, разухабисто распевали:

— Мы три танкиста, три весёлых парня. Держись, Москва, сгорит твоя пекарня!

Один танкист вскарабкался на плечи другому. Ему на плечи запрыгнул третий. Они образовали вертикаль, балансировали на танке, а потом рассыпали свою акробатическую фигуру. Стали чистить пушку невидимым банником, приговаривая:

— Забьём мы в пушку праведный снаряд. Держись, Москва! Держись, Охотный ряд!

К танку с букетиком цветов приблизилась проститутка. На ней было немного чёрного. Белело лицо, белели голые руки, белел живот, белели ноги. Проститутка стала целовать танк, протягивала танкистам букет, изгибалась вокруг незримого шеста:

— Танкистик милый, ты такой пригожий. Целуй меня и гладь меня по коже!

Танкисты подхватили проститутку, подняли на танк, стали передавать один другому. Проститутка крикала дикой уткой, мяукала тростниковой кошкой, ржала степной кобылицей:

— Ваш танк слегка походит на утюг. Доверьтесь мне, меня пустите в люк.

Проститутка скрылась в люке. Танкисты исчезли следом за ней. Поднялся страшный грохот. Танк подпрыгивал, его носило по сцене, он возносился ввысь, перевёртывался. Слышались стенания, молодецкие посвисты, музыка из опер, лязг гаечных ключей, вздохи слонихи, визг бензопилы. Наконец, всё смолкло. Бешеный танк успокоился. Из него появилась проститутка, белея наготой. Грациозно спустилась с танка, посылая утомлённому танкисту воздушный поцелуй:

— Танкистик милый, ты такой пригожий. Я в жизни не видала мягче ложа!

Утомлённые танкисты раскачивались, как водоросли:

— Поверь, мы уважать себя заставим. Букетик твой мы в вазочку поставим!

Танкисты засунули подаренные проституткой цветы в пушку. Пушка несколько раз чихнула. Пётр Дмитриевич почувствовал, что хочет чихнуть, но с трудом удержался. Он заметил, что сидящие в зале зрители уподобились актёрам. Когда танк танцевал и подскакивал, они тоже подскакивали, семеня ногами, громко хлопали креслами. Когда проститутка кричала дикой уткой, из зала раздавалось криканье. Когда со сцены звучало лошадиное ржанье, начинала ржать половина зала. Когда танкисты карабкались друг другу на плечи, несколько зрителей попытались исполнить такой же трюк. А уж когда танк, получивший в ноздрю букетик цветов, зачихал, весь зал стал чихать, словно всех просквозило.

Петра Дмитриевича поразила внушаемость зала. Люди, повинуясь, незримой воле, выполняли приказы мага, складывали свои усилия, создавали мощное поле, от которого у Петра Дмитриевича начинали подниматься волосы, словно их наполняло статическое электричество.

Ирина обморочно смотрела невидящими глазами, и казалось, она сейчас выпадёт из кресла.

— Очнитесь! Это иллюзия. Эффект внушения, — тронул её за руку Пётр Дмитриевич.

— Да, да, я знаю. Я держусь, — ответила Ирина.

Следующая сцена являла собой обочину Киевского шоссе, по которому Ельцин возвращался из служебной командировки. Отряд "Альфа" укрылся в кустах, поджидая кортеж. Командир отряда Карпунин ожидал приказа председателя КГБ Крючкова арестовать Ельцина. Бойцы подразделения, все в чёрном, лежали на полу, время от времени перекатываясь из стороны в сторону. Некоторые карабкались по стенам и вновь приземлялись. Командир

Карпухин раскачивался на канате, выходя на связь с Крючковым. Нарушая все правила конспирации, громко зывал:

— Я “Альфа”! “Первый”, “Первый”, отзовись! Мы Ельцину, пожалуй, скажем: “Брысь”!

Карпухин на канате переворачивался головой вниз, а его бойцы вскакивали, выбрасывали вперёд руки, целились из автоматов. Но Крючков не отзывался. Карпухин сетовал на молчание руководства:

— Приказа нет, хоть позывные те же. Я слышу приближение кортежа.

В темноте на шоссе один за другим появились тёмные бруски, изображающие машины Ельцина. Карпухин перелетел с одного каната на другой. Опустился на землю и встал на руки:

— Мы “Альфа”, а не просто бедолаги. Приказа нет. Повисли наши флаги.

Бруски приблизились, миновали засаду. Карпухин лёг на спину, поднял вверх одну ногу и прокричал:

— Приказа нет, в душе разверзлась брешь. Мы пропускаем Ельцина кортеж.

Карпухин сделал двойное сальто и увёл отряд с обочины. Бойцы, извиваясь, уползли и скрылись. Чёрные бруски, изображавшие кортеж, остановились. Из бруска появился Ельцин. Он был в чёрном, только белели руки. Он вращал руками, прятал нить истории:

— Ни “Альфы” нет, ни “Беты”, никого! Ты, Горбачёв, узнаешь, каково!

Ельцин повернулся к чёрному бруску, отыскал у него колесо и помочился на колесо:

— Ты, Горби, миру предпочёл вражду. Теперь я справлю на тебя нужду!

Ельцин погрузился в чёрный брусок, и машины умчались в Москву.

Петра Дмитриевича ужасала постановка и одновременно завораживала. Так завораживает спектакль в сумасшедшем доме, где роли играют пациенты. В безумии сюжета и исполнения был таинственный магнетизм. Он затягивал зрителя, делал соучастником безумного действия. Зрители сходили с ума, превращались в умалишённых. Чёрно-белая эстетика спектакля рождала цветные галлюцинации, яркие сновидения. Уснувшая память вдруг начинала возвращать детали, которые промелькнули когда-то и были навеки забыты. Но теперь возвращались.

Пётр Дмитриевич вдруг вспомнил, как в роковую ночь шёл по Мясницкой к Лубянке, где слышался рёв толпы, сносившей с постамента Дзержинского. И мимо промчался мальчик на роликах, весь усыпанный мигающими огоньками. Восхищённое лицо, мерцающие светляки — он казался вестником иного мира, несущим в обезумевшую Москву благую весть. В ту же ночь изнурённый Пётр Дмитриевич пришёл к Москва-реке у Китай-города. На гранитном спуске у воды толпились голые люди, мужчины и женщины. Их обвислые груди, выпученные животы, худые ребра. Один из них черпал консервной банкой воду, поливал других, и те фыркали, подмывались, терли свои грязные тела и прокопченные лица. Это были бомжи, спустившиеся к водою. Было что-то библейское в этих людях, бродивших по пустыне и теперь вкушавших благословенную влагу.

И ещё вдруг вспомнил Пётр Дмитриевич, что Фаддей, стоявший на стремянке и сбивавший зубилом золочёные буквы с фасада главного партийного дома, был обут в белые башмаки с ярко-красными шнурками. Эти красные шнурки вдруг больно поразили Петра Дмитриевича.

Об этом он вспомнил, оставаясь соучастником колдовского действия. На сцене снова был чёрный брусок, изображавший танк. Из пушки торчал знаковый букетик. Танкисты раскачивались, наклонялись, поднимали ноги, словно делали утреннюю гимнастику. Вокруг танка в темноте колыхалась толпа. Люди вскакивали один другому на плечи, создавали пирамиды, рассыпали их, маршировали, сцепив руки, бежали змейкой мимо танка.

Толпа расступилась. На танк поднялся Ельцин. Он обнял танкистов. Поскакал на одной ноге. Покрутил руками, вращая веретено истории, и обратился к народу:

— Я обращаюсь к вам, народ России! Вы видите, подобен я мессии. Едини мы и дружно протестуем. Мы заговорщиков, не медля, арестуем!

Чёрная толпа воздела множество белых кулаков, повторяя за Ельциным:

— Арестуем! Арестуем!

Ельцин вытащил из пушки букетик цветов:

— Ко мне навстречу движутся народы. Дарю России сей букет свободы!

Ельцин бросил цветы в толпу. Толпа встала на руки и, образуя колонну, покинула сцену.

Действие перенеслось в Форос, куда прилетели заговорщики искать у Горбачёва защиты. Вице-президент Янаев, делая балетные па, подлетел к Горбачёву, в прыжке ударил ножкой о ножку:

— Родной Сергеич, нас перехитрили. Случился невзначай какой-то триллер!

Маршал Язов ловко прошёл по канату, подскочил к турнику и стал крутить “солнце”, сотрясаясь от хохота:

— Я не желал свершать переворот. Пусть подтвердят все сто десантных рот!

Зампредседателя Совета обороны Бакланов сделал мостик, сел на шпагат, замер в позе лотоса. Не открывая рта, утробным голосом произнёс:

— Мы обратимся с просьбой к ветеранам. Тому свидетели “Энергия” с “Бураном”.

Председатель КГБ Крючков стал выбрасывать вперёд ноги, как танцовщица кабаре, посылая воздушные поцелуи:

— Я не отдал приказ стрелять в паскуду, и оттого стране любезен буду.

Председатель колхоза Стародубцев походил на четвереньках, стал чесаться, ударился головой о стену, заблеял козой, прокричал петухом, замыкал кошкой, а потом спокойно произнёс:

— Сергеич, друг, быстрее соображай. Уже богатый будет урожай!

Министр МВД Пуго подполз к Горбачёву по-пластунски, сделал книксен и страшным голосом проревел:

— Как ваша драгоценная супруга? Она на пляже? Ей привет от Пуго!

Вице-президент Янаев отскочил от униженных и согбенных соратников, указывая на них протестом:

— Погибли вы, но доля мне иная. Там — это вы, а это я, Янаев!

Горбачёв строевым шагом обошёл просителей. Кинулся на стену, вскарабкался под потолок и оттуда десять раз прокричал кукушкой:

— Ступайте прочь, несчастная братва! Вы не цветы, вы чахлая ботва!

Заговорщики построились в клин и стали махать руками, изображая улетающих журавлей:

— Несчастные мы партии сыны. Открыта дверь Матросской тишины!

Горбачёв махал влед улетающему косяку. В верхнем углу сцены появилась Раиса Максимовна. Она плыла по воздуху, перебирая ногами:

— Досталось вам, тупицы, поделом. Теперь, глупцы, тюрьма — ваш общий дом!

Появились конвоиры и погнали журавлиный клин в Матросскую тишину. Раиса Максимовна вновь возникла в воздухе, похожая на бабочку-траурницу:

— Мне кажется, теперь иду ко дну я. Уеду жить в Германию родную.

Раиса Максимовна покинула сцену. Из сумерек, куда она удалилась, трижды прокричала сова.

Пётр Дмитриевич почти освободился от чар, навеянных магом Даниилом Величко. Спектакль напоминал чёрно-белый рентгеновский снимок, в котором отсутствовала живая плоть, а оставался мучнистый скелет. Петру Дмитриевичу становился понятен замысел Даниила Величко, который был специалистом по управлению историей. Даниил Величко полагал, что поправка, внесённая в прошлое, скажется в настоящем и будущем. Спектакль был операцией, которую Даниил Величко совершал на историческом времени. Он извлекал из прошедшего времени скелет. Рентгеновский снимок, коим являлся спектакль, освобождал историческое время от живой плоти, оставлял каркас. Вся драматургия, эстетика, весь замысел был направлен на то, чтобы

выделить из живой исторической ткани её каркас. Не дать этой ткани вновь поглотить скелет. Все истошные вопли, жесты, скачки являлись способом отогнать живую плоть от скелета. Скелет становился объектом воздействия, оказывалась на операционном столе. Маг, словно костный хирург, вносил в него коррекцию. В историческое время встраивалась поправка. Когда поправка приживалась и магический приём воплощался, живая историческая плоть вновь поглощала скелет. Но уже изменённый, несущий поправку. История продолжалась, но в её глубине таилась поправка. Направляла историю в другую сторону. В ту, что была угодна магу.

Действие пьесы перенеслось в Беловежскую пушу, где собрались Ельцин, Кравчук и Шушкевич, готовые подписать акт о роспуске Советского Союза. Они сидели за столом, все в чёрном. Только двигались белые кисти рук, ткани историческую канву. Шушкевич достал бутылку с самогом, несколько раз подбросил в воздух, как жонглёр, и принял на голову. Протянул Ельцину:

— Давай, Борис, налей борща погуще. Пьём на троих мы в Беловежской пуше!

Кравчук взял стакан, набрал в рот самогон и окропил Ельцина и Кравчука. Стал танцевать, обнимая невидимую даму:

— Мы отпускаем в прошлое Союз. И он уходит под негромкий блюз.

Ельцин поднял лицо вверх, откуда медленно спускалось полотнище:

— И Родине, и флагу был я верен. Был жеребец, а стал бессильный мерин.

Все три Президента, обнявшись, стали танцевать джигу:

— Воскликнем троекратно “Ура”! Где был Союз, там чёрная дыра!

Раздался страшный грохот, скрежет, визг. Стреляли пушки, слышалось отдалённое “Ура!” Звучали обрывки советских песен, картавый голос Ленина, сталинская, с грузинским акцентом речь.

И вот всё смолкло. Возникла чёрная пустота, страшная и немая. Зал омертвело молчал, взирая в бездну, в “чёрную дыру” мироздания, куда канула “красная страна”. Зажёгся одинокий фонарь. На сцене возникло пятно света. И в этом пятне возник Даниил Величко. Он был в чёрном трико и в ластах, как аквалангист, который собирается нырнуть в чёрную пучину. Он стал извиваться, словно протискивался в тесную скважину. Напрягал бицепсы, мускулы бёдер, икры, которые дрожали под шелковистой тканью. Его руки рыли пустоту, словно хотели нащупать глубинный нерв Вселенной, таинственную жилу, по которой катится гигантский ток Мироздания. Он издавал загадочные звуки, напоминавшие курлыкание океанских касаток, бульканье мирового планктона. Он заклинал, умолял:

— Приди на помощь, солнце и луна! Воскресни, драгоценная страна!

Зал вторил магу. Зрители тянули руки, стараясь нащупать в “чёрной дыре” сокровенную жилу. Помогали кумиру. Вливали в него свои силы. Отдавали ему свои души, которые маг направлял в чёрную бездну, стремясь преодолеть тьму. В чёрной пустоте стали являться тени. Они носились в воздухе, оседлав невидимые мётлы. Пикировали на Даниила Величко, словно хотели отогнать от своего гнезда, не позволяли ухватить сокровенную жилу. Даниил Величко отмахивался от назойливых ведьм:

— Пусть этот страшный чёрный хоровод навеки скроется в пучине чёрных вод!

Даниил Величко нащупал скрытый в мироздании электрод. Страшный удар сотряс его. Он издал вопль, словно в него попала разрывная пуля. Руки его сжимали электрод. Электричество било его. Он сотрясался, стонал. Зал вторил ему. Кругом сотрясались тела, по которым пробегала страшная электрическая синусоида.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как плещет в его теле жуткая волна. В нём лопались вены, трещали хрящи, разбухало сердце. И только “Таблица Агеева”, спрятанная под сердцем, не давала Петру Дмитриевичу умереть. Отражала удары космического электричества.

Даниил Величко воздел к небу руки, вымаливал, выкликал:

— Пусть засверкают огненные воды и вновь воскреснут мёртвые народы!

Даниил Величко замер, вытянул вперёд руки, наложил белеющие ладони на невидимую стену. Толкал её, смеялся, хотел сдвинуть с места грузённый тяжкими глыбами состав. Его тело содрогалось, из ушей лилась кровь. Он совершал чудовищные усилия, стремясь обратить историческое время вспять, совершить акт воскрешения.

Зал помогал своему кумиру. Все вытянули руки, стремились сдвинуть с места окаменелое время. Обратить вспять историю.

Пётр Дмитриевич видел, что Ирина, подобно остальным, вытянула руки и толкает грузённый историческими глыбами состав.

— Помогите, помогите ему! — обратилась она к Петру Дмитриевичу. — Ведь в вашей “Таблице” есть “русский код воскрешения”!

Пётр Дмитриевич видел её страдающее лицо, умоляющие глаза. “Таблица” сверкала в сердце, как золотая Богородица. Пётр Дмитриевич извлёк крохотную золотую частицу. Частица была “русским кодом воскрешения”. Тем русским упованием на чудо, которое каждый раз воскрешало падшее Государство Российское, преображало уныние в радость, печаль в ликование, смерть в бессмертное царство.

Пётр Дмитриевич направил золотой лучик в чёрную бездну. И вдруг хлынул ослепительный свет. Сцена озарилась, и на ней во всей ликующей красоте, в золотом великолении возник фонтан “Дружба народов”. Золотые богини сошлись в царственный круг. “Живая вода” хлынула ввысь, переливалась драгоценными радугами. Даниил Величко раскрыл объятия золотым лучам и радужным водам:

— Страна воскресла, наш Союз бесценный! Пусть это будет завершеньем сцены!

В зале зажгётся свет. На сцену вышли артисты. Теперь они были не в чёрных хламидах, а в ослепительных шелках и парче. Так появляются священники в пасхальную ночь. Все кинулись обнимать торжествующего режиссёра, небывалого чародея, которому подвластны времена и царства.

Пётр Дмитриевич смотрел на Ирину, и она казалась ему прекрасной, драгоценной, любимой. Он чувствовал, как из глаз у него текут слёзы.

Он отвёз Ирину домой на Сретенку, в одну из тех улочек, что спускались к Цветному бульвару. Простился у шлагбаума, преграждавшего въезд во дворик. Привлёк к себе и поцеловал в пушистые брови, слыша чудесный аромат её волос. Ирина тихо и оттолкнулась от него, как отталкивается лодка от берега, и убежала в темноту, где желтели окна её дома. Пётр Дмитриевич тихо пошёл к машине, улыбаясь, чувствуя на губах её пушистые брови.

Он садился в машину, когда трое в кашпоносах набежали, толкнули, ударили. Один откупорил стеклянную банку и плеснул на него зловонную жижу. Нечистоты потекли по голове, по лицу, пропитали рубаху, струились по животу. Пётр Дмитриевич не сумел рассмотреть лица хулиганов. Лишь мелькнули усы щёткой, и Пётр Дмитриевич угадал в нападавших трёх усачей, что курили в сигарном клубе, а потом преследовали его в Новом Иерусалиме.

Жижа нестерпимо воняла. Он совлёк рубаху и кинул на землю. Влез в машину и, задыхаясь, вёл её, голый по пояс, добираясь в свой загородный коттедж.

Дома он долго мылся под горячим душем, ещё и ещё раз поливая себя шампунем. Он был осквернён, унижен. С ним воевали жестоко и беспощадно. Оскверняли не его, а сиявшую в сердце икону — “Таблицу Агеева”.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром, поедая пуританский завтрак, Пётр Дмитриевич по обыкновению делился с котом Кузьмичом ломтиками бекона. Кот не притрагивался к даянию. Молча смотрел на Петра Дмитриевича золотыми глазами. Кот знал о вчерашнем нападении. Чувствовал, как унижен и оскорблён Пётр Дмитриевич, как попрано его достоинство, надломлена воля. Взгляд золотых немигающих

глаз был полон не сочувствия, не сострадания. Этот взгляд требовал от Петра Дмитриевича воли и стоицизма. Требовал мужества. Ибо “Таблица”, за которой охотились злоумышленники, принадлежала им обоим. Кот Кузьмич был хранителем драгоценной “Таблицы”. Сберегал дубликат “Таблицы” в своём кошачьем сердце, как Пётр Дмитриевич хранил подлинник в своём человеческом сердце. Пётр Дмитриевич был благодарен Кузьмичу за этот ободряющий взгляд. Воля Петра Дмитриевича и кота Кузьмича не были сломлены. Оба посвятили себя святому русскому делу — сберегали “Таблицу Агеева”, которая совершит воскрешение русского народа.

Интернет пестрел сообщениями о вчерашнем осквернении. Либеральная газета “Макрос” поместила фотографию, где человек в капюшоне льёт на голову Петра Дмитриевича нечистоты. Лица налётчика не было видно, зато лицо Петра Дмитриевича выглядело испуганным и несчастным. Автор, имевший псевдоним “Риббентропус”, издевался над Петром Дмитриевичем. Повторял известное высказывание патриарха Тихона: “По мощам и елей”. Шутил: “Мечты сбываются”, “Фашист с душком”. Фотографию перепечатали другие издания.

Пётр Дмитриевич пугался того, как много у него ненавистников. Как пристально следят они за его перемещениями, как оплетают паутиной вражды. Но воля его оставалась незыблемой. Золотые глаза кота требовали от него стоицизма, сбережения дара, которым наградил их обоих Господь, — “Таблицы Агеева”.

Зазвонил телефон. Фаддей торопился высказать Петру Дмитриевичу своё возмущение:

— Знаю этих мерзавцев! Помнишь усатых тараканов в курильне? Агенты, разведчики, работают против тебя. Хотят вырвать из тебя “Таблицу Агеева”. И та статья про фашизм, и эта гадкая атака! Одна цель — выбить из тебя “Таблицу”!

— Ты считаешь, что Америка присылает в Россию агентов, чтобы они раздобыли “Таблицу”? Не велика ли честь?

— Ты не представляешь, Петрусь, чем ты владеешь! Советская разведка украла у американцев атомную бомбу. Американцы хотят украсть “Таблицу”. Это стратегическое оружие! А ты один, без охраны! Приезжай, нам нужно поговорить. Ты в опасности!

— Куда приезжать?

— В геологический музей, на Моховую. Жду тебя через час!

У Петра Дмитриевича вдруг задрожали руки. Взрывная волна через много лет прилетела из Герата, и Пётр Дмитриевич ощутил толчок старинного взрыва.

Через час он стоял перед входом в музей. Моховая лилась в слепящем блеске машин. Заливались полицейские сирены, брызгая шальными синими вспышками. Кремлёвский дворец, янтарный, с отложными воротниками кружевных наличников, парил над розовой зубчатой стеной.

Фаддей бежал навстречу Петру Дмитриевичу, словно выпал из этого блеска, вихрей, истошного воя сирен.

— Как я рад, как я рад! Надо было раньше увидеться! — Фаддей обнимал Петра Дмитриевича, покалывая щегольской бородкой.

В вестибюле их встретил привратник. Почтительно обратился к Фаддею: — Вам кофе или чай, Фаддей Аристархович? Пригласить директора?

— Нет, нет, Степаныч, мы с другом совершенно приватно! — Было видно, что Фаддей здесь не первый раз, пользуется расположением персонала.

Зал окаменелостей, куда привёл Петра Дмитриевича Фаддей, был уставлен стеклянными шкапами и витринами. В них лежали каменные глыбы с оттисками реликтовых растений и животных.

— Я расколол сиреневую глыбу. Она была рассыпчатой и зыбкой. И я увидел каменную рыбу. Она смотрела на меня с улыбкой, — Фаддей продекламировал четверостишие, видимо, сочинённое им самим. Указал Петру Дмитриевичу на кусок рассечённого камня. Внутри камня была пустота, повторявшая очертание остроносой доисторической рыбы. Так в футляре для скрипки находится полость, повторяющая контуры скрипки.

— Ты кто, палеонтолог? — Пётр Дмитриевич досадовал на Фаддея, который затащил его в этот малолюдный музей.

— А вот ещё, смотри!

Под стеклом лежали камни, похожие на футляры, в которых темнели полости от исчезнувших креветок, птиц, стрекоз. На песчаниках виднелись отпечатки листьев, стеблей, плодов. На окаменелом дереве круглились древесные кольца, по которым можно было судить о дождливых или засушливых годах, притаившихся в толщах древних эпох.

— Это каменные ларцы, в которых на землю из неба упала жизнь. — Фаддей наклонился к витрине. Стекло туманилось от его дыхания. Казалось, он хочет вдохнуть жизнь в эти мёртвые отпечатки. Пётр Дмитриевич съязвил:

— Может, и нас с тобой принесло на землю в каменных саркофагах? Мы встали, отряхнулись и пошли гулять по Моховой?

— Как знать, как знать! — таинственно произнёс Фаддей, бережно поведя рукой над серым песчаником с отпечатком древней рябины, — длинные листья, гроздь ягод.

Пётр Дмитриевич вдруг увидел ночное небо, огненный камнепад. Камни падали на землю, раскалывались, и из них вылетали стрекозы и птицы, выплескивались в моря и реки рыбы. Разламывались с треском громадные валуны, и выскакивали олени, медведи, волки. Стада животных неслись по земле, над ними мчались птичьи стаи. Всё небо переливалось радугами, сверкало от падения огненных камней, несущих на землю жизнь.

В соседнем зале хранились минералы. Великолепно сияли прозрачные кристаллы кварца. Золотились гроздья горного хрусталя. Восхитительны были аметисты, сапфиры, изумруды. Пылали россыпи алмазов, аквамаринов, сердоликов. Глыбы малахита и яшмы, пластины чёрной и белой слюды. Это были каменные цветы, сорванные в небесном райском саду. Фаддей восхищённо созерцал соцветья, вдыхал ароматы рубинов, протягивал пальцы, боясь коснуться каменных лепестков.

— Теперь ты понимаешь, что видел Гумилёв, когда писал: “Это Млечный путь расцвёл неожиданно садом ослепительных планет”? За минуту до расстрела ему открылось дивное небо!

Фаддей вёл Петра Дмитриевича вдоль стеклянных витрин, в которых, как в оранжереях, пламенели соцветья.

— Я каждому из этих каменных цветков дал имя. Это Менделеев, — Фаддей указал на кристалл полевого шпата с туманной радугой. — Это Андрей Боголюбский, — он подвёл Петра Дмитриевича к россыпям граната. — Это Лесков, — пальцы Фаддея казались золотистыми в отсветах прозрачной слюды. — Это Калашников, — он тронул слиток медного колчедана. — А это Марфа Посадница! — Фаддей, умилённый и нежный, послал воздушный поцелуй фиолетовому аметисту.

Пётр Дмитриевич помнил, как в Афганистане Фаддей выводил его из палатки, и они любовались звёздами. Фаддей называл себя небесным пришельцем, и тогда это казалось фантазией молодого солдата. Теперь же, с обожающими глазами, молитвенными возгласами, он был похож на жреца этих небесных святынь.

— Я уехал в Америку и жил там припеваючи. Прекрасная работа. Свой дом, отличный заработок. Лучшие библиотеки мира. Великолепные перспективы. Но звёздное небо чужое. Нет русских звёзд. Нет той звезды, с которой я спустился на землю. Вернулся в Россию, чтобы жить под русскими звёздами.

Фаддей поверял Петру Дмитриевичу свою сокровенную тайну — любовь к звёздной России.

— Теперь иди за мной. За этим тебя и позвал!

Они перешли в следующий зал. Фаддей от порога направился в дальний край зала. Там, на деревянном постаменте, озарённый светильником, лежал метеорит. Он был чёрный, огромный, с выпуклостями и вмятинами, весь в оспинах, в ряби застывшего кипятка. Он кипел, когда продирался сквозь атмосферу Земли. Упав, продолжал кипеть, остывая, сохранил отпечаток

космического ветра. Пётр Дмитриевич ощутил таинственное дуновение, исходящее от метеорита. Так излучение звёзд касается ночного цветка, и тот слабо вздрагивает, тревожа уснувшую в соцветье пчелу.

— Ты чувствуешь? Чувствуешь? — Фаддей заглядывал в глаза Петру Дмитриевичу. — Метеорит нашли под Сталинградом у хутора Бабурки. В этом месте шли страшные бои, смыкалось окружение армии Паулюса. После войны саперы разминировали берег реки Россошки. Их миноискатели зашкалили, и они нашли этот железный метеорит. Ученые привезли его в Москву и поместили в музей. Но они не догадывались о тайне этой находки.

Пётр Дмитриевич чувствовал, как сладко дрогнуло сердце, словно кто-то божественный поцеловал его в грудь. “Таблица” драгоценно переливалась, будто в груди трепетала невидимая бабочка.

— Ты чувствуешь эту сладость? Чувствуешь это волшебство? — вопрошал Фаддей. — Так сердце чувствует приближение к родному дому. Этот чёрный кусок космической стали — наш родной дом, Петрусь. Он прилетел с нашей космической Родины. Он принёс на землю молекулу, от которой повелась вся русская история, вся русская культура, вся русская судьба!

Фаддей восхищённо, с благоговением смотрел на метеорит, как смотрят на чудотворную икону, не решаясь к ней приложиться. Петру Дмитриевичу не казались безумными слова Фаддея. Он испытывал к метеориту влечение, нежность, обожание. Перед ним была его небесная Родина. Этот чёрный, изъеденный Космосом метеорит был небесной Россией. Фаддей извлёк из кармана трубку с линзами. Прижал окуляр к глазу. Стал водить трубкой по изъеденной поверхности метеорита:

— Ты посмотри, Петрусь! Хрестоматия всей русской цивилизации! Отсюда век за веком изливалась русская жизнь, исходили русские полководцы, правители, художники. На этом метеорите записана программа Русской истории от “Повести временных лет” до наших дней, и дальше, события русского будущего. Посмотри! — Фаддей передал Петру Дмитриевичу окуляр. Тот приблизил линзу к расширенному глазу и приник к метеориту. И возникло бело-голубое видение храма Покрова на Нерли, его бесподобная красота, божественная женственность. Храм был крохотной инкрустацией на чёрной железной глыбе, и отсюда сошёл в зелёные луга и голубые воды русской равнины. Пётр Дмитриевич передвинул стекло, и возникла сталинская высотка университета, магический замысел вождя, окружившего Москву таинственными вертикалями. Ещё смещение окуляра, и появился конструктивистский шедевр Мельникова, похожий на броневик, жестокий и великолепный.

Пётр Дмитриевич водил окуляром по щербатому метеориту, и в стекле всплывали рублёвская “Троица”, берестяная новгородская грамота, картина Дейнеки “Атака под Севастополем”, “Медный всадник” на Сенатской площади. Это были волшебные коды русской истории, задуманные на небесах. Они пролетели миллионы световых лет, коснулись земли и сотворили Россию. Пётр Дмитриевич водил окуляром по метеориту, и в каждой тёмной щербинке, в каждой стальной лунке возникало видение. Патриарх Никон на древней парсуне. Баснописец Крылов. Бородатый Курчатов. Суворов. Все они были задуманы в небесах, каждый в свой черёд исходил из метеорита, ступал в русскую историю, наполняя её грохотом пушек, дивными песнопениями, бессмертными деяниями.

Пётр Дмитриевич не мог оторваться от созерцания. “Таблица” в его груди трепетала, ликовала. Метеорит был “Таблицей”, сотворившей Россию. “Таблица” прилетела с небес, и Пётр Дмитриевич носил под сердцем метеорит.

— Теперь ты знаешь, где наш отчий дом? Где наша небесная Родина? — Фаддей принял от Петра Дмитриевича окуляр и сунул в карман. Лицо Фаддея казалось нежным, восхищённым, словно он слышал волшебную музыку и хотел, чтобы небесные звуки услышал Пётр Дмитриевич, его друг, единомышленник, соотечественник по небесному Отечеству.

— Ты тронь его, он живой. Вдохни аромат небесного цветка.

Пётр Дмитриевич коснулся метеорита. Ладонь ощутила тепло, исходящее из глубины железного слитка. Казалось, он трогает лоб ребёнка. Пётр Дмитриевич склонился к метеориту и вдохнул воздух. У него закружилась голова. Он уловил аромат материнских духов, тех, что сохранились в складках её синего платья. Уловил миндальный запах заповедного шкафа с подшивками “Аполлона” и “Весов”. Почувствовал запах “Бурана”, прилетевшего из небесной пекарни. Повеяло медовой сладостью цветущей ивы. И чудесно, божественно опьянил его аромат женских волос, которых совсем недавно он касался губами.

— Ты чувствуешь? Узнал свой дом? — Фаддей обнимал Петра Дмитриевича за плечи, как родного брата. — Ты знаешь, как я нашёл этот метеорит? Я работал в Калифорнии, в Беркли. Сидел в библиотеке. Изучал ордена Российской империи и советские награды. Исследовал описания Куликовской сечи, Бородинского сражения, битвы на Курской дуге. И чувствовал, как в окно с видом на парк, где пальмы, кипарисы, секвойи, дует на меня какой-то загадочный ветерок, слабый сквознячок, доносится беззвучный зов: “Лети в Россию! Лети в Россию!” Как наваждение! Бросил всё, недописанную диссертацию, дом, любимую женщину, блестящую карьеру. Сел на самолёт и — в Россию. Лечу в самолёте, а в сердце словно какой-то компас. Стрелочка ведёт по магнитной линии: “Домой! Домой!” Сел в Шереметьево и сразу с аэродрома, всё по той же магнитной стрелочке бросился искать невидимый магнит. Колесил на такси по Москве, по Тверской, по Лубянке, по набережным. Зов то сильнее, то слабей. “Горячо, холодно. Теплее, холоднее”. Бросил такси, бегу мимо “Метрополя”, Большого театра, мимо Думы. “Кто ты? Где ты?” И вдруг бесцветная вспышка, стою перед входом в музей. Вбегаю, привратник Степаныч меня не пускает: “Купите билет”. Я сунул ему сто долларов, влетаю в зал, и вижу это чудо! — Фаддей указал на метеорит. — Он был не чёрный, а сверкал, как бриллиант. Я испытал такое ликование, такое небывалое счастье. Кинулся его целовать, разрыдался и упал без сознания. Степаныч отпаивал меня водой, а я целовал метеорит и плакал! Ведь это мой отчий дом, моя Родина!

Петру Дмитриевичу рассказ Фаддея не казался безумным. Он и сам испытывал эти ослепительные потрясения, когда ему открывался ещё один “русский код”, и возникла золотая Богородица, праматерь русской земли.

Они стояли с Фаддеем перед осколком чёрной небесной скалы. Воздух вокруг метеорита слабо золотился. В зале осторожно появлялся привратник Степаныч и так же осторожно удалялся, убеждаясь, что в нём нет надобности.

— Теперь услышь великую тайну, которая была открыта немногим, и большинство из них умерло, а у тех, что живы, уста запечатаны. — Фаддей сжал губы, словно на них лежала сургучная печать. Усилием воли сломал печать и заговорил: — В этом метеорите, в его железной глубине, в самой сердцевине находится вход в нашу небесную Родину. Там врата с железными запорами, ведущие в рай. Можно прочесть волшебные заклинания, разбежаться и молнией вонзиться в метеорит, достичь райских врат и войти в звёздный чертог. Мудрецы и учёные ломают голову, как достичь звёздных миров, сколько тысяч лет космонавты будут лететь. Усыпить их или отправить в Космос оплодотворённую яйцеклетку, чтобы через тысячу лет полёта запустить возрастание эмбриона? Всё напрасно, всё неправдоподобно. Одно мгновение, и ты пролетел сквозь галактики и оказался в раю, в своём небесном чертоге. Все религии, все верования, Египет, шумеры, зороастрийцы, мусульмане, христиане — все говорят о небесной прародине, о небесном царстве, откуда люди явились на землю и куда непременно вернуться.

Пётр Дмитриевич был поражён. Его коснулась великая истина, которую он не смел отрицать, а принимал на веру её восхитительную достоверность. Фаддей открыл эту истину раньше, одарил ею Петра Дмитриевича, был учителем, который звал за собой. И Пётр Дмитриевич готов был идти.

— Волшебные заклинания, о которых я говорил, — это твоя “Таблица”. “Таблица Агеева”. “Русские коды” — это золотые крупицы, которые

собирал русский народ в поисках Беловодья, готовясь к обретению рая. Вся русская история — это собирание волшебных кодов, способных распахнуть стальные врата и выпустить народ в рай. Русская история — путь в небо!

— Ты прав! Ты прав! Русские — люди неба, — вторил Пётр Дмитриевич. Он знал это всегда. Скрывал это знание, боясь насмешек, злобных глумлений. Хранил это знание в своей одинокой душе, обречённый на молчание. Но теперь молчание кончилось. Рядом был брат, с которым так сладостно говорить о небе.

— Эти коды знали русские святые. Знал Пересвет. Знал Александр Матросов. Знал народный святой Евгений Родионов. Эти коды знал Сталин. Он готовил народ к полёту в небо. Народ — экипаж, готовый взлететь на небо. Сталинские пятiletки, строительство заводов, стахановцы, полёт через Северный полюс, сталинские песни, “Рабочий и Колхозница”, “Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...”, “Страна мечтателей, страна учёных...”, “И вместо сердца пламенный мотор...”. Советский Союз был огромным космическим кораблём, готовым лететь к звёздам. И он взлетел к звёздам, коснулся неба. Сталин со времён обороны Царицына знал о метеорите. Знал, что он лежит на дне речки Россошки у хутора Бабурки. Знал о райских вратах. Гитлер тоже знал о метеорите. Ему рассказали о нём немцы Поволжья. Гитлер посылал тайные экспедиции “Аненербе” в низовья Волги на поиски метеорита. Он хотел захватить русский рай. Битва за Сталинград была битвой за метеорит. Гитлер проиграл, а советский народ взлетел в небо. Он коснулся неба 9 мая 1945 года, в день Победы. Тогда народ коснулся небес и был готов войти в Небесное Царство. Не удержался на небе и рухнул! Но небо коснулось земли. И там, где оно коснулось, там выросла огромная берёза. Древо, через которое силы небесные льются на русскую землю и возвещают упавшему и разбившемуся народу, что он по-прежнему небесный народ и снова поднимется на штурм неба!

Петра Дмитриевича не изумляла картина истории, начертанная Фаддеем. Взгляд историка определяется окуляром, сквозь который смотрит его око. Око Фаддея смотрело сквозь магический кристалл волшебного самоцвета, одного из тех, что сияли в витринах соседнего зала.

— Ты понимаешь, чем ты владеешь, Петрусь? Твоя “Таблица” — это пропуск в Небесное Царство! Тебе дан ключ от стального запора. Приложи своё сердце к метеориту, он растворит свои тайные врата, и мы войдём в рай!

Пётр Дмитриевич потянулся к метеориту. Сердце восторженно билось, “Таблица” трепетала тысячью золотых частиц, которые наполнили зал, покрыли лицо Фаддея сказочной позолотой.

— Не сейчас, не теперь. — Пётр Дмитриевич отступил от метеорита, боясь, что сердце его разорвётся. — Ещё не готов. Ещё несколько последних кодов. И маленький ключик, который сообщит “Таблице” её чудодейственные свойства.

Они стояли у метеорита, от которого исходило тепло. Так запущенный реактор останавливают, не дав ему накалиться.

— Ты, Петрусь, в опасности. За тобой охота. Хотят отнять у тебя “Таблицу”. Не дать русскому народу воскреснуть. Не позволить русским сплотиться в экипаж и вновь штурмовать небо. В Беркли создано спецподразделение, которое занимается только тобой. Читает твои статьи, смотрит передачи, анализирует твой знакoмства и встречи. Они знают о твоём визите к космисту Богданову. Знают о Новом Иерусалиме, где ты нашёл русское Древо Познания Добра и Зла. Они клеветают на тебя, ломают твою волю, грозят уголовным преследованием. Возможно физическое нападение. Их много. Некоторые уже приблизились к тебе вплотную. Эраст Богоносцев и его блудливая невеста Ксения Фалькон — они любезны с тобой, приглашают на свадьбу. Всё это множество журналистов, телеведущих, критиков, политологов, экстрасенсов, которые атаковали тебя на вечеринке “Эхос Мундус”. Они будут жалиться тебя, язвить, выманивая у тебя “Таблицу”.

— Но откуда ты это знаешь? Ты с ними связан?

— Я работал в Беркли, и у меня остались источники. Я вернулся

в Россию не только смотреть на русские звёзды. Но для того, чтобы тебя сбере- речь. Ты мой фронтной друг. Нас оглушил один и тот же взрыв. Он раско- лол наш мозг, и мы получили откровение. Тебе открылась “Таблица”. Я при- близился к ней, но “Таблица” мне не открылась. Но теперь мы вместе, и твои откровения становятся моими. Мы сбережём “Таблицу”. Ты откроешь ещё несколько кодов, отыщешь заветный ключик, и мы вернем русскому народу Мечту, поведём его на штурм неба. Ты меня слышишь, Петрусь?

— Слышу, — восторженно воскликнул Пётр Дмитриевич. Они обня- лись, два друга, озарённые священным знанием. Избранники небес, которые вернут русским небо.

Они покидали метеорит. Петру Дмитриевичу казалось, что железная глыба стала прозрачной, и в её глубине раскрылся цветок.

Когда они шли мимо витрин с минералами, в зале появился благообраз- ный человек в очках с аккуратной лысиной. Два служителя несли за ним ло- моть лазурита, синева которого сравнима с синевой на рублёвской “Троице”.

— Вот, Фаддей Аристархович, новый экспонат. Прямо из Афганистана. Каким именем его наречёте?

— Пушкин, — ответил Фаддей.

Пётр Дмитриевич не нашёл бы иного имени для этого сгустка небесной лазури.

(Окончание следует)

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ



ПО ЗАКОНАМ ЛЮБВИ

Я ЗНАЮ

Немножечко устал, а всё-таки не шибко.
Спокойствие в душе. Я знаю: жизнь права.
Чем тяжелее путь, тем благодней улыбка,
Тем человечнее слова.

Чем проще, тем сложней, а чем сложней, тем проще.
Чем тяжелее путь, тем ближе небосвод.
А главное — душа чирикает, не ропщет,
Душа не врёт.

СОСЕД ПО ДАЧЕ

Жил неброский человек,
По весне сажал картошку,
Убирал зимою снег,
Скромную носил одежду.

СТЕПАНОВ Евгений — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатался в журналах “Наш современник”, “Нева”, “Знамя”, “Дружба народов”, “Звезда”, “Урал”, “Арион”, “Юность”, “Дон”, “Волга” и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала “Дети Ра” и портала “Читальный зал”. Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала “Нева”.

А ещё неспешно в стол
Он писал отрывки прозы.
И смотрел, как дышат ствол
Лиственницы, кустик розы.

Не искря, как фейерверк,
Но светло и трудновато
Жил неброский человек,
Жил когда-то.

НА ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

На третьей мировой войне,
А я застал её в Европе,
Стрелять не доводилось мне,
Но приходилось жить в окопе.

На третьей мировой войне,
Бессмысленной и невеликой,
Я оказался в западне,
Воюя с шапкой-невидимкой.

И мировой сгущался мрак,
Враг был невидимым, неглупым.
И шёл по трупам этот враг,
Точь-в-точь фашист, шагал по трупам.

КУКУРУЗНИК

Кукурузник летит над посёлком,
В необъятной летит вышине,
Шлёт приветы и белкам, и ёлкам,
И берёзам, и соснам, и мне.

Жизнь какая-то странная ныне,
Вряд ли кто-то хоть что-то поймёт.
Я сижу тихо на карантине,
Я смотрю, как летит самолёт.

КАК ПРЕЖДЕ

Плохо, что карман отныне пуст,
Впрочем, помогают мне, как прежде,
Каждая травинка, каждый куст,
Не давая умереть надежде.

Я согреюсь – грешный – у костра,
Не поверю ничьему подвоху.
И скажу: судьба ко мне добра,
Даже в эту лютую эпоху.

А НАДО БЫ

Безжалостны года,
Прёт время напролом.
Мы все идём туда,
Откуда не придём.

А всё хотим страшать
Друг друга и губить.
А надо бы прощать,
А надо бы любить.

* * *

Лукавый говорит: “Похерьте
Мечты!” И щурится хитро.
И перевозят воздух смерти
Вагоны шустрого метро.

Харон опять надел корону
И — беспощадный — правит бал.
И представляется Харону,
Что он весь мир завоевал.

Пугая силищей безбрежной,
Харон сгустить умеет тьму.
Но всё-таки вовек с надеждой
Не разлучить меня ему.

Как прежде, набухают почки,
Поют, как прежде, соловьи.
И нет желанья ставить точки
Над i.

ПО ЗАКОНАМ ЛЮБВИ

Кошка-компьютер решает любые задачи,
Дятел, взлетев на сосну, стихопрозу строчит.
Дышит земля и меня оживляет на даче,
Дача живёт и меня поднимает на щит.

Дача живёт по законам любви и полёта
Птиц красногрудых и жёлтых, как осень, синиц.
Дом — полиглот, изумительна речь полиглота:
Шорох теней и внимательный шелест страниц...

Дача живёт, точно символ прошедшего века,
Жил в этом доме когда-то мой прадед-дантист.
Дача живёт, и не гробит меня ипотека,
Дача поёт, и поёт соловей, голосист.

ЗЕМЛЯ

Я за место под солнцем давно не борюсь,
Мне светло и привольно повсюду.
Я живу на земле и земли не боюсь
И, надеюсь, бояться не буду.

Каждый листик мне брат, а сосёнка — сестра,
Мне родня эти скромные грядки.
А земля так добра, а земля так щедра,
Что, надеюсь, всё будет в порядке.

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ



42-Й ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

ФАНЕРКА

Наш дом стоял буквой “Г” и в его углу, в закутке располагался глухой внутренний двор, куда выходило моё окно. Если смотреть из окошечка, то прямо была стена Гипрожира, справа — терраска наших соседей тёти Ксени и дяди Гриши, а слева — противопожарная кирпичная стена. Всё забрано встык — собака не пробежит.

После Нового года под стену за сугроб кидали старые ёлки. Мы прыгали на них со стены, как на пружинный матрац, — на две-три ёлочки, жухлые, сквозистые, осыпающиеся. Раз после прыжка меня лихо откинуло и шарахнуло затылком о стену, так что после лежал в кровати час или два с головной болью. Этот подзатыльник отправил меня по кругу — вскоре я так же породнился с острым штукатуренным углом нашего подоконника. Заигравшись, споткнулся и упал на самую грань — пришлось под рот, меж губой и подбородком. Пробил о зубы подгубье, так что, если отвернуть изнанку, белел шрам. Я его всем показывал. Потом о стену Гипрожира ссадил руку. Одна тёти Ксенина терраска меня не тронула.

Окошечко моё, оконце, око несмыкаемое... Чего оно только не видело, не слышало... Окна Гипрожира весной открывались, и оттуда нёсся стук

ТАРКОВСКИЙ Михаил Александрович родился в 1958 году в Москве. Закончил Московский педагогический институт им. В. И. Ленина по специальности география/биология. В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, где работал сначала полевым зоологом, затем охотником. В 1991 году закончил Литинститут им. А. М. Горького. Автор книг “Стихотворения”, “За пять лет до счастья”, “Замороженное время”, “Енисей, отпусти!”, “Тойота-креста”, “Избранное”, “Сказка о Коте и Саише”. Главный редактор альманаха “Енисей”. Живет в с. Бахта Красноярского края.

печатных машинок, мягкий, шепчущий, летучий. Я потом не один год его изображал, поднося к уху ладонь и шевеля пальцами впритирочку. С другой стороны дома через дорогу был магазин “Напротив” с деревянной скрипучей дверью, её мерная песня неслась из-за спины дома и так же питала мои ранние времена, как шелесток машинок.

С улицы сквозь дом во двор шёл коридор. Из магазина “Напротив” по нему проходили тройками знающие дядечки. Стучали в окошко: “Стаканчика не найдётся?” Стаканчик тут же выдавала бабушка, и между дядечками и бабушкой какой-то стоял договор. Дяденьки были в чёрном, в кепках, худощавенькие, маленькие, добрые и какие-то предельно измочаленные. Когда их изношенность совмещалась с водочкой, они ещё добрели морщинками. Раз тётя Ксения вынесла им солёные огурчики, умудрившись угостить и нас с Мишкой Кузнецовым. Мишка громко грыз огурец, и так щурился и вслушивался в хруст, словно ради него и грыз. Сок тёк по губам и подбородку и ел губы. Кроме маленького и крепкого огурца, нам достался большой и будто разрезанный внутри. Мишка грызнул и соком попал мне в глаз. Мужички засмеялись, а один сказал: “Ты как снайпер!”

Дяденьки очень быстро выпивали бутылочку, возвращали стакан и уходили, и в этой деловой, закругляющей резкости ухода было что-то особое — будто они не для себя делали, а *вообще* — для дела. Рассчитывали, что водочка ещё долго будет работать на остаток дня, и просто проболтать в разговоре её действие — не по-хозяйски.

Окошком я глядел бессменно. Как-то соседи, муж с женой, лыковой мочалкой мыли собаку, добермана-пинчера по кличке Эра. На улице было прохладно, начало весны, когда особенно остро воспринимаешь именно прохладу, холодок. Эра была короткошёрстная и вызывала зябкость, а тут и вовсе в мыле стояла, дрожа и встречно упираясь телом, когда её проглаживали мочалкой, и я шкуркой чувствовал, как ей стыло на этом ветерке. Она была в жёлтой пене, видимо, так отмывались собачьи грязи.

Тёти Ксенина терраска глядела многооко на дворовую жизнь. В мелкое окошко терраски в ту пору были обычны и в деревне, и в городе. Мне нравился их переблеск, отражающий взгляд, отчего нутро казалось ещё таинственней. В деревне переплёты встречались чаще голубые, а та терраска тускло рыжела, сплетённая в квадрат и ромбик. Тётя Ксения с дядей Гришей жили укрмно, дядя Гриша незаметно терраску пристроил, и была у него швейная машинка по коже. Втихушку он шил на ней кожаные пальто на заказ.

Мишка Кузнецов жил на втором этаже и был моим первым в жизни другом. Однажды мы с ним кидались камнями. Я занимал позицию возле терраски лицом к нашим окнам, Мишкина же линия обороны пролегла от меня метрах в восьми. Кидались мы некрупным щебнем, жёлтоватым в ржавчинку, и хотя никому не доставалось по большим местам, был и азарт, и та ровная и жаркая наполненность игрой, которая царила в нашем детстве, полном жизненных и трудовых игр. Всё шло прекрасно, как вдруг у Мишки что-то стряслось с траекторией: камень ушёл в сторону терраски, и, не задев переплёта, пробил стекло и точно попал в трёхлитровую банку с тети Ксениными солёными огурцами.

Я испытывал и восхищение проделкой, и гордость за Мишку, и зависть к его ухарству, но Мишка, побелев, сказав делово: “Пойду доложу” — и убрался домой. Штабная оперативность этого “доложу”, смелость не скрывать поступок ещё больше вознесли в моих глазах Мишку, и я ждал, пока он разделается с докладом и вернётся. Он так и не пришёл, а я томился, пока с работы не воротилась тётя Ксения — с сумочкой, в очёчках и рыжем пальтишке, в котором она походила на туго набитого воробышка. Я независимо прогуливался по двору и сказал: “А Мишка Кузнецов окно разбил”. И не сбавляя неторопливого шага, прошёл по своим надобностям. Понял ли я, что предал напарника? Если и да, то чуток: я ещё не ведал, что есть товарищество.

День завершался. Я думал, что разразится какое-то наказание, и понимал, что это наше общее с Мишкой преступление. Что нас за шиворот вытасшат на двор, позовут взрослых, и нам не только, как говорила бабушка,

“всыпят”, а будет ещё что-то общественно-тошное. Потому что грудка огурцов с осколками и лужей больно жалкая для игры картина. И было желание, чтоб уж поскорей грянуло.

Ничего не грянуло. Я играл дома, когда со стороны терраски раздался скучный и размеренный звук ножовки. Я замер, не доходя окошка: дядя Гриша допилил фанерку и вставил на место выбитого стекла. Небольшой, сухощавый, вечно в чём-то чёрно-сером и кепке.

Потом, когда дядя Гриша заболел и умер, его несли мимо моего окна. Не то на рассвете, не то в скрипучих зимних сумерках, не то сумрак тёмно-синие стоял в смятенной моей душе. Свернувшись зверьково, глядела она в синее оконце, а само оконце сжалось до форточки, до зрачка-хрусталика, и ещё резче выступили в нём чёрные фигуры и то горизонтальное, что они несли. Отчаянно противилась душа первому гробу, восставала, кричала: “Нет!” — заставляя детское существо неестественно бодриться и едва ли не веселиться, доказывая, что смерть неправда.

Кроме случая с фанеркой, ничего не помню о дяде Грише. Если тётю Ксеню хоть как-то представляю с её воробышковым видом и авоськой морковки, то что могу сказать о нём? Какую птицу он напоял рядом с ней? Возможно, маленького грача в чёрной кепке. И очень походил на мужичков, просивших стаканчик, был одной с ними колодки. Такой же невысокий, будто ужавшийся окопно, в синеглаженном пиджачке ли, драповом пальтишке с проступившей ёлочкой, в чёрно-серой измызанной робе... Несгибаемый гвоздок под шляпкою-кепкой. Сколько их тогда во дворах было — при лопате, молотке, ножовке...

Как ни силось, не вспомнить лица. Не то детский взгляд не добивал до второстепенных героев моей жизни, не то настолько размыто обобщён его лик, что и доселе множится в глазах послевоенный измученный мужичок.

ЁЛКА

В предновогодние дни кто хлопотал по дому, а я занимался округой. Играл под вечер долго и рьяно, до жаркого пота, до жгучей и шершавой шапочной сырости на лбу. Жужжал машинно до слюнной брызги, нарыл серпантинных в сугробном склоне, нор каких-то синих, капониров для танков, целое дорожное хозяйство. На такой крутизне и перегон техники с подарками, и просто поездка — работа, а уж что о тоннельном деле говорить! И снег может просыпаться, если близко к вершине возьмёшь, и светлинка загорится в потолке пещерки. Но в том и мастерство...

Пришлось для порядка и самому с верхотуры съехать, не там, где норы, конечно, а сбоку. Съезжал внимательно, спиной чувствуя сугроб, хоть и глядел на карниз. Конечно, ничего не успел — побежал домой за Никитками, и был схвачен бабушкой. Никитки — близнецы, резиновые медвежата свистковые. Коричневые. На холоде деревенели, но от них и не требовалась мягкость. Хотел в тоннель посадить на охрану. Ладно, завтра посажу. Еле пережил ночь. Утром быстро-ради-дела съел кашу с рассветным маслом-солнышком и на улицу с Никитками к солнышку-маслу... А там ни следа моей инженерии.

“Чёртов Васька!” Как я ярился, как орал — наверное, самая сильная вспышка за детство. Какое возмущение, какая ненависть к порядку так называемому! Каким он лживым, фальшивым гляделся! Каким зверством и произволом по отношению к личному! Ничего не осталось. Не просто заровнял, а именно порушил, уничтожив и приподножное, равнинное, так сказать, хозяйство. А сугроб, главное, ещё выше вывел, и аккуратно загладил крахмальное изваяние. Довершило, что бабушка, которой я со всем доверием вывалил негодование, была почти “за Ваську”.

Дядя Вася — наш дворник. Внешностью он напоминает дядю Гришу или мужичков, что забегают с бутылочкой и просят стаканчик. Тоже некрупный, недоевший, недобравший жирка-запаса. Если дядя Гриша и тройные стаканчики чёрные, то дядя Вася коричневый, как лёгкая вытертая куртка.

И кепка из того же теста. Если те обобщённые, как путевая бригада, то дядя Вася явный, знакомый. На кого похож? Трудно сказать... Может, отдалённо на Чапаева, но безусый и ещё более скуластый, с тем же знакомым сходом в щёчную впалость. Глаза сильные, большие, и брови, надбровные дуги ярые. И какая-то задиристость, требовательность в лице. Может, и скандальность. В движениях — развалочка. Если у дяди Гриши и тройных мужичков была кротость, ласковость, то дядя Вася требовал несбыточного — порядка. Прибирал наш двор, паковал сугробы, метал их, как стога-зароды, оглаживал, завёршивал — не иначе крестьянское нутро и зимой по покосу тосковало. И сыпалась синяя крошка по крахмальному боку, и дядя Вася подскребал её, как мучицу, и на спину зароду закидывал, и бока гранил, и особенно текучими были именно последние эти шершавые струйки. Чем меньше остаётся на полу, тем труднее подобрать, мучица множится, не добрать до конца. Особенно скупо и пустынно выглядит подножие сугроба.

Снега было много в те годы, и кроме нашего внутреннего двора, дядя Вася огребался и на уличной стороне. Часть собирал в сугробы в проулке, часть — вдоль Первого Щиповского, а часть длинным движением лопаты подавал на дорогу, где её размалывали колёса. Дворники были в каждом дворе, и цепочка сугробов тянулась по всему переулку. Их собирала снегоуборочная машина, и я любил на неё смотреть.

Машины эти все называли “автопогрузчиками”, а недавно оказалось, что правильное название трудовой этой железяки “лаповый снегопогрузчик С-4”. Жаль, что мы с бабушкой не знали, — тёплое и звериное название наверняка её бы порадовало. Четырёхколёсный агрегат на основе грузовика с одноместной будочкой, смещённой к боку. И на плече наклонно — балалайка, жёлоб с лентой, похожий на гриф с ладами. Он ещё и подломлен по корпусу. Балалайка — она же челюсть-лопата с бортиками. В лопате две локтястые ручищи, крутятся на двух дисках, диски заподлицо с лопатным дном. Загребущие лапы грабастают снег необыкновенно одушевлённо, а сзади пятится самосвал, и в кузов с грифа сыплется снег, то кускастый и грязный, то, наоборот, чистый до синеватой крахмальности. Бабушка терпеливо стоит рядом, а я пожираю глазами ручищи автопогрузчика, которыми он загребаёт снег в широченную челюсть. Самосвал пятится, то ударяя в погрузчик, то приотстаивая — “ЗИЛ-164”, зелёный, но не болотный, как бабушка называла хаки, а тёмно-зелёный, будто подсинённый.

Завидя автопогрузчик, я замедлялся, якорно тянул бабушку за руку и вставал, а она ждала, пока насмотрюсь. Очень хорошо помню эту терпеливость — и вынужденную, и признающую важность происходящего. Так ждут, когда ребёнок наестся.

Рука у бабушки худощавая, и я чувствовал её будто древесную силу — и сухую, и тёплую. Рука вообще витое место — и сучок, и развилка, и точка крепости. В нашем ручном замке вечно шла борьба. Бабушка то поджимала, то приотпускала, а я то вырывался, то пытался в бабушкину ладонь вложиться поудобней. Едва устрою плотвичку ладони, и бабушка подладится встречно, найдёт самое ухватистое место, тотчас рыбка извернётся или, сложившись лодочкой, раздаст бабушкину руку и отвоюет свободного хода.

У автопогрузчика я выходил из замка и маячил особенно отдалённо. Снег увозился машинами, и я почему-то думал, что его высыпают где-то за городом. Однажды мы с бабушкой гуляли по набережной между огромным высотным зданием и Москворецким мостом. Стояли неморозные дни с обвальными снегопадами. И вода в Москве-реке чёрная и сизо-пятнистая от шути.

То, что я увидел, заморозило меня сильнее, чем лаповая работа снегоуборщика. К невысокому каменному парапету, пятясь, подъехал самосвал со снегом. Из кабины, открыв дверь и став на подножку, высунулся водитель и, глядя на кузов, начал его поднимать. Снег поначалу держался, а потом мешаниной кусков и сыпучих прядей нарастающе постепенно и мощно сыпался в воду. Водитель опустил кузов, но ему показалось, что прилипли остатки снега, и он ещё раз откинул его, грохотнув, а потом, медленно опускаемая, отъехал от берега. Пока я, открыв рот, смотрел на него, на набережной появилась вереница одинаковых тёмно-зелёных самосвалов. Друг за

другом они пятились и сбрасывали снег с высокого берега. А потом образовалась целая шеренга пятиющихся машин, которые почти одновременно остановились у края каменной пропасти и скинули кузова. Снег могучей лентой сыпался в тёмную реку и оказывался неожиданно плавучим, не пропитываясь водой, а только нарастал глыбистыми горами и медленно сплывал по течению. Вместе со снегом из кузова упал камень и плыл черновиной вместе со снежной грядой.

Темнело. Трудно затлев и отдрожав, зажглись синие и холодные неоновые фонари, а грузовики тянулись по набережной, пятились и, вздымая кузова, сбрасывали груз в речную пропасть. На чёрной зимней воде в сиянии фонарей сыпанина снега особенно ярко и близко светилась рубленным белком. О чём думала бабушка в тот темнеющий час?

Последний самосвал завершил грозное своё дело, и мы отправились на трамвай. Всё краснее и ярче горели огни на высотном здании со шпилем, мощно чернеющим на фоне подсвеченного неба. Его мглистый силуэт, гнутая линия реки, обросшей домами-утёсами, подчёркивали налитые силой названия: Котельническая набережная, Краснохолмский мост, Большой Каменный. Колокольня Ивана Великого и купол Архангельского собора сияли поразительно зеркально, словно натёртые шлифовальной пастой — зелёной купоросной пылью. Внемасштабность циферблата на Спасской, сходство луковок с ёлочными шарами потрясало и обращало город в бескрайнюю детскую. Бабушка сказала, что в войну купола соборов укрывали, чтобы они не светились во время ночных бомбёжек. Это ещё раз доказывало удивительность их свечения — и великого, и беззащитного.

Предновогодним вечером мы подъехали на троллейбусе к самым кремлёвским воротам, к Кутафьей башне. Вместе с вереницей детей прошли в Кремль, где бабушка отдала меня устроителям ёлки, на которую у меня был билет. Стоял мороз. Сотни детей, густо дыша паром, столпились вокруг снежной площади с огромной ёлкой. Вышел рослый Дед Мороз в красной шубе и необыкновенно зычно поприветствовал, постучал посохом, а потом заозирался: “Как так — скоро Новый год, а у меня ни мешка, ни котомки. Дааа... была у меня волшебная котомка, да вот где она — ума не приложу...” И крикнул: “Ребята, где же котомка?” То ли ему кто-то подсказал из ребятишек, то ли он сам догадался: “У Снегурочки котомка! А где же Снегурочка?” Ну и, конечно, велел её звать. Целая площадь закричала: “Ау, Снегурочка!” — сначала нестройно, а потом слаженно, громко и эхово, с шумным придыханным нарастанием. Дед Мороз пошёл искать Снегурочку. Рядом с ёлкой стоял снежный домик. Оттуда раздался звонкий крик, и вышла Снегурочка в серебристо-голубой шубке с блестящими звёздами и волшебной котомкой в руке. Особенно мне запомнились её рукавички, тоже серебристые и в пушистой белой оторочке. Дед Мороз к этому времени незаметно исчез и теперь вышло, что уже Снегурочка его ищет.

Снегурочка перебегает по снежной площади, кругово озирается, приложив ко лбу козырёк из рукавички. Вдруг из снежного домика, вздымая чёрные руки-крылья, вырывается чёрная фигура. Лицо в маске и на голове клюв — это Чёрный Ворон. Самое страшное, что Снегурочка не видит, как он сзади подкрадывается, чтобы вырвать волшебную котомку. Он догоняет её, грозно вскидывая чёрные крылья и будто пытаясь её обнять-захватить, и вдруг совсем рядом со мной девочка истошно вскрикивает: “Ворон!” — и я, и кто-то ещё, и все мы подхватываем: “Ворон! Ворон!” Ворон вздрагивает, отшатывается. Снегурочка оборачивается, а Ворон, плавно кренясь, взмахивает крыльями, разворачивается и улетает. Снегурочка забывает об опасности, и Ворон снова её догоняет, и несколько сотен детишек снова кричат: “Ворон! Ворон!” — и Ворон снова разворачивается и улетает. На третий раз всё повторяется. Ворон идёт на четвёртый круг, но появляется Дед Мороз и, грозно вознеся посох, прогоняет Ворона.

Уже не помню, каким образом волшебная котомка обратилась в бездонный мешок и всем нам раздали подарки — красные пластмассовые шары на верёвочках, внутри — конфеты, игрушки. Ни конфеты, ни весь остальной праздник не поразили меня так, как наше вмешательство, изменившее ход

представления, большого взрослого дела. Ощущение единящей силы, которую мы испытали, выкрикивая это отчаянное: “Ворон!” — когда мы смешали, проломили действие, и этот незаконный прорыв жизненного в сказочное дал небывалый разряд правды.

Внутри Кремля луковки соборов будто отступили перед разгорячённой толпой детей и родителей. Когда отъезжали с бабушкой по Большому Каменному мосту, купола сияли таинственно-домашне, давая ощущение вхожести, естественной причастности к этим башенкам и елям. Они были одного с нами поля, не игрушечными, не сказочными, а такими же понятными и равными, как и мы с бабушкой.

Дома было по-праздничному чисто. Блестела шарами ёлка, у подножья под ветками стоял Дед Мороз с шапкой и воротом из белоснежной и будто запёкшейся ваты. Корочка с искоркой была особенно хороша. Засыпая, я видел зубчатые стены и протёртые луковки, и несомненность существования протирающей руки усиливалась с каждой предновогодней минутой. Казалось, именно она сеяла белую пыль над городом и укрывала купола, раскладывала подарки под ёлкой, а синим утром будила скрёбом скребка по льду, мерным звуком лопаты, сгребаящим снег под рассветным нашим окном.

АЛЬБАСТРА

— Не смей шляться на тот двор! — сказала бабушка, выпуская меня из дома.

Перед такими походами хоть на парад, хоть в музей, я должен был прогуливаться некоторое время, пока бабушка спокойно собиралась, настраивалась, а возможно, и пила чай. Я же отправился на Тот Двор, где шла стройка и каждый день появлялся какой-нибудь драгоценный материал.

Был цементный раствор, который мы называли “альбастрой”. На кирпич наносился шлепок альбастры, приглаживался горкой, в неё втыкалась палочка и получался танк. Откуда-то взялось ведёрко с солидолом, настолько похожим на блестящее повидло, что у нас головы закружились от такого богатства. Называли мы его “силидол”. Место буквально притягивало материалы, и как-то раз на повороте из грузовой машины выпала плита парафина — целую неделю мы плавили, топили, и он тёк струйками, подёрнутыми плёночкой сажи.

В предыдущий раз бабушка подзадержалась, настраивая душевные струны на поход в консерваторию. Любила ли она музыку, как любят иные, погружённые, одержимые и сыплющие названиями симфоний и ораторий, не знаю. Знаю точно, что уважала, как всё классическое, и стремилась образовать меня по всем правилам.

А я времени не терял и, перемахнув в проём на Тот Двор, обнаружил там Мишку Кузнецова и компанию коло бочки со свежайшим столярным клеем. Похож он был на “силидол”, такой же добротный и зовущий к употреблению. До сих пор помню своё бессилие — вижу великолепие материала, понимаю, что пропадёт, и не знаю, куда приткнуть, хоть ешь.

Выскочил я в единственном “приличном” кительке с большими боковыми карманами, куда бабушка всегда совала носовой платок. Швыркал я без конца, и она говорила: “Выбей нос”. Надыбав драгоценную бочку, я, зачерпнув пятернёй клея, засунул его в карман. Клей оказался тягуч и тошнотворно запашист. После я удовлетворённо вернулся на наш двор и ждал бабушку.

Наконец она вышла в чёрном пальто, в чёрно-синем берете с червячком и с дамской сумочкой под мышкой. Дамская сумочка — потёртый предмет с металлическим замком и ремешком, который бабушка складывала на верху сумки, как кнут. Бабушка называла сумку именно дамской, с той же почти улыбкой, как при слове “бокал”. Думаю, дамество ей претило и никак не пересекалось с “Севером” и “Прибоем”, которые она курила. Вид у бабушки был недовольный: в руках она держала забытое мной пальтишко.

В консерваторию у нас имелся абонемент, и мы туда ходили каждые выходные. В тот раз давали Сороковую симфонию Моцарта. Консерватория объёмно и гулко отзывалась на шорохи, шарканья, голоса. Иконостасно и трубчато сиял орган во всю стену, глядели портреты композиторов со стен: недовольный Бетховен с копной волос и забуддыжно-невьспатый Мусоргский. Мы сели в роскошные кресла, вышел дирижёр, совершенно непонятная для меня фигура, но с поразительными хвостами фрака, похожими на двух шивков. Началась музыка, требуя от меня невыносимого напряжения, входя трудно, волнами — то ложась на душу, то отдаляясь и предавая посторонним мыслям. Помню, я всегда светлел сердцем от звучания струнного оркестра, чистого, небесно-высокого и похожего на порыв ветра, клонящийся берёзы... Рояль же со светскими россыпями и капелью наводил грусть...

На волне очередного приближения симфонического смятения в берёзовых кронах бабушка спросила громким шёпотом: “Почему так воняет?” Я швыркнул носом и попытался виюхаться в музыкальные запахи консерватории — бабушка говорила, что смычки мажут канифолью. Бабушка рявкнула шёпотом: “Выбей нос! В кармане, невежа!” Я сунул руку в карман и едва не подпрыгнул, потому что рука влипла во что-то холодное, склизкое, а, главное, внезапное и потому страшное, потустороннее. Точно так же летом я забыл в кармане подборёзовик, а когда надел куртку через несколько дней — до слёз испугался.

Бабушка побелела и велела сидеть с рукой в кармане до антракта. Мы пошли в уборную, и там я освободил руку из клейкого капкана.

Концерт сопровождался ещё и лекторием, где тётянка в бледно-зелёном длинном платье рассказывала о музыке. Бабушка, напроць сбитая с ноты столярным клеём (“карман вырезать придётся!”), особенно раздражилась. Она терпеть не могла умных разговоров о музыке, особенно, когда к произведению притягивали образ. Приводила пример, как сыграли некий “Ручеёк”, и рядом сидящие дамы извощивались точностью передачи композитором бега ручья. Потом оказалось, что музыканты перепутали и сыграли вместо “Ручейка” “Шествие гномов”.

Зелёная дама вытащила на сцену девчонку моего возраста и одновременно знаменитую пианистку. Девочка долго и очень уверенно отвечала на вопросы зелёной дамы, а когда в завершение та спросила, что, по её мнению, главное в жизни, бросила небрежно: “Этэвить след в эскээствэ...” Бабушка фыркнула.

— Бабушка, а важно оставить след? — спросил я после концерта, чтобы хоть как-то выправить своё положение.

— Важно человеком быть! — отрезала бабушка.

Карман засох, и бабушка его вырезала. После этого случая я на всю жизнь запомнил Сороковую симфонию и заработал запрет на предподходные вылазки на Тот Двор.

У бабушки есть несколько слов, которые её сильнее всего выражают. Одно из них — “башмаки”. Не “ботинки”, а именно “башмаки”. Поначалу я пытался поддаться на блестящую гладь “ботинок”. Больно уж выражали “башмаки” какой-то связанный с бабушкой простой и беспощадный жизненный дрызг. Приятие холода, ветра, стьни. Нечто неприглаженное, требовательное, учащее выносливости и неприхотливости телесной и душевной и накрепко связанное с русским духом. Но довольно быстро почувствовал я силу именно *башмаков*, сначала из товарищества с бабушкой, а потом и нутром поняв их крепящую силу. Ботинки, ботиночки представлялись чем-то приличеньким, маменьки-сыночным, торчащим из-под глаженной штанинки, точнее, брючинки костюмчика. То ли дело *башмаки* — грубее, вернее, стариннее. Никакие дороги не страшны в башмаках.

— Не смей шляться на тот двор, — повторила бабушка, и я послушно кивнул, выбегая на дощатый пол длиннющего нашего коридора.

Был праздник. С самого утра в открытую форточку лилась песня и сиял небесный розовый свет. Праздник был редчайший, потому что к розовой музыке уготовили мне нежданную добавку — новые башмаки. Именно

те, о каких мечтал, с подошвой, как ёлочка на колёсах “ЗИЛ-157”, который мы звали пятитонкой. “За одним не гонка — человек не пятитонка!..”

Машины и, конечно, грузовики были для меня живыми — и военные, и послевоенные, в которых я досконально разобрался лет с четырёх. Строки “Шла машина тёмным лесом”, “Выходила на берег Катюша” — работали на образ, а образ был трудовой: мне нравилось, как “газоны”, “ЗИЛы” и “КрАЗы” справлялись с работой, а угловатый вид МАЗовского самосвального кузова с торчащими стойками напоминал локти с засученными рукавами. Когда я спросил бабушку, почему все грузовики такие однотонно зелёные, она отвечала, что если на нас снова кто-нибудь нападёт, то все грузовики пойдут на войну. Было что-то поражающее в их воле, будто они сами решают — идти или нет.

На Тот Двор дорога мне была закрыта, и я послушно пошёл по коридору на улицу. Дверь выходила на асфальтовую площадку, которая вечно крошилась и разваливалась. По случаю праздника дядя Вася встал пораньше и залил её цементом. Удивительно в тон розовому утру прихлалась эта нежнейшая зеленоватая поверхность, проглаженная дощечкой-гладилкой. Дрожащая, как студень, и резко пахнущая стройкой.

И какой-то огромный голос во мне восхищённо прошептал: “Альба-а-а-а-а-а-а...” Как я преодолел *альбастру*, и была ли там доска проброшена на двух кирпичиках, не помню, но вот форсировал я преграду и оказался на улице. Но тот же голос сказал мне: “Развернись!” — и вернул к дрожащему озерцу, манящему болоту, которое нипочём человеку-пятитонке. Исследил я ёлочкой всю *альбастру* и изгвадал по ранты ботинки, а выйдя на сухое, притихше и сглатывая слюну, прогуливался, по бабушкиному выражению, прижав уши.

Бабушка появилась, и мы долго шли по Щиповскому переулку, пока она не сказала: “Ну что, оставил след?” Больше ничего не помню из того похода. Как ругали, не помню. Что сказал дядя Вася, не помню. Что сказала ему бабушка... Разбивал ли он ломиком площадку и заливал заново? Или доливал по моим ёлочкам? Разглаживал ли ровнялкой? Копалась ли вообще возле двери невысокая его фигура в кепке?..

До сих пор видятся бессмертные те утра. С фабрики “Новая заря” нежно наносит духами. Песня звучит в прозрачно-розовом просторе, в нём дымная примесь синевы, шершавость туманчика, огромность неба. Голоса направлены на самое себя со смущённой какой-то самосильностью. “Утро красит нежным светом” льётся не из репродуктора, не из радио, не со сцены. Оно растворено, смешано с серебряным небесным песочком и просто живёт в этом благом свет-воздухе.

КЕРОСИННАЯ ЛАВКА

На Москве-реке в Игнатеве жили мы два или три лета.

Долгожданную дорогу туда помню мазками. Ожиданье на Белорусском вокзале на платформе. Появляющаяся круглая и, как мне кажется, довольная морда электрички, и мы садимся, причём бабушка обязательно ищет “не моторный вагон, чтоб не рычало”. Разлётный вой электрички, полоса несущегося травяного откоса с мазаниной одуванчиков, ощущение сбывающегося счастья. И вот станция Тучково, площадь и посадка в автобус на далёкое какое-то Кулюбякино — всё мелькающее, быстрое, дорожное. И, наконец, выход из автобуса в Поречье... И живая тишина вокруг.

Грачиные гнёзда на липах, свежесть, ветерок. Грачи не каркают, а издают некий глубокий, объёмный и ликующий воркоток. Идём дорогой вдоль речки, и вот уже деревня, и вспаханная под капусту и картошку полоса между домами и рекой. Свежевывернутые пласты земли — выпуклые и блестяще-лиловые. Из них чёрные лоснящиеся скворцы тянут червей, довольно и жирно переговариваясь.

И всё время ощущение, будто мы опоздали на что-то важное. И на слух разговоры, весенние события, свежестудёные, животворные, и ты будто

виноват, что не жил здесь всегда, не делил зимы-вёсны... И я хоть и маленький, пятилетний, всё это чувствую... И все повторяют, что “смыло лавы” — низкие мостки через Москву-реку на столбах.

Дальше ярчайшим утром просыпаюсь в незнакомой комнате и вижу в окне яркий, лучисто-жёлтый свет солнца. И осознаю, что никто меня не будил, а я сам проснулся от полноты жизни.

Позже, лёжа на этой же кровати, я два раза испугался треска. Когда снаружи закоротило контакт на гусাকে у стены, и под резчайший стрёкот посыпались снопами бело-синие искры. И другой раз: лежал после обеда, и вдруг громкий и сухой треск раздался и тут же сыто перешёл в рокоток тракторного дизеля — наш хозяин дядя Паша завёл пускатом трактор-колёсник.

Дядя Паша был сухощавый, небольшого роста. Ходил без рубахи и в кепке: кисти в перчатках загара, такие же лицо, шея и под ней — красно-коричневый клин на груди. Белое в синеву туловище со впадиной, перехватом под грудиной в районе поддыха, и под ней — выступающий белый живот. На боку живота внизу рваный, изогнутый, с росчерком малиновый шрам — ударило вылетевшей доской на пилораме. Хромал — ранило на войне.

Выхожу во двор: забор, воротца, на столбе скворцы в скворечнике. Через улицу — луговина, поле и лес — вдали на пригорке. На луговине стреноженные кони с путами на передних ногах. Срывают траву с громким хрустом, и я не понимаю, чем они производят такой резкий звук, как будто крепчайшее полотно рвут. Конь обирает траву перед собой тщательным полукругом, голова двигается то правее, то левее, и хруст меняет тон: отдаляется, приближается. Время от времени то один, то другой отрывается от травы и, оглядевшись, перепрыгивает вперёд, высоко поднимая спутанные ноги. Этим движением он напоминает мне детских коников, их бодрое качание на полозьях, и большие живые лошади тоже кажутся частью детства, обстановкой, будто расставленной на лугах для подтверждения сказочности происходящего.

Луговина перед домом и на ней коровьи лепёшки — с мухами настолько рыжими, что кажутся подсвеченными солнцем. Бывает, сидят друг на друге, и я называю их “двухэтажными мухами”, а взрослые посмеиваются. На лепёшке блесит жёлтая дождевая лужица. Я зазёваюсь на коней и обязательно влезу сандалкой в лепёшку, и нутро лепёшки под корочкой окажется ярчайше-зелёным и остропахучим. Проскользну, промажу дорожку по траве и чуть не упаду. Бессильное увязание в досаде, дрызге. Подошва противно-скользящая, никак её не вытру. Запах свежего навоза особенно въедливый после дождя, когда ещё и комары повывлежут на мокрые голые ноги. И один совсем белёсо-рыжий, травяной, злочий вопьётся в коленку, где поверх ссадины зеленеет смазанный травяной след. Елозил по траве на коленках.

Над деревней сосновый бугор и за ним — поле. На бугор колями в сухой полевой траве идёт дорога. Для меня всё важно: и тимopheевка, и лисохвост, которые показывает бабушка, и шишки, которые обязательно окажутся под спиной, если завалишься на спину под сосны. На жаре раскалённая палая хвоя пахнет особенно сильно, терпко. В кронах шумит морской ветер, и кажется, шум живёт в хвое, просыпается, завязывается сам по себе и, набрав силу, начинает прогонять через себя ветер. Верхушки сосен сбриты — бабушка каждый раз говорит, что за рекой стояла наша батарея и била по немцам. Дорога идёт дальше то по опушке, то по полю, и вдоль неё валяются разорванные гильзы от снарядов, похожие на кальмаров. Видимо, где-то рядом рванул боекомплект или склад. Никто не берёт их, не тащит на память, и они лежат частью местности, как придорожные камни. В некоторых местах на опушке — заросшие ямы от снарядов. Если по крепкому своему обычаю ничего не путаю, то нашли мы каску на краю поля с проржавевшим отверстием, с его дырчатыми ветхими кромками.

Был ещё на берегу на луговине неопрятный остов кирпичного домишки, старый рыхлый кирпич, побелевший, как из соляного раствора. Останец этот я тоже относил к войне, потому что она была кругом... От моего рождения до 45-го года только-только разлечься тринадцатилетнему мальчишке. А ес-

ли вытянуться — от пяток до кончиков пальцев на руках — то и в 44-й залезть. А таких, как я, пятилетних, двое улягутся.

За бугром поле поднималось к лесу, и в верете место, которое бабушка называла Хутор. Там когда-то стоял среди сосен дом Горчаковых, дяди Пашиных родителей. У них перед войной снимала на лето жильё бабушка с детьми, моей матерью и её братом. Дядя Паша с тётёй Дуней были ещё молодыми. У них были двое детей: Кланька и Витька. Витька играл со спичками и поджёл сеной сарай. Со страху он убежал в лес и спрятался, а все думали, что он горит в сене.

На Хутор мы ходили постоянно, как домой, хотя место было заросшее и почти ровное, даже ямы от подполья не помню. По краю росла земляника. А под соснами — кошачьи лапки, и мы там сидели с бабушкой. Иногда она брала с собой книжки и читала вслух.

В 1937 году дом на Хуторе сельские власти перевезли в Игнатьево. В 1941 году в районе Игнатьева шли страшнейшие бои. В дом Горчаковых попал снаряд, он сгорел, и дядя Паша отстроил глиночурочную избёнку, где они зимовили до постройки нового дома. Мы жили уже в новой избе, и дядя Паша при нас обшивал её тёсом.

Избёнка-глиночурочка между тем была замечательна: стены сделаны из чурок-тонкомера и поленьев, положенных поперёк, и стены выглядели, как кладка из треугольников и кругляшей на глиняном поле. Вид был очень исконный и, думаю, дом был теплейший.

Помню, на пороге этой избёнки стоял радиоприёмник дяди Пашиной молодой родственницы, может, той самой Клани, и на фоне этой глиняной стены с древними глазами-торцами вдруг раздалась песня “Эй моряк, ты слишком долго плавал”. Пела певичка с эстрадным подвизгом, с так называемыми синкопами, и мелодия казалась залихватски соборённой в одних местах и прореженной в других.

Хорошо помню, как дядя Паша заканчивал стройку, забирал углы досками и красил тёмно-зелёной краской. Мне очень нравился цвет и как дядя Паша работает. С детства я чуял породу всего рукотворного, и то, что делал дядя Паша, почитал за эталон. В завершение он выпилил и наличники, и покрасил зелёно с белыми завитками. Сам сруб тоже был забран дощечкой в ёлочку и крашен той же зелёной краской. Я думал, что тёсом называется как раз ёлочка.

Помню ещё картину: дядя Паша вытаскивает иголкой занозу — и мне диковинно, что он не ковыряет, а гладит плоско иголкой, будто выманивает, а заноза вдруг вылезает и топорщится, как зенитка или бревно, и что её вылезание тоже из области плотницкого дяди Пашина мастерства. Пахло от дяди Паши смесью опилок, какой-то заквасочной кислинки и пота — всё вместе давало непередаваемый и коренной мужицкий трудовой запах.

Что-то мужики делали возле нашего дома во дворе, не то варили, не то раствор месили, и я при них вертелся. Был там Сева, молодой парень из города в белом свитере с закатанным воротом. Он настолько рьяно участвовал, что загваздал свитер, и все его осаживали: “Сева, Сева! Ну, что же ты...” Был ещё бывалый, небольшого роста мужичок. Он меня привлекал, и в работе между трудовым покряхтыванием нет-нет, да и обращался ко мне. Я то ли напевал что-то, то ли бормотал, и он спросил, что это за бубнёж? Я отвечал, что сам с собой разговариваю, а он покачал головой: если будешь сам с собой разговаривать, то быстро “шарики за ролики зайдут”.

А для меня это обычное состояние — разговаривать под нос, напевать, куда-то брести неторопливо, тащить кусок доски или тянуть проволоку, закатанную в пыльную колею. Никогда больше не чувствовал я так деревенского умиротворения, как в те годы. Естественного счастья просыпания с утра. Постепенности распалющегося зноя. И как в жару вдруг начнёт дурниной блажить корова — переливом в октаву с короткого низа наверх. И как овечки, семена, перебегают крепким и кудрявым облачком, бляя на разные лады и твёрдо сыпя блестящим горошком. И снесшаяся курица вдруг заорёт, или петух найдёт съестное и закудахчет по-особому дробно, на одной гулкой ноте, сзывая куриц, и они побегут сломя голову. И особенно смешно

большие рыжие — размашисто орудуя ляжками и наклонив вперёд головы.

Или кину кусочек, чтоб курица видела, и наблюдаю. Вот она заметила и осторожно приближается, вот сделала шаг и сыграла взад-вперёд шеей, ещё шаг — и ещё раз туда-сюда сходила любопытная голова, будто приводком соединена с ногами. Курица на меня косится и поворачивает голову в несколько острых отрывистых движений. Я вижу светло-карий глаз, который смаргивает нижним веком, на долю секунды оказывается затянутым и получается дурашливое дохлое выражение. А потом кноёт хлеб и её гребешок трясётся, свешиваясь набок. А на проводе поёт ласточка-касатка, и бабушка говорит, что она в конце песни завязывает узелок. И надо всем этим вдали — безмятежно рокочущий трактор.

К вечеру стихает шум, медленно и тягуче проходит по деревне стадо, отдавая молочно-навозным чадом и слепнёвым гудом, звонко забрякает ботало на рыжей комолой корове... и снова тихо. Изредка ребятня где-то закричит. Телёнок замычит совсем по-детски. А потом слышно только, как дядя Паша отбивает косу в огороде. Чуть темнеет, стелется туманчик по луговине, и кричит вдали коростель, будто по огромной и пересохшей расчёске дерут гвоздём, или заводит кто-то резкие скрипучие часы.

Бабушка уже сварила на керосинке кашу, покормила меня, и я лежу на своей кровати, а она читает вслух “Как муравьишка домой спешил”, и нам обоим очень нравятся слова “Стой, а то укушу”. Насекомых я вообще люблю, и мне хочется превратиться в кузнечика и сидеть в травах, чтобы тимOFFеевка и лисохвост были высокими, как сосны. Читает бабушка и “Жизнь насекомых” Фабра с фотографиями. Ещё была книга “В стране дремучих трав”, на которую я питал большие надежды, но мне, пятилетнему или шестилетнему, она показала разочаровывающе-заумной.

Читали мы “Руслана и Людмилу”, “Сказку о Царе Салтане...”. И, конечно, повторялось бесконечно “У лукоморья дуб зелёный”, картины которого, не вмещаясь в детский кругозор, только сильнее поражали: как служит бурый волк царевне и как колдун несёт богатыря — особенно страшным казалось бессилье сильного. Да ещё и над лесами-морями. Принадородно...

Ещё была какая-то бабушкина своя ненаписанная сказка, начало которой она любила повторять — очень задумчиво, грустно и мечтательно: “Далеко-далеко за речкой...”.

Бабушка никогда не называла в одно слово “Москва-река”, “пойдём на Москвареку”. Всегда — Москва-река?. Летом вместо смытых лав стояли высокие свежешёлтые деревянные мостки. С них мы с бабушкой смотрим на воду. Течение несильное, глубина небольшая, желтоватое дно с крошкой известняка, длинные и волнистые водоросли, про которые бабушка говорит, что это волосы русалок. В оконце меж русалочьих прядей стоят рыбки, поигрывая тельцами. Для меня открытие, что у них такие узкие ножевые тельца и что рыбки держат их удивительно вертикально, не заваливают на бочок.

На берегу подходим к нашему знакомому, Григорию Максимычу, высокому пожилому дядечке в очках и чёрной шляпе. Он рыбачит спиннингом на тюколку (кораблик), и у него сидят в бидоне пойманные голавли. Я хочу подержать в руке голавлика, но чтобы обязательно в воде, и мне разрешают. Поначалу голавлик жалко вялый, и я ослабляю хватку, и он будто клонится на сторону, но вдруг мгновенно встаёт вертикально, и вильнув хвостиком, уносится, и меня снова поражает вертикальный постав рыбьего тельца. Никто меня не ругает, и от этого только стыднее.

Бабушка — речная душа. На море она была один раз в детстве и никогда не вспоминала. Не любила пляжное жаренье, курортный дух, жила среднерусскими речками и детства без них не представляла.

Бабушка хорошо плавала — волжская школа. Обычно детвора и женщины гребли по-собачьи, а бабушка имела свой стиль — что-то среднее между кролем и сажёнками. Сажёнки (её слово) не раз показывала, очень размашисто и как-то тягуче закидывая руку совсем через верх и кладя набок голову. Волосы у неё были русые и очень длинные, для купанья она их

укручивала вокруг головы, закальвала булавкой. Однажды очень огорчилась, посерьёзнела, замочив волосы, которые сразу потемнели. Стройная, очень белая, купалась в беззащитно розовом купальнике, набранном из мелких мешочков. В воду шла, напряжённо щурясь и вода по поверхности ругами, будто что-то перед собой разгоняя.

Любила утра и вечера, когда мы и купались, и мылись, а иногда и стирались. Хорошо помню стылое намыленное состояние и какую-то обязательную беспомощную и виноватую сутуловатость. И как плохо мылится мыло, и хлопья уносит течением. А бабушка говорит, что вода жёсткая, и я не понимаю, как жидкое может быть жёстким.

Бабушка всё повторяла студенческую частушку: “Пошёл купаться Веверлей, // осталась дома Доротея, // на помощь пару пузырей // забрал он, плавать не умея”. Веверлей этот привязал пузыри близко к ногам, и голова оказалась “тяжеле ног, // она осталась под водою”. Вроде и смешная история, а осталась в памяти как часть вечернего, тягуче-грустного.

Тихими и задумчивыми были речные вечера. Боковое рыжее солнце с севом мелких лучиков, золотыми иглами совсем возле глаз. Комары, подлетающие неверным шатучим табунком. Я их шлёпаю, а бабушка говорит: “Ты одного убьёшь, а десять тебя укусят”. И я не понимаю, почему, если меня укусят аж десять, то шлёпать нельзя.

Редкая грусть подступала ко мне в такие вечера. Она будто не во мне рождалась, а в окрестности. Завязывалась и выводилась в особенно сырых, тихих местах, и только когда уляжется ветер, проливалась, стелилась туманами, серебряной росой садясь на подстывшую детскую душу.

Бабушка в то лето, как замороженная, бродила со мной по Хутору и его окрестностям. Там был тёмный и высокий ельник с запахом прели и грибницы. По нему шла дорога — две лиловые колеи, местами присыпанные сухими иголками. Неестественно зелёная и мясистая трава недвижно стояла промеж колеи и по обочинам. Было одно растение, похожее на глухую крапиву, с пахучими, дурманно-тошнотворными белыми цветами, небольшими не то башмачками, не то колокольцами. И с неряшливым переходом зелени от лепестков к цветам.

Однажды мы с бабушкой шли по этой дороге, и в тёмном её конце необыкновенно грустно кричала не то птица, не то зверюга. И мне представлялся имеющий ко мне таинственное и мучительное отношение лисёнок, будто олицетворяющий тоску потеряться.

Ходили мы и в дальние лесные края, к дубовым полянам, где собирали грибы, и где на одной, самой большой, была когда-то деревня и звалась Селиба. Мы с бабушкой любили это название и придумали с ним целое лесное городище, заселённое говорящим зверьём. Повествование о Селибе бабушка начинала с “И во-о-о-т...” До поворота к полянам мы шли по линии электропередач, с которой падал механический мёртвый стрёкот, очень нелюбимый бабушкой. Потом сворачивали направо. Как-то на обратном пути, выйдя на линию электропередач, бабушка закрутилась и двинулась не в ту сторону. Я настоял, что не туда, показал правильно, и бабушка всем рассказывала, как я её вывел. И что чувствую направление.

Направление я и впрямь чувствую — и тем сильнее, чем очевидней творимое с Россией. Чутью этому полностью обязан я бабушке, хотя в те далёкие годы, несмотря на хваленую чуткость, ухитрялся быть и противным, и вредным.

Не торопясь подхожу к крапиве и, поглядывая на бабушку, намереваюсь за неё взяться. Бабушка предупреждает: “Нельзя крапиву, она кусается”. Я гляжу нагло бабушке в глаза и, раскрывая пятерню, нацеливаю на крапиву. Бабушка снова: “Нельзя. Она кусается”. Я торжествующе смотрю на бабушку и медленно-медленно сгребая-комкаю шершавый зубчатый лист. По мере комканья глаза мои расширяются, краснеют, но, так же глядя на бабушку, я выдерживаю фасон и не расхныкиваюсь, — по словам бабушки, исключительно из вредности и упрямства.

Или вдруг начинаю нудить, въедаться, цепляться к словам, пытаться на

оттенки. Бабушка, по-утреннему бодрая, добродушная, спрашивает миролюбиво:

— Мишастый, а ты помнишь, как ночью петухи пели?

— А как они пели?

— Нет, ну, ты помнишь, что они пели?

— А что они пели?

Точно знаю, мало нас драли в детстве. Отец рассказывал для острастки, как его дед, дед Макар, за столом брал деревянную ложку и этой ложкой будто бы всем давал по лбу и что детей якобы драли по субботам розгами независимо от того, набедокурили они или нет. Я понимал профилактическую нотку этих баек и резон всыпать впрок, потому что детвора обязательно что-нибудь нашкодила втихую. Никто мне ложкой в лоб не бил и не драл по субботам ни ремнём, ни розгами. Бабушка, правда, иногда брала хворостину (её выражение), но применяла изредка и больше пугала. Или “всыпала полотенцем”.

Однажды у меня сильно вступило в живот. Поднялся жар, замутило-зазнобило, и понесла меня бабушка на закорках в Техникум, в больницу, через качающиеся мостки. Эта картина, пожалуй, одна из сердцевинных, и главное в ней — чувство бабушки, её родной выручающей силы, помноженной на сказочную природу старинных закорок. В обострённой беспомощностью головёнке каким-то несдавшимся краешком я ощущал нательную близость этого слова, вмещавшего в себе и жужелицью “прыгай ко мне на закорки”, и Машенькино сиденье на медвежьей спине в корзине, а главное — абсолютность работы всего этого бабушкиного мира. Качаются мостки, несёт меня бабушка мимо русалочьих волос, мимо стоящих стойком рыбок, ещё недавно таких ценных, а теперь бессильно далёких, отчего мне ещё тошнее. Наконец мы сходим на берег, и меня начинает так мутить, что я кричу бабушке “Стой!” Она идёт, я снова канючу: “Бабушка, стой!” Она идёт. Тогда я простанываю наше любимое: “Стой, а то укушу!” И бабушка умиляется и спускает меня на землю. Потом снова закорки и, наконец, больница и полумрак кабинетика, холодная, в клеёнке койка, и маленькая пожилая докторша щупает “животик” и говорит, что аппендицита нет.

Кровать, с которой я то наблюдал утреннее солнце, то пугался уличных тресков, куда-то перенесли, и я остался без логова. Бабушка, не моргнув глазом, сшила матрасовку, а потом взяла серп, и мы пошли за заборы в низинку жать траву. Бабушка жала осоку и рассказывала о старинной силе серпа, показывала, как режется осока, и учила с ней обращаться. Покос она собрала в мешок, высушила возле дома и набила им матрас. Потом мы сходили в лес и притащили сухих ёлочек, из которых она сделала козлы. Пилила ножовкой, коленом сквозь платье придавив жердину, колотила молотком гвоздь... Хорошо представляю, как трудно шёл он сквозь сухую сучкастую ёлку, как загибался возле сучка. Натянула на козлы мешковину, прошила мешочной иглой. Постелила простынь, положила подушку и сказала: “Вот тебе кровать!”

Сладко спал я в этой холстинной зыбке, в запахе сена! Под охраной нешкурёной ёлки, сухой осоки... И бабушка лежала рядом на своей раскладушке и наверняка в полутьме смотрела на меня, спящего в козлах. А когда я заснул, вышла под звёзды покурить.

А меня держали в ладнях высохшие ёлки, пеньковая холстина, трава, а я покачивался во сне, ворочался, и поскрипывали не то козлы, не то мостки, по которым бабушка несла меня на закорках в больницу. Ярче светили зрелые летние звёзды, отражаясь в воде. Рыбки подошли к бережку и стояли сонным табунком повдоль русалочьих прядей. А в осоке старательно кричал коростель, и кони перепрыгивали по росе спутанными ногами.

Бабушка оставалась бабушкой, а дружки мои с ребятишками шли своим чередом. Неспешно и природно перетекали мы из одного куска деревни в другой. То дружу с Бельскими ребятишками в нижнем конце. Там навесик на песке, и мы сыплем песок в бутылки, а самый старший мальчишка

отлично разбирается, где из-под водки бутылка, где — из-под “Солнцедара”. Ребячьих имён я не запомнил, высыпались они из памяти во время беготни, возни следующих лет.

Ещё ходил в верхний конец деревни, где перед оврагом был свой пятючок жизни, и жило семейство, видимо, тоже дачники-съёмщики и их мальчишка, худенький, но со своим строем, книжным, лирически-манерным. Печально поведал, что у него был друг, которого он мне, наконец, решил показать, и повёл к ямке, где лежала похороненная птичка. Какая-то будто настоящая, похожая на механическую, жёлтая, с синими и красными пятнышками.

К ним приехала целая компания родственников, и мой знакомый сказал, что надо подойти к его старшему брату, протянуть руку и сказать: “Михаил. — Как это? — А так. Дашь руку: Михаил. Понял?” Я сказал: “Понял” и всё выполнил, но на старшего брата это никакого впечатления не произвело. А бабушка сказала, что самому руку совать невежливо, и надо дожидаться, пока старший тебе сам сунет, если вообще захочет с тобой здороваться.

Во главе со старшим братом и одной девчонкой-коноводкой собралась компания, и меня позвали на травку играть в какую-то “Акулину — Красный Нос”. Дали карты. Я рассеянно и замороженно взял их и, пребывая в каком-то восторженном мареве, ничего не понимая, продул игру, и все радостно закричали, что я Акулина — Красный Нос.

Наискосок от нашего дома метров двести-триста жила Маринка. Выходила с большущим куском чёрного хлеба, обильно намазанного земляничным вареньем, и несла его аккуратно, выдерживая плоскость, хотя могла споткнуться и шмякнуться.

С Маринкой мы то не видимся, то начнём ходить не разлей вода или сидим на лесах соседнего сруба и разговариваем. Она жила в небольшой избёнке с отцом и матерью, которых я почему-то никогда не видел. Потасцился, помню, за Маринкой, а она целенаправленно домой и в дверь. И видно, сама в себе замелась и меня не заметила, или наоборот — решила: пусть за мной побегает. В общем, нацелился я за ней из сенок в избу, а она захлопывает дверь перед самым моим носом. Дверь плотная, утеплённая на зиму и такая пристоявшаяся в косяках до полной притирки.

Дверь почти захлопывается, когда я сую в неё большой палец. Кровища, ноготь с ошмётком в красном сочащемся окладе... Бегу домой, реву, трясётся челюсть и рёв тоже трясётся, особенно отзываясь на ямку или кочку. Несу палец, по ноготь заполненный болью, боюсь страсти, пролить, как будто, если сберегу до бабушки, то не так будет больно. Бабушка выходит на вой и идёт навстречу... И говорит про солдат на войне, как им, раненым, больно, и они не плачут, и про Суворова, как их учил: “Трудно в ученье — легко в бою”. И вот уже бинтует и рассказывает, как Суворов ходил через Альпы.

А потом душная настала жара, и будто единым с ней маревом накрыло нас общедеревенской новостью: Маринкин отец напился пьяный и застрелил мать “лосиной пулей”. Лосиная эта пуля, конечно, была бабьим измышлением. Но особенный какой-то смысл имела и будто брала на себя часть вины, несмотря на звучащее в ней лесное, таинственно-охотничье. Отца Маринки я не знал и представлял как огромного звероподобного мужика. Очень хорошо помню чад беды, который, как дым лесного пожара, замутил и приглушил солнце, прижёл листву, и я чувствовал, как жар охватывает голову, и я болею вместе с округой.

Совсем недавно узнал, что девочку звали не Марина, а по-другому. И что, когда мама шла к нам с автобуса, маленький мужичок лежал со связанными руками в канаве рядом с их домишком. Они были в гостях, он напился и зря приревновал жену. Побежал домой за ружьём и там её застрелил. Его посадили в тюрьму, а девочку взяли родственники.

Больше ничего не знаю об этом событии. Дальше сама собой нашла новая полоса: ребятами постарше нарыли за огородами в заросших окопах потемневшие пулемётные ленты, в зелень заплесневевшие гильзы, и мы долго жили раскопками, и бабушка еле дозывалась меня на ужин.

Бабушка любила керосинки и отвергала керогазы, как опасные, будто бы взрывающиеся, ну и дорогие. Керосинки были двух типов: попроще — двухфитильные, высокие, и подороже, сытого вида, кастрюлеобразные, с тремя фитилями и тремя иллюминаторами. У нас была простая двухфитильная. До сих пор помню запах керосинного чада и подгоревшего молока — домашнюю смесь. И крик: “Мари-Ванна, у вас керосинка коптит!” И как в квадратном закопчённом оконце мечется чёрный язык. Бабушка говорила, что оконце сделано из слюды и что слюда — это минерал, и я не понимал, как камень превратился в мягкое стёклышко.

Вечер, ноет комар. Я лежу с книжкой и смотрю картинки: синее море с чешуйчатой волной и барашками. Белая лебедь и злой коршун, пронзённый стрелой... Или представляю, как над лесами, над полями *колдун несёт богатыря*, и меня возмущает и гнетёт, что богатырь ничего не может поделать. Бабушка собирается варить кашу. Отщёлкивает зажим, откидывает высокую двойную ногу, под которой две расселины с фитилями, зажигает. Загораются, чадя, две полосы, бабушка тушит спичку о воздух, закрывает ноги и ставит кастрюльку — алюминиевую с длинной ручкой и вмятиной. Когда она мне показывала Большую Медведицу, я представлял похожую кастрюльку.

Кроме манной и овсяной каши, бабушка варила на керосинке толокно, видимо, ячменное. Кипятила молоко, чтоб не прокисло. Молоко я пил и парное, и кипячёное, и любил пенки, которые остальные дети терпеть не могли, а бабушка меня ставила в пример. Простоквашу помню с розовым сметанным верхом, чуть шершавым и будто плесневелым, бабушка снимала его в кружку. И взболтанную, ледово-кускастую простоквашу в зеленоватой банке — мы пьём её в жару. Простоквашу бабушка откидывала в марлю и вешала на гвоздик над кастрюлькой. Сыворотка капала к кастрюлю, кулёчек покручивался и менял тон капли. Комок творога был потом в мелкую сетку и у верхушки с отпечатками складочек от марли. Но моя любимая еда — щавелевый суп с разрезанным яйцом и сметаной. И жареные лисички с картошкой. По редким случаям бабушка варила какао — со смуглой пенкой в морщинках.

За столом бабушка рассказывала про генерала Тучкова. Что будто его спросили, куда наклонять тарелку, когда доедаешь суп, а он отвечал: мол, если хочешь облить себя, то на себя, а если соседа — то на соседа. И про генерала Горчакова тоже что-то говорила, и я был уверен, что и Тучков, и Горчаков связаны со станцией Тучково и с Горчаковыми, у которых мы живём. И что это не совпадение, а специальное устройство жизни, и одобрял, как всё по-хозяйски сделано, — чтобы под боком.

Едва не забыл: на керосинке бабушка варила земляничное варенье с розовой пенкой, которую мазала мне на чёрный хлеб, и я бежал с ним по деревне.

Керосин привозила керосинная лавка — зелёная машина с цистерной. Останавливалась она рядом с нашим домом.

Если вся деревня собиралась с бидончиками по керосин, то мне нужна была машина сама по себе. Да и не удивительно: “ГАЗ-53” тёмной армейской зелени, обвешанный шлангами, и запах — богатейшая смесь бензина и керосина. Во взваленной на спину цистерне, её наклоне назад я видел что-то боевое, одушевлённое, и машина вздымалась надо мной, как зверь, Конок-Горбунок или гонец не то из будущего, не то вовсе из завремениа.

Я стою совсем рядом с цистерной. Идёт какая-то неотвратимая возня, ходит-хлопочет со шлангом шофёр — невысокий, молодой, в чём-то чёрносером и серой же кепке.

И тут случается непредвиденное. Видимо, я настолько верно и замороженно смотрю на машину, что он меня хватает и, вздымая к небесам, сажает на цистерну лицом по ходу перед открытым люком, где лилово и матово блещет керосин. И суёт мне в руку пистолет со шлангом, который велит опустить в горячее. До сих пор не могу понять, почему я совал в горловину пистолет, хотя по логике он должен быть с другой стороны шланга. Не помню. Может, чтобы заполнить шланг, поменять концами и пустить керосин

самотёком? Скорее всего, я опять что-то напутал, а потом склеил на своё усмотрение.

Сию на бочке и понимаю, что все на меня смотрят и что я отвечаю за что-то немисливо важное. Очень хорошо помню и шланг, и пистолет — алюминивый, и сам его ствол, и ручку со спуском. Всё очень большое, настоящее, из мужицкой жизни, железной, бензинной. И отношусь я к этому подчинительно, потому что всё происходящее сильнее, быстрее меня, и я даже не знаю, где бабушка.

Водитель залезает в кабину и решительно, безнадёжно-обрубаяще захлопывает дверь. От этой хлопающей двери я холодею. Закрывшись, водитель заводит двигатель, и тот очень громко и натужно начинает работать. И тут я во весь рот взываю. Оттого, что через секунду машина рванёт куда-то “далеко-далеко за речку”, что, промчавшись по нашей улице, разгонится на спуске, взлетит и понесёт меня “через леса, через моря” перед народом, и я буду еле держаться за люк с этим пистолетом, и где-то далеко внизу будет удаляться наша улица, толпичка бабушек — среди них мою будет не различить...

Водитель выскочил и бросился меня снимать. А я, продолжая вопить и деревянно тянуть руки, с первой доли секунды понял, каким позором оборачивается эта спасительность и что надо было выдержать, вытерпеть, выдюжить... Что неспроста так натужно зудел мотор и что шофёр какой-то насос включал. И что я не только подвёл водителя, увидевшего во мне помощника и товарища, а прошляпил поступок.

Потихоньку кончалось лето. Ближе к осени, по мере обострения далее ещё сильнее манила дорога за Хутор на Томшино?, которое я считал Тамшиным. И это Тамшино с очарованным “там” звучало особенно таинственно и несбыточно. А даль потихоньку жухла, и вспомнилось, что рано или поздно ехать в город, где тоже жизнь осталась, и я начинаю канючить:

— Бабушка, когда мы поедем в Москву-у-у?

А бабушка говорит чуть грустно и певуче:

— Когда вот тот дальний лес пожелтеет...

И в том, что пожелтеть должен именно дальний лес, я вижу смысл, печаль и тайну. То ли даль имеет лучшую пропитку от осени, чем ближние берёзы. То ли бабушка перевязана с этой далью тонкими и ноющими струнами, нитями осенней паутины. И не узнать, для меня оно сказано, или и впрямь бабушкину душу разрывало тоской по времени и дали.

По утрам я выхожу из дома и смотрю, как пожелтел дальний лес, насколько пятнист переход из зелени в желтизну. Лес потихоньку берётся золотом, и всё резче контраст меж светящимися берёзами и тёмными соснами.

Мы, наконец, уезжаем, но если весеннюю дорогу в Игнатьево я помню прекрасно, то ни штришка не осталось в памяти от нашего возвращения... И уже идём по Щипку — вокруг бензинный чад, грузовые машины шумно набирают ход, и голуби взлетают из-под ног, хлопают крыльями. Первый день проходит, второй, и я снова не могу заснуть и плачу:

— Бабушка... Хочу в дере-е-е-вню...

ВАЛЕНТИН СОРОКИН



ЕСТЬ ТАЙНА И УЮТ...

ТРОПА ЛЮБВИ

Когда соскучусь я и затоскую,
Счастливой тайне радуясь при всех,
Представлю вдруг Остоженку, Тверскую
И на бульваре Гоголевском снег.

И ты опять близка и постижима:
Запрета нет!..

Да и смущенья нет!..

И на тебя летит неудержимо
Рождественское солнышко и свет.

Взмахнёт крылом обиженная птица,
Нам — ликовать, а ей — грустить одной.
И голос твой звенит и серебрится,
И дышат губы страстью и виной.

Мы юные, но мы не молодые,
Тропа любви свободна и чиста,
И в белой мгле шеломы золотые
Над павшими склоняет Храм Христа.

СОРОКИН Валентин Васильевич родился в 1936 году в Башкирии. Около 10 лет проработал в 1-м мартене Челябинского металлургического завода. Член Союза писателей с 1962 года. В 1965 году окончил Высшие литературные курсы. Автор многих книг стихов, прозы и публицистики. Лауреат Государственной премии России, Международной премии им. М. А. Шолохова и др. Живёт в Москве.

Ты замолчи, прижмись ко мне и снова
Мы поцелуй разделим на двоих.
Ведь успокоит нежность, а не слово
Немые стоны ревностей моих.

Быть трепетно-желанными друг другу,
Быть русскими и верными в краю...
О, мы ещё не пережили вьюгу,
Что расшатала Родину мою!..

* * *

Когда остаюсь я один
В ночи за пределами дома,
Неслышимый голос долин
Меня окликает знакомо:

“Ты здесь?” — от земли до небес
Поднялся я вверх, не сутулясь,
Так скучен мне каменный лес
И джунгли бетонные улиц.

Я здесь, под мерцанием звёзд,
Я здесь, на холме за рекою,
Где тихою думой погост
Меня приглашает к покою...

Россия, луна и тоска,
Трагичен твой подвиг, но светел,
Недаром стучит у виска
И в бездну бросается ветер.

МОЙ ОТВЕТ

Да, герой моей поэмы —
Маршал Жуков, много лет
Для предателей проблемы
Неприятней этой нет.
Я не каюсь, не страдаю,
Верен подвигу отцов
И спокойно наблюдаю
За вознёй наёмных псов!..

ЗАЖЖЕНА ЛУНА

Дремлют ели в серебристых иглах,
Ночь и тишина.
На давно заброшенных могилах
Зажжена луна.

Край, объятый думой невесёлой,
В снеговой глуши,
Там, где были хутора и сёла —
Ныне ни души.

Дан простор трагедии и драме...
Кто её творит?

И горит луна в небесном храме,
Высоко горит.

На кресты приподними глаза ты,
Мукой свяжет рот...
Растворились в мареве солдаты,
И пропал народ.

Нас убили войны и авралы,
Лозунги невеж,
Неспроста ОМОН и генералы
Затыкают брешь.

Мы испьем назначенную чашу,
Это не вопрос,
Что теперь спасёт Россию нашу
Только сам Христос.

Пусть ведёт над бездною дорога,
Всех и одного,
У России снова, кроме Бога,
Нету никого.

ПОБУДЬ СО МНОЙ

В тебе, покорной и земной,
Есть тайна и уют,
Побудь, побудь ещё со мной,
Пока снега поют.

К тебе замыслил я побег,
И здесь, в краю степном,
Я сам седой, как этот снег,
Шумящий за окном.

Ты — добрый миг, ты — свет иной,
И я прошу опять:
Побудь, побудь ещё со мной,
Меня хотят распать.

Со всех сторон спешат враги
Простой судьбы моей,
Побудь со мной и помоги
Мне мудростью своей.

А смерти нам не миновать,
Но не про гибель речь...
Тебя пришёл я целовать,
А Родину — беречь.

Глаза твои, глаза её
И колокольный звон —
Всё это вечное, моё,
Протяжное, как стон!

АЛЕКСАНДР ПОШЕХОНОВ



И ТОЛЬКО НЕБО —
БЕЗ ГРАНИЦ...

ОБИЖАЮ

Обижаю внука, обижаю,
Жизни научить его хочу,
А выходит, что не уважаю
Дорогого внука своего.

Хлёсткие словесные тирады,
Злых эмоций злая толкотня...
Неужели это внуку надо,
Неужели он поймёт меня?!

Глупый дед... Присяду под сосною,
Пыл нравоучений остужу.
Вспомню своё детство озорное,
Ласково на внука погляжу.

Угольком в глазу слеза зашаает,
А потом под сердце побежит...
Обожаю внука, обожаю,
Он ведь дедом тоже дорожит!

ПОШЕХОНОВ Александр Алексеевич — поэт, член Союза писателей России. Автор более двадцати книг стихов и афористической прозы. Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного великого князя Александра Невского.

* * *

Друг друга учим, не учась,
Вре́мён врачу́ющую связь
Не ценим, ветрено скучая.
Когда же лихо жжёт нутро,
Звёзд замечаем серебро
И пыль на стеблях иван-чая.

Лохматя русые вихры,
Хватаемся за топоры,
Как будто в топоре всё дело.
Потом клянёмся всем в любви
И строим храмы на крови,
Себя бичуя обалдело.

В чужие, странные умы
Такими вот запали мы
И затерялись там навеки.
Им не понять нас никогда,
Для них мы — горе и беда,
С другой планеты человеки.

Мы и себя-то, грех скрывать,
Порой не ведаем, как звать,
Запутавшись в портках славянства.
С ухмылкой Ваньки-дурака
Плутаем целые века
Меж святостью и окаянством.

Вся жизнь — то воля, то острог.
Но ведь за что-то любит Бог,
Ведя на небо наши души...
Не стоит нас в бока толкать,
Нам выживать не привыкать —
Под звон меча и залп “катюши”!..

НЕБО

В себе печаль копить не стану,
Ведь радость где-то впереди.
Как встарь — не поздно и не рано —
Пошли осенние дожди.

Тиха окольная дорога.
Исчез машинный перегуд.
Крикливо, ревностно и строго
Вороны пожни стерегут.

В печи трещат полешки — к стуже.
Истлел короткий век зарниц.
Денёк — короче, речка — уже,
И только небо — без границ.

И только небо необъятно:
Не дотянуться, не познать.
И даже туч слепые пятна
Его не в силах запятнать.

В нём всё: лучи надежд и буря,
И горный мир, и томный свет,
И благородный воск лазури,
И на любой вопрос ответ.

И в печке шевеля клюкою
Мерцающие угольки,
На миг подумаю с тоскою:
Как мы от неба далеки!..

* * *

Как мальчонка в песочнице,
В памяти искренней роюсь,
Всё пытаюсь собрать по крупицам
Судьбы моей повесть.

Не себя оправдать,
Дабы дальше купаться в покое,
Но посеять всё то,
Что со временем стало мукою.

Что не поздно ещё,
Суетные презрев расстоянья,
Перед Божьим Престолом
Озвучить в своём покаянье...

ВЛАДИМИР ЧУГУНОВ



ДОЛГОЖИТЕЛИ

РАССКАЗ

Дорогой батюшка, простите, что докучаю вам, но мне больше не к кому обратиться со своим горем, а ещё потому, что мой убиенный сын Александр считал вас своим духовным отцом.

Незадолго до смерти Саша сказал мне: “Мама, ты самый близкий мне человек!” А однажды во сне я услышала от него: “Мама, родная моя, как я тебя люблю!”

Я верю в загробную жизнь. В детстве я видела небо. Не такое, как в ясный весенний полдень, и не такое, как поздней осенью, в тучах и облаках, а настоящее, весь свод небесный, всё видимое небо, заселенное святыми и ангелами. Оно было, как на плане местности, разделенной на части линиями. Я разглядывала всё это с удивлением, а потом проснулась.

Много лет спустя, после смерти мамы, небо приснилось опять. Снилось родная деревня, ночь, кромешная тьма, я совершенно одна на улице, мне страшно, вдруг справа от меня на небе что-то захлопало спокойно и негромко. Я подняла голову и увидела в вышине открывающиеся створки двух небольших окон, из которых спускались к земле два больших светильника. Страх тут же прошёл. Как при свете полной луны, стало видно деревню. Кое-где свет в оконцах покосившихся изб выхватывал из темноты торчащие

ЧУГУНОВ Владимир Аркадьевич родился в 1954 году в Нижнем Новгороде (тогда г. Горький), служил в ГДР, работал на Горьковском автозаводе, Горьковском заводе аппаратуры связи им. Попова, старателем в Иркутской, Амурской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза писателей России. Печатался в журналах “Москва”, “Наши современники”, “Роман-газета” и многих других. Автор целого ряда книг прозы. Некоторые произведения автора переведены на иностранные языки. Лауреат Горьковской литературной премии, Всероссийской литературной премии им. Александра Невского.

из сугробов кусты. На ветвях кустов искрился иней. Какой-то мужчина прошёл мимо так близко, что я проснулась.

Мой Саша тоже грезил о небе и во сне, и наяву, и в своих стихах.

Порою, читая молитвы, задумываюсь над такими словами: “Слабым беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простёр светлые крылья, охраняя мою колыбель... Слава Тебе, призвавшему меня к жизни...” И я говорю: “Слава Тебе за всё, что довелось пережить”.

Я человек своего времени. Видела разрушение церквей, сбрасывание колоколов, пережила Великую Отечественную, голодное военное детство и юность в тяжелейшие послевоенные годы. Последний дом моих родителей в Бутурлине раньше принадлежал родителям маршала артиллерии Казакова. В Филиппове, где я родилась и где мы сначала жили, сейчас почти нет филипповских: мамыны подруги все умерли, мои тоже, кто-то уехал. Старые дома скупил новые русские и на их месте построили новые, богатые. Место хорошее, на берегу Пьяны, чернозём, шоссе до Бутурлина.

Много лет прожито в Филиппове. Много воспоминаний. Всякое было, но только сейчас, на старости лет, я начинаю понимать, что душа моя всегда искала Бога. И Бог хранил меня с самого раннего детства. Хранил, когда однажды за сорок вёрст на санках я везла две буханки хлеба старшей сестре в село Ветошкино — и волк перебежал дорогу. А чуть позже целая стая волков, играя и не замечая меня, перебежала дорогу. Я могла бы погибнуть, когда студенткой Арзамасского педагогического института висела на подножках вагонов, чтобы добраться до дома. Однажды, ухватившись за поручни, мне никак не удавалось поставить ноги на подножку, занятую другими студентами. Поезд тронулся, стал набирать скорость, ноги мои потянуло вниз, проводница стала отнимать руки от поручней. Проходивший мимо железнодорожник закричал на неё: “Ты что делаешь? Она же сейчас будет под поездом!” И проводница втащила меня в тамбур. Я могла бы погибнуть, когда, будучи директором школы, ездила из села в город за зарплатой для учителей.

Помню наше единоличное хозяйство. Помню, как на гумне молотили цепями рожь, пшеницу, просо. Помню жеребёнка Соколика. Когда отдали в колхоз лошадь, я не помню, а Соколика папе жаль было отдавать. Но пришлось. Хорошо помню первый родительский дом, огромный сад, баню в саду. И когда вспоминаю, в памяти встаёт несмолкаемый пасхальный колокольный звон двух церквей нашего огромного села. Одна церковь была большой, белёной, из красного кирпича, с каменной оградой. Роспись была чудесная, иконы почти все в золотых и серебряных окладах. Мы, малыши, чувствовали себя в ней, как в раю. Церковь эта снится мне в течение всей моей жизни. Вторая церковь была поменьше и ближе к нашему дому. В ней тоже были старинные иконы, с богатыми, позолоченными и посеребрёнными ризами, резной золочёный иконостас. В этой церкви мама пела в хоре.

А потом я видела, как плакали люди, когда сбрасывали колокола. Позже в здании большой церкви были и МТС и различные склады, не стало крестов, куполов. Потом вообще осталась без крыши, с изуродованными стенами, кругом кучи битых кирпичей. Где разобрали, а где развалили ограду. Видела я, как разрывали могилу священнослужителя нашей церкви, искали золото, драгоценности, но ничего не нашли. Опилки, выброшенные из могилы, были светлые, желтоватые, как свежие.

Помню папу, вернувшегося с финской больным туберкулёзом. Папа, лёжа в постели и понимая, что жить ему осталось немного, не раз говорил маме:

— Отъедят они тебе голову, замуж выходи.

А бывало, выстроит нас около кровати, посмотрит грустно и скажет:

— Будете считать сначала дни, потом недели, месяцы, годы, а потом забудете меня.

На годовалую Любу от жалости вообще смотреть не мог и говорил:

— Уйди, Люба!

Он так исхудал, что мама, как ребёнка, на руках выносила его на улицу подышать свежим воздухом. Когда в последнюю весну цвела черёмуха,

папа попросил положить его под куст. Цвет осыпался на его лицо, одежду, руки, и он не позволял маме обирать его. Почувствовав приближение смерти, папа попросил отнести себя в амбар — не хотел, чтобы мы видели его смерть. Амбар стоял напротив дома, через дорогу. Мама положила папу на пол, легла рядом, стараясь согреть своим теплом.

Идущие с полотья женщины сказали нам:

— Идите скорей, отец умирает.

Но только мы вошли, папа последний раз вздохнул и затих.

Во время похорон пронёсся сильный ливень, из щелей гроба потекла вода. Кто-то сказал потихоньку, что такое бывает, когда доброго человека хоронят.

Следуя за гробом, я причитала, как взрослая:

— Папочка, без тебя не будет у нас белого хлеба, конфет, ничего не будет!

Я словно знала, что за этим горем на нас обрушится много других бед — падёт корова, волк унесёт овец и ягнят, будет пожар, начнётся война. И после похорон ещё долгое время забиралась по лестнице до крыши и, глядя в сторону кладбища, причитала.

А ещё помню, как в войну мама во сне дергала вожжи и кричала по-мужицки на лошадь, чтобы та вставала пахать — лошади тоже падали от усталости. Помню, как председатель колхоза сказал маме-свинарке:

— Катя, руби головы свиньям и раздавай мясо людям.

И мама с топором ходила около неподвижно лежащих свиней и рубила им головы. Животные при этом не подавали признаков жизни, а люди в очередь вставали за мясом, если можно было назвать так кожу да кости. Принося куски такого мяса, мама говорила:

— Ешьте, вроде эта свинья была ещё живая.

А ели мы тогда всё: лепешки из гнилого крахмала — когда пололи, находили прошлогодние картофелины и складывали в кучки, потом забирали домой и пекли лепёшки, ели серёжки с орешника — зимой, по пояс в снегу лазили за ними в лесу, сушили в печке, толкли в “муку” и лепили лепёшки. Они разваливались и издавали противный запах. Дошло до того, что я не могла даже переносить их запах, а больше нечего было есть.

Вечером мама говорила:

— Ложитесь спать и забудете, что есть хотите.

А когда Слава хватал нож и, водя им по шее, грозил: “Зарежусь!”, мама говорила ему: “Тупой стороной нож-то держишь. Переверни”. И Слава бросал нож на стол.

Филипповские женщины советовали:

— Пусть Слава пройдёт по деревне, кто сможет, подаст кусок.

Но брат не мог просить милостыню. Он пас колхозных свиней, а после работы и зимой, когда ему говорили, чтобы шёл просить милостыню, уходил за избу и даже травяные лепешки не приходил есть. Нелегко нам было просить милостыню, ведь мы все работали, правда, за пустые трудодни. А в обеденный перерыв или придя с колхозной работы, мы за кусок хлеба шли к сельчанам полоть лук, огурцы, картошку. У кого только я тогда не работала. Все шли и просили: Ниночка, сделай то, сделай другое. Даже раз в больнице с чужим ребёнком лежала, вместо матери. За это меня уважали. Бывало, иду из школы, а старушки и старички кричат издали: “Здравствуй, Ниночка!”

В сорок четвёртом тётя Анисья, работавшая председателем колхоза в Филиппове, куда мы с её помощью после смерти папы перебрались, направила меня с другими детьми в Лысково для определения в ремесленное училище. Кучеру было наказано, если не примут, привезти меня назад.

Комиссия нас внимательно осмотрела, всех приняли, а меня, маленькую, худенькую, нет. Какой, сказали, из меня маляр?

Кучер тем временем продал овёс и, напившись, храпел на розвальнях. Деваться было некуда, я взяла вожжи, дернула, и лошадь пошла.

Была зима, дорога вся в раскатах. На раскатах кучер вываливался из саней. Я останавливала лошадь, и она, умница, вся в инее, стояла и терпеливо

ждала, пока я затащу здорового пьяного мужика на сани. Ехали дальше. И опять кучер вываливался в снег. И снова, плача от усталости и бессилия, я заволакивала его назад. Умная лошадь, понимая, что правит ребёнок, не знающий дороги, сама шла, куда надо.

Уже затемно прибыли к конному двору. Кучер очнулся, огляделся, покряхтел и привёл меня в дом. Хозяйка накормила нас. Тётушке я ничего не сказала и стала продолжать учебу в средней школе.

В летние каникулы от зари до зари приходилось работать в колхозе. Бригадир наряжал нас на работу, как взрослых. Подойдёт, бывало, ещё до свету к окну и кричит:

— Ниночка, матуфка (“ф” вместо “ш” выговаривал), вставай, Зиночка уже встала.

А Зиночка, подруга, конечно, ещё спит. Жила она напротив. Слышу, у неё под окном бригадир кричит:

— Зиночка, матуфка, вставай, Ниночка уже встала.

И мы вставали и шли на работу, или поевши огурчика, или голодные.

Когда после смерти отца на нас обрушилось множество бед, и мы перестарелым Алексеевым, на усаде и в дому которых я часто работала за кусок хлеба. Алексеевы очень просили, но мама не отдала. И вообще никого из нас не отдала. И когда мы все четверо, заканчивая среднюю школу, поступали учиться дальше, мама, всплёскивая руками, радовалась: и она поступила, и он поступил! И добавляла:

— Посмотрел бы на вас отец, порадовался бы, не отъели мне голову!

Помню, раз у мамы, тридцатилетней вдовы, сломалось топориче. Деревенские мужики стали предлагать свои услуги — кто нёс топориче, кто топор, ожидая кто денег, кто выпивки. Но мама наотрез отказалась. Сама, сказала, сделаю. И сделала. Она всё умела делать сама.

Мама считала, что я никогда не выйду замуж. Мне всё было не до гулянья: трудилась, училась, читала. Недалеко от нашей избушки девчата и парни танцевали под гармошку, и мама всё говорила: “Иди, вся деревня на улице. Сидя дома, замуж не выйдешь”. Но я всё же вышла в феврале 1956 года, когда работала в Городце секретарём исполкома райсовета. Вышла за инженера-водника. Познакомились мы в Доме культуры на каком-то вечере, где я как член бюро горкома комсомола что-то проводила — не то игру, не то викторину. Две недели подружили мы, и Виталий (так его звали) стал меня сватать. Я сообщила маме. Мама, разумеется, удивилась такой неожиданности: мне было уже двадцать шесть. Мы поженились. Ни у меня, ни у мужа ничего. Муж тоже рос без отца. У свекрови было три сына. Старшего убили на фронте. Виталий закончил Горьковское речное училище, потом заочно — водный институт, работал на шлюзах, пропуская суда, на слипе — по ремонту судов. В последнее время работал инженером в судоверфи. В Клайпеде часто бывал в командировке руководителем оперативной группы: доки для подводных лодок наша судоверфь строила и для Кубы, и для других стран. 13 июля 1974 года Виталий трагически погиб, утонув в море, хотя хорошо плавал — Волгу переплывал. Там какие-то подводные течения были. Их было пятеро инженеров из Городца. В тот день штормило, всех разбросало. Спасатели вошли в воду, но никого спасти не удалось. Очень хорошим специалистом считался Виталий, дело своё знал хорошо и с руководством завода “Балтия”, в Клайпеде, ладить умел. У многих это не получалось, а у него получалось, вот его и посылали. Безотказный, простой, добрый, срок его командировки закончился 25 июня, но командировку продлили. Я ещё посетовала: все в отпуске, а ему и в отпуск, что ли, не надо? Другой бы сказал: срок командировки закончился, семья ждёт, пора домой, а он не смог отказаться. Продлили — навечно.

После смерти мужа я каждое лето ездила помогать маме: весной сажать, летом полоть, окучивать, осенью убирать. Поэтому жалко было расставаться и с домом, и с землей. Но заставила нужда.

Уже старенькая, больная мама всё никак не хотела смириться с тем, что она лежачая (89 ей тогда было), и всё старалась двигаться. Один раз она

упала с кровати, повредив позвоночник, и мне пришлось лежать с ней в больнице. Второй раз мама упала прямо у кровати и надломила шейку бедра. Какое-то время лежала, но после соборования утром сама пришла ко мне на кухню. Не хотелось ей лежать, и она постоянно просилась на улицу.

В тот памятный день, в Троицкую родительскую субботу, я вывела маму в коридор, посадила на стул и наказала сидеть до моего возвращения. Сама ушла на кладбище, к могилке брата Славы — больше некому было навести там порядок. Но маме захотелось домой, она попросила соседа помочь, тот взялся, да не смог, уронил, и мама сломала шейку бедра совсем. Опять угодила в больницу. От долгого лежания у неё началось воспаление лёгких, появились пролежни, и вскоре мама умерла. Умирала в сознании. Незадолго до смерти громко спросила:

— Почему вы закрыли от меня икону Пресвятой Богородицы?

В 10 лет я хоронила умершего после Финской войны от туберкулёза лёгких отца, в 70 лет — старенькую маму. Много родных за это время ушло: сестра, брат, бабушки, племянники, дяди, тети.

Но нет для меня большего горя, чем смерть сына.

Саша родился 24 июня 1964 года в Городце. Я тогда преподавала в школе русский и литературу. Родился мальчик здоровым, но в раннем детстве часто простужался. В ясли мы его не носили, помогла бабушка Катя. До садика зимой водилась с внуком у нас, летом у себя в деревне. Саша любил и бабушку, и деревню. Однажды, уезжая со мной из деревни (поезд уходил ночью), Саша сказал:

— До свидания, деревня, бык (он видел, как бык гонялся за пастухом), до свидания, колодец, — и, посмотрев на небо, добавил: — До свидания, звёздочки!

Зимой Саша любил играть в хоккей, летом — в футбол. Любил книги. К школе мальчик окреп. Я, учитель, очень любившая свою работу, к сожалению, мало уделяла внимания семье, своим детям. В большую перемену, бывало, прибегу домой покормить Сашу, уходя, скажу:

— Ну, побежала.

А он:

— Мама, что ты всё бегаешь, когда будешь ходить?

Очень рано он стал читать и читал много. Когда он лежал с воспалением лёгких, каждый раз посещая больницу, я приносила ему какую-нибудь новую детскую книжку. Он радовался. Но потом я увидела его грустным, и не знала, почему. Выяснилось при выписке: ребята, дошкольники тоже, а может, некоторые уже и учились, приносимые мною книжки сразу рвали, не давая читать. Изорванные книги Саша прятал под матрац и перед уходом из больницы с грустным видом принёс целую охапку и положил мне на колени. Я поняла, в чём дело, успокоила его, сказав, что все эти книжки ждут его дома, что покупала их в двух экземплярах, и он сразу повеселел.

Со слезами вспоминаю теперь, как я, заработавшись 1 сентября 1971 года, забыла собрать и привести Сашу в первый класс. Все родители в этот день приводят детей в школу, а я ушла рано, поскольку была дежурной по школе, а их класс ко второй смене должен был прийти.

Мой мальчик собрался сам и пришёл. Очень, конечно, растерялся в большой школе, среди шума, среди снующих туда-сюда учеников, не зная, куда идти. Поднялся на второй этаж, встретил меня в коридоре, обнял за колени и, глядя снизу вверх со слезами, сказал:

— Здравствуй, мама!

Я говорю:

— Здравствуй, Саша, я и забыла, что ты идёшь в первый класс!

Помогла ему найти класс — и только... Прости, сынок!

Учился Саша хорошо, учение давалось легко, сохранились его Почётные грамоты. На родительских собраниях учителя часто просили меня поделиться опытом воспитания. Я отвечала: “Только своим примером, он видит, как я много работаю, как веду себя”.

Стихи Саша начал писать с восьми лет, влюбившись в девочку из класса, прибывшую из Венгрии (тогда ведь красивой детской одежды не было,

а венгерка была и красивой, и очень хорошо одетой). Все мальчишки в неё влюбились, в том числе и Саша. И написал стихотворение “Венгерке”. Ходил раза два провозжать её на автобус, а потом всё это прошло.

По окончании школы Саша поехал в Ленинград и успешно сдал экзамены в военный институт (бывшая военная академия Можайского), но ушёл, не сдав плавание. Его уговаривали “умные дяди”, замполит и другие, остаться в институте, обещая помочь с плаванием. Но он, скромный, стеснительный, не смог остаться и поступил в институт электронной связи им. Бонч-Бруевича. Много пришлось ему испытать тогда трудностей. Общежитие долго не давали. Приходилось скитаться по Ленинграду, даже на вокзале ночевать. А я, занятая работой, не смогла съездить к нему, снять частную квартиру. Посылала лишь денег на питание, а с жильём не помогла. Не могу простить себе этого. Один раз Саша каким-то образом нашёл дальних сродников, родных его бабушки, моей свекрови. Свекровь была из многодетной семьи священника. Саша попросил у них поесть и помыться. Они его ещё приглашали, но он больше не ходил. А потом ему дали общежитие. Перенося лишения, Саша никогда не жаловался.

В институте многие женились, и он стал думать о семье. Стал сватать подругу жены сокурсника Ирину. Она училась в вечернем техническом институте. Я не возражала, во всём доверяла своему сыну. По окончании института они поженились.

Саша получил назначение на работу в Нижний Новгород, в ПМК 407 “Связьстрой” — мастером, затем перевели на должность инженера-измерителя. В 1988 году они с женой переехали в Молдавию, где жила мать Ирины. Выйдя второй раз замуж, она оставила им свою двухкомнатную квартиру. Но так и невостребованным оказалось Сашино высшее образование. Это ведь тоже трагедия наших дней. В Бельцах Саша работал инженером электросвязи в драмтеатре, начальником аппаратной связи.

Развал СССР, война в 1992 году в Приднестровье, надо было принимать присягу на верность Молдавии и воевать против кого прикажут. Отношение к русским стало нетерпимым, и Саша с семьёй, за бесценок продав квартиру (денег хватило только на переезд), приехали ко мне в Городец. Я приняла семью сына с двумя детьми, стало нас восемь человек в моей однокомнатной квартире (я, мама у меня жила, семья Саши и мать с отчимом Ирины). Прежде я жила в двухкомнатной квартире “со всеми удобствами” — на пятом этаже никогда не было воды, и я её носила ведрами. Поэтому, посоветовавшись с Сашей (когда они жили в Молдавии), я обменяла эту двухкомнатную квартиру на однокомнатную, где была и горячая, и холодная вода. Мы же не знали, что развалится СССР, и Саша с семьёй станут беженцами. Теперь я обменяла однокомнатную квартиру со всеми удобствами на двухкомнатную в ветхом фонде, где и теперь живём.

Вернувшись на родину, Саша сразу столкнулся с грубостью чиновников: “Нашли куда бежать! Мы сами не имеем квартир”. А мне, ветерану войны и труда, когда мы с внуком Денисом обратились в администрацию с просьбой об улучшении жилищных условий, сказали: “Вот свалим праздник (50-летие Победы), и приходите”. А в одном месте, когда я показала свои медали: “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”, “Ветеран труда”, “50-летие Победы”, значок “Отличник народного просвещения”, депутатские удостоверения, удостоверение секретаря райисполкома, удостоверение члена бюро горкома комсомола, Почетные грамоты облоно и ГК КПСС, мне ответили: “Не надо было так хорошо работать”. Тех, кто со мной когда-то работали и знали мою работу, теперь не осталось в администрации, а новые чиновники откровенно заявляли: “У нас теперь капитализм”. Сколько слёз я пролила, чтобы помочь беженцам. А ведь в стихах Саши есть и об этом, о стене безразличия, бесчувствия, равнодушия к бедам людским. И так по всей стране в наше время. Законы на стороне богатых.

Саша всё понимал, ни на что не претендовал, хотя в душе тяжело переживал превратности судьбы, грубость, зло, унижение, несправедливость. Сразу же по приезде в Городец он горячо взялся за оформление документов на строительство дома. Был отведён участок под строительство. Но мечта

построить дом не осуществилась. Инфляция так подняла цены на всё, в том числе и на стройматериалы, что мы не смогли при наших возможностях даже фундамент заложить. Никакой помощи беженцам, кроме выделения участка, не было. Субсидии администрации выдавала только богатым, даже не скрывали этого: вы, мол, не сможете потом вернуть деньги. Саша переживал. Нас поставили в общую очередь на получение квартиры: то есть лишили всякой надежды на получение. И работы долго найти беженцам не удавалось. Саша работал то экспедитором, то агентом по снабжению, то монтажником строительной фирмы, то электромехаником на моторном заводе. С 1996 года по 2000 год работал техником-программистом на городской АТС.

10 февраля 2000 года он трагически погиб. В день смерти Пушкина. Один — Александр Пушкин, другой — никому не известный поэт мой сын Александр. Пушкин высоко ценил любительские стихи непрофессиональных поэтов, говоря, что это поэзия очень искренняя и откровенная. Так и есть. Сашины стихи полны глубокого смысла. После смерти Саши я взяла папку его стихов и попросила дочь помочь издать книгу.

Сашины стихи — Сашина судьба. “Отраженье исчезнувших лет”, как писал он, “чистых радостей светлый исток, закрепленье счастливого мига”. Это — и его исповедь, и покаяние, и боль, и лирическая философия. В его стихах — самые сокровенные его чувства, мечты о счастье, о душевном покое. Сашины друзья зачитывались его стихами, иные перекладывали на музыку. Но в жизни Саша никогда не называл себя поэтом. В стихах было много личного.

Но даже в стихах о детях, которых он очень любил, о природе он не мог уйти от себя, от своих переживаний, страданий. Самой большой радостью для сына за последние два года (среди неурядиц семейной жизни) был вечер молодёжи в Доме культуры, на котором его друзья из Нижнего Новгорода, из Городца исполняли песни на его стихи.

К вам, батюшка, к вашей церкви, у Саши было особое уважительное отношение. Как-то, проходя с ним мимо Городецкой церкви Покрова, я сказала: “Здесь меня и отпоёте, поближе к дому”. А он медленно произнес: “А меня только в Николо-Погосте”. Я и представить тогда не могла, что переживу сына.

“Иисусе, известны Тебе все горькие часы и тягостные минуты его жизни. Иисусе, на земле он имел печали и скорби, дай на небе отраду”, — читаю в “Акафисте за единоумершего” и прошу Господа простить Сашу, даровать ему радость вечную, покой, Царствие Небесное.

Предчувствие, что скоро умрёт, есть в Сашиних стихах.

Его страдания и муки видел один Господь. В ту тяжёлую минуту возле него не оказалось ни одного доброго человека, никто не помог. Раздетого, полуживого его бросили в ледяную воду между бетонными плитами, и он, медленно замерзая, умер. Я верю, что Господь воздаст чаду моему за скорбь кончины, что мои материнские слёзы помогут ему.

Во сне Саша сказал мне: “Ждал помощи до последней минуты”. Но никого не оказалось рядом. Лишь на другой день, 11 февраля, в пятницу, рыбак обнаружил изуродованное Сашино тело.

К сожалению, нет таланта, чтоб написать стихи о сыне, а простых слов не хватает, чтобы выразить скорбь. Утешение нахожу только в молитве — в церкви, дома, у могилы сына.

Другой раз во сне Саша сказал: “Я буду молиться о твоём здравии, мама, а ты молись за упокой моей души”. Благодарю тебя, сынок, за молитву о моём здоровье (оно у меня неважное), верю, что в молитве этой мы с тобой неразлучны.

Господи, усопший раб Твой, Александр, чадо моё, верил в Тебя, уповал на Тебя, молился Тебе; хоть и редко, но ходил в церковь, исповедовался, причащался, очень хотел, чтобы в среду и пятницу дома готовили постную пищу. Я очень виновата перед Тобой, Господи, виновата перед усопшим сыном, что в эти дни готовила не постную пищу. Сейчас, вот уж скоро два года будет, как я соблюдаю постные дни: среду и пятницу. По возможности и посты стараюсь соблюдать. Ты бы, Саша, сейчас меня похвалил. Во многом

я виновата перед тобой, сынок. Да не пребудут грехи мои на чаде моём Александре.

Грустно видеть, как много на Руси страданий, как много гибнет людей без войны, в мирное время.

Саша мне часто снится и в Подмоскowie, когда уезжаю к дочери. Самый первый сон. Вижу Сашу маленьким мальчиком, одетым и обутым по-старинному: на нём аккуратно сшитый кафтанчик, приталенный, картуз на голове, на ногах сапожки, всё светло-коричневое. Саша радостно говорит мне: “Мама, здесь есть всё”. Я сказала ему: “Ну и Слава Богу, сынок!” И проснулась.

Сны чаще короткие, но запоминающиеся. Два раза, когда мне было ночью плохо, слышала тревожный Сашин голос, как в детстве: “Мама!”

И ещё. Всё вокруг залито солнцем, я держу Сашу за руку и говорю: “Осторожнее, Саша, на той улице много пыли”. И, медленно разжимая пальцы, выпускаю его руку из своей.

В другой раз снится: иду и вижу, в низине что-то строят. Подходит ко мне Саша и говорит: “Дай мне семьсот рублей на шинель”. Я спросила: “А зачем тебе шинель?” И проснулась. Был он в брюках, но без рубашки. Хоть и не холодно было у них, где он был, светло, но я поняла, что надо подать людям его вещи за упокой души. И мы подали его утеплённый плащ, хлопчатобумажные с начёсом две рубашки-водолазки, вязаные свитера, полдвер, полуботинки, носки, шарф, сорочки, рубашки новые или почти новые. Сама ношу за упокой Сашиной души его свитер, футболку, две маечки, надеваю их под костюм только в церковь.

Молясь, я верю, что “в неумолкаемых мольбах Церкви омоются его грехи приношением Жертвы Бескровной”. Подаю годовые, сорокоусты. Сейчас, когда я по болезни не могу часто бывать на литургии, умолила нескольких священников поминать Сашу на проскомидии.

Душа моя и во сне молится об упокоении Сашиной души. И я даже просыпаюсь в страхе, что во сне могу спутать слова молитв. И что в такие минуты делать, не знаю. Душа моя молится и днём и ночью. Молюсь пресвятой Троице, Богородице, преподобному Серафиму Саровскому, блаженной Матроне и другим святым. Читаю житие благоверного князя Александра Невского и молитву ему. Читаю “Богородичное правило” и “Пяточисленные молитвы”. Пока видят глаза, буду читать.

Не знаю, батюшка, всё ли я правильно делаю, и что ещё надо сделать, чтобы молитвы мои дошли до Бога, помогли моему Саше войти в Царствие Небесное? Я ведь только учусь на старости лет. И особенно волнуюсь, когда, проснувшись ночью, чувствую, что душа моя опять молилась во сне. И тогда прошу Бога простить меня, если что-то не так во сне сказала.

Сейчас мне во сне бывает так грустно, что лучше не спать. А иногда проснусь и боюсь засыпать, боюсь тревожных снов, боюсь во сне спутать слова молитвы. Но, засыпая, молюсь опять. Я ведь тоже, как и Саша, всю жизнь вижу цветные сны. Радуюсь добрым, хорошим снам, очень переживаю, если вижу плохой.

Для меня четверг теперь самый тяжёлый день. Ночью с четверга на пятницу погиб Саша. Да и пятница не легче. Обычно утром, когда Саша уходил на работу, я говорила: “Счастливо, Саша!” Иногда поцелую. Часто вслух или про себя говорила: “Благослови, Господи!” А 10 февраля, услышав его слова: “Я пошёл”, — что-то задержалась в спальне, не вышла в прихожую, не простилась с ним, как обычно делала. И только в окно увидела, как он шёл на автобус. Никогда я в окно не смотрела, а тут нечаянно глянула.

Догнать бы, остановить, не пустить на работу!

Обычно я звонила ему, спрашивала, покушал ли он, а в тот день почему-то не позвонила.

В пятницу утром, не понимая, почему его до сих пор нет, я взяла в руки его халат, поцеловала и сказала: “Саша, где же ты, родной? Мы тебя ждём”. И словно слышу чей-то голос: “Он давно уже мёртвый”. Я не поверила. А потом позвонила в приёмный покой больницы. Только в субботу мы увидели его в морге. В воскресенье ездили по магазинам “Ритуал”, одели

бездыханное тело, привезли домой. Ночь усопший провёл дома. Сейчас я очень жалею, что была какая-то окаменевшая, в каком-то оцепенении. Мне казалось, это случилось не у нас. Я была, как в кошмарном сне. Старушка читала Псалтирь, а я только на коленях просила прощения у Саши, целовала через покрывало его ноженьки, держала их руками, вглядывалась в его лицо. Говорят, что я молилась, но я этого не помню.

В понедельник утром поехали к вам, батюшка, в Николо-Погост. Я не помню, чтобы творила какие-то молитвы перед отъездом и в дороге. Ведь я знала, что при одевании его ещё в морге, и дома, и при отъезде в церковь надо было говорить: “Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас!” Но этого не сделала, в шоке была. И когда мы ждали вас у церкви, мне надо было стоять рядом с гробом, а мне кажется, я не рядом была. В церкви я тоже не помню, чтобы крест поцеловала. Сашу поцеловала, но ничего не сказала, а ведь надо было попросить прощения и пожелать Царствия Небесного.

На кладбище, когда ждали автобус с людьми из города, я тоже, кажется, не рядом с гробом была. Потом подошла ближе, надо было, наверное, ещё целовать и целовать сына, а я стояла, как ненормальная, и когда опускали в могилу гроб, я бросила горсть земли, сказав лишь: “Пусть земля тебе будет пухом”. Наверное, надо было мне последней уходить от могилы сына, а я ушла не последней. И вечером в день похорон на кладбище почему-то не пошла. Только на другой день мы пришли на могилу. Пусть эти строки будут моим покаянием перед Богом, что не всё я сделала, как надо. Господи, прости меня грешную.

Наверно, как и у всех матерей, внезапно похоронивших сыночка, три периода в безутешном горе. Во-первых, кажется, что это произошло не у нас, что это сон, оцепенение какое-то, не верится. Во-вторых, ищешь похожих на сына, вглядываешься в прохожих. В-третьих, считаешь, что в случившемся виновата я, мать, не сумевшая отвести беду. И это очень горько осознавать.

Незадолго до смерти Саша спросил меня:

— Мама, мы — долгожители?

И я ответила:

— Да, сынок.

ВИКТОР ПАСТУХОВ



РУССКАЯ ТЕТРАДЬ

КОЛОДЕЦ

Каждый период истории
я примеряю к стране,
к людям её, к территории,
к силам внутри и вовне.

Славно минувшее, мерзко ли —
через плечо не плюю.
В этом колодце, как в зеркале,
вижу я долю свою.

Царское или советское —
всё перемешано в ней.
Но из колодца лишь светлое
я достаю для детей.

Давности все и недавности
в нём и во мне сведены
чистой водой благодарности,
тёмным осадком вины.

ПАСТУХОВ Виктор Степанович родился в Приморье. Окончил электротехнический институт. Преподает автоматизацию энергосистем. Публиковался в журнале “Наш современник” и в альманахе “Литературный Владивосток”. Автор трёх стихотворных книг. Живёт и работает во Владивостоке.

Веры отцовской достоин ли?
Что передал по родству?
Каждый период истории
заново я проживу.

В доме, где брань и метания,
всех примирю и прощу.
В чьей-то вине оправдания
я для себя не ищу.

Но ни ханжам, ни хулителям
родины я не отдам.
В жизни своей победителем
каждый становится сам.

Зря на виду и за шторами
муть поднимают со дна.
Прочь от колодца истории!
Это не ваша страна!

СЛАВА

...Свистели стрелы, шли навстречу рати,
искали плоти копья и мечи.
Ярился враг, и предавали братья:
за княжескую шапку — в палачи.
Но крепла Русь крещёная, сметая
тевтонских псов и всадников Мамая
в единстве ополчений и дружин...
В награду — кнут боярский, рабский чин.
Но после смут и зыбкого смиренья
был глас Петра: “Твоё, Россия, время!”
И встал, расправив плечи исполин.

История! Ты рядом и не рядом.
В учебнике, на плёнке кадр за кадром
ты — дух и лик возлюбленной земли.
Виктория! Дробили стены ядра,
и в Чёрном море русская эскадра
турецкие топила корабли.
Дрожал Париж под конницей казачьей,
и по Берлину танки шли, рыча.
И знал тогда обидчик и захватчик,
что русские дадут любому сдачи,
а меч поднявший рухнет от меча!

ВИТЯЗЬ

На перекрёстке — камень придорожный
и надпись, где указывают путь
соблазн и смерть.
А сзади зов тревожный.
Ты слышишь, Витязь?!
Выбор-то несложный:
пора коня обратно повернуть.
Пока ты мыслишь свадьбу и войну,
твой древний дом растащат по бревну!

На пагубу — земельные угодья.
Под корень — заповедная тайга.
Плодится инородье и безродье.
А ты, герой, и не повинен вроде?
О чём же твоя дума и туга?
И скоро ли объявишься в народе
как истинный хозяин и слуга?

Свои пределы обойди дозором.
Вольготно стало за твоей спиной
удельным разорителям и ворам,
и стольным их заступникам, которым
за мзду не жаль и матери родной.
Притворный друг безжалостней врага.
Вступишь, коли держава дорога!

Спасай детишек, объясняя смалу
в музее, в кассе, по телеканалу,
что значит долг, Отечество, семья.
Но прежде примиришь, как предки, с Богом
в сердечном плаче, в покаянье строгом
ты, Витязь, ты — моё второе Я!

ВЕРНОСТЬ

С улыбкой, спрятанной у глаз,
в костюме-тройке старомодном,
в плаще, казалось, всепогодном —
таким он помнится сейчас.

Старик жил замкнуто, но мы,
когда у лифта с ним встречались,
вполне приветливо общались
на темы смога и зимы.

Он неожиданно пропал
среди моих разъездов летних.
И я о проводах последних
от наших бабушек узнал.

Ещё мне каждая при встречах
пересказала на свой лад
про то, что мой сосед — разведчик,
и у него не счесть наград.

Что генералы (сразу трое!)
за гробом удручённо шли,
а впереди Звезду Героя
на красном бархате несли.

На кладбище звучали речи,
рыдали трубы, был салют...
И лишь молчал сосед-разведчик...

Мне кажется — и в муках вечных
такие тайн не выдают.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ

*председатель ЦК КПРФ,
доктор философских наук*

РУССКИЙ СТЕРЖЕНЬ ДЕРЖАВЫ

Системный кризис, резко обострившийся из-за пандемии ранее не известного человечеству вируса и падения мировых цен на сырьё, окончательно обнажил катастрофические издержки капиталистической системы. Эти издержки проявляются по всей планете. Они ясно указывают на то, что нигде на свете не существует “либерального рая”. При глобалистском мироустройстве даже наиболее развитые страны, сталкиваясь с масштабными вызовами, явно пасуют перед ними и соскальзывают в пучину социального зла. Общепланетарные кризисные процессы вдвойне болезненны для России, которая, как и в начале прошлого века, является слабым, периферийным звеном мирового капитализма. Особенно они разрушительны для государствообразующего русского народа. Народа, несущего самые большие издержки и потери в результате бесчеловечных социальных экспериментов последних десятилетий.

Всемирный русский вопрос

В 1990 году русских в России насчитывалось более 120 миллионов, а сегодня их на 10 миллионов меньше. Еще 25 миллионов русских жили тогда за пределами Российской Федерации. Их число за последние 30 лет тоже сократилось на 10 миллионов. Двадцатимиллионное сокращение народа – жертвы, сопоставимые с теми, которые мы понесли в годы Великой Отечественной войны!

Время жестко ставит перед нами вопрос о выживании. О спасении гражданского мира и сохранении нашей государственности. Решить эти судьбоносные задачи можно только при условии принципиальной смены разрушительного компрадорского курса и реализации патриотической антикризисной программы, основанной на принципах народовластия и социальной справедливости. На восстановлении экономического и финансового суверенитета страны, без чего невозможен истинный политический суверенитет. Однако воплотить такую программу в жизнь нельзя без честного и вдумчивого обращения к русскому вопросу.

Не умаляя достоинства и интересов других этносов, образующих многонациональный российский народ, необходимо признать: **русский вопрос сегодня является самым острым и злободневным. От его решения зависит судьба России и всех народов, проживающих как в её границах, так и на территории бывшего СССР.**

Мы, коммунисты, – твёрдо убеждённые сторонники и приверженцы интернационализма. И хорошо понимаем: каждый народ заинтересован в том, чтобы сохранялся его язык, развивалась культура, сберегалась вера, оставался незыблемым традиционный образ жизни, крепло благополучие. Но русские – это духовный, нравственный и державный стержень страны. Так формировалась наша общая судьба. Так сложилась История. Отменить это невозможно. Отрицать, рассуждать и действовать вопреки этому – безумие, губительное для всех народов России. Если русские окончательно ослабнут и уйдут с главной исторической арены, что неизбежно при сохранении курса, проводимого в стране с начала 1990-х, это повлечёт за собой необратимую катастрофу. Подчёркиваю: катастрофу для всех граждан, живущих на наших огромных евразийских просторах. Россию попросту растопчут и растащат более сильные и удачливые соседи.

Это во все века прекрасно осознавали лучшие представители нашего Отечества. Пример тому – слова, произнесённые в середине XVIII века выдающимся учёным Михаилом Васильевичем Ломоносовым: “Величие, могущество и богатство всего государства состоит в сохранении и размножении русского народа”. Эта же идея волновала и великого Менделеева в начале XX века. О русском и русскости беспокоился и гений Пушкина. И в наши дни для страны, где 80% составляют этнические русские, важнейшим элементом национальной политики должна стать программа спасения самобытной русской цивилизации и возрождения русских как станового хребта Отечества.

Более того, сохранение и благополучие русских – крупнейшей европейской нации – это вопрос мирового масштаба. Если будет продолжаться кризис русского этноса, порождённый разрушительными процессами последних 30 лет, если численность русских будет и дальше сокращаться такими стремительными темпами, это роковым образом отразится на евразийском пространстве и на всей планете. Окончательно обрушит геополитическую и экономическую стабильность в мире, в котором русские на протяжении многих столетий являются одной из ключевых наций, определяющих его облик, историю, нравственные и этические идеалы.

Не случайно даже в аналитических материалах ЦРУ, которое никак не заподозришь в симпатиях к нашей стране, проблема вымирания русских рассматривается как одна из ключевых общемировых угроз. Но те, кто сегодня управляет российской экономикой и социальной сферой, по-прежнему не желают признавать масштаб этой угрозы и всерьёз обсуждать действенные меры по противостоянию ей. Невзирая на очевидные любому здравомыслящему человеку опаснейшие внешние и внутренние вызовы, брошенные России, они остаются приверженцами абсолютно разрушительной либеральной политики. Политики, обостряющей напряжённость внутри страны, политики, откровенно враждебной как по отношению к русским, так и по отношению к другим народам, к нашей тысячелетней государственности.

КПРФ – единственная политическая сила, которая на протяжении всех постсоветских лет последовательно отстаивает идею восстановления народовластия и справедливости, укрепления национально ориентированной системы управления обществом и страной. Закономерно, что и русский вопрос, от которого неотделимы ключевые проблемы нашего государства, настойчиво поднимаем и обстоятельно анализируем именно мы.

Ещё в 2004 году я посвятил его подробному исследованию книгу “О русских и России”, вызвавшую живой отклик патриотов нашего Отечества и историческое неприятие русофобов и антисоветчиков. Приходится с сожалением констатировать: с того времени, вопреки надеждам на принципиальные перемены, появившимся в начале 2000-х, положение русского народа не изменилось к лучшему. С годами оно только ухудшается. А безнаказанные нападки и провокации ненавистников России на народ, выстроивший здание российской государственности, не утихают. Их разрушительная работа продолжается с ведома высокопоставленных опекунов, засевших в коридорах власти и средствах массовой информации.

Возвращение на Родину Крыма и Севастополя сформировало основу для глобокого общенационального диалога. Поддержка героической борьбы народных республик Донбасса показала, насколько велик патриотический запрос в российском обществе. Шествие “Бессмертного полка” в день Великой

Победы стало убедительным призывом к торжеству истинных ценностей. Но и после всех этих событий власть не поспешила развернуться к сотрудничеству с политическими оппонентами, искренне радеющими о судьбах Отечества. **Правящие круги не делают необходимых шагов навстречу народу, его проблемам и чаяниям. Вместо этого на растущее в обществе недовольство они отвечают полицейщиной и бесконечными потоками антисоветчины, злобными нападками на социализм, на гениальные достижения ленинско-сталинской модернизации.**

Стараниями “пятой колонны”, усилиями продажных пропагандистов возвращена не только аморальная, но противоречащая закону героизация белогвардейских палачей и их последышей, которые вершили расправу над соотечественниками бок о бок с иноземными армиями Антанты и гитлеровскими захватчиками. Их жертвами были представители всех народов, мужественно сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины в годы гражданской и Великой Отечественной. И предпринимаемые с подачи власти **попытки втоптать в грязь самые славные страницы нашей истории, возвести на гнилой антисоветский пьедестал кровавых предателей России – это, в первую очередь, вызов русским, оскорбление крупнейшего народа страны, надругательство над его выдающимися победами.**

Позиция либералов лишь усугубляет и без того глубокий раскол между властью и обществом. Люди устали от бесконечных нападков на нашу историю. Мутные потоки грязи извергаются на неё со времён горбачёвской “перестройки”. Именно тогда “белые пятна прошлого” стали активно замазывать чёрной краской, от которой не желает отказываться и сегодняшняя официальная пропаганда. Но краска эта к советскому наследию так и не пристала. Она быстро скукожилась и осыпалась, открывая перед удивлёнными взглядами новых поколений величие свершений Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня так популярны, а **Ленин и Сталин предстают в сознании народа как самые авторитетные государственные и политические деятели, как величайшие фигуры не только советской эпохи, но и русской истории в целом.** Это невозможно не признать. А признав, следует усвоить главные уроки. Только тогда мы избавимся от русофобии и антисоветизма, мешающих стране идти вперёд.

Некоторые из выдающихся исторических уроков стоит напомнить. И прежде всего – урок формирования русского самосознания и строительства нашей государственности, закономерным и величайшим продолжением которой оказалась Советская страна – СССР.

Держава миротворцев

На Руси общее патриотическое чувство возникло гораздо раньше, чем политическое, экономическое или культурное единство населявших её народов. Поэтому все недруги России старались, как и сегодня, разрушить это чувство, превратить русских и другие близкие им народы Евразии во второсортное подобие немцев, ордынцев, византийцев, варягов, хазар... Но **всякий раз патриотическое чувство оказывалось сильнее внешнего давления. Русь так и не стала колонией, не растворилась в чуждых этносах. Это уже само по себе было историческим подвигом.** Тем более в тех сложнейших условиях, которые выпали на долю нашей страны: холодный климат, недостаток земель, пригодных для сельскохозяйственной деятельности, откровенно враждебное окружение по всему периметру западных и восточных границ.

Мореплавателю Ричарду Ченслору, первому англичанину, побывавшему в России и положившему начало торговым отношениям двух стран, сказал о русских в своих путевых записках 1553 года: “По моему мнению, нет другого такого народа под солнцем, у которого были бы такие же трудные жизненные условия”. Но **именно этот народ, вопреки препятствиям, казавшимся непреодолимыми, сумел создать крупнейшую державу на планете. Потому что его волю скреплял негибемый патриотизм, основанный на ратных и трудовых достижениях русских.**

Уникальное географическое и геополитическое положение России, пролегающей между Европой и Азией, предопределило тот синтез западного и восточного начал, из которого складывается неповторимая русская цивилизация.

Восток больше склонен к самоуглублению и ограничению, к созерцательному мировосприятию, соблюдению традиций и архаике. Западная цивилизация основана на принципиально иных устремлениях. Её сильные стороны – тяга к научному познанию и развитию, экономическому и бытовому усовершенствованию, опирающемуся на инновационное мышление. Но эти черты, предопределившие успехи Запада, идут рука об руку с негативными особенностями – с приверженностью крайнему индивидуализму, культу личного успеха любой ценой. С привычкой смотреть на человеческие отношения, прежде всего, через материальную и финансовую призму. С извечной нацеленностью на то, чтобы достигать своего ценой эксплуатации, порабощения и даже истребления других народов. Это неизбежно привело к перерождению первоначального капитализма в империализм и глобализм, которые сегодня подталкивают весь мир к катастрофе. И разрушают изнутри саму капиталистическую систему, ведут её к окончательной деградации и краху.

Неповторимость и сила русского мира в том, что он стремился соединить в себе именно лучшие черты Востока и Запада, вырос из сочетания высокой духовности, приверженности традиционным ценностям и коллективизму и инновационного мышления, стремления к научным и культурным высотам.

Подобно Западу, он настойчиво шёл к прогрессу, но никогда не ограничивал его понимание экономическими и финансовыми вопросами. Для русской цивилизации прогресс всегда пребывал в неразрывной связи с моральными, нравственными законами, с принципами соборности и справедливости, отрицающими эгоизм и индивидуализм. От этих принципов могли отступать верховная власть и приближенный к ней привилегированный класс, что привело к революционному восстанию в начале XX века и к системному кризису, в тисках которого наша страна пребывает последние три десятилетия. Но сам народ оставался привержен этим принципам всегда. И только такое государство, которое базируется на них, может отвечать его чаяниям, обеспечивать его жизнеспособность и благополучие.

Коллективизм, державность, самодостаточность Российского государства, стремление к воплощению высших идеалов справедливости и братства – это фундаментальные ценности русской цивилизации. Именно они предопределили тот исторический результат, о котором говорил религиозный философ Николай Бердяев: “Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю. С Ивана Калиты последовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров, потрясающих воображение всех народов мира”.

Российское государство как уникальная цивилизация и как крупнейшая держава – это главный исторический результат деятельности русского народа. И это неизменная мишень наших внешних и внутренних противников – как в прошлом, так и в настоящем. Мишень не только геополитическая и экономическая, но и духовная, враждебная им в культурном и нравственном смысле. Целясь в неё, они целятся в сам русский народ. А значит, и во всю мировую цивилизацию, ведь сама жизнь доказывает, что без русского вклада мировая История была бы принципиально иной.

Империя, созданная русскими, – единственная в мировой истории, которая сложилась не путём завоевания, ограбления и истребления других народов, а путём союзнического единения с ними, как правило, на добровольной основе. Прибегать на этом пути к оружию русским приходилось только тогда, когда они брали народы, заключавшие с ними союз, под свою защиту и помогали им обороняться от захватчиков, грозивших уничтожением.

У России выдающаяся военная история. Но это история не захватническая, а миротворческая. История национально-освободительных войн против агрессоров, посягавших на нашу страну, и спасения других народов от внешней интервенции, геноцида и уничтожения. Так было и в XVII столетии, когда с Россией воссоединилась восставшая против польского гнёта Украина. И в XIX веке, во время войн России с Персией и Османской империей, когда под крылом русских защиты от безжалостных соседей нашла Армения. Так было и в веке XX, когда СССР решил исход самой страшной в Истории войны, разгромил гитлеровский фашизм и спас человечество от коричневой чумы.

Роль России и русского народа в мировой истории – это, прежде всего, великая миротворческая роль. Без неё мир был бы совсем иным, и многих народов, населяющих его, в наши дни уже бы не существовало. Ни об одной другой державе нельзя сказать того же самого. Такие слова можно сказать только о русских и России.

“Мы будем первыми, кто возвестит миру, что мы хотим процветания своего не через подавление личности и чужих национальностей, а стремимся к нему через самое свободное и самое братское всеединение”, – такую запись в 1877 году оставил в своём “Дневнике писателя” выдающийся прозаик и публицист Фёдор Михайлович Достоевский. Ратные подвиги нашего народа и созданные им на принципах братского единения Российская империя и Советский Союз в полной мере доказали справедливость этих слов.

Жизненные интересы России издревле заключаются не в том, чтобы кого-нибудь покорить, завоевать, подчинить. Они, прежде всего, в том, чтобы собрать на своей земле, под своим крылом, под защитой единой могучей государственности всех русских людей и всех тех, кто считает Россию своей Родиной. Все те народы, которые согласны связать с ней свою историческую судьбу.

Наши интересы заключаются в том, чтобы обеспечить в собственном доме безусловный и прочный мир, гарантированный от любых посягательств извне и изнутри, создав для этого благоприятные внешнеполитические условия. В том, чтобы защитить свою историческую индивидуальность и самобытную духовность от агрессии чуждых, извращённых стереотипов массового сознания. От тлетворного влияния безнравственности, возведённой в норму жизни. От индивидуалистического эгоизма, восхваляемого как добродетель. Чтобы создать своим согражданам все необходимые условия для образования и охраны здоровья, труда и отдыха, развития науки и культуры, счастливого детства и спокойной старости.

Но России во все времена приходилось отстаивать право на это в суровой борьбе с иноземными неприятелями и с их высокопоставленными пособниками внутри нашей страны. С той “пятой колонной”, которая и сегодня бесовестно разлагает и душит страну.

С геополитической точки зрения Россия является важнейшим элементом сохранения глобального баланса сил. Своего рода предохранителем, удерживающим мировые державы от нарушения стратегического международного равновесия. От силовых попыток создания “однополюсного” мира, к которому стремится транснациональный капитал, породивший гитлеровский фашизм в прошлом веке и опирающийся сегодня на англосаксонские политические и финансовые центры. От губительного смешения политических систем, культур, религиозных учений, к которому призывают глобалисты, стремящиеся привести человечество к состоянию однородной, безликой и полностью управляемой массы.

Из века в век наша страна оказывалась главным препятствием для всех, кто стремился к мировому господству. О Россию неизбежно спотыкались любые претенденты на глобальную власть и порабощение человечества – от Батая и Тамерлана до Наполеона и Гитлера. После Великой Отечественной войны наша страна встала на пути американских господ, несущих миру электронное рабство. По сути, “обновлённую” версию фашизма, замешанного на неолиберальных социально-экономических и геополитических теориях. Советский Союз мешал их смертоносному триумфу до того времени, пока СССР и мировая система социализма не подверглись предательскому развалу.

Воинство победителей

Отмечая 75-летие нашей Великой Победы, нужно напомнить молодому поколению героическую историю Отечества.

Начиная с IX века, когда зародилось Российское государство, ему пришлось принимать участие, как минимум, в 70 крупнейших войнах, защищая свою свободу, честь и достоинство. Военные конфликты, которые выпали на долю нашей страны, не поддаются точному подсчёту. Только в период с 1240-го по 1462 год, согласно историческим летописям, насчитывается почти 200 войн и нашествий, которые выдержала Россия. Из 500 лет, прошедших с четырнадцатого века по двадцатый, страна провела в военных сражениях

почти 330 лет. В 1900 году известный русский генерал Куропаткин в своём меморандуме царю писал, что за предыдущие 200 лет Россия была в состоянии войны 128 лет и имела лишь 72 года мира. На протяжении всей своей истории наша Держава постоянно оставалась мишенью внешних противников. Трудная и героическая судьба Отчизны точно отражена в знаменитых словах императора Александра III: “У России нет друзей. Нашей огромности бояться... Во всём свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот”.

Страна, у которой такая судьба, обязана иметь сильную армию. История России всегда была и всегда будет неотделима от её вооружённых сил. Поэтому все величайшие руководители нашей страны – от Петра I до Ленина и Сталина – были не только творцами могучего государства, но и строителями несокрушимой Армии.

Александр Невский, которому было в ту пору всего 20 лет, разгромил шведских захватчиков на Ладого. А через два года провёл блестящее сражение на Чудском озере и обратил в бегство войска Ливонского ордена, вынудив его отказаться от всех ранее завоеванных русских земель.

Благодаря доблести нашего воинства Иван Грозный, принявший престол в 16 лет, уже к 25 годам открыл России дорогу вдоль Волги и Каспия и проложил её путь в Сибирь.

Петр I стал создателем вооружённых сил Российской Империи, пришедших на смену стрелецким полкам и поместным войскам. Он заложил не только основы для формирования в России регулярной армии, но и принципы безусловного уважения к защитникам Родины, которые глубоко впитал наш народ. Не случайно в петровской “Табели о рангах”, ставшей основным законом о государственной службе, военные чины ставились выше гражданских и даже придворных. Любой военный, дослужившийся до звания прапорщика, соотвествовавшего последнему, 14-му классу “Табели”, приобретал право на потомственное дворянство, в то время как у гражданских служащих такое право появлялось только по достижении 8-го классного чина.

Проведя столько лет в сражениях, Россия не ожесточилась. Её армия, в отличие от армий западных стран, никогда не была армией палачей. Её солдаты не воевали за то, чтобы превращать другие народы в рабов, разорять чужие земли и обогащаться за счёт их ресурсов. **Наше воинство никогда не творило того грабежа и вероломства, на котором выросла система мирового капитализма.**

Вспомним слова, которые блестящий русский поэт и дипломат Фёдор Иванович Тютчев произнёс в середине XIX века, когда служил в российском посольстве в Германии и полемизировал с русофобами, уже тогда стремившимися объявить нашу страну “империей зла”: “Пройдитесь по департаментам Франции, спросите, какой солдат из войск противника постоянно проявлял величайшую человечность, строжайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям. Можно поставить сто против одного, что вам назовут русского солдата”.

Соединение огромного мужества и безусловного гуманизма всегда было залогом победных подвигов русского солдата. И своё самое выдающееся выражение оно нашло в Советской стране и в Красной армии, принявшей сражение с фашизмом.

В Великую Отечественную войну наш народ вступил по-настоящему единым. Его сплочённость стала главным фундаментом Победы в мае 1945-го. Эта сплочённость проявлялась решительно во всём. Советское руководство и партия коммунистов полностью разделили судьбу сражающегося народа. Все взрослые сыновья членов Политбюро ЦК ВКП(б) отправились на фронт, многие из них героически погибли. **Единство власти и общества цементировало беспрецедентную национальную солидарность и верно служило делу победы над врагом.**

Можно ли представить себе такое в сегодняшней капиталистической России, управляемой олигархией, которая разоряет страну, а держать банковские счета, лечиться и учить детей предпочитает за границей – на территории наших главных противников?

1941 и 1942 годы оказались для СССР и нашей армии самыми тяжёлыми. Немецко-фашистские полчища стояли у стен Москвы, окружили Ленинград, рвались к Волге. Судьба страны буквально висела на волоске. В этих чрезвычайных условиях советское правительство и партия коммунистов уделяли

первостепенное внимание не только нуждам армии и военной промышленности. Они всемерно крепили убежденность народа в неизбежной победе над гитлеровскими захватчиками. Решению этой задачи служили и лучшие силы отечественной культуры — писатели и поэты, актёры и режиссёры, художники и композиторы, певцы и музыканты. Они создавали великие патриотические произведения, основанные на русских классических традициях. Выступали перед бойцами на линии фронта. В самую лихую годину их творчество поддерживало незыблемую веру в то, что мы одолеем врага.

Особая миссия в деле героизации подвига нашего народа принадлежала советским писателям. По выражению Алексея Толстого, литература стала “истинно народным искусством, голосом героической души народа”. Более тысячи писателей ушли на фронт в качестве военных корреспондентов, политработников, бойцов. Пятьсот из них были награждены орденами и медалями. Восемнадцать удостоены звания Героя Советского Союза. Двести семьдесят пять мастеров слова не вернулись с поля боя.

Советское государство использовало все возможности, чтобы напомнить о героических страницах тысячелетней российской истории. В 1941 году художники Кукрыниксы и поэт С. Я. Маршак создали плакатный образ: на первом плане — солдаты и танки Красной армии, железной стеной преградившие путь фашистам. Над ними, тоже лицом к врагу, фигуры выдающихся полководцев прошлого — Александра Невского, Александра Суворова и Василия Чапаева. Они словно в едином боевом строю с красноармейцами, защищающими Родину. А в нижней части плаката — стихи:

*Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно —
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.*

“Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова”, — сказал 7 ноября 1941 года И. В. Сталин. Эти слова были произнесены с трибуны Ленинского мавзолея на военном параде в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Произнесены гениальным руководителем **государства, сумевшего соединить в себе величайшие идеи, идущие из глубины веков и воплощённые в советском обществе — идею державности и идею социализма.**

С их соединением была открыта новая, самая великая страница русской истории. Родилось, окрепло и достигло невиданных высот Советское государство, о котором его создатель В. И. Ленин с полным правом сказал в 1919 году в своей работе “Великий почин”: “Более демократического, в истинном смысле слова, более тесно связанного с трудящимися и эксплуатируемыми массами государства на свете ещё не бывало”.

Именно в нём наиболее полно и успешно воплотился породивший русскую цивилизацию уникальный синтез лучших черт Запада и Востока. Синтез рвущейся в будущее энергии великих преобразований и духовности, опирающейся на самые сокровенные, вечные ценности — равенство, справедливость, беззаветную любовь к Отечеству.

Русские корни социализма

Верное понимание русской истории в целом и её выдающегося советского периода невозможно без осознания того, что социалистическая идея уходит корнями в христианство. В евангельскую проповедь милосердия, равенства, справедливости, нестяжательства, неприятия лжи и эксплуатации. **Первооснова социалистического миропонимания — в той вере, с принятием которой русские окончательно сложились как единая нация.** И ступили на путь последовательного духовного, культурного, государственного и политического созидания.

На исходе X века, накануне принятия христианства русскими, начался его раскол на западную, Римско-католическую, и восточную, Православную Церковь. Это конфессиональное разделение было связано отнюдь не только

с обрядовыми различиями, как пытаются уверять некоторые историки и пропагандисты. Оно носило глубокий мировоззренческий, ценностный характер.

Западное христианство, сосредоточившееся на блеске внешних ритуалов и бюрократической конструкции папской иерархии, по сути, отринувшее лежащие в основе евангельского учения идеалы: **соборность, непоказное милосердие, заботу о бедных и обездоленных, неприятие идеологии ростовщичества, которую клеймил Христос.** А протестантизм, отпочковавшийся от Римской церкви в середине прошлого тысячелетия, распространившись в англосаксонском мире и на севере континентальной Европы, и вовсе свёлся к проповеди крайнего индивидуализма, заведомого превосходства “избранных”. Он окончательно порвал с первоосновами христианской веры и заложил фундамент капиталистической идеологии, объявив вопиющее социальное неравенство “Божьим Промыслом”, а материальное накопление – высшей добродетелью.

Русский народ изначально избрал Православие, сумевшее сберечь подлинный дух христианства, остаться на заданной им нравственной высоте. На века сохранить приверженность соборности, уникальными воплощениями которой через столетия явились коллективизм и солидарность советского общества.

Противники коммунистов активно используют в своей лживой пропаганде два “разоблачительных” тезиса. Первый из них состоит в том, что партия большевиков, придя к власти, якобы подменила христианскую идею и символику собственной, насильно вытеснила из сознания общества духовные постулаты и смыслы, заменив их политическими и социальными. Другое обвинение, которое бросают нам противники, заключается в том, что идеология коммунистов сама носит характер религиозного поклонения связанным с ней символам и крупнейшим политическим фигурам.

Но истина состоит в том, что реализованная в советском обществе идея – это соединение основополагающих христианских ценностей, перекликающихся с извечной мечтой человечества о справедливости, и политической практики, направленной на воплощение этой мечты в реальность. Нужно говорить не о противоречии социализма христианству, а об **исторически закономерной эволюции народного сознания, миропонимания, морали, коренящихся в Православии, в сторону их политического и социального осуществления. И возможно такое осуществление только в обществе социальной справедливости, в государстве социализма.**

В этой связи представляется глубоко символическим появление изображения Сталина в главном храме Вооружённых сил, построенном к 75-летию Победы в подмосковной Кубинке. Оно вызвало возмущение известных функционеров, по сути, превративших антикоммунизм в свою профессию. Но на истерию, которую они попытались развязать, дали достойный ответ честные и принципиальные представители Церкви. Так, глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, объясняя, почему он ни за что не согласится отдать распоряжение убрать изображение руководителя Советской страны-победительницы из храма, справедливо заявил: “Я не имею прав и полномочий вырывать страницы из Книги Истории”.

Известно, кстати, что изображения генералиссимуса уже давно появляются на так называемых неканонических иконах – таких, например, как «Встреча Сталина и Блаженной Матроны Московской». Это и есть волеизъявление православного русского народа уже в начале XXI века.

Нельзя не вспомнить и о состоявшейся в сентябре 1943 года встрече Сталина с митрополитами Русской Православной Церкви. Она имела большое историческое значение, способствовала ещё большему укреплению национального единства в суровые военные годы.

Основы политической идеологии коммунистов были впервые сформулированы не в России. Они провозглашены Марксом и Энгельсом в “Манифесте Коммунистической партии”. Но **именно наша страна и русский народ приняли их не просто как идеологию, а как национальную идею. Они были подготовлены к этому веками своего развития. Вот в чём одна из ключевых причин того, что социализм впервые победил на российской земле.** Для этой победы была необходима та социальная и мировоззренческая почва, о которой Достоевский в “Дневнике писателя” так сказал за четыре

с лишним десятилетия до Октябрьской революции: “Высшая и самая характерная черта нашего народа – это чувство справедливости и жажда её”.

Вот что делает социалистическую идею особенно близкой русскому миру. Вот что предопределяет присущую искренним сторонникам социализма приверженность важнейшим ценностям – равенству, нестяжательству, коллективизму, неравнодушию к ближним, ответственности за страну и состояние общества, понимаемой как личная ответственность. У настоящих коммунистов, у последовательных борцов за социализм эта приверженность действительно сродни религиозной, что и стало залогом колоссальных советских свершений. Без этого не были бы возможны ни Великая Победа в 1945-м, ни выдающиеся социальные и экономические достижения Страны Советов, ни прорыв нашей Державы в Космос.

Как и нынешняя власть, те, кто правил дореволюционной Россией, оказались не в состоянии осознать неукротимое стремление русской души к справедливости и её настойчивое сопротивление капитализму. Они жестоко поплатились за свою глухоту. Вот урок, который давно следовало усвоить сегодняшним правителям. Но они упорно не желают этого делать. Не хотят осмыслить судьбу собственной страны, характер и психологию русского человека.

На протяжении всего XIX века общественные, межклассовые противоречия в России нарастали, несмотря на отчаянные попытки государства взять развитие ситуации под контроль. Ни “великие реформы” Александра II, ни “контрреформы” Александра III, ни учреждение Государственной Думы Николаем II не спасли от социальных катаклизмов. Романовская монархия завела страну в тупик. Сменившее её буржуазное Временное правительство не смогло вывести Россию из кризиса. Более того, оно беспомощно взирало на начавшийся процесс её распада. **Только партия большевиков смогла сделать так, чтобы обломки разорванной в клочья монархии не похоронили под собой и саму страну.**

Национальная элита Российской Империи не сумела выполнить свою главную функцию – обеспечить народу приемлемый уровень благосостояния и социальной справедливости. И была закономерно сметена революционной волной 1917 года – волной Великого Октября. Эту волну подготовило революционное движение XIX века, ставшее ответом русского общества на прогрессирующее перерождение правящего класса, на неспособность верховной власти удержать страну в рамках её самобытного некапиталистического пути.

Грядущие результаты деятельности этого движения ещё в конце 60-х годов XIX века предугадал русский социолог, один из главных идеологов панславизма Николай Данилевский. В своей книге “Россия и Европа” он написал: “На русской земле пробивается новый ключ справедливо обеспечивающего народные массы общественно-экономического устройства”. Речь тут, разумеется, шла не о том, к чему стремилась власть. Речь шла о том, к чему, вопреки её воле, настойчиво стремился народ.

Пока государство было способно хотя бы замедлить капитализацию России, у страны оставался шанс на мирное, эволюционное развитие. Когда же Российская империя под руководством вырождающегося дворянства и прозападно настроенной бюрократии окончательно изменила своему историческому призванию, откровенно ступив на путь капитализма и военного передела мира, грянула Октябрьская революция. Как признал вскоре после неё богослов Павел Флоренский, в нашей стране победила “идея общежития, единомыслия и экономического единства – называется ли оно по-гречески киновия или по-латински коммунизм, – всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней, как заповедь жизни”.

Социализм и советская власть стали для России новой исторической формой многовековой русской идеи, не только сохранив, но впервые воплотив на деле то, что является в ней главным: альтруизм, коллективизм, жажду справедливости, готовность к жертвенному служению во имя высших идеалов – всё то, что находится в непримиримом противоречии с капитализмом и ужиться с ним не может, делая его несовместимым с русской цивилизацией.

Вопреки стремлению правящего класса, вошедшего в противоречие с основополагающими законами этой цивилизации, она проторила дорогу в новый, социалистический мир. Заново собрала Российскую Державу под

знаменем Советского Союза. Коренным образом изменила историю всего человечества. Это стало вторым после создания Российской империи великим историческим завоеванием русского мира. И самым выдающимся результатом его тысячелетнего развития.

Советская власть и национальная гордость

Ещё один тезис, особенно популярный среди тех антисоветчиков, которые пытаются рядиться в патриотические одежды, заключается в том, что социализм и советская власть с их приверженностью интернационализму якобы враждебны патриотизму. В том числе – патриотизму русскому. А капиталистическая система никак не ущемляет патриотические чувства и даже всячески поощряет их. Это безусловная ложь.

Капитализм отождествляет национальные интересы исключительно с интересами господствующего класса, эксплуататорского меньшинства нации, что хорошо видно на примере той версии патриотизма, которую сегодня предлагает обществу российская официозная пропаганда, ставя знак равенства между патриотизмом и поклонением правителям. Стремясь увековечить классовое разделение общества, капитализм тем самым стремится и к увековечиванию внутринационального раскола. Разделяя мир на нации-эксплуататоры и нации-пролетарии и проводя классовое разделение внутри отдельных стран, капиталистическая система разжигает как внешнеполитические противоречия, так и напряжённость внутри государств.

В XXI веке капитализм приобрёл свою завершённую антинациональную форму в лице глобализма, кровно заинтересованного в интеллектуальной, культурной и языковой унификации. Для него сознание людей, их культура и язык – не более чем функция капитала. Как и сам человек, его личность. Всё, что не соответствует этой функции, должно быть, согласно идеологии глобалистов, вытравлено из человечества. Поэтому целью становится подчинение всех национальных культур единому космополитическому и, по сути, антикультурному стандарту.

Ради него глобалисты готовы использовать самые изощрённые технологии цифрового порабощения. В их числе – негласная массовая чипизация, к которой они со временем могут прибегнуть под предлогом обязательной прививки от коронавируса. У идеологов цифрового фашизма есть союзники среди владельцев крупнейших корпораций, руководителей банков и высокопоставленных чиновников, в том числе и в нашей стране.

Талантливый кинорежиссёр Никита Михалков недавно напомнил об этом в своей телепрограмме “Бесогон”, выпуск которой был назван так: “У кого в кармане государство?” Ответную реакцию телевизионного начальства и его “командиров” из высоких чиновничьих кабинетов сам автор справедливо охарактеризовал как “истерический страх”. Они прибегли к откровенной цензуре, сняв программу с эфира. Тем самым “пятая колонна”, представители которой были названы в телепередаче, с головой выдала себя и подтвердила: Михалков угодил точно в цель!

В отличие от капитализма, социализм изначально нацелен на ликвидацию той почвы, на которой возникают межнациональные противоречия и конфликты. Он создаёт предпосылки для сближения закончивших с классовым расколом наций на основе сотрудничества и взаимообогащения, что в корне отличается от национальной и культурной унификации, которую давно навязывает капитализм. Поэтому абсолютно безосновательным является противопоставление патриотизма и интернационализма, противоположного по своей сути антинациональному капиталистическому космополитизму.

Ещё до своего прихода к власти **большевики рассматривали будущее советское государство именно как соединение социалистического и патриотического идеалов. Тех важнейших идеалов, которые в равной мере неотъемлемы от русского народа и воплощение которых является непременным условием его благополучия.**

Почти за три года до революции, в декабре 1914-го Ленин ясно высказался по этому поводу: “Интерес не по-холопски понятой национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских и всех иных пролетариев”. Статья будущего создателя Советского государства,

в которой прозвучали эти слова, так и названа “О национальной гордости великороссов”, то есть русских. Мог ли Ленин во всеуслышание говорить о ней, если бы идеология социализма противоречила русскому патриотизму, русскому национальному чувству?

Да, историческим фактом является и то, что в первые послереволюционные годы активную роль в советской политике, общественной жизни, культуре стремились играть троцкисты, проникнутые антирусскими настроениями и нигилистическим отношением к истории и духовному наследию нашей страны. Некоторые из них такие настроения маскировали. Другие открыто договаривались до того, что необходимы акты “исторического возмездия” по отношению к русским как к “имперской нации”. Понижение их статуса и прав по отношению к другим народам, которое нужно закрепить на законодательном уровне. Но такие попытки были решительно отринуты советским государством и потерпели абсолютный крах.

Разоблачая антирусские идеи троцкистов, Сталин прямо заявлял: “Говорят нам, что нельзя обижать националов. Это совершенно правильно, я согласен с этим — не надо их обижать. Но создавать из этого новую теорию о том, что надо поставить великорусский пролетариат в положение неравноправного в отношении бывших угнетённых наций, — это значит сказать несообразность”.

Сегодня таких “несообразностей” пруд пруди. Их активно используют русофобы, противники единения народов. Они продолжают раздувать антироссийскую истерию на Украине. Пытаются распространить её бациллы в братской Белоруссии. Клеймят мужественный исторический выбор жителей Крыма и Донбасса. Но их подлая деятельность обречена на поражение. Об этом убедительно напоминает опыт партии большевиков.

Для преодоления прошлых издержек и расколов при Сталине были целенаправленно предприняты важные шаги. С начала 1930-х годов в СССР категорически осуждались попытки изображать досоветскую историю России лишь как смесь отсталости, угнетения и агрессивных феодальных войн. Правители страны, её полководцы и дипломаты представляли со страниц школьных учебников и литературных произведений яркими, живыми и многомерными личностями. Подчёркивался факт непрерывного исторического развития Киевской и Московской Руси, петровской России и Советской страны.

А после Победы Сталин открыто заговорил о том, что решающая заслуга в её достижении принадлежит русским. Не уставал напоминать о том, на чём твёрдо настаивает КПРФ, что прописано в нашей программе и что мы требуем безоговорочно отразить в Конституции: **русские — это государствообразующий народ, у которого в нашем Отечестве предначертанная Историей центральная, объединяющая роль.**

При этом создатели Советского государства ясно осознавали истину, из которой исходит в своей идеологии и политике наша партия: **отличие русского патриотизма, вытекающее из уникальных особенностей отечественной истории и русского сознания, состоит в его антикапиталистической и антибуржуазной направленности.**

Великие последствия воплощения этой истины в практике Советского государства признавали даже те, кто после Октября разошёлся с советской властью и покинул Родину. Вот что говорил о Советской стране философ Николай Бердяев в своей книге “Истоки и смысл русского коммунизма”, изданной в 1938 году во Франции, где он жил после эмиграции: “Появилось новое поколение молодёжи, которое оказалось способно с энтузиазмом отдаться осуществлению пятилетнего плана, которое понимает задачу экономического развития не как личный интерес, а как социальное служение... Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского народа. В этом её главный смысл”.

Сегодня справедливую мысль философа можно продолжить: в этом и главная причина того, почему в сознании ненавистников русского народа враждебность к нему так тесно переплетена с антисоветизмом, с зоологическим неприятием социализма.

Идеология суверенитета

Великая Отечественная война, в которой Советская Держава сумела победить и спасти весь мир от гибели, в полной мере доказала верность пути, избранного коммунистами, советским руководством и поверившим ему народом.

Об этом проникновенно сказал Сталин в 1945 году в своём знаменитом тосте, посвящённом русскому народу.

После Победы наша страна создала новое геополитическое пространство – Социалистическое содружество во главе с Советским Союзом. Реализовалась геополитическая и экономическая модель, которая явилась выдающимся соединением двух традиционных русских концепций: имперской с её идеей государственной самодостаточности и панславистской, основанной на идее славянского Большого пространства.

Сталинская политика ускоренной индустриализации была призвана не просто обеспечить подъём экономики, но создать самодостаточную, независимую от внешней конъюнктуры хозяйственную систему. Таким образом, **индустриализация решала и главную политическую задачу обеспечения безоговорочного суверенитета и его защиты от любого противника. Задачу, всегда являвшуюся ключевой для русских и в полной мере решённую только в советскую эпоху, когда Россия вырвалась из-под порабощающего влияния капитализма, который, по сути, колонизирует все народы, живущие по его законам.**

Связь советской социально-экономической модели с идеей достижения подлинного национального суверенитета Сталин блестяще показал на XIV съезде ВКП(б), прошедшем в 1925 году, вскоре после того, как он возглавил СССР. Вот его слова: “Мы должны сделать нашу страну страной экономически самостоятельной, независимой, базирующейся на внутреннем рынке... Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую схему капиталистического развития как её подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны”.

Советское государство в полной мере осуществило этот мудрый призыв, которому сегодня наследует программа КПРФ. И тем самым доказало, что является подлинным воплощением идеала русской государственности. А Сталин тогда, в 1925-м предостерегал именно от того, что случилось с нами на исходе XX века в результате отказа от социализма. От того, что нанесло удар по нашему суверенитету, по величайшим достижениям в истории России и русского народа. И породило тот системный кризис, в тисках которого страна остаётся по сей день.

Здесь в пору снова вспомнить уроки Истории – уроки социально-экономические.

В период с 1885 по 1913 годы темпы роста национального дохода составляли в России в среднем 3,4% ежегодно. С 1914-го по 1920-й, когда страна пережила две подряд тяжелейшие войны, – Первую мировую и гражданскую, – происходило закономерное падение национального дохода в среднем на 11,7% в год. Но уже в следующие 8 лет, **в период Ленинского НЭПа, эти плачевные показатели сменились ростом, доселе невиданным не только для нашей, но и для мировой экономики – на 12,7% ежегодно. В 1929–1940 годах, когда развернулась Сталинская индустриализация, ежегодный рост национального дохода оказался еще более ошеломительным – 14,5%, то есть более чем вчетверо превысил показатели самых благополучных дореволюционных лет.**

Новая экономическая политика 1920-х годов, введённая большевиками, опиралась на модель восстановительного роста разорённой страны, которая понесла огромные человеческие и экономические потери. Эта модель доказала способность коммунистов противостоять любому кризису и их верность своему слову. Ленинская партия сдержала обещание, данное народу: под её руководством страна вышла на принципиально более высокий уровень развития, чем дореволюционная Россия.

Сталинская индустриализация, опиравшаяся на фундамент экономических и социальных достижений первых советских лет, – это уже модель опережающего развития. Модель, нацеленная на то, чтобы вывести страну, где ещё 15 лет назад более половины граждан не умели читать и писать, в число мировых лидеров по всем важнейшим показателям. И к началу 1940-х годов этого удалось достичь, несмотря на колоссальное внешнее давление противников

Советского государства, невзирая на объявленные ему международные санкции, которые были ещё более жёсткими, чем сегодняшние.

Сталин оставил после себя страну, где к середине 50-х годов национальный доход вырос по сравнению с концом 1920-х в 14 раз, где промышленность росла в среднем на 12,3% каждый год. А за вычетом военных лет – на 19%. Внешний долг был погашен полностью. По золотовалютным резервам СССР вышел на второе место в мире. Мы стали первыми в Европе по абсолютным размерам промышленного производства, первыми в мире по удельному весу машиностроения в промышленности и по механизации сельского хозяйства. Советской Державе была обеспечена полная технико-экономическая независимость. Стремительно развивались самые передовые, высокотехнологичные отрасли: атомная, космическая, авиастроительная, приборостроительная, радиотехническая, электронная. Это было обеспечено блестящим развитием в Стране социализма инженерной и научной школы мирового уровня, высококлассного и при этом бесплатного образования и здравоохранения.

Средняя продолжительность жизни выросла с 1929-го по 1955-й на 23 года. Население России увеличилось на 40 миллионов. Прежде всего – благодаря стремительному росту численности русских. И это несмотря на страшные потери, понесённые во время Великой Отечественной войны, унесшей 27 миллионов жизней советских граждан, 20 миллионов из которых принадлежали к русскому народу.

Безостановочно росло благосостояние людей. Реальная заработная плата за это время увеличилась более чем в 4 раза, общая сумма вкладов в сберкассах – в 5 раз. При этом цены в СССР постоянно снижались – не в пример капиталистической экономике, закон которой гласит: по мере роста доходов растут и цены, что, по сути, сводит на нет формальное увеличение зарплат трудящихся.

Вот только один пример из советской истории, на фоне которого ещё более вопиющей выглядит сегодняшняя социально-экономическая политика, несущая народу безостановочное обнищание: в период с 1947-го по 1954 годы совокупное снижение цен на промышленные товары и продукты питания составило в СССР 2,3 раза.

Такого колоссального экономического и социального скачка, какой Советская страна продемонстрировала менее чем за три десятилетия, не знало ни одно государство в истории человечества и ни одна система, кроме социализма. В основе этого гигантского успеха лежали три важнейших фактора: **мудрое стратегическое планирование, масштабные государственные инвестиции в развитие и справедливое распределение национального дохода в интересах государства и граждан. А значит – в интересах русского народа, составляющего в государстве абсолютное большинство.**

В политике сегодняшней власти эти факторы отсутствуют начисто. В результате страна не может не только перейти к модели опережающего развития, но и реализовать модель восстановительного развития, преодолеть последствия разгрома мощной и самодостаточной советской экономики.

Сегодня восстановительная модель должна выражаться, прежде всего, в возвращении финансовой и производственной базы в руки государства и народа. **Только вырвав финансовую систему и стратегически важнейшие отрасли из-под контроля баснословно богатейшей олигархии можно заставить их работать уже на опережающее развитие, на обеспечение технологического прорыва и экономической независимости Державы. В этом состоит суть программы КПРФ, которой не может быть альтернативы, если мы не на словах, а на деле хотим поднять с колен Россию. И обеспечить достойную жизнь каждому гражданину.**

Но тем, кто управляет нашей экономикой, такая задача чужда. Они продолжают кормить общество байками о том, что социалистическая модель не оправдала себя. И что “перестройка” второй половины 1980-х, переросшая в геополитическую и социальную катастрофу, была якобы продиктована кризисом советской экономики и назревшей необходимостью вернуться к капиталистическим принципам. Но это подлая ложь.

В те годы, когда КПСС возглавлял Л. И. Брежнев, а советское правительство – А. Н. Косыгин, социально-экономическая система продолжала успешно развиваться. Были созданы целые отрасли отечественной экономики,

построены крупнейшие предприятия, многие из которых продолжают работать и сегодня. Уровень благосостояния и социальной защищённости граждан повышался, СССР превратился в великую космическую, научную и промышленную державу. И оставался ею до тех пор, пока кучка отъявленных предателей и корыстолюбцев не толкнула страну под предлогом “перестройки” на путь разрушения.

В 1987 году на долю СССР приходилась пятая часть мирового промышленного производства, в то время как доля сегодняшней России в нём почти в 10 раз меньше. В нашей стране в расчёте на каждого гражданина, производилось в 4,5 раза больше промышленной продукции, чем в среднем в мире. Если в США темпы роста национального дохода составляли около 3% в год, то в СССР – более 4%. По темпам роста производства промышленной продукции мы в середине 1980-х превосходили Америку вдвое – 5,3% против 2,6%. По продолжительности жизни мы в то время тоже были впереди.

И это система, которую нужно было демонтировать вместо того, чтобы её модернизировать и укреплять? Это система, от которой нужно было отказаться? Только откровенные враги нашей страны, русских и всех народов, населяющих её, могут утверждать такое. Но они не стесняются лгать и поливать нашу историю грязью. И тому есть очевидные причины.

Антисоветский альянс русофобов

За антисоветскими суждениями почти всегда скрывается русофобия. Она присуща практически всем, кто демонстрирует враждебность нашему прошлому, идеологии социализма. Даже те из них, кто пытается изображать из себя патриотов, радетелей за интересы русского народа, якобы ущемлённые с приходом советской власти, на поверку оказываются теми же русофобами, глубоко презирающими народ, его историю и его достижения.

Советская история связана с утверждением первого в мире государства, основанного на принципах социальной справедливости, с победой нашей страны в самой страшной войне, с великим и беспримерным подвигом индустриализации, колоссальными экономическими, научными, культурными и социальными достижениями. **Это и есть история высочайшего подъёма русского народа. Подъёма, в котором проявились его воля и безграничные созидательные способности.**

В этом одна из главных причин того, почему так ненавидят советскую идею и советскую историю профессиональные антикоммунисты, абсолютно-му большинству которых глубоко чужд и враждебен и русский народ. **Достаточно проанализировать содержание пропагандистских выступлений антисоветчиков и деяния тех, кто настойчиво нападает на наше прошлое, чтобы убедиться: все они одновременно и русофобы.**

Это они не устают вещать о “рабской сущности” русского народа, давшего человечеству множество бесстрашных героев, внесшего колоссальный вклад в мировую науку и культуру. Они кричат с экранов и со страниц печатных СМИ, что идеалом русских всегда было тоталитарное государство, представляющее собой бесконечный ГУЛаг. Они стремятся представить русского солдата-освободителя захватчиком и поработителем “свободной Европы”.

Именно о таких, как они, сказал ещё в 1844 году поэт Николай Языков в своём прекрасном стихотворении “К не нашим”, заклеившем тогдашних русофобствующих западников:

*Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —*

*Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещения.
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!*

Метафора “святотатственных снов”, использованная поэтом, подразумевает помутнённое сознание и граничащую с бредом ложь, которую оно порождает. Его носители, настойчиво призывая к уважению и толерантности, когда дело касается их самих, позволяют себе откровенные оскорбления в адрес русских. И настойчиво стремятся посеять враждебность между ними и другими народами нашей страны и бывших советских республик. При этом действуют они практически безнаказанно, не встречая решительного отпора со стороны власти. **Деятельность пропагандистов, разжигающих антисоветизм и русофобию, опирается на поддержку высокопоставленных чиновников**, которые предпочитают не демонстрировать такие же настроения открыто, но в глубине души разделяют их.

Это в полной мере подтверждает состоявшееся в 2015 году открытие в Екатеринбурге Ельцин-центра, на строительство которого были потрачены миллионы долларов. Оно стало издевательским и самым злобным плевком в лицо нашему народу. Но власть не намерена на этом останавливаться и собирается перенести Ельцин-центр в столицу России. КПРФ решительно заявляет: мы не позволим осуществить эту кощунственную акцию!

Наследие ельцинских девяностых, которому по-прежнему привержена сегодняшняя “элита”, – это разрушение промышленности и сельского хозяйства, разгул криминала и коррупции, внешнеполитические провалы и потеря союзников, деградация отечественной культуры, нищета десятков миллионов граждан и **фактическая легализация политики истребления русского народа, страшные результаты которой мы продолжаем пожирать**.

В наши дни системный кризис испытывает на прочность всё более нестабильный мир. Два предыдущих подобных кризиса закончились мировыми войнами. И сегодня враг не намерен ограничиваться лишь экономической и информационной войной, давно развёрнутой против России.

Наговские “псы-рыцари” откровенно бряцают оружием у наших границ, публично обсуждают перспективы нового “дранг нах остен”. Нас всё плотнее окружает кольцо фронтов. Заокеанские провокаторы продолжают хозяйничать на Украине. Их бандеровская обслуга регулярно пытается обострить ситуацию на границе с Крымом и на Донбассе. Русофобские режимы в Прибалтике и Восточной Европе не прекращают гнусный шабаш на могилах советских воинов. Так реализуется глобальная стратегия США и их поделщиков, рассматривающих новую большую войну как последний козырь в борьбе за сохранение власти транснационального капитала. Той власти, которая вызывает всё более активный протест на всех континентах.

Для отражения растущих внешних и внутренних угроз России крайне важна консолидация общества. Но нынешний курс, густо замешанный на русофобии и антисоветизме, убивает возможность единения, рушит любую перспективу национального сплочения.

Возрождение России – наша судьбоносная задача. Осознать это призван каждый из нас. Для победного движения вперёд необходима твёрдая почва под ногами. Но она может быть только у такой страны, для которой священно бережное отношение к Истории и к государствообразующему народу, являющемуся её духовным, социальным и демографическим стержнем.

Вопреки этому, **вдохновители политики, которая проводится у нас, настойчиво стремятся лишить русских национальной самоидентификации, растворить их в каком-то безликом мифическом “россиянстве”**, идея которого была поднята на щит в годы ельцинского погрома Державы и активно используется нынешней властью. Одно из доказательств тому – ликвидация упоминания о национальной принадлежности в паспорте нового образца. Те, кто внимательно вникал в аргументы авторов этой “новации”, не могли не понять: она направлена, прежде всего, против русских и основана на русофобских мотивах.

Опора на родную историю исключительно важна в периоды испытаний. На излёте Советского Союза эта истина была попрана, и противники смогли

взорвать наше Отечество. Для подрыва его фундамента активно использовали всё то же оружие – антисоветизм и русофобию. В наше время оно способно принести не менее страшные результаты, посеять не менее разрушительный хаос, чем в конце прошлого века.

Мы не вправе забывать бессмертный завет Александра Сергеевича Пушкина: “Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие”. Он напоминает нам о необходимости изжить гнусности антисоветизма и русофобии, защитить культурно-нравственные ценности, оградить общество от пропаганды насилия и пошлости.

К этому все активнее стремится наш народ. Именно поэтому он так дружно приветствует возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань. Поддерживает антибандеровскую борьбу Донецка и Луганска и миротворческие действия российских вооруженных сил в Сирии. Уверенно встает в ряды “Бессмертного полка”, поднимает на щит советские ценности.

Среди требований КПРФ и наших программных тезисов особое место занимает призыв к очищению информационного пространства от грязной лжи, искажающей нашу историю. От истерии, оскорбляющей достоинство народа-победителя, которому нынешняя система предательски “отплатила” за его жертвы нищетой, грабежом и вымиранием, спровоцированным проамериканским курсом. Обществу необходимо осознать: очиститься от чиновников и пропагандистов, глумящихся над нашим Отечеством и русским народом, страна сможет только под руководством коммунистов и только при условии реализации патриотической программы возрождения.

Колониальная изнанка “независимости”

В 1812 году прусский военачальник и военный теоретик Карл Клаузевиц временно перешёл на русскую службу. Он бесконечно презирал Наполеона, жаждал его краха и хотел лично помочь России, когда наполеоновская армия бросила ей вызов. Близко узнав нашу страну, русских солдат, генералов и представителей власти, Клаузевиц сделал вывод: “Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать; по крайней мере, этого нельзя сделать силами современных европейских государств. Такая страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров”.

Справедливость этого вывода полностью подтвердила История.

Российское государство росло и крепло, пока у него хватало сил идти по пути самобытного развития, сохранять свою уникальную цивилизацию, следовать собственным историческим путём, пусть и заимствуя при необходимости лучшие достижения соседей, но не смешиваясь с ними, не допуская господства чужеродных идей и ценностей в душах и умах соотечественников.

Любое отступление от этого золотого правила оборачивалось неминуемой смутой. Государство утрачивало эффективность и прочность. Общество, раздираемое внутренними противоречиями, превращалось в источник бесконечных политических и идеологических конфликтов. Ясное национальное самосознание народа меркло на фоне безначалия и бушующих страстей. Так было в начале XVII века, когда боярство едва не разорвало Русь между Польшей и Швецией. Так случилось и в конце XX столетия, когда номенклатурные перерожденцы начали плясать под дудку зарубежных противников нашей страны и социализма. **Развалили СССР в погоне за либеральными “прелестями” Запада, которые для абсолютного большинства наших граждан обернулись бесчисленными бедами и лишениями, а для русского народа – крупнейшей геополитической, социальной, демографической и моральной катастрофой в его истории.**

На фоне этой катастрофы только откровенные лжецы и безумцы могут утверждать, что ликвидация Советского Союза принесла России и русским независимость и национальное освобождение. Правда в том, что **уничтожение СССР открыло дорогу к их фактической колонизации.**

Декларация о государственном суверенитете, принятая в июне 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР, стала одним из главных шагов на пути

к развалу Советского государства. **Провозглашение в начале 1990-х “суверенитета” России явилось предвестником тех процессов, которые как раз и привели к фактической утрате нашей страной суверенности.** К тому, что Россия была включена в неоколониальную систему глобального капитализма. И не на правах могучей самостоятельной державы, а на правах сырьевого придатка и обворованного “партнёра”.

Нужно честно признать: **именно русские платят самую тяжёлую цену за авантюрную и, по сути, преступную политику, навязанную стране “демократами-победителями”.**

В марте 1991 года абсолютное большинство советских граждан высказалось за сохранение СССР. Но в декабре того же года их воля была незаконным образом пограна беловежскими заговорщиками во главе с Ельциным, опьянённым алкоголем, властью и похвалами заокеанских опекунов. Объявив о прекращении существования Советского Союза, они совершили одно из самых мерзких политических преступлений в истории человечества. Прежде всего, это преступление против русских, сопоставимое по своим масштабам с теми, которые творили против них самые подлые иноземные захватчики.

Но и сегодня власть не желает до конца признать это, дать справедливую правовую оценку совершённой тогда незаконной и привлечь к ответу тех, кто в нём участвовал. Потому что в этом случае придётся наказывать и многих из тех, кто по-прежнему вхож в коридоры власти, прибрал к рукам целые отрасли промышленности, командует русофобскими и антисоветскими СМИ.

В результате предательского разрушения СССР русский народ стал крупнейшим разделённым народом в мире. Вне границ России оказались 25 миллионов его представителей, живших в других союзных республиках, против своего желания оказавшихся за границей.

Россия, Украина и Белоруссия в одночасье были превращены заговорщиками в отдельные государства. В результате **единая русская цивилизация оказалась разорванной на три части.** Для каждой из них последствия такого разделения разрушительны и в экономическом, и в демографическом, и в культурном смысле. Вопрос о новом воссоединении славянских республик связан отнюдь не только с восстановлением утраченного геополитического статуса России. Вопреки утверждениям наших недругов, он не исчерпывается исключительно российскими интересами. Это вопрос жизнеспособности всех трёх республик и населяющих их народов, накрепко связанных общими корнями, которые не могут быть разорваны никакими противниками и никакими временными разногласиями.

Восстановлению полноценного союза России, Украины и Белоруссии помешало, прежде всего, отсутствие должной политической воли со стороны российского руководства. Именно это в конечном счёте развязало руки проамериканской бандеровской клике, захватившей власть в Киеве в 2014 году. Именно это провоцирует сегодня процессы, грозящие недопустимым охлаждением в отношениях между Россией и Белоруссией. Эта политика должна быть немедленно изменена.

Русские превращены в наиболее стремительно убывающий народ на планете. И это случилось, казалось бы, в мирную эпоху. Но можно ли назвать её по-настоящему мирной, если утвердившаяся в России социально-экономическая система представляет собой самую настоящую войну против народа, о миллионах жертв которой свидетельствует статистика?

Бюджетный кодекс предусматривает, что соотношение между доходами, поступающими в федеральную казну, и доходами региональных бюджетов должно составлять 50% на 50%. На деле же это соотношение грубо нарушается, из года в год существенно колеблется в пользу федерального бюджета. И обкрадываются при этом, в первую очередь, коренные русские регионы.

Там сегодня наблюдается самая масштабная демографическая катастрофа. Это обязывает руководство страны оказать наиболее существенную финансовую поддержку именно им. Но власть проводит прямо противоположную бюджетную политику. **Более щедро дотируются из казны не вымирающие русские регионы, а как раз те, где наблюдается самая высокая рождаемость и рост населения. По сути, реализуется, хотя и негласно, идея об ущемлении классических русских регионов.**

Затевая приватизацию в начале 1990-х, власть полностью игнорировала интересы абсолютного большинства и вовсе не ставила перед собой задачу

развития российской экономики. Задача была принципиально иной: разворовать государственную и народную собственность, ключевая роль в создании которой принадлежит русским, и передать её в руки криминальным нуворисам, приближенным к новоявленным правителям, сформировать олигархический класс новых хозяев России, где *русским духом* и не пахнет, а господствует лишь дух наживы.

Процитирую фрагмент экспертно-аналитического заключения Счётной палаты РФ о приватизации государственной собственности за период 1993–2003 годы: “На основании выявленных и доказанных фактов необходимо в судебном порядке обеспечить восстановление прав законного собственника – государства. Речь может идти о безусловном возвращении государству незаконно приватизированного имущества”. Как следует из этого заключения, главное контрольное ведомство признало приватизацию преступной. Но те, кто управляет страной, по-прежнему не желают пересмотреть её криминальные итоги, хотя этого требует абсолютное большинство граждан, что неоднократно подтверждали социологи.

Итог бандитского процесса формирования класса новых “хозяев” России – устранение трудового народа от собственности, созданной его усилиями. К крупной частной собственности капитализм народ не подпустил и никогда не подпустит. А государственную у него украли, тем самым лишив его важнейшего материального источника благополучия и безопасности.

Россия на треть покрывает потребности Европейского континента в газе, способна давать 500 миллионов кубометров возобновляемых лесных ресурсов, формирует четвертую часть алмазного рынка планеты. Богатства нашей страны и её доходы базируются на собственности, созданной, в первую очередь, усилиями русских, на трудовых ресурсах, большая часть которых формируется русскими, на ресурсах природных, которые даёт земля, где основное население – русские. И по законам справедливости, и с юридической точки зрения **на русский народ должна приходиться пропорциональная, сообразная доля получаемого в итоге национального дохода. Так было в советские годы. Но в условиях капитализма этот принцип преступным образом перечёркнут. Народ, создавший Российское государство и обеспечивающий большую часть его национального богатства, стараниями новых “хозяев жизни” превращён в самый нищий, обездоленный и обворованный.**

Те, в чьи руки попало созданное в советские годы достояние народа и государства, либо уничтожили его, либо превратили в источник безудержного личного обогащения. Российские богачи, пользуясь покровительством власти, за последние 25 лет вывели в иностранные банки и офшоры не менее триллиона долларов. По нынешнему курсу это почти четыре федеральных бюджета. На эти деньги можно было удвоить расходы государства на образование, науку и здравоохранение, утроить пенсии, стипендии и зарплаты. Но власть молчит об этом и продолжает потворствовать разграблению страны.

Россия и русский народ заплатили за это уничтожением бессчётного числа производств, тысяч заводов и фабрик, потерей миллионов рабочих мест, самой настоящей колонизацией финансовой сферы и экономики, посаженной на сырьевую “иглу” и тотально зависимой от импорта. Это несёт колоссальную угрозу национальной безопасности в условиях нарастающей враждебности со стороны наших так называемых “партнёров”.

Пока такой колонизации не будет положен конец, даже самая успешная внешняя политика не сможет обеспечить государству и гражданам безопасность и независимость. **Но те, кто правит нами сегодня, ведя настойчивую полемику с Западом на внешнеполитической арене, ничего, по сути, не делают для того, чтобы освободиться от финансово-экономической оккупации, очевидной внутри России.**

В результате доля иностранного капитала в российской добывающей промышленности составляет более 55%, а в обрабатывающей – около 40%. В энергетическом машиностроении она достигает 95%, в оптовой и розничной торговле – почти 90%, в цветной металлургии – 76%, в химической промышленности – половины, в электротехнической промышленности и в производстве нефтепродуктов – 43%, в пищевой, текстильной и фармацевтической промышленности – более четверти.

Изменить эту ситуацию, грозящую стране и обществу катастрофой, может только реализация программы КПРФ. Программы, предполагающей **отстранение олигархии от управления стратегически важными отраслями, пересмотр преступных итогов приватизации и привлечение её организаторов к ответственности**, использование федерального и региональных бюджетов, которые существенно пополнятся благодаря этим мерам, для принципиального увеличения инвестиций в промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу, запрет на вывоз капитала из России, льготное кредитование национальных производителей с процентной банковской ставкой ниже уровня инфляции, **повышение минимального размера оплаты труда, пенсий и социальных выплат минимум вдвое**, всестороннюю поддержку и постоянное расширение числа народных и коллективных предприятий, эффективность которых успешно доказывают наши соратники, талантливые руководители П. Н. Груднин, И. И. Казанков, И. А. Богачёв, И. А. Сумароков и многие другие.

Это единственная программа, которая сегодня соответствует национальным интересам всех народов нашей страны. И только противники этих интересов могут её отвергать.

Эпидемия капитализма

Развал социалистической системы нанёс колоссальный урон отечественной экономике и социальной сфере. Его результатом стало то, что в 1990-е национальный доход сокращался в среднем на 5,7% ежегодно – существенно, чем в начале Великой Отечественной. В первые два десятилетия XXI века наша экономика либо продолжала падать, либо демонстрировала “рост”, не выходящий за пределы статистической погрешности. То есть болталась в районе нулевого роста, стагнировала.

За ликвидацией СССР последовал разгром национальной промышленности и практически полный отказ государства от социальных обязательств перед гражданами. Миллионы людей стремительно нищают и погружаются в долговую яму, в то время как **два десятка главных российских миллиардеров увеличивают своё суммарное состояние на 1,5 триллиона рублей каждые полгода, почти на 300 миллиардов за месяц, на 9,5 миллиарда за день и на 400 миллионов за час**. Таковы данные, опубликованные агентством “Блумберг”.

В 2020-м новый виток кризиса, к которому Россия не смогла достойно подготовиться, привёл к тому, что стремительное падение экономики возобновилось. Ускорилось обнищание людей. Нанесён очередной удар по производственной сфере, по малым и средним предприятиям, по миллионам семей.

В сохранении разрушительной системы, возникшей на руинах великой Советской Державы, заинтересована лишь олигархия, захватившая наши национальные богатства, и обслуживающие её чиновники. Но народ заинтересован в том, чтобы из руин возстала великая, подлинно независимая страна. И наша история подтверждает, что это возможно только при условии, если в борьбе за возрождение Россия будет опираться на социалистические принципы.

Развитие ситуации в мире и внутри нашей страны доказывает: **проводимая у нас неолиберальная политика, изначально задуманная Западом и его наместниками как антироссийская и русофобская, полностью исчерпала себя и близка к краху**.

Рубеж двух веков был отмечен нашими бесконечными уступками Западу. Россию вынудили считаться с давлением извне, “брать под козырёк” перед ВТО, соглашаться с господством доллара, проводить безудержную приватизацию, по сути, отказаться от государственного регулирования в экономике и социальной сфере, подчиниться диктату Международного валютного фонда.

Даже теперь, в условиях острейшего кризиса, наши финансовые власти продолжают ссылаться на его рецепты, которые не позволяют направить хотя бы часть гигантских российских резервов на поддержку нищающим и теряющим работу гражданам, на инвестиции в национальную экономику, науку, образование, медицину. Хотя ситуация с обрушившимся на нас опасным вирусом безоговорочно доказала: их финансирование необходимо удаивать.

Порочность навязанного России рыночного фундаментализма налицо, но “реформаторский” зуд его адептов не иссякает. Продолжается демонтаж

прикладной науки, являющейся основой экономики, и лучшей в мире советской системы образования. Власть не желает отказываться от дальнейшей “оптимизации” медицинской сферы. Её вдохновителям мало уже имеющихся “достижений”. Им мало того, что, согласно данным Счётной палаты, **только с 2017-й по 2020 годы в стране было уволено 42% медперсонала**. Они не желают признавать, как тяжело аукнулось нам повальное сокращение числа больниц и поликлиник, когда мы столкнулись с коронавирусной эпидемией. Молчат об опасных последствиях тотальной зависимости отечественной фармацевтики от импорта, о том, что на фоне разбушевавшейся инфекции погром российской лёгкой промышленности самым негативным образом сказался и на медицинской сфере, когда обнаружился острый дефицит защитных масок, которые пришлось завозить из-за рубежа – в России их некому шить. Оперативное тестирование заболевших оказалось затруднено из-за недостатка резиновых насадок для пипеток – отечественные изготовители не могут покрыть потребность медицинских учреждений даже в таких элементарных изделиях!

Таковы откровенно позорные и, без преувеличения, чудовищные реалии, порождённые системой дикого капитализма, сводящей нашу экономику до уровня примитивного сырьевого придатка Запада.

Вопреки масштабным планам, содержащимся в президентских “майских указах” 2012 года и в их обновленной версии, обнародованной шестью годами позже, **процесс стратегически необходимого России импортозамещения так и не стал реальностью. Должную поддержку государства не получили ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни строительство**. Заводы и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же, как и в “лихие девяностые”. С трудом выживая на протяжении четверти века, они не смогли провести обновление основных фондов, не сумели найти стабильные рынки сбыта, не выдержали конкуренции с западными транснациональными корпорациями. Когда весной 2020-го начал с новой силой разгораться кризис, обещания власти помогать малому и среднему бизнесу обернулись пшиком. По сути, она равнодушно наблюдает за тем, как эта сфера, в которой трудятся миллионы людей, летит под откос.

На фоне нарастающего кризиса с самых разных сторон всё чаще звучит резкая критика проводимого в России социально-экономического курса. Всё больше становится тех, кто признаёт: встав на неолиберальный путь, действуя под диктовку МВФ и транснационального капитала, власть сделала выбор, разрушительный для страны и общества.

Но лишь немногие решаются сказать полную правду: **речь идёт не просто о тупиковой социально-экономической модели. Конечная цель, ради достижения которой такая модель навязана России, состоит в подрыве жизненных сил её народа и в его фактическом уничтожении, в “зачистке” богатейшей страны для захвата её ресурсов. И главной мишенью здесь является крупнейший, государствообразующий русский народ, без которого страна рухнет и станет лёгкой добычей для захватчиков**. Неолиберальная социально-экономическая модель – это смертоносное оружие, направленное против него. По сути, нейтронная бомба в руках наших внешних противников и их приспешников внутри России.

Их интересам служит проводимый социально-экономический курс. Сегодня власть выполняет двойную задачу: свести на нет свои обязательства перед гражданами и одновременно снять с себя всякую юридическую ответственность за это. Такой принцип распространяется на всю социально-экономическую политику.

Прямое отражение этого принципа – развёрнутая в стране антинародная пенсионная “реформа”. Она представляет собой **откровенное ограбление тех, кто долгие годы честно трудился на благо страны и общества. И теперь лишён права уйти на заслуженный отдых, получив законно заработанную пенсию**.

Оправдывая возмущившее граждан увеличение пенсионного возраста на 5 лет, власть ссылается на то, что у нас якобы существенно растёт средняя продолжительность жизни. Однако официальные данные расходятся с выводами специалистов. Росстат и Минздрав настаивают на том, что ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 72 года и составила 67,5 года для мужчин и около 78 лет для женщин. Но, согласно выводам учёных,

в действительности она на 5-6 лет ниже. Международные организации ставят нашу страну по этому показателю не выше 120-го места в мире. Здесь Россия оказалась в одной группе с такими странами, как Бангладеш и Гайана. При нынешней политике такой результат, увы, закономерен.

За последние годы онкозаболеваемость у нас выросла на 20%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла на первое место в Европе по скорости распространения ВИЧ-инфекции.

По количеству больных туберкулёзом на 100 тысяч человек мы оказались в одной группе с африканскими государствами Мали и Руанда, в 4 раза превзошли Японию, в 8 раз – Германию и почти в 20 раз – США. А ведь Советский Союз был первой в мире страной, остановившей массовое распространение этой болезни!

Академия народного хозяйства и государственной службы констатирует: **в России практически каждый четвёртый вынужден выбирать, купить ли ему самые дешёвые продукты или самые дешёвые лекарства. На то и другое средств не хватает.**

О серьёзном стоматологическом лечении или о сложных высокотехнологичных операциях и вовсе не приходится говорить – они совершенно недоступны абсолютному большинству наших граждан по причине запредельной дороговизны.

Давайте вспомним, какие ясные и твёрдые гарантии защиты жизни и здоровья давал каждому гражданину советский Основной закон. Вот что говорилось в статье 42 Конституции СССР, принятой в 1977 году:

“Граждане СССР имеют право на охрану здоровья. Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии; проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; особой заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением и трудовым воспитанием; развёртыванием научных исследований, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан”.

Это намного более твёрдые и широкие гарантии, чем те, которые обещает нынешняя Конституция. Они, в отличие от сегодняшних, выполнялись, пока существовала советская власть. И обеспечивались исключительно за счёт казны, а не каких-то абстрактных страховок и взносов.

КПРФ в своей программе настаивает: чтобы спасти отечественную медицину, вернуть народу гарантии бесплатной и эффективной охраны его здоровья, нам нужно вернуться к советским конституционным нормам. Построить такое государство, которое снова гарантирует их выполнение. И это может быть только государство социализма, способное положить конец системе вымирания, чьей главной мишенью стал русский народ.

Жатва геноцида

В 2006 году немецкий военный эксперт и журналист Петер Шолль-Латур снял для крупнейшей телекомпании Германии ЦДФ документальный фильм “Россия в двойных тисках”. Говоря о нём, автор произнёс горькие и страшные слова: “Россия неумолимо движется к гибели. Главная проблема России сегодня – это катастрофическое сокращение доли русских”. Как бы это ни было тяжело, приходится признать справедливость такой оценки. И если мы не хотим, чтобы гибель нашей Родины действительно стала реальностью, необходимо честно оценивать происходящие разрушительные процессы и принимать срочные меры для того, чтобы их остановить.

Все очевиднее антирусская, антиславянская направленность курса, проводимого внутри страны. Русский и другие коренные народы, которые исторически составляют основу тысячелетней государственности России, оказались сегодня самыми обездоленными и униженными. Вымирание коренных русских областей в 2-3 раза опережает средние по стране показатели убыли населения. Представительство русских в ключевых сферах – в управлении, экономике, культуре, средствах массовой информации – категорически не

соответствует их преобладающей доле в общем национальном составе государства.

Доказательством того, что нынешний курс оборачивается по отношению к русскому народу самым настоящим геноцидом, является демографическая катастрофа, с которой страна столкнулась после развала Советского Союза и социалистической системы.

На протяжении всей советской эпохи, за исключением Великой Отечественной войны, в которой мы потеряли 27 миллионов, стремительно росло и население СССР в целом, и население Российской Федерации. К 1941 году оно на 43 миллиона превышало население Российской империи конца XIX века. По итогам войны сократилось на 13 с лишним миллионов, но уже через 10 лет после Победы почти сравнялось с довоенным. К началу 1990-х годов XX века в России жило в два с лишним раза больше людей, чем за 100 лет до этого. Безо всякой миграции, благодаря высокой рождаемости, которую стимулировала социальная политика советской власти.

Вот исторические данные о средней продолжительности жизни в нашей стране и на Западе:

Россия в 1900 год – 32 года,

США в 1900 год – 49 лет,

СССР в 1967 год – 70 лет,

США в 1967 год – 67 лет.

В Америке, где к началу XX века люди жили в среднем на 17 лет дольше, чем в России, средняя продолжительность жизни к 1967 году увеличилась на 18 лет по сравнению с 1900-м. А в СССР через 50 лет после установления советской власти люди стали жить в среднем на 38 лет дольше, чем в России начала XX столетия. И в 1967 году Советский Союз уже превосходил США по средней продолжительности жизни.

В нашей стране её увеличение за 67 лет XX века оказалось в два с лишним раза более существенным, чем в США, – ведущей стране капиталистического мира. СССР опередил по продолжительности жизни не только Соединённые Штаты, но и такие страны, как Франция, Бельгия, Финляндия. И сравнялся по этому показателю с Японией, ФРГ, Италией и Канадой. Это говорит о том, **что социалистическая система способствовала намного более быстрому социальному прогрессу, чем капиталистическая в её самом благополучном варианте.**

В сегодняшней России, согласно официальной статистике, люди в среднем живут всего на год дольше, чем 53 года назад, то есть на фоне выдающегося советского прогресса тут “прогресс” практически нулевой. При этом, как уже было сказано, независимые специалисты настаивают, что официальная статистика завышает реальные показатели продолжительности жизни.

А вот официальные данные о численности русского народа в дореволюционную, советскую и постсоветскую эпоху.

В середине XVII века русских насчитывалось на наших просторах лишь 7 миллионов. К концу XIX столетия их стало почти на 50 миллионов больше. На такой демографический рост в эпоху монархии ушло 250 лет. А в Советском Союзе за 63 года – с 1926-го по 1989-й – русских прибавилось на 67 миллионов с лишним. В середине 1920-х их было около 78 миллионов, а в конце 1980-х – уже более 145. И это после гражданской и двух мировых войн, унесших десятки миллионов их жизней!

Последняя советская перепись населения, проведенная в 1989-м, показала, что только в РСФСР русских тогда насчитывалось 120 миллионов. К концу 1991-го их стало на миллион больше. 121 миллион русских в самой России и 25 миллионов – в других союзных республиках. Вот что мы имели накануне предательского уничтожения Советской страны и отказа от социализма.

Навязанный нам капитализм обернулся для русского народа поистине смертоносной демографической жатвой. К 2010-му – году последней на данный момент российской переписи – их в России осталось 111 миллионов. **Десятимиллионные потери государствообразующего народа за первые два десятилетия капитализма!** И это только по официальным данным, не отражающим в полной мере реальную картину.

Как уже было сказано, наиболее катастрофическая ситуация – в традиционных русских регионах. С 1991 года Новгородская область потеряла 155 тысяч человек, моя родная Орловщина – 165, Костромская область – 170,

Псковская – 217, Смоленщина и Ярославская область – более 220, Курская область – 225, Пензенская – более 240, Владимирская – 300, Тульская и Тверская – 400, Архангельская – 430, Мурманская – почти 450, Нижегородская – 570 тысяч.

В целом население России сократилось с 1991 года на 1,6 миллиона. А русское население – на 10 миллионов. И это без учёта точных данных за последнее десятилетие, которые пока отсутствуют. То есть численность русских тает минимум в 6 с лишним раз быстрее, чем общая численность жителей страны. Их убыль “уравновешивается” только миграцией. Это самая настоящая гуманитарная катастрофа!

Очевидно, что подлинные масштабы вымирания русского народа гораздо более значительны. Ведь постсоветская смертность живших в Российской Федерации до развала СССР была существенно компенсирована переездом, а зачастую и вынужденным бегством русских из бывших союзных республик в Россию. Что же касается официальной статистики вымирания русских, оставшихся за её пределами, то она, по сути, отсутствует. Но демографы приходят к выводу: **с начала 1990-х до настоящего времени общее число русских на планете сократилось на 20 миллионов. За годы капитализма русский народ понёс такие же людские потери, какие принесла ему война с гитлеровской Германией!**

Официальные данные о масштабах убыли русских в России во втором десятилетии XXI века последуют только после новой переписи, которая была намечена на 2020 год. Но уже сейчас нетрудно предположить, насколько плачевными они окажутся.

В советскую эпоху численность русских увеличилась более чем вдвое. За три капиталистических десятилетия она сократилась минимум на 13%. Какие ещё нужны доказательства того, что социализм отвечает национальным интересам русских, а капитализм откровенно им враждебен, убийствен для них? Какие ещё нужны подтверждения тому, что отказ от нынешнего курса, от нынешней губительной системы управления – это не просто вопрос социально-экономического благополучия нашего народа, но вопрос его физического выживания?

Не так давно власть обещала нам демографический взрыв. Мы предупреждали: при сохранении нынешнего разрушительного курса такие обещания не могут воплотиться в жизнь. К сожалению, наши предупреждения подтвердились. После нескольких лет незначительного прироста, который обеспечивался исключительно миграцией при непрекращающемся вымирании коренных жителей страны, уже и миграция не может его компенсировать. **“Естественная убыль населения”, как цинично именуют чиновники вымирание коренных граждан, с 2019 года опять стала стремительно нарастать.**

Эксперты активно обсуждают демографические проблемы России. Но при этом почти все они обходят главный вопрос, умалчивают о ключевом и катастрофическом явлении, сопровождающем демографическую ситуацию в нашей стране. Это явление состоит в том, что **вымирают в России прежде всего русские.**

Демографический кризис, связанный с низким уровнем рождаемости и высокой смертностью, усугубляется проблемой детского и подросткового здоровья. Дети и подростки – это завтрашний день нашей страны. Поколение нынешних выпускников школ через 20–25 лет должно будет взять на себя ответственность за Россию, за управление ею, за её сохранение и развитие. **Но что может ждать страну в будущем, если только 10% старшеклассников, согласно заключению врачей, могут быть признаны абсолютно здоровыми? Более половины признаются имеющими ослабленное здоровье. Значительная часть к моменту окончания школы уже имеет хронические заболевания.** В советские времена подобное было невообразимо. Мы слышали о таком только в рассказах об отсталых странах “третьего мира”. А теперь это наша собственная реальность.

Только власть коммунистов, социализм и возвращение к лучшему из советского опыта положат конец системе, ведущей к фактическому истреблению народа. Системе, при которой граждане, загнанные в недопустимые для богатейшей страны условия, боятся заводить семью и рожать детей.

Сегодня абсолютное большинство молодых россиян не может рассчитывать на приобретение собственного жилья – даже самого скромного. Более

того, они лишены перспективы приобрести жильё и через 10, 15 или 20 лет. С начала 1990-х стоимость жилья в России выросла стократно. Даже если откладывать всю зарплату до копейки на покупку квартиры, что, само собой, невозможно, то среднестатистическому москвичу придется копить 12 лет, жителю Питера – 11 лет, живущему в одном из центральных регионов России – 18 лет, жителю южных регионов – 10 лет. А те, кто пытается решить проблему с помощью банковских кредитов, должны будут, благодаря грабительским процентам, выплатить банку двойную-тройную стоимость приобретённой квартиры. Либо обратиться из неё, если выплата кредита окажется непосильной.

Именно в этом кроется причина того, почему так часто распадаются недавно созданные браки, почему многие молодые люди вообще не решаются заводить семью. Коренные граждане России не привыкли воспитывать детей в условиях нечеловеческой тесноты и нищеты. Вот чем, в первую очередь, объясняется падение рождаемости и разрушение института семьи, а вовсе не тем, что они не хотят детей и не вступают в брак из-за “избалованности” якобы благополучной жизнью, как уверяет русофобская пропаганда, объясняющая таким образом демографическую катастрофу.

После прихода коммунистов к власти ситуация с жильём изменится в корне. Тем молодым людям, которые смогут приносить наибольшую пользу в деле подъёма отечественной промышленности и науки, в восстановлении сельского хозяйства и укреплении обороноспособности страны, жильё будет предоставляться бесплатно и в кратчайшие сроки. Другие смогут получать его в течение нескольких лет, как это было в СССР, гарантировавшем бесплатное жильё каждому. Гражданское строительство – не для нуворишей, не для миллионеров и миллиардеров, а для нормальных, честных людей – станет одним из главных направлений в развитии страны.

Остановить катастрофу вымирания России может только принципиальная смена курса, восстановление и укрепление тех социально-экономических принципов управления, которые действительно стимулируют высокую рождаемость, а не топят демографическую проблему в демагогии и пустых обещаниях, как это происходит при нынешней власти.

Действенной программой национального спасения русских и других коренных народов нашей страны может быть лишь такая программа, в основу которой положены твёрдые и эффективные социально-экономические принципы. Ответ на вопрос о том, какими они должны быть, даёт социализм. Поэтому только программа КПРФ сегодня является убедительной и актуальной с точки зрения коренных интересов нации.

Душа народа под пятой разрушителей

Одновременно с физическим истреблением нынешняя система несёт России и русскому миру истребление духовное. На словах декларируя патриотизм, власть на деле полностью отказывается от поддержки русской национальной культуры, способствует её вытеснению и замещению примитивными и безнравственными поделками, созданными по самым низкопробным западным лекалам. Эти поделки с подачи чиновников и циничных коммерсантов от культуры заполнили телеэкраны, кинотеатры, книжные издательства. **Нынешняя система способствует окончательному отказу государства от того, чтобы нести обществу нравственное воспитание и просвещение, помогать тем, кто стремится это делать.**

Откровенно подрывается и традиционная национальная основа, на которой развивалось высшее и среднее образование в советскую эпоху. Последствия погрома образовательной сферы становятся всё более очевидными. Вот лишь один красноречивый пример. В 2018 году Рособнадзор подвёл итоги организованного им тестирования школьных учителей. Каждый второй учитель математики не справился с проверочной работой по своему предмету. Среди учителей истории, русского языка и литературы неудовлетворительную оценку получил каждый четвёртый. За этими плачевными цифрами просматривается прямая угроза национальной безопасности России, её способности успешно развиваться.

Душа народа и его сознание, его интеллект – это, в первую очередь, родной язык. Но русский язык, на котором создана величайшая

классическая литература, являющаяся одним из главных культурных достояний человечества, подвергается ежедневному поруганию. И это тоже происходит при попустительстве власти.

Наш язык – богатейший в мире. Но это великое богатство буквально втаптывается в грязь сегодняшней масскультурной, образовательной и информационной политикой. Язык активно засоряется новоязом, бессмысленными англицизмами, которые символизируют колониальную сущность системы, навязанной нашему народу. **По сути, этот новояз – язык оккупации. Пройдитесь по улицам наших городов, и вы убедитесь: иностранные названия западного и восточного происхождения сегодня встречаются на них намного чаще, чем русские. Нам как будто намеренно дают понять: русский народ не хозяин на своей земле. Он не имеет права на национальное самосознание, на самобытность, на родную речь.**

В 2005 году был принят закон “О государственном языке Российской Федерации”. Его смысл состоит в защите русского языка. Но та же самая власть, которая этот закон принимала, не желает его защищать.

В этом законе сказано: “При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка”. Но на каком языке то и дело говорят сегодня чиновники, управленцы, журналисты, многие деятели культуры? Разве это литературный русский язык? Разве это речь людей, которые относятся к нему с уважением, берегут его?

Мы видим, что западные страны захлестнул миграционный кризис, который грозит обернуться для них кризисом политическим. Но попробуйте там устроиться на сколько-нибудь приличную работу, не владея как следует государственным языком! А у нас такое становится практически нормой. **В сфере обслуживания, в системе ЖКХ мы всё чаще сталкиваемся с людьми, не способными толком объяснить по-русски. Это не просто создаёт бытовые неудобства. Это провоцирует социальную напряжённость. В конечном счёте – угрозу гражданскому миру, который неизбежно расшатывается, если общество разделяется на группы, не понимающие друг друга.**

Основоположник русской педагогической системы Константин Дмитриевич Ушинский, самоотверженно борющийся в России XIX века за то, чтобы народным образованием и воспитанием было охвачено всё общество, не случайно отводил главное место в обучении преподаванию русского языка. Он говорил: “Являясь полнейшей и вернейшей летописью всей духовной многовековой жизни народа, язык в то же время является величайшим народным наставником, учившим народ тогда, когда не было ещё ни книг, ни школ, и продолжающим учить его до конца народной истории... Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое. Когда исчезает народный язык – народа нет более! Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ”.

Мы, коммунисты, не перестаём помнить об этом, защищая русский язык, нашу национальную культуру, науку и образование, на страже которых всегда стояли и продолжают стоять истинные патриоты России.

По всем критериям, принятым в мировом сообществе, развёрнут геноцид русского народа. И потому самый животрепещущий национальный вопрос в современной России – это уже не вопрос “национальных окраин”, а вопрос “национальной сердцевины”. Он касается теперь, в первую очередь, не меньшинства, а подавляющего большинства.

Священное стремление уберечь Родину и народ от разрушения вдохновляет нас на борьбу за то, чтобы в России возродилось такое государство, которое будет способно остановить физический и духовный геноцид русского и других народов, позволит им вернуться на путь гармоничного нравственного, культурного и интеллектуального развития. В этом ключевой смысл программы КПРФ. В этом наша главная обязанность перед нынешним и будущими поколениями.

Чтобы сбросить с себя иго антинационального капитала и уверенно идти вперёд, России необходимо в полной мере ощутить себя наследницей не только Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Некрасова и Чехова,

но и Горького, Шолохова, Симонова и Исаковского, Твардовского, Бондарева и Распутина, Прокофьева и Свиридова, Мухиной и Вучетича, Макаренко и Сухомлинского, Курчатова и Келдыша, Королёва и Гагарина, Жукова и Рокоссовского, Василевского и Конева. Страна должна гордиться тем, что эта плеяда блестящих имён, составляющих гордость русской цивилизации, была рождена советской эпохой, социалистической Отчизной, родиной Ленина и Сталина.

Коммунистам, всем патриотам необходимо активнее защищать русскую историю, русскую культуру, русскую душу, потому что главный удар разрушителей нашей Державы наносится именно по ним. И в это сложное время мы обязаны осознавать себя не только как партию народовластия и справедливости, но и как партию национального спасения.

Россия на пороге пробуждения

“Если эксперимент, который предпринял Ленин в области общественного устройства, не удастся, тогда цивилизация потерпит крах, как потерпели крах многие цивилизации, предшествовавшие нашей”. Такие слова в 1931 году произнёс лауреат Нобелевской премии, английский драматург Бернард Шоу. Советская Держава доказала свою силу, свой великий созидательный потенциал. Но с её предательским разрушением подтвердилась правота проницательного литератора. **Развал СССР спровоцировал стремительно нарастающую глобальную дестабилизацию, грозящую планете страшными потрясениями, и поставил на грань уничтожения русскую цивилизацию, высшим проявлением которой стало создание Советского государства. Государства трудового народа. Государства социализма.**

Но колоссальный исторический опыт, богатейшие жизненные ресурсы, нравственный и интеллектуальный потенциал, которыми мы обладаем, позволяют отступить от края пропасти. Преодолеть системный кризис. Наш народ ещё может это сделать. И непременно сделает!

Именно советская цивилизация в начале XX века сумела предложить человечеству величайший социалистический проект мироустройства, основанный на законах справедливости, гуманизма и равенства. В сражениях с армиями Антанты и с гитлеровскими полчищами она показала всему миру свою правоту и мощь, реальное превосходство над капитализмом, неизбежно перерождающимся в фашизм и политический бандитизм.

Стремление транснационального капитала похоронить социалистический проект на поверку оказалось бесплодным. **Сегодня человечество, терзаемое кризисами и разочарованное в капитализме, снова поворачивается в сторону социализма. В авангарде этого процесса должен, как и столетие назад, оказаться русский мир, в сознании которого социалистические устремления укоренены самым глубоким образом. И не могут быть подавлены никаким сопротивлением мировой и российской политической и финансовой “элиты”.**

Немецкий философ Вальтер Шубарт, покинувший Германию после прихода к власти нацистов и питавший искреннее уважение к нашему народу, в 1938 году так сказал о русском человеке в своей книге “Европа и душа Востока”: “Он не пытается превратить ближнего в орудие. В этом суть русской идеи братства. Это и есть Евангелие будущего... Задача России в том, чтобы вернуть душу человеку. Именно Россия обладает теми силами, которые Европа утратила или разрушила в себе... Только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, погрязший в предметной деловитости человеческий род”.

Ясно, что здесь подразумевались исторические процессы, развернувшиеся в мире после того, как социализм бросил вызов идеологии стяжательства, грабежа и эксплуатации. Те процессы, в центре которых оказался русский народ, все народы нашей великой державы. И в центре которых им, убеждённым, предстоит оказаться вновь.

История, важнейшие грани которой с новой силой высвечиваются на фоне драматических событий нашего времени, позволяет утверждать: истинный русский человек не может не быть сторонником социализма. А истинный приверженец социализма, к какому бы народу он ни принадлежал, не может не относиться к русским с уважением, признательностью и любовью.

Оголтелый антисоветизм и русофобия наших противников – это последнее ядовитое зелье, за которое хватаются морально и профессионально обанкротившиеся либералы-рыночники в попытке спасти свой утопающий авторитет и убедить страну в необходимости сохранения системы криминального капитализма. **Вывести Россию из кризиса и вернуть её на путь полноценного развития может только возвращение к принципам социального государства, к идеалам дружбы, братства и подлинной национальной независимости.**

Поэтому в основу программы КПРФ и 15 важнейших поправок в Конституцию, принятия которых мы добиваемся, положены идеи и меры, позволяющие восстановить то лучшее, что было в советской экономической, социальной и культурной политике, всё самое достойное и прогрессивное из современной практики. Коммунисты решительно противопоставляют враждебной нашему Отечеству идеологии либералов-антисоветчиков, поклоняющихся капиталистической глобализации, идеологию социальной справедливости и национально-го возрождения, отвечающую интересам абсолютного большинства.

Мы не сомневаемся, что спасение и возрождение России невозможно без восстановления твёрдых нравственных основ и моральных принципов, на которые обязаны опираться общество и власть.

Давайте честно ответим себе на вопрос: в какую эпоху принципы, главенствующие в обществе и в политике власти, оказались ближе к тем постулатам добра, бескорыстия, милосердия и гуманизма, которые издревле проповедают главные мировые религии? В советскую или в нынешнюю?

По нашему убеждению, ответ может быть только один: советская система прямо воплощала эти постулаты, опираясь на идеалы всеобщего равенства, солидарности и социальной справедливости.

Преодолеть системный кризис и вернуться на путь полноценного развития удастся только тогда, когда от управления в политической, экономической, финансовой сферах будут отстранены те, кто причастен к преступному развалу СССР и к установлению в России системы дикого криминально-олигархического капитализма.

Вспомним мудрые слова Цицерона: «Нация может пережить своих дураков и честолюбцев, но она не может пережить измену. Враг у ворот страшен, но он известен и открыто выступает под своими знаменами. Предатель же свободно вращается среди осаждённых, его хитрый шепот шелестит по стогнам града, он действует втайне и заражает граждан, так что те не могут больше сопротивляться. Убийца менее страшен, чем он».

Отстранение от власти русофобской и антисоветской “пятой колонны” – неперемное условие возрождения нашей страны и русского народа. Только тогда новое, действительно патриотическое, национально мыслящее руководство сможет осуществить жизненно необходимую нам смену курса, сплотить вокруг себя все здоровые силы Отечества.

КПРФ вновь призвала патриотов России бороться за это во время организованного нами весной 2020 года праздничных мероприятий – Всесоюзного народного собрания, посвящённого 150-летию Владимира Ильича Ленина, и Первомайской маёвки, приуроченной ко Дню международной солидарности трудящихся.

С тем же призывом мы обратились к гражданам 9 Мая, в день величайшего юбилея – 75-летия Победы. В его преддверии нами в рамках политической кампании **“Ленин, Сталин, Победа!”** были объявлены масштабные патриотические акции: “Бессмертный полк под Красным стягом”, “Сад Победы – сад жизни”, “Молодёжь – дорогой отцов-героев”. Они охватят всю Россию и бывшие советские республики, по-прежнему связанные с нами общими священными узами.

Из-за охватившей мир опасной инфекции, посадившей всех на изнурительный карантин, мы не могли выйти на уличные шествия и митинги и проводили наши собрания в сети интернет. Но они, несмотря на расстояния, были наполнены живой энергией борьбы за справедливость. Верой в то, что мы скоро с новыми силами воссоединимся во имя общего дела возрождения Родины и народа.

Ленинский юбилей и юбилей Победы напоминают нам: мы – наследники грандиозных свершений. Наследники героев, поразивших весь мир своими деяниями. Священное право и священная обязанность

народа – вернуть себе то, что было завоевано ими и отнято у страны и общества предателями. Мы твёрдо знаем: враг будет разбит, победа будет за нами!

Когда в Смутное время иноземные захватчики пировали в Кремле, Патриарх Гермоген, не признавший самозванцев и оккупантов, был заточён в темницу. Но даже там, лишённый воды и пищи, он не переставал взывать: “Вставайте, люди русские!” Его услышали, пришло ополчение Минина и Пожарского, страна была спасена. Сегодня этот призыв не менее актуален. Если он будет донесён до сознания нашего народа, Россия поднимется, отойдёт от исторической пропасти. И XXI век станет веком возрождения нашей Державы.

Основной идеологии, открывающей путь к возрождению, должна стать современная русская идея, способная объединить все народы страны во имя общего дела и общего блага. Идея, опирающаяся на социализм и тысячелетние духовные, патриотические ценности, скрепляющая нацию в едином творческом порыве, мобилизующая все общественные ресурсы для скорейшего выхода из системного кризиса, угрожающего самому существованию нашей Родины.

Соединив социализм, патриотизм и вековые традиции народа, сумел добиться ошеломительных успехов Китай. По тому же пути идут Куба, Вьетнам, Венесуэла. Мы не добьёмся победы, если не будем опираться на русский характер, на русский дух, на русскую историю. Русские – государствообразующая нация. Они никогда не угнетали другие народы и делали всё, чтобы сберечь их независимость, их веру, письменность, язык и культуру. **Без всестороннего укрепления русского народа невозможны ни сохранение нашей страны, ни мир на планете.**

Этого не могут не признавать истинные патриоты России – как русские, так и принадлежащие к другим народам. И это укрепляет нашу уверенность в том, как важно напоминать обществу о первоосновах русской цивилизации, о советских ценностях, открытиях и достижениях. О необходимости защищать идеи социализма и бороться за победу этих великих идей в сегодняшней России, за победу, которая станет залогом достойного будущего нашей Родины.

ЕЛЕНА ЛАРИНА,
ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ

ПАНДЕМИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ

Коронавирусный кризис вынуждает основательно переоценить принципы, по которым функционируют власть, общество и экономика. Как замечают современные западные политологи и экономисты (Мэтью М. Кавана, Гарольд Джеймс) пандемия выявила **трилемму (“несовместимую троицу”): невозможно одновременно иметь здоровое с медицинской точки зрения общество, здоровую экономику и здоровую демократию.**

Под этим подразумевается, что если мы хотим, чтобы авиакомпании продолжали летать, а рестораны и пабы оставались при деле, большому числу людей, живущих на Земле, придётся заболеть и умереть. С другой стороны, если мы прекратим эти виды деятельности, экономический спад будет гораздо более серьёзным, чем глобальный финансовый кризис 2008 года, а уровень безработицы – таким же, как в период Великой депрессии, или даже намного выше. Многие предприятия, особенно небольшие магазины, рестораны и точки оказания услуг, которые закрыты “временно”, фактически не откроются никогда.

Учёные либеральной школы полагают, что “миру демократии” удастся обойти эту трилемму с помощью привычных механизмов преодоления крупных кризисов.

Но реальность такова, что трилемма не может быть урегулирована “обычными средствами”. Её **преодоление не даст результата без мобилизационной стратегии для любого типа общества.**

Начинать надо с **решения неотложной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.** К сожалению, за последнее десятилетие многие страны взяли курс на жёсткую экономию. Результатом стало сужение (вплоть до разрушения) институтов государственного сектора, которые необходимы нам для преодоления таких кризисов, как пандемия коронавируса, и возможных других.

Мобилизация предполагает иметь **стратегию восстановления и построения государственной медицины, рассчитанной не на финансовую прибыль, а на готовность обеспечить гражданам качественное и своевременное оказание медицинских услуг вне зависимости от их доходов, страховых накоплений, социального статуса.**

В крупных городах должны быть созданы **резервные инфекционные центры (с резервом оплачиваемого медицинского персонала),** которые могут быть “распечатаны” при самых первых сигналах о начале той или иной эпидемии.

Стратегия мобилизации не должна допускать ошибки периода после 2008 года, когда спасательные меры позволили крупным финансовым структурам и корпорациям получить ещё большую прибыль сразу же после завершения кризиса, но не смогли заложить основу для надёжного и всеобъемлющего восстановления уровня жизнедеятельности основной части населения, снижения неравенства и нищеты.

Теперь, когда **в период пандемии государство снова стало играть ведущую роль**, оно должно разработать такие меры, чтобы **направить крупные компании на поощрение создания стоимости вместо извлечения стоимости, поощряя инвестиции в устойчивый рост экономики и расширение рабочих мест наряду с роботизацией трудоёмких производств.**

Не менее, а может быть, и более важным, даже **главным элементом постпандемического мобилизационного проекта должно стать восстановление демократических принципов организации общества после жёстких ограничительных карантинных мероприятий.**

Как явствует из мониторинга состояния климата, глобальный системный кризис будет происходить на фоне гораздо большей, чем раньше, неустойчивости среды обитания, включая погодные аномалии, стихийные бедствия: засухи и наводнения, а также таких форс-мажоров, как торнадо и смерчи.

Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что мир, базировавшийся на правовом суверенитете государств, сформировавшийся ещё в XVIII веке и закреплённый международным порядком, сформированным по итогам Второй мировой войны, стремительно уходит в небытие, оставляя после себя поля конфликтов, сферы противоборств и т. п.

Уже сегодня, пока ещё негласно или, по крайней мере, негромко сильные мира сего на всей планете склоняются к признанию одного права – права сильного. Если раньше между войной и миром пролегла чёткая и ясная граница, то теперь по всей планете множатся гибридные войны, “нечёткие” конфликты, “тёплые” противоборства и другие состояния, выглядящие как мир, а на самом деле являющиеся войной.

В мире, где постепенно нормой становится **мировойна**, недостаточно иметь грозное привычное оружие в виде ракет, бомб, самолётов, подводных лодок и т. п. Всё шире в конфликтах их участники выступают в том числе “под чужим флагом” или используя третьи силы, применяют кибероружие, средства манипулирования сознанием, инструменты управления поведением, санкции и другие инструменты финансовых войн.

В неудобном, жестоком и неустойчивом мире вчерашние преимущества превращаются в сегодняшние риски, чреватые завтрашними уязвимостями. Нам, россиянам, надо задуматься о том, что, занимая примерно девятую часть территории суши и располагая примерно 20% возобновляемых и невозобновляемых ресурсов планеты, страна имеет менее 2% населения и валового внутреннего продукта глобального мира и примерно 0,5% доли в высокотехнологичном экспорте.

Сегодня, и это ни для кого не секрет, **в мире имеются могущественные группы, рассматривающие Россию как последний и самый лакомый ресурс для прорыва (или побега) в завтрашний мир.**

Когда закончится период добровольной самоизоляции и миллионы россиян выйдут на работу, они увидят порушенные бизнесы, работающие из последних сил заводы, порванные внутрироссийские и международные логистические цепочки, нарушенные схемы разделения и кооперации труда и производства.

По сути, весь мир, и Россия – не исключение, уже оказался в чрезвычайной ситуации глобального кризиса. Для нас он усугубляется критическим падением цен на энергоносители, металлы, некоторые виды продукции химической промышленности, экспортируемые Россией. Впереди и надолго маячат “тощие” годы.

Проще всего предьявить счёт власти, тем более что он в значительной степени оправдан. Достаточно вспомнить о пенсионной реформе, горе-оптимизации медицины и образования по всей стране, так и не ставшей реальностью модернизации ведущих отраслей промышленности и хозяйствования на основе высоких технологий.

Положа руку на сердце, проблема вот в чём. Многие сегодня, включая молодёжь, не жившую при социализме, с ностальгией вспоминают СССР. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, фиксирующие в течение последних пяти лет неуклонный рост подобных настроений. Однако надо честно признать и вспомнить, что, когда 30 декабря 1991 года в Кремле спускался флаг СССР и поднимался триколор, никто – ни коммунисты, ни рабочие, ни сельские труженики – не протестовал и не пытался защитить советское государство.

В последние годы с немалой степенью лукавства девяностые годы называют проклятыми, когда новые хозяева жизни, что называется, “ураганили” и расхищали народную собственность. Мало кто сегодня знает, что в этот период приватизация была проведена по цене примерно 2–4% от действительной ценности производственного и ресурсного потенциала нашей страны.

Делалось это не на основе силового подавления народных выступлений, а на базе неформального, негласного общественного договора между тогдашней властью и российским населением. Сильные мира сего получили возможность за бесценок скупить страну, а население бесплатно стало собственником жилого фонда, получило возможность торговать на толкучках и блошиных базарах, стыдливо называемых розничными городскими рынками, а также покупать в магазинах “ножи Буша”, опасный для здоровья спирт “Роял” и другие чудеса потребительского квазикапитализма. Иными словами, имел место общественный договор между населением и сильными мира сего. Последние могли утилизировать наследство СССР, а население – бесплатно получить крышу над головой и свободно делать всё что угодно без поддержки и помощи государства.

В XXI веке удалось повернуть вспять откровенное разграбление национальных ресурсов и достояния. Понемногу, хотя и с большими потерями, начали возрождаться промышленность, строительство, транспорт, был преодолён развал в армии, сил правопорядка. Стали хорошеть российские города.

При этом надо честно признаться, что этому в значительной степени способствовала мировая рыночная конъюнктура. Цены на энергоносители не просто повысились, а выросли в разы. **Новая версия негласного общественного договора** закрепила эти обстоятельства. Народ и власть договорились о том, что власть обеспечивает подавляющей части населения устойчивый, а для некоторых слоёв занятых и весьма значительный рост доходов и возможность удовлетворения потребностей в путешествиях, занятиях спортом, культурном досуге и т. п. В свою очередь, сильные мира сего с согласия населения смогли гораздо шире, чем раньше, увеличивать свои доходы в рамках российского экономического чуда, как его называли на Западе в нулевые годы.

Таким образом, вплоть до последнего времени отношения между сильными мира сего и населением базировались на неформально заключённых, хотя и не закреплённых в законах общественных договорах.

Сегодня перед лицом множащихся кризисов надо честно и прямо признать, что действие неформального общественного договора XXI века закончилось. **Для того чтобы провести мобилизацию российского потенциала во всём его разнообразии и всей полноте, необходимо срочно достичь нового неформального договора между властью и населением.**

Мобилизация в сложившихся глобальных условиях и реалиях России 2020 года не может быть осуществлена ни на основе обращения ко всевышнему, ни апелляции к славной истории, ни агитационных кампаний и решений, которые, по сути ничего не меняя, будут требовать от народа жертв и усилий.

Главная угроза не только для разработки и тем более реализации мобилизационных планов, а просто для стабильности заключена отнюдь не в несистемной оппозиции, а в том, что миллионы россиян, как свидетельствует статистика, уже в конце десятых годов ушли во “внутреннюю эмиграцию”, перестав участвовать в выборах, стараясь уйти из-под налогообложения и не требовать ничего – ни хорошего, ни плохого – от государства.

Реалии России таковы, что **быстрая, подлинная и эффективная мобилизация может быть осуществлена не вне, а обязательно под руководством и при непосредственном участии государства**. Поэтому нет сегодня важнее задачи, как вывести россиян и особенно их наиболее профессиональную и энергичную часть на диалог, а затем и **заключение нового общественного договора, необходимого для выживания, а затем и процветания нашей страны**. В основе этого договора должна быть, и это показывают все проводимые иногда противоположными по убеждениям и задачам центрами изучения общественного мнения, широко и чётко понимаемая, а главное — реализуемая на деле **СПРАВЕДЛИВОСТЬ!**

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

СТОНЫ СТРАНЫ

ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

Наедине с кошмаром

У меня коронавирусом тяжело заболели пожилые родители.

Понимая весь размах эпидемии, обязан сказать и вот о чём. Удары приходятся по лечащим другие недуги и ими страдающим.

Об этом пишут мне отовсюду врачи и пациенты.

Что-то приходится решать в ручном, как говорится, режиме. Например, звонил в один чиновно-медицинский кабинет, выбивал химиотерапию для незнакомой женщины. Удалось.

А вот тема масштабная, затрагивающая тысячи, если не миллионы судеб. Закрытие многопрофильных больниц. Повсеместно. Вернее, отказ от того, чтобы заниматься пациентами, у которых диагноз не COVID-19.

Несомненно, основное направление контратаки – подлый ковид. Но врачи твердят, что в больницах можно и нужно оставлять хотя бы половину изолированного пространства для всего остального, и прежде всего – срочного: реанимация, операции...

Ужасно, когда люди в поисках спасения объезжают по пять больниц, и безрезультатно.

Вот только несколько ближайших к столице мест, откуда летят сигналы тревоги, – Мытищи, Сергиев Посад, Одинцово, Талдом, Реутов, Домодедово...

Особенно беда очевидна на примере города Видное.

Мне оттуда звонят и пишут день за днём.

Там буквально до последнего времени работала Видновская районная клиническая больница (ВРКБ) – многопрофильное лечебное учреждение.

Теперь всех врачей (их около 120) скопом и, как мне говорят, даже без оформления бумаг записывают в инфекционисты.

По их словам, утверждения чиновников о том, что отделения и врачи, оказывавшие узкоспециализированную помощь, будут переведены в другие стационары, где продолжают принимать больных, – это просто обман.

В Видновской больнице успешно спасало жизни отделение гнойной хирургии со специализацией, в частности, на лечебной помощи больным с хирургическими гнойными осложнениями диабета (“диабетическая стопа”). В Подмосковье, по мнению обратившихся ко мне, нет другого отделения такого уровня и с такой специализацией.

Теперь больные оказались наедине с кошмаром.

Вот одно из писем: “В отделении гнойной хирургии развернулась настоящая трагедия: врачей заставляли выписывать пациентов, которым показаны экстренные хирургические вмешательства, внутривенные вливания, тщательный уход и полная неподвижность. Без медицинской помощи больных ждёт

сепсис, то есть заражение крови. Состояние врачей, которых вынудили выписать пациентов на мучительную смерть, тоже можно представить. И всё это из-за невежественного решения чиновников”.

Преувеличение? А вот лишь некоторые, с кем я на связи. Сергей Анатольевич. Его вынуждены были выписать с открытой раной после операции. Температурит. Необходимо продолжение лечения и ангиопластика. Дмитрий Михайлович. Из-за перепрофилирования больницы лишился операции, которая ему срочно необходима. Галина Аркадьевна. Её мужу в Видном спасли ногу, сейчас новое серьёзное нагноение, но показаться врачу они не могут. И ещё десятки людей...

Говорил я и с врачами. Как водится, не готовы публично называть свои имена, потому что опасаются мести.

Но суть понятна. Больные не могут получить ни срочную хирургическую помощь, ни послебольничное наблюдение (перевязки, врачебные консультации и т. д.).

Вероятно, слишком сложная задача для некоторых чиновников, с которых требуют отчётности чиновники повыше, — организовать борьбу с коронавирусом не в ущерб другим больным. Не обрекая их на боль и опасность гибели, не оставляя без лечения.

На самом деле, это предельно просто, потому что иначе быть не должно.

Письма с передовой

Подвиг врачей совершается не благодаря, а вопреки происходящему в медицине и тому, что с ней уже сделали.

Получил обращение коллектива пульмонологического, реанимационного и приёмного отделений Курской городской больницы № 6.

Условия тяжелейшие. Людей с COVID-19 невозможно изолировать от других больных. Нет ни масок, ни томографа.

И такие же обращения идут со всей страны.

Вот отрывок из письма:

“Не функционируют шлюзы для проведения санитарной обработки, перехода из “чистой” зоны в “грязную”, и наоборот. Нет мест для приёма пищи. Мы вынуждены надевать и снимать превращённые из одноразовых в многоразовые средства индивидуальной защиты в одном и том же помещении. Есть вероятность заразить своих родных и людей, с которыми ездим в одном общественном транспорте, поэтому опасаемся находиться дома.

На втором этаже поликлиники для размещения и временного проживания медицинских работников освободили кабинеты, однако условий для проживания там нет. На этаже имеется только один туалет, общий для мужчин и женщин. Душа нет. Проведение личной гигиены невозможно. Кухни или другого помещения для приготовления и принятия пищи тоже нет.

В нашей больнице не хватает врачей, среднего и младшего медицинского персонала, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение и уход за пациентами во время эпидемии. Не хватает медикаментов (в том числе противовирусных и антибактериальных средств), нет важнейшего оборудования для диагностики — компьютерного томографа, о чём неоднократно докладывалось.

Хотим остаться живыми и здоровыми, продолжить борьбу с эпидемией, спасая жизни наших земляков”.

Врачи-подвижники попросили о простейшем.

Всего лишь об избавлении от кошмара.

И я присоединился, направив их обращение губернатору и в Минздрав:

- 1) аренда жилья в ближайшей гостинице;
- 2) бесплатное питание;
- 3) средства индивидуальной защиты из расчёта 2,5 комплекта на человека в смену;
- 4) компьютерный томограф;
- 5) обеспечение противовирусными и антибактериальными средствами из расчёта на инфекционный госпиталь на 172 койки;
- 6) установить статус инфекционного госпиталя ОБУЗ “Курская городская больница № 6” на период эпидемии.

Знаю, что губернатор с ними уже встретился. Звучат бодрые рапорты: всё будет исправлено.

Важно, чтобы обещания превращались в реальность. И на местном, и на федеральном уровне.

Нехитрую науку обещать и успокаивать у нас освоили все подряд.

А сколько врачей уже могли заразиться из-за чудовищных условий труда?

И ещё. Вчитаемся в эти строки из письма:

“Мы не хотим повторения истории ОБУЗ КГБСМП, ОКПТД и других лечебных учреждений, ставших очагами инфекции”...

Кто ответит за трагедию остальных больниц?

Хоть потоп

Во время большой беды и работы на удалёнке у некоторых появляется повод отлынивать от обязанностей. Например, чиновники реже стали отвечать на депутатские запросы. Тормозится поступление дешёвых лекарств для больных. Ужасно, что и для детей...

А вот история из подмосковного посёлка Зеленоградский Пушкинского района.

Там сломалась и в течение трёх недель оставалась неисправна канализационная насосная станция. Фекальные стоки, бурно вырываясь из-под крышек колодцев, затопили территорию детской и спортивной площадок, подвалов прилегающих домов и лесополосы вдоль железной дороги. Дальше они попали в реку Скалба, распространяя смрад и зловоние на всю округу... Дерьмо проникло и в грунт, отравляя питьевые колодцы. Обращения людей – больше сотни подписей – к всевозможным чиновникам результата не дали. Я тоже написал необходимые запросы. Реакции не было. Формально объяснимо: отвечать могут в течение целого месяца. А людям что делать? Ждать, задыхаться, тонуть и захлёбываться?

Пришлось мне обрывать телефоны, а моему помощнику буквально отлавливать главу района и вручать гневную бумагу. “Да ладно? Что, прям катастрофа?” – удивились чиновники.

В тот же день на место прибыли аварийные рабочие, всё починили и залатали. Народ ликует. А как долго разливалось бы дерьмо по подмосковному пейзажу, если б не удалось вмешаться?

Повторяю: это реальная опасность – под предлогом эпидемии многие “ответственные лица” окончательно самоизолируются от всего остального люда. А дальше – хоть потоп... Даже вот такой дурнопахнущий.

“Бросить больных или заражать свои семьи?”

Щигры – город в Курской области. Сначала было письмо медиков оттуда. О нехватке простейших средств защиты. И о страхе заболеть.

Таких обращений множество со всей страны...

И по каждому пишу в Прокуратуру.

Речь о жизнях людей.

А теперь приходят новости, что врачи заболели.

Вот что было в письме. “В районах области и небольших городках за нас и заступиться некому. У нас в Щиграх на вызовы бригады “скорой помощи” ездят без средств защиты, даже масок нет. Что сами пошили, тем и пользуемся. Больных ковидом возим без средств спецзащиты. У всех у нас семьи, и дети, и старики. Что нам делать? Почему нас ставят перед выбором: бросить больных или заражать свои семьи?”

А вот что нынче сообщают из щигровской больницы: “У двенадцати медиков высокая температура, у пяти уже обнаружили вирусную пневмонию, ещё у одной уже подтверждён Covid-19. Кроме того, восьмого мая пришли положительные анализы всех работников регистратуры”.

Оттуда же мне сообщают о засуетившихся чиновниках, запугиваниях и поспешной постыдной лжи. Как всегда, ничего нового. А люди заболели. Люди, которые спасают всех остальных.

Кто же будет спасать заболевших, если все врачи полягут?

Запрос в Прокуратуру – только так.

Сдача

Русского человека Женю Щербака суд города Костаная (Кустаная, Николаевска...) приговорил к четырём с половиной годам лишения свободы.

Напомню: парень поехал ополченцем в Донбасс, где чудом выжил.

Из России, которая его поманила на войну всем блеском и шумом своих телеэкранов, Евгения выдали в Казахстан.

Хотя он умолял предоставить ему убежище.

И уж конечно, никто не озаботился дальнейшей судьбой преданного. Пришлось полностью оплатить адвоката. Был бы “государственный защитник”, было бы хуже.

Могли дать и 9 лет. Так что даже такому приговору семья рада.

“Любовь к отеческим гробам...”

“Любовь к отеческим гробам...” – часто эту пушкинскую строку повторяет Станислав Юрьевич Куняев.

Ко мне обратились из Музея отечественной военной истории с просьбой спасти одно из крупнейших воинских захоронений. Как говорится в письме, на рубеже обороны Москвы недалеко от деревни Падиково захоронено около тысячи неизвестных бойцов и командиров, ценой своих жизней остановивших здесь в ноябре-декабре 1941 года наступление на Москву. Воинское захоронение учтено в базе данных Министерства обороны. Чёрным по белому написано: “братская могила”, “захоронено около 1000”...

Несколько лет назад земельный участок был приватизирован. Сообщается, что в планах собственника строительство отеля и частной школы. Идёт планомерная подготовка к коммерческому освоению захоронения. Теперь это называется так. Ну конечно, лакомая земля... А музей готов за свой счёт без привлечения бюджетных средств создать там мемориальное пространство. Такая история. Наша с вами. В том числе, история новейшая, когда финансовая целесообразность всего важнее.

А вот весточка из деревни Богодаровка Новомазинского сельского поселения Республики Татарстан.

Накануне юбилея Победы прямо возле могилы ветерана Морозова Михаила Павловича возведён большой контейнер для сбора мусора. Морозов воевал с 41-го по 45-й, был ранен, награждён медалью “За отвагу”. Такие сооружения положено (по всем божеским и человеческим правилам) ставить за территориями кладбищ, и точно не впритык к надгробиям, но все обращения внука ветерана к местным чиновникам оказались напрасны.

По этому поводу я уже сделал депутатский запрос, и уверен, всё поправим.

Понимаю, не праздничные сюжеты. Но смысл праздника, прежде всего, в честной заботе о воевавших – живых и мёртвых. И о детях войны надо вспомнить, поддержав их. Они все преклонных лет, живут очень скромно, и их тоже уже немного – тех, чьё детство было опалено войной.

ВАЛЕНТИН ОСИПОВ

ОПАСНО: КОНЪЮНКТУРЩИКИ!

24 сюжета об извращении истории для массового читателя

Великий мудрец Лев Толстой выявил два вида лжи. Первая — искажение факта, вторая — умолчание о факте, и эта последняя ему представлялась более опасной и вредной.

По мне, слова Льва Толстого из эпиграфа убийственны для тех, кто нынче перелицовывает-переиначивает историю нашего народа в угоду своим конъюнктурным пристрастиям. Они не брезгливы: то и дело пользуют наихудшие правила-нормы советского партагитпропа. Напомню хотя бы о том, как по команде “перестроечного” партидеолога А. Н. Яковлева нестеснительно навязывали обществу в оценках истории и политики подлоги и просто ложь, как это признал — внимание! — сам Яковлев, когда перешёл в услужение к Горбачёву и Ельцину (в книге “Горькая чаша”).

Наши дни: впору снова вскричать: “Невмоготу!” А как иначе, если даже Всероссийский Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) бьёт в набат по итогу опроса, проведённого в 2018-м: 66% всех наших сограждан критикуют “приём подмены исторических фактов, чтобы навредить России” (“Комсомольская правда”. 2018, № 91).

Любо мне, русскому писателю, выразительное слово дагестанского поэта Расула Гамзатова: “Выстрелишь в прошлое из пистолета — оно ответит из пушки”.

1. НОРМАНСКАЯ ВЕРСИЯ СТАНОВЛЕНИЯ РУСИ

То и дело СМИ возбуждают общество агитацией за “доподлинную” историчность с именем заморского пришельца Рюрика и “норманской” (варяжской) версии возникновения государственности на Руси. Будто нет иных мнений корифеев исторической науки М. Ломоносова, Д. Иловайского, советского академика Б. Рыбакова и многих других.

Итак, неужто и в самом деле собрались-де в пещерах у кострища некие дикари в вонючих шкурах и хрипло заорали в холодные заморские шхеры и фиорды: “На помощь!”

Эта фантазия исключена! Напоминаю: Русь и до варягов была весьма организованным сообществом.

Даже Н. Карамзин, сторонник норманской версии, в своей знаменитой “Истории государства Российского” (т. 1, главы 2, 3 и 4) утверждал: “Славяне имели народное правление”; они “до варяжского правления, по словам Нестора, умели довольствоваться древними законами отцов своих”; “хлебопашество, в коем они издревле упражнялись и которое вывело их, — может

быть, ещё за несколько веков до Рождества Христова – из дикого, кочевого состояния...” И т. д.

Хотели лучшего с помощью варягов? Вероятно! Но зачем замалчивать со-общённое Карамзиным “недовольство властью завоевателей”? Да и то пока-зательно: ведь поныне слово “варяг” не из похвальных.

...Русская старинная пословица научает: не будь тороплив, будь памятлив.

2. ПУШКИН В ПРОКРУСТОВОМ ЛОЖЕ ПРИСТРАСТИЙ

Одна поэтесса из либеральствующего стана соблазнила “Комсомольскую правду” призывом оконъюнктурировать биографию Пушкина. Она стала внушать неискущённому читателю, что его творчество не подвергалось царской цензу-ре: “Комментировать такой бред попросту смешно. Назовите хотя бы одно произведение, которое наконец-то император запретил”.

Итак, была ли над Пушкиным цензура? Припомню кое-что – внимание! – из многого. Вот царь в 1829-м читает письмо генерала Бенкендорфа, началь-ника III Отделения Собственной канцелярии Его Императорского Величества: “Пушкин, революционные стихи которого, как “Кинжал” (Занда), “Ода на вольность” и т. д. переписываются и раздаются направо и налево”. Вот Бен-кендорф объявляет: “Он троих друзей – Дельвига, Пушкина и Вяземского – уже упрячет, если не теперь, то вскоре, в Сибирь”.

Сохранены и самого Пушкина отклики на цензуру, один из них: “Мне воз-вращён “Медный всадник” с замечаниями государя”.

... Я написал письмо цензорше биографии Поэта и посоветовал прочитать мою книгу “Зима, весна, лето и Болдинская осень. Жизнь А. С. Пушкина в 1830 году”. Почему? В ней десятки и десятки фактов отношения к Пушкину власти.

Не откликнулась! Итог: читатели огромнотиражной “Комсомолки” приго-ворены познавать искажённую биографию нашего Гения.

... Пушкин оставил своим биографам в назидание преинтереснейшее чет-веростишие:

*Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом:
Смотри, пожалуй, вздор какой!*

3. И ЖЕНА ПУШКИНА ОБОЛГАНА

Таша – так звали её домашние... Какая же вопиющая своею ложью при-жилась неправедно-обидная молва: “И какое могло быть духовное общение между Пушкиным и малообразованной шестнадцатилетней девочкой, обучен-ной только танцам и уменью болтать по-французски?” Это столь безапелляци-онное обвинение высказал до сих пор читаемый биограф Пушкина Викентий Вересаев (1867–1945) в своей книге “Пушкин в жизни”. С тем же выступили и Анна Ахматова, и Марина Цветаева.

Что же было на самом деле? Читаем письма Пушкина к невесте и – за-тем – и к супруге:

“Твоё замечание о просвещении русского народа очень справедливо и делает честь тебе, а мне удовольствие”;

“Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе: докажу после”;

“Пиши мне также новости политические. Я здесь газет не читаю... Не знаю, что делается на белом свете...” Это письмо рождено в карантинном (против холеры) Болдино.

“Кстати: пришли мне, если можно, Essays de M. Montagne (“Опыты г. Монтеня. – В. О.)... Отыщи”;

“Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актёра Щепки-на, который ради Христа просит его приехать в Москву прочесть “Ревизора”. Без него актёрам не спеться”;

“В Архивах я был и принуждён буду опять в них зарыться месяцев на 6; что тогда с тобою будет? А я тебя с собой, как тебе угодно, уж возьму”.

“Какая ты умненькая, какая ты миленькая! Какое длинное письмо! Как оно дельно! Благодарствуй, жёнка”.

Могу продолжить...

4. ЗАЧИСТКА СКРИЖАЛЕЙ

Поездил я по главным западным странам и проникся спокойным там отношением общества к биографиям вождей народных восстаний и идеологов политического инакомыслия: от Спартака или Робеспьера до, например, Вольтера.

Но что ныне у нас? Исчезли из обиходной памяти крестьянские войны Разина, Пугачёва, Болотникова и иных, уж не слышна даже песня про легендарного разбойника Кудеяра. В самых редких случаях звучат имена диссидентов царских времён Новикова, Радищева, Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Плеханова, предвзяты оценки декабристов...

Ну, совсем как по лекалам советской идеологии, когда запрещалось приобщение к трудам, например, И. Киреевского, Ю. Самарина, К. Победоносцева, М. Каткова, М. О. Меньшикова – идейных противников революционных демократов и большевистствующих социал-демократов. И нипочём нынешним волонтерам от цензуры, что великие умы России являют нестареющий урок: быть объективным. Таков, к примеру, Лев Толстой в оценках Чернышевского: “У него много очень хороших, высоких в нравственном смысле мыслей” (Л. Толстой. Собр. соч. В 22 тт. Т. 22, с. 482). Могу продолжить: Иван Бунин, убеждённый антикоммунист, восхищался Белинским.

Разве не так, что цензурирование интеллектуальных богатств – это боязнь идеологов и СССР, и нынешней России доверять обществу всю радугу событий и явлений на необозримом небосводе истории нашей культуры? Но если всё-таки что-то политизировано и пугает, так отстреливайся должными объяснениями-комментариями...

Хороша наша старинная поговорка: кланяйся своим, да не забывай наших.

5. ПЁТР СТОЛЫПИН: И ОН В ЦЕНЗУРЕ

Председатель правительства России в 1906–1911 годы... Во времена СССР он был ненавистен как подавитель революции 1905 года, нынче то и дело восхваляем как великий реформатор экономики.

Однако же преданы забвению его до сих пор злободневные наставления в деле заботы о народе. Те, что не втискиваются в прокрустово ложе политических пристрастий.

...Есть книга 2002 года, которую обрекли на замалчивание и изданием в провинции (Саратов), и нежеланием откликнуться в СМИ на её выход. Это “П. А. Столыпин. Жизнь за Отечество” Г. Сидоровнина. Не посчитались даже с мнением Патриарха – он автор предисловия-напутствия.

Далее некоторые извлечения из наказов Столыпина, явно ничуть не устаревшие:

“Положение рабочих в России находится сравнительно в неудовлетворительном состоянии – недопустимо, чтобы рабочий класс и в дальнейшем оставался беспочвенным пролетариатом”; “плата за право обучения должна быть такова, чтобы и малоимущие классы имели бы возможность дать своим детям минимум среднее, а по возможности и высшее образование, ...бесплатную медицинскую помощь...”

Прогрессивный подоходный налог с таким расчётом, чтобы малоимущие классы были бы по возможности совершенно освобождены от всяких налогов. Главная тяжесть прогрессивного налога должна, естественно, падать на наиболее зажиточный класс и на крупную промышленность.

Министерство финансов совместно с Министерством торговли и промышленности должно следить за тем, чтобы цены на предметы производства не были увеличены в большей мере, чем это вызывается увеличением заработной платы и взиманием налога с оборота”.

Ещё указание: “Тщательно изучить культурную, религиозную и социальную жизнь каждой национальности и создать все условия к тому, чтобы они были не врагами России, а её верноподданными”.

Злободневны и его указы о внешней политике:

“Не забывать о тех внешних и внутренних врагах России, которые всячески стремятся к расчленению России”;

“Соединённые Штаты Америки фактически имеют совершенно неправильное представление о русском народе”;

“Если бы в силу какой-либо тяжёлой и затяжной войны погибла Монархия, а Россия как единое и мощное государство перестала бы существовать,

то русский народ не может рассчитывать на какую-либо помощь со стороны государств Западной Европы”.

...Однако же не ржавеет народная мудрость: по старой памяти, что по грамоте.

6. КАНУНЫ 1917-го: КАК ЖИЛОСЬ НАРОДУ

Напомню: немало СМИ в пору 100-летия Октября 1917-го то и дело укоряли свой народ, что зря в благополучной-де стране пошёл за большевиками. Одна газета придумала, что при царе и голода-то не было.

Так ли? Читаю в научном журнале “Отечественная история”: “В 1913 году национальный доход на душу населения России составлял 1/3 от немецкого и 1/8 от США (1998. № 1, с. 98). Здесь же: смертность была одной из самых высоких в мире; четверть детей умирали на 1-м году жизни, половина не доживали до 5 лет. Есть и такое от статистиков печальное заключение: средняя продолжительность жизни в те годы составляла 32,9 года (!) – среднеевропейская 49.

Отсутствовал голод? Что же забыто свидетельство февраля 1917 года председателя Госдумы Родзянко: “Волнения принимают стихийные и угрожающие размеры. Основы их – недостаток печёного хлеба и слабый подвоз муки”. Он добавил: “Полное недоверие власти, неспособной вывести страну из тяжёлого положения” (“Отречение Николая”. М., 1990, с. 224).

7. ЦЕРКОВЬ ОДОБРИЛА СВЕРЖЕНИЕ ЦАРЯ

Все знают, что Русская Православная Церковь – убеждённая противопоставница едва ли не всему и вся, что шло и идёт от коммунистов.

Но случилось исключение, а потому и чрезвычайно важное для осмысления истории революции.

Итак, многие ли знают “Определение Святейшего Правительствующего Синода Русской Православной Церкви” от 2 марта 1917 года? Оно было принято сразу же по обсуждении “Акта об отречении Государя императора Николая II за себя и сына от Престола Государства Российского”. Читаем же наиглавнейшее (обращаю внимание на 1-й абзац о голоде):

“Старое правительство довело Россию до края гибели. Случилось что-то невероятное. Великая Россия, питавшая своим хлебом всю Европу, теперь, в дни войны, когда, казалось, всякий вывоз хлеба за границу был прекращён, когда хлеба должно было хватить на всех с огромным избытком, на самом деле ощущает страшный недостаток в этом хлебе, а в иных местах терпит чуть ли не настоящий голод. Нет не только хлеба, но не хватает и прочих необходимых предметов продовольствия: масла, мяса и т. д.

Расстроилось народное хозяйство. Но не только хозяйство народа пришло в упадок, а и многое вызывает наше удивление и негодование. В самом деле, количество народа у нас чуть не в три раза больше, чем у немцев. При этом мы, русские люди, горячо любим нашу родину, и наши воины на фронте дерутся с немцами, как львы. А, между прочим, враг далеко проник вглубь России и захватил множество нашей земли, разорив села, города, пустил по миру десятки тысяч наших братьев.

Что это? Как это можно объяснить? Вы сами знаете ответ: в нужную минуту не хватало снарядов, бывало, что у немцев пушка и пулемёт, а у русского воина дубина, да и то не у каждого. И произошло это потому, что при старой власти не готовилось снарядов, выдавались планы немцам, предавались русские люди. Нельзя перечислить все её тяжкие и великие грехи” (“Вопросы истории”, 2004, №№ 2–4; замечу в скобках, что тираж этого издания крайне мал).

8. НЕМЕЦКИЕ ДЕНЬГИ ЛЕНИНУ

Привычно ныне утверждение, что революция 1917-го свершена большевиками на деньги Германии – подкупили даже Ленина!

Однако нет подтверждающих документов подкупа. Об этом заявил и начальник нынешнего Росархива.

Да и кто бы оповестил – кому конкретно марки-то вручали? 18-ти миллионам рабочих? 20-ти миллионам хозяев мелких крестьянских дворов (беднякам)? 8-миллионной воюющей армии? 200 тысячам большевиков (такова была численность их партии к октябрю 1917-го)?

Так сколько надо было бы Германии выделить средств хотя бы по минимуму — по 10 немецких марок на человека — из перечисленных выше социальных групп?

Подсчёт прост: ей понадобилось бы изъять из своего истощённого войной бюджета более 460 миллионов марок! Реально ли? Сравним: расходы немцев вообще на войну, к примеру, в 1916 году составили 24,5 миллиона марок.

... Давно сказано: ври да знай меру.

9. ЛЮМПЕНЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ?

Нахожу в год 100-летия Октября в весьма авторитетной газете статью “Политика и мораль несовместимы”. Её автор — философ, замдекана философского факультета МГУ (“Российская газета”, 2017, № 211).

Мне думалось, что он покусится на философское осмысление того, почему большинство российских рабочих и крестьян, значительное число деятелей культуры и даже немало царских генералов и офицеров поддержали советское правительство.

Но оказалось, что в арсенале этого философа всего-то облыжно-обманная агитполиткритика первых наркомов (министров): “Люди абсолютно аморальные. Это были, по сути дела, уголовные элементы дореволюционного государства. Люмпены”. Напомню, что “люмпены” — это асоциальные личности: бродяги, нищие, пьянь и иже с ними.

Что же на самом деле? В числе 16-ти наркомов пятеро были из дворян, отец Троцкого — состоятельный землевладелец, Милютин — из семьи крупного капиталиста, из семинаристов Сталин, Подвойский закончил юридический лицей, у Крыленко — диплом университета... Замечу немаловажное: почти все они прошли через школу политэмиграции, печатались в серьёзных изданиях (не только большевистских).

Увы, философу-политикану невдомёк, что вовсе не биографии вождей революции определяли её победу и затем, через десятилетия — её поражение.

Ему бы обратиться за умом-разумом к весьма убеждённому противнику большевизма — выдающемуся философу Льву Карсавину, непосредственному свидетелю революции: “Если считать, что русский народ подчинился большевикам только за страх, надо будет признать не русским народом погибших в гражданской войне и в защите России красноармейцев. Тогда не принадлежат к русскому народу ни крестьяне, предпочитавшие большевиков царским генералам, ни чиновники, среди которых далеко не все работают из-под палки, ни большинство рабочих... Ни те, которые отрицая в принципе власть большевиков, всё же считают её лучшею, чем власть иностранная или реставрационная” (“Философия истории”. Берлин, 1923, с. 325).

10. КОГДА НАЧАЛАСЬ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА?

Историки из числа агитполитпропагандистов убеждают, что, образно говоря, первый выстрел в гражданской войне надо числить за большевиками.

Будто не знают, что истина может быть установлена только выявлением причин, породивших братоубийство.

Читаю ещё одно письмо председателя Госдумы Родзянко — внимание! — от 3 марта 1917-го, то есть сразу же после отречения царя: “Весьма возможна гражданская война”. Каково!

В этот же день о том же писал начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев в телеграмме всем командующим фронтам: “Возможна гражданская война”.

... Истинно так, как в старой пословице: “То забыли, что вчера говорили”.

11. КТО ПРИЗВАЛ “ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ”?

Не счесть нынче ярых пропагандистов, утверждающих, что глава большевистского правительства Ленин призывал к грабежам. И ведь гипнотизирует, тем более состоятельных людей!

Как же на самом деле родился пресловутый “слоган”? Внимание! Это попытка Ленина покончить со стихийно полыхнувшим в 1918-м призывом мародёров “Грабь награбленное!” (у богатых). Он провозгласил: “Беднота крестьянская, которая ничего не выигрывает от грабежей награбленного/.../ Пролетариат, масса крестьянства, разорённого и безнадёжного

в смысле хозяйства индивидуального, будет на нашей стороне, потому что прекрасно понимает, что простым грабежом Россию удержать нельзя”. В заключение приказал: “Таких нарушителей дисциплины расстреливай” (В. Ленин. ПСС в 45 тт. Т. 36, с. 270).

12. БАРОН ВРАНГЕЛЬ И ВНОВЬ ФИЛОСОФ

Уже помянутому философу очень захотелось облагородить белого генерала Врангеля: “Меня всегда восхищал барон Врангель”. Он не оригинален – авторитетная газета “Известия” ещё в 2005-м (№ 180) дала установку: “Сегодня демагоги говорят, что белые и красные были одинаково “хороши”, совершали зверства и т. п. Но это ложь. Есть существенное различие...” Такова директива на обеление белых и очернение красных.

Философу нипочем, что есть надёжные – из первых уст! – свидетельства самого Врангеля: “Добровольческая армия дискредитировала себя грабежами и насилием”.

13. ИНТЕРВЕНЦИЯ: ПРИЗНАНИЯ ИЗ ЛОНДОНА

Странное дело: в СМИ предпочитают не упоминать особую – в крови! – главу истории нашей страны с датой февраль 1918 года.

Тогда началась интервенция. Масштабная: вторглись войска Англии, Франции, Германии, США, Японии и ещё нескольких стран. Без Польши не обошлось! Глобальная – от северных районов страны до Крыма и нашего Дальнего Востока.

С чем пришли оккупанты? Стоит напомнить о признании из первых, как говорится, уст. Это свидетельство английского разведчика и организатора антисоветского заговора в 1918 году Роберта Локкарта: “В гражданской войне немало повинны союзники (речь о странах Антанты. – В. О.). Мы содействовали усилению террора и увеличению кровопролития” (Р. Локкарт “Буря над Россией”. Рига, 1922).

Когда же быть покаянием?

...Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба.

14. КРЫМ: “СЛОГАНЫ” В 1918-М И НЫНЕ

Интервенция... Поразимся: появилось и ей оправдание! По весне 2018 года на ТВ одна доктор исторических наук принялась убеждать: интервенция шла-де без каких-либо злодеяний.

Что на самом деле?

27 апреля от главкома белых Деникина послание в штаб интервентов: “Я и вверенные мне войска приносим сердечную благодарность союзному флоту в лице его старшего начальника за мощную поддержку огнём, оказавшую решающее влияние на успех сегодняшнего боя”.

12 мая телеграмма Трюссона: “В продолжение ночи английские миноносцы обстреливали д. Аджи-Мушкой”. Тот же день – донесение в штаб Деникина от одного полковника: “Еду торжественно вручать англичанам письмо... Лично повторю вопросы о греках, газах (!!! – В. О.), гранатах и содействии левому флангу Кавказской армии в районе Мариуполя со стороны английского флота”. (Поясню: греческие части тоже входили в число оккупантов.)

19 мая Деникин оповещён: “Английский миноносец № 68, уходя в Константинополь, выпустил 89 снарядов, начинённых ядовитыми газами (!!! – В. О.). Вся деревня Аджи-Мушкой была разрушена”.

23 мая новая реплика: “Английские войска стреляли по Митридату”. (Все цитаты даны по: “Смена”, 2016. – № 10.)

15. КРЫМ: САНКЦИИ В 1918-М И НЫНЕ

Итак, 1918–1920 годы. Советский Крым оккупирован. Чем оправдывается вторжение? Истовым желанием укрепить белую армию с её устремлённостью воевать за “единую и неделимую Россию!”

Всё это с санкциями, пропитанными кровью и пропахшими газами и порохом, как рассказано в предыдущей главе.

Прошло 100 лет. Запад “запамятовал” свои вожделения оставить Крым в составе России. И снова санкции.

16. КРЫМ: ПРИЗНАНИЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ

Утрата Крыма Россией была итогом сговора в Беловежской Пуще... И команда Ельцина ничуть не устыдилась своего участия в этой позорной сделке. Читаю стенограмму VI съезда Народных депутатов Российской Федерации (заседание 23 апреля 1992 года).

Вопрос министру иностранных дел Козыреву: “Кто же предаёт Крым – вы или вы вместе с президентом?”

Ответ: “Вам будет легче, если я скажу, что да, мы предали Советский Союз, мы предали Крым?”

17. БОЙ У ДУБОСЕКОВО: ФАЛЬШ-ВЕРДИКТ

Уже лет 20 либеральствующие СМИ натужно внедряют фальшивку, что подвиг 28-ми панфиловцев – “миф”. С 2016 года эта деза стала официальной, ибо была изложена в правительственной газете главой федеральной (!) структуры Росархива А. Артизовым.

В бумагоизмельчитель – Указ о присвоении 28-ми званий Героев Советского Союза, в переплавку награды! Взрывать памятники на поле боя у Дубосеково, в Алма-Ате, Бишкеке! Сковыривать уличные таблички! Отменить гимн Москвы со строчками о 28-ми! Раскурочивать музейные стенды! Перепечатывать учебники! Препровождать в спецхраны мемуары выживших героев и полководцев Жукова и Рокоссовского, а заодно мою книгу “Пять месяцев дороги к Дубосеково”.

Вердикт на отмену боя зиждется на материалах Справки Военной прокуратуры 1948 года. В ней протокол допроса журналиста “Красной звезды”, своей статьёй воссоздавшего историю боя по горячим следам, и комполка из дивизии Панфилова.

Однако будем бдительны. Я выявил, что те, кто цитируют Справку, скрывают, почему же отважные в войну офицеры признали, что боя не было. Ответ: 1948 год, в стране штормы беспощадно-карательной политбдительности! Ну, как же прокуратура может разрешить славить бой, если один участник боя угодил в плен и будто бы как-то там прислуживал немцам?!

Как шло следствие? Журналист Кривицкий потом осмелился рассказать: “Мне было прямо сказано, что если я откажусь признать, что описание боя у Дубосеково полностью выдумал и что ни с кем из тяжело раненных или оставшихся в живых перед публикацией статьи не разговаривал, то в скором времени могу очутиться в районе Печоры или Колымы”. И добавил с полной откровенностью: “А оказаться там мне как-то не хотелось...”

Но неужто прокуроры попали в плен вынужденных лжесвидельств? Поразительно: главный архивист страны с дипломом доктора исторических наук пошёл на сокрытие фактов! Утаил в своём интервью, что в конце Справки есть записи опросов очевидцев (!) боя: “Председатель Нелидовского с/совета Смирнова рассказала: “Бой у нашего села Нелидово и разъезда Дубосеково был 16 ноября”. Примерно то же рассказывали и другие жители: “Снесли к братской могиле в том числе труп политрука Клочкова...”

Замечу, есть и десятки других свидетельства о бое. Архив ФСБ тоже подтверждает факт боя. Но, увы, извращение истории подвига продолжается. Недавно заявил о себе в этой теме г-н Сванидзе – голословно, без единого факта.

18. КАК ОПРАДЫВАЮТ ГИБЕЛЬ ПЛЕННЫХ

Не оправдать фашистскую Германию за ужасающую участь тех советских воинов, кто попал в плен. Расстрелы без суда и следствия, мучительная гибель от истощения и непосильного труда, от унижений.

Однако же оправдывают, и давно. И не только на Западе. Свои – из подленьких – тоже нет-нет, да изошряются.

О чём речь? Напоминаю: фашисты позволили себе нечеловеческое отношение к пленным, ибо-де СССР не подписал в 1929 году Женевскую конвенцию об обращении с пленными.

Какая наглая лож! Читаем заявление НКВД (Наркомата иностранных дел. – **В. О.**) от 25 августа 1931 года: “Нижеподписавшийся народный комиссар по иностранным делам Союза Советских Социалистических Республик настоящим объявляет, что СССР присоединяется к конвенции об улучшении

участи военнопленных, раненых и больных в действующих армиях, заключённый в Женеве 27 июля 1929 г.” (ЦГАОР СССР, ф. 9501, ед. хр. 7, л. 22 48).

19. КАК ПО ФАЛЬШИВКЕ ОПОЗОРИЛИ УКРАИНУ

Один из бывших президентов Украины съездил в гости к президенту Грузии Саакашвили и узнал, что тот придумал “Музей советской оккупации”. И тут же объявил о надобности такового на Украине.

Международный плагиат — дело, конечно же, суверенное. Если бы он не превращался в фарс, чтобы оскорбить те народы, которые входили в состав СССР.

Власти Украины ненависть к “москалям” возбуждают страшилками: будто Россия с преданных времён — колонизатор-оккупант.

Напомню кое-что о месте Украины в составе СССР — эта тема особенно ненавистна извратителям истории.

70,2% “оккупированных” украинцев проголосовали на референдуме 1991 года за сохранение Украины в составе СССР;

более 7 миллионов “оккупированных” украинцев — воины Советской армии и партизаны — вместе со своими соратниками из всех остальных союзных республик отстаивали свободу в Великой Отечественной войне;

— едва ли не миллион “оккупированных украинцев” были избраны депутатами Советов различных уровней;

— тысячи Героев Советского Союза, Социалистического Труда, миллионы с орденами и медалями СССР, сотни всемирно известных союзных лауреатов в сферах науки и культуры...

А как искоренить память о тех, кто — им несть числа! — становился учителями, офицерами, вплоть до генералов и маршалов, милиционерами, министрами, дипломатами, директорами всесоюзного значения киностудий, издательств и газет-журналов, промышленных гигантов?

И как это “оккупированная” Украина стала членом ООН?!

Но кто же “оккупанты”? Вообразите себе карту Украины с обозначением по каждому городу-селу-хутору комендатур с гарнизонами из солдат 14 союзных Украине республик СССР!

20. О ЗАБЫТЫХ КЛЕЙМАХ УКРАИНСКОГО ФАШИЗМА

Российские СМИ горазды обличать вождей майданной Украины за верность фашиствующей Организации украинских националистов (ОУН) во главе с Бандерой и Шухевичем.

Но ни разу не предъявлены обвинения с прямой привязкой к приговору Нюрнбергского процесса (международный военный трибунал 1946 года): “В течение ряда лет до 8 мая 1945 года участвовали в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также являлись войнами в нарушение международных договоров, соглашений и обязательств”.

О чём это я? В 1940 году, за 6 месяцев до нападения Германии на СССР ныне прославляемые на Украине главари националистов обнародовали “генплан” предстоящей войны. Показательно: в этом же месяце Гитлер утвердил “План Барбаросса” (нападения на СССР).

Чего же хочет ОУН? “Наше основное задание теперь — стянуть на врага (СССР. — В. О.) все силы света... Борьба не (только) на родной земле... В первую очередь захватить Донбасс, море... Поголовные расстрелы врагов. Это одно из условий... Бактериологическая война...”

Можно ли отрицать союзничество — официальное! — ОУН с Гитлером? Июнь 1941-го. Уже идёт война! Украинские фашисты обнародовали акт “Возрождение Украинского государства”: “Нововозрождающееся Украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и мире...”

Внимание! Май 2015-го: президент Украины подписал закон “О признании ОУН борцами за свободу”.

Вопрос: что же смолчали страны, осуществлявшие обвинение на процессе в Нюрнберге, а ныне благодетели националистической Украины?

21. ФРГ: “СТАРЫЕ ВЗГЛЯДЫ ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ЩЕЛИ”

Отнять, отнять Крым у России! И пошли санкции–репрессии от США в наказание за выбор крымчан в ходе референдума 2014 года.

И как же ретива в этой антироссийской кампании нынешний канцлер ФРГ! Но странно: она замалчивает две особые страницы истории. Ещё бы не замалчивать! Ведь они взывают к особой дипломатической и нравственной щепетильности.

1918-й. Вождь крымско-татарских националистов Сейдамет обратился с призывом к Германии – вводит войска! Ввели! (“Архив русской революции”, Берлин. 1930. Т. 5, с. 219);

1941-й. Гитлер приказывает: “Крым должен быть освобождён от всех чужаков и заселён немцами” (“Нюрнбергский процесс...”. Т. 2. М., 1958, с. 582).

...”Старые взгляды через новые щели” – будто для нынешних властей ФРГ ещё в XVIII веке едко выразился немецкий мудрец Георг К. Лихтенберг.

22. США – ИМПЕРИЯ ЗЛА! НАЙДУТСЯ ЛИ ОПРОВЕРЖЕНИЯ?

Один из самых несправедливых приёмов русофобии – это трубить на всю вселенную: “Россия – империя зла”.

Да, бывшая власть принесла немало зла своему народу, к примеру, в её истории – не уходящие из памяти репрессии против любых инакомыслящих.

Но что же наши политологи стесняются напоминать Америке о её злодеяниях?

Это истребление аборигенов-индейцев, рабство и расистская ненависть к неграм, захват земель соседей-мексиканцев. И оккупация нескольких районов молодой советской России. И более чем на два года задержка открытия Второго фронта, продлевавшая фашизму возможности воевать с нашим народом. И ничем не оправданное ядерное уничтожение мирного населения Японии или напалмовая война во Вьетнаме. И расправа над инакомыслием в своей стране после войны под знаменами маккартизма. Да какие имена! Великие Роберт Оппенгеймер, Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин, Леонард Бернштейн, Стенли Крамер, Поль Робсон...

Что нынче? В отличие от России – неотменённая смертная казнь. И вмешательство во внутренние дела многих стран – даже с вводом войск и бомбёжками, госпереворотами и “цветными революциями” (в звёздно-полосатой палитре): Мексика, Гаити, Иран, Ирак, Гондурас, Никарагуа, Панама, Афганистан, Сербия, Украина, Сирия... И санкции (политические и экономические) против России. И отъявленная агрессивно-милитаристская пропаганда, в особенности против нас и Китая.

И одновременно – звучащий на весь мир денно и ночью оглушительный слоган “Вмешательство России во внутренние дела США”. Да всё это – перекалывание с больной головы на здоровую! Надо ли забывать встречи послов США с российскими оппозиционерами и непрекращающиеся нагловатые осуждения ими России.

Одно сказать: США – мировой жандарм...

23. РАВНОДУШИЕ ИСТОРИКОВ К ЛИТЕРАТУРЕ

О чём речь? Для меня особо тревожно возрождение той политики в культуре, что проявилась сразу после революции 1917-го под “слоганом” “Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода современности!”; впервые опубликованном в книге “Пощечина общественному вкусу” 12 декабря 1912 года группой писателей, называвших себя футуристами (от лат. futurum – будущее). Так навязывали читателям отречение от многовековых духовных богатств нашего народа.

Беда – и нынче не выкорчеваны ядовитые корешки той кампании! Часто ли поминаются в СМИ и в официальных речах, к примеру, “Слово о Законе и Благодати” митрополита Илариона, Нестор-летописец с его “Повестью временных лет”, “Слово о полку Игореве...”? А как коварно – тихой сапой! – прикрыли в 1990-е годы Пушкинское Общество! И исчезли упоминания о Радищеве, Салтыкове-Щедрине, Некрасове. Четвертовали Маяковского – осталась лишь его лирика. Редко звучат стихи Есенина и Твардовского. Запустили клеветническую дезу о “плагиате” Шолохова. Из пяти российских нобелевцев-писателей почти всегда пропагандируются только два – Солженицын

и Бродский. Не отдаётся должное великим заслугам “деревенской” прозы с её отважными творцами Василием Беловым, Василием Шукшиным, Валентином Распутиным, Виктором Астафьевым, Фёдором Абрамовым... Обречь юных на странно избирательное отношение к литературе пытались сразу два министерства: культуры и просвещения. Они решили внедрить “культурный норматив”. И вот раздел песен: Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Макаревич, В. Цой... Однако же в этом списке нет М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача, А. Фатьянова, В. Бокова, А. Дементьева, М. Ножкина...

Замечу с недоумением: остались без отклика власти мои заметки “Лев Толстой как зеркало равнодушия? Быть ли Национальной программе “Наследие Льва Толстого – всенародное достояние” (“Литературная Россия”. 2019, № 47).

Подытожу: по совокупности самых разных причин и обстоятельств нас приучили к тому, что выявил Рособрандзор: 60 процентов школьников предпочитают читать только фантастику (“Коммерсант”. 2019, № 44).

24. КОЕ-ЧТО В ОБОБЩЕНИЕ

Учиться у глобалистов. Идеологи США продекларировали стратегический замысел: “Запад XXI века будет управляться не теми, кто быстрее выхватывает оружие, а теми, кто лучше других сумеет слушать и понимать богатую смесь языков, ритуалов и истории...” (“Известия”. 2004, № 198).

Настолько всё чётко и ясно про “смесь”, что мне только и остаётся, что заявить тему исторического всеобуча в России.

Благо, что появились активные Военно-историческое и Российское Историческое общества; правда, увы, пока нет свидетельств их союзничества с Комиссией РАН по лженауке (однако как ещё востребован их активный отклик на публикации антиисторического пошиба! Попутно напомним, что недолго просуществовала созданная в 2009-м по указу президента Комиссия года по противодействию попыткам фальсификации истории).

Убеждён: нужен при президенте страны спецкомитет, который мог бы взять на себя координацию исторического просвещения силами школы, науки, учреждений культуры, творческих союзов, СМИ и т. д. Вплоть до формирования проектов пятилетних государственных сводов особо важных дат и юбилеев и установки памятников.

Давно вызрела надобность государственных журналов “Юный историк” и “Юный книголюб”.

Можно продолжать и продолжать...

Кое-что о школьных учебниках. Культура историзма, чувства гражданственности и патриотизма... Всё это формируется в самой значительной мере в школе. Вспомним наставление канцлера Бисмарка о том, кто выигрывает войны, – учитель!

Учебники истории... Они должны стать принципиально другими. Это я о том, что они скучны до скуловоротных зевот. Будто поимели за образец пресловутый Краткий курс истории ВКП(б), столь любимый Сталиным. Министерство просвещения пока не озабочено иметь учебники занимательные – под стать увлекательной науке истории. Они безлики: избавлены от пословиц-поговорок, крылатых выражений, исторических анекдотов (достоверных). Вот бы появилось к каждой главе приложение “Для любознательных”. И дополнять разделы “Вопросы и задания” вопросами и заданиями на сообразительность и на развитие сравнительно-исторического мышления

Лишь бы не впасть в пагубную крайность! Узнал: стала продаваться “История России в комиксах” (изд. “Бомбора”). Пошлые упражнения ярких извращенцев истории у ног музы истории Клио. Вот, к примеру, как подаётся школярам “русская правда” Ярослава Мудрого (своеобразная конституция Древней Руси): “А жить я вам советую по справедливости: украл, выпил – в тюрьму!”

...Ужаснёмся итогом недавнего специсследования: что является предметом гордости у нашей молодёжи. Так, за историю родной страны “проголосовало” всего 7 процентов опрошенных, за Великую Отечественную и того меньше – 6%. (“Коммерсант”. 2019, № 234).

* * *

Помнить нестареющий завет Пушкина: “Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал”.

ВАСИЛИЙ ЛИТОВЧЕНКО



ВОСПОМИНАНИЯ

О солдатском коллективе

Жизнь каждого из нас протекает в различных коллективах. Так и моя жизнь: сначала коллектив учеников школы, потом студентов.

Началась война, я оказался в коллективе колхозников Таловской сельхозартели Воронежской области, потом в коллективе солдат.

В каждом из этих коллективов свои законы, свои требования к его членам.

Коллектив солдат, конечно, самый своеобразный. Формальные отношения между его членами определяются воинской дисциплиной – субординацией, но над неформальными отношениями законы субординации не властны, как это правильно считает современная психология.

В соответствии с этими законами в любом коллективе третируются те, кто чем-то отличается от всех. В сказке Андерсена гадкого утенка все клюют только за то, что он не такой, как все. Точно так же в солдатском обществе презирали и всячески обижали тех, кто не похож на других. Такие становились, как правило, объектом издевательств, различных солдатских шуток, порой весьма жестоких. В химвзводе 68-го стрелкового полка был солдат Батхан, родом из Белоруссии, перед войной он учился в Московском авиационном институте. Батхан отличался от всех своей интеллигентностью. Он разговаривал со всеми подчёркнуто культурно и вежливо, как в великосветском салоне. В грубой фронтовой обстановке это выглядело крайним диссонансом, и поэтому с самого начала его появления во взводе он стал служить объектом насмешек и издевательств. Солдаты насмехались над ним ещё и за то, что он всегда при первой же возможности уединялся и что-то писал в записной книжке. Я был единственным человеком во взводе, который разговаривал с ним без насмешек. Мы оба были недоучившимися студентами, поэтому он был со мной откровенным и показал, что он в записной книжке решает интегралы. Ещё когда его призывали, он выписал себе несколько сотен интегралов и стал их решать на фронте, чтобы не забыть математику, так как был

твёрдо уверен, что будет продолжать учебу в МАИ. Я убедил его в том, что это чепуха, остались бы головы целыми, а в интегралах мы разберёмся. Судьба распорядилась так, что моя голова осталась цела и ей пришлось разбираться в интегралах, а он вскоре после этого погиб.

Своеобразие солдатского коллектива состоит в том, что в нём все взаимоотношения выражаются в острой откровенной форме. Если уж кого презирают, то очень глубоко, и никто этого не скрывает, и выражают это презрение по любому поводу. И наоборот, если кого уважают, то это уважение безгранично и тоже выражается по всякому поводу.

В солдатском коллективе неожиданно для себя я стал уважаемым и авторитетным человеком. Ко мне обращались в таком роде: “Ну ты, самый честный человек в роте, скажи...” – и дальше мне предлагался для решения какой-либо конфликтный вопрос солдатской жизни, требующий высокого уровня совести. Конечно, для выступления в роли арбитра, кроме совести, требуется ещё и жизненный опыт, а его-то тогда у меня и не было.

Или ещё такой пример. Однажды нам надо было участвовать в ночной операции – отвлечь внимание противника от группы разведчиков, которая шла в ночной поиск за языком. Задание опасное. И вот перед операцией сержант Пешков пошёл к командиру роты и попросил, чтобы его послали вместо меня. Мне же он сказал: “Ты молодой, честный и умный, и ты должен жить. А я старик, своё уже пожил”. К счастью, всё обошлось благополучно. Были ещё такие случаи, когда я замечал, что меня оберегают. Может быть, поэтому я и остался жив.

И ещё я хотел вспомнить о солдатской дружбе. Как позже оказалось, в мирной жизни мне не встретились больше друзья столь верные и преданные, как те, что были у меня на фронте. Конечно, друзья были, но это, в основном, люди, которым дружить со мной было выгодно, которые эксплуатировали мой мозг и моё трудолюбие. Солдатская дружба совершенно свободна от всяких меркантильных соображений, поэтому она чиста и возвышенна. У меня было много друзей, и я вспоминаю их с большой теплотой. К сожалению, я был тогда настолько глуп, что, расставаясь с ними, не записал их адреса, поэтому эта дружба осталась без продолжения в мирное время.

В 68-м стрелковом полку самым лучшим моим другом был башкир из Оренбургской области Ултанов Захар Усманович. Был он моего возраста, перед войной окончил среднюю школу, поэтому ещё не имел специальности. Подружились мы с ним ещё в запасном полку и с тех пор всегда были вместе. Вместе ехали из Татищево в Калугу, вместе попали в 68-й полк во взвод химзащиты, вместе шли во всех походах и участвовали во всех боях. Если спим, то рядом, если тащим бревно, то я – за один конец, а он – за другой. Меня привлекала в нём почти тождественная мне психологическая организация: в любой ситуации я мог прогнозировать его действия так же, как и он мои. Ко всем явлениям окружающей жизни мы относились практически одинаково, поэтому никогда ни о чём не спорили. С таким другом все тяготы фронтовой жизни переносились гораздо легче, во всём на него можно было положиться, как на самого себя.

Ещё был у меня друг – смуглый красавец туркмен Алиев. Если такого одеть в бурку и папаху да посадить на коня, все женщины упадут в обморок. Был он тоже моих лет и тоже только окончил среднюю школу, но он воспитывался в очень культурной семье и с детства усвоил эту культуру. Причём его довольно высокий интеллект и его культура имели ярко выраженный не русский характер, а чисто восточный, арабо-персидский. Поэтому его подход к явлениям окружающей жизни для меня был совершенно неожиданным и непредсказуемым, чем он меня и привлекал. Как и полагается сыну востока, был он весьма горд и скрытен, поэтому наша дружба не была столь близкой, как с Ултановым. Ултанов для меня был совершенно прозрачным, а этот – сфинкс, душа которого скрыта. Тем не менее, это был друг, и я знал, что в критической ситуации на него вполне можно было положиться.

Я уже упоминал сержанта Пешкова. Он был гораздо старше меня, самый пожилой в роте. Он был командиром отделения химразведки, моим непосредственным командиром. Но командирского в нём было очень мало, ко всем своим подчинённым он относился отечески. Мне он особо покровительствовал, а я его выручал по части специальных знаний по химподготовке, в которых он был не силен.

Боевые марши

Когда формирование дивизии закончилось и командующий армией генерал Крылов Н. И. вручил полку боевое знамя, для нас наступила жизнь в движении. Полк всё время перемещался и больше суток на одном месте, кажется, ни разу не стоял. Шли только ночью, а на день останавливались где-нибудь в лесу, считалось, что для отдыха. Для кого, может быть, был и отдых, для нас, солдат, его не было; мы весь день копали землю. Надо было отрыть укрытия для людей, для лошадей, для повозок и прочего имущества. Земля в большинстве случаев была сухая глина со щебнем, копать которую было очень тяжело. Тем более тяжело, что от слабой кормежки физические силы наши были очень слабы. А самая главная трудность – совершенно никудышные лопаты. Наши саперные лопаты – и большая, и малая – изготовлялись из очень мягкого металла, копать ими твёрдую глину со щебнем было адским мучением. Когда начались бои, каждый старался любой ценой достать немецкую лопату. Из всей экипировки немецкого солдата самое совершенное – это лопата.

И вот в силу всех этих причин работа шла очень медленно, мы заканчивали копать всё то, что от нас требовали, только к вечеру и сразу же после этого выступали в следующий ночной переход. Утром останавливались на новом месте и начинали снова копать. Так и шло: всю ночь шагаем, весь день копаем, а спать совершенно некогда.

Когда полк вступил в бои, положение не изменилось к лучшему. Весь день мы что-нибудь строим (чаще всего, НП командиру полка), а на ночь, если нет передвижения, нас выставляют в боевое охранение впереди какого-либо батальона, чтобы дать отдохнуть солдатам-стрелкам, которые весь день вели бой.

Конечно, шагать всю ночь – это хуже, чем быть в боевом охранении. Вообще-то я ещё до войны был привычен много ходить, но то, что пришлось вышагать на войне, – это превыше всяких человеческих возможностей. По моим приблизительным подсчётам, только по территории Смоленской области я прошагал больше тысячи километров.

Осенью 1943 года после форсирования реки Десна мы шагали без останова четверо суток подряд. Утром на полчаса привал и вечером на полчаса привал, всё остальное время – шагай. Конечно же, без сна и без пищи, так как тылы, как всегда, сразу же отставали. Сколько километров мы прошли за этот переход, я не знаю, но под конец все были в таком состоянии, что если сел, то сам уже не встанешь. Поэтому при кратковременных остановках привалишься к дереву или чему другому, что есть поблизости, и стоишь.

Шагать, конечно, было очень тяжело, но всё же это не самое страшное. Самым страшным, по всеобщему признанию солдат, было то, что некогда было спать. Сутки проходят за сутками, а заснуть не приходится. Происходят существенные изменения в психике, человек становится, как бревно. В голове – постоянная тупая боль, в чувствах – полнейшее безразличие ко всему. Стреляют, убивают, кто-то гибнет – тебе это все абсолютно безразлично. Собственная жизнь тоже безразлична. Постоянно наблюдая смерть других, привыкаешь к неизбежности собственной смерти и воспринимаешь это, как неотвратимость, и относишься к этому совершенно спокойно. Если провести неделю без сна, то вообще в человеке мало остаётся человеческого. В любую минуту, если никуда не надо идти и ничего не надо делать, мгновенно засыпаешь, причём неважно, в каком положении – лёжа, стоя, сидя, – всё равно спишь. Но таких минут было очень мало.

Однако способность человеческого организма к адаптации беспредельна, и скоро солдаты приспособились. Они изобрели способ спать на ходу. Как только вечером полк начинает вытягиваться в походную колонну, каждый из нас спешит захватить место за повозкой. Если успел захватить, значит, повозло. Берёшься обеими руками за задок повозки и не отрываешься от неё всю ночь. И всю ночь спишь. Повозка останавливается – и ты останавливаешься, но не просыпаешься. Повозка пошла – и ты пошёл, но всё это во сне. Пройдёшь за ночь километров 30–40 и выспишься. Всем мест за повозками не хватало. Если не успел захватить, тогда худо. И всё равно засыпаешь, но при каждой остановке или натыкаешься на переднего, или задний на тебя натывается, или выходишь из колонны в сторону. В любом из этих случаев – просыпаешься. И снова, только заснул – просыпаешься. И так мучаешься всю ночь.

Несколько добрых слов нужно сказать о большой группе труженников войны – лошадях. На второй или на третий день после того, как мы прибыли в 68-й стрелковый полк, большую группу солдат послали на железнодорожную станцию в Калугу получать для полка лошадей. Тогда говорили, что лошади прибыли из Монголии. При первом же взгляде на них многие солдаты стали высказывать глубочайшее презрение к ним. Что это за лошади и как на них воевать? Маленькие, невзрачные, все одинаковой, какой-то неопределённой мышиной масти. И вообще не лошади, а чёрт знает что!

Однако почти сразу же отношение к ним стало меняться. Прежде всего, выяснилось, что эти лошади удивительно смиренные. Каждому солдату дали по одной лошади, все стали садиться верхом и ехали в полк, это что-то около десяти километров. Мне тоже дали лошадь. Она совершенно спокойно и равнодушно перенесла мои неуклюжие попытки взобраться на неё, в конце концов, я всё-таки влез на неё и поехал. А так как до этого я ни разу в жизни на лошади не сидел, то легко догадаться, чем это кончилось. Скоро я должен был с неё слезть и, раскорячившись, пойти пешком, а лошадь вести на поводу. Через некоторое время кто-то из солдат лошадь у меня забрал, и я добирался в расположение полка сам, без лошади.

Все достоинства этих лошадей, их выносливость и неприхотливость солдаты оценили только в боях. Оказалось, что эти монгольские лошади как нельзя лучше пришлись под стать русскому солдату. Лошади, как и солдаты, бывали сытыми только иногда, но тянули ляжку свою всегда и почти всегда на пределе возможностей, а часто и сверх этого предела.

Тянули повозки, на которые грузили не столько, сколько они могут увезти, а столько, сколько было надо. Тянули пушки и всё, что надо было тянуть. Тянули по всяким дорогам, а если нужно, то и без дорог по полям, лесам, оврагам, болотам. Точно так же и солдат тянул всё, что надо было тянуть, с той лишь разницей, что лошади тянули молча, а солдат мог вдоволь ругаться матом. Случалось, лошади безропотно переносили побои и издевательства со стороны сволочей, которые иногда попадались среди солдат-ездовых.

Когда лошадям оказывалось вытянуть не под силу, тогда рядом с ними впрягались солдаты и уже вместе вытягивали всегда. Случалось, лошади, как и солдаты, безропотно погибали во время бомбёжек и артобстрелов.

Сейчас стало модным писать мемуары. О героизме солдата на войне пишут все, но никто не пишет о героизме лошади на войне. Академик Павлов поставил памятник собаке за её вклад в науку. Было бы справедливо поставить памятник лошади за её вклад в Победу.

В июле 1943 года я чуть не попал в штрафную роту. А было это так. Дивизия непрерывно перемещалась и приближалась к линии фронта. После очередного ночного марша наш полк остановился на день в лесу. Было приказано от каждого подразделения выставить посты на опушке леса. От нашего взвода надо было выставить один пост. Сержант Афанасьев назначил меня часовым на этот пост. Он отвёл меня на опушку, указал место под кустом и ушёл. Я быстро выкопал себе удобный окопчик, расположился в нём и стал обозревать окрестности. Впереди меня простирался широкий луг, покрытый сочной зелёной травой и редкими кустами, а вдали виднелась опушка другого леса. Уже рассвело, в наиболее низких местах луга стали видны отдельные островки молочно-белого тумана, а над ним парили верхушки кустов. Проснулись птицы, их на опушке оказалось множество, и они от избытка птичьей радости начали оглушительный концерт. Взошло солнце, туман окончательно растаял, весь луг стал искриться и переливаться солнечными лучами в каплях росы. Вся эта красота природы порой полностью овладевала моим сознанием, однако периодически сквозь неё прорывалось более сильное ощущение – чувство голода. Я ведь всю ночь шагал, а поел рано вечером. Это было так давно. За моей спиной лес был полон различных звуков и говора: солдаты, как всегда, копали землю, рыли щели для людей, укрытия для лошадей. Через несколько часов характер звуков изменился, доминирующим стал звук котелков. Ясно, что кухни сварили завтрак.

Я стал ждать: вот-вот придёт смена. Время тянется медленно, солнце поднимается высоко. Стало жарко. Полк уже давно позавтракал, в лесу стало тихо, а смены всё нет. Возникла мысль: «Очевидно, обо мне забыли». Уйти с поста я не имел права и поэтому настроился на длительное ожидание.

И вдруг я мгновенно уснул. Сон возник стремительно, совершенно неожиданно, я как будто провалился в чёрную яму. Сколько я спал, не знаю. Во сне возникло чувство тревоги. Я ещё не проснулся, но уже знал: случилась какая-то беда. Открыл глаза — так и есть. Нет винтовки! Вот это да! Я был очень дисциплинированным солдатом, за всё время службы я не имел ни единого взыскания. И вдруг такой казус — на посту проспал винтовку! Я знал, что по законам действующей армии мне полагается штрафная рота. Всё было настолько неожиданно и нелепо, что я совершенно растерялся. Потом решил: что бы и как бы ни было, надо идти во взвод и докладывать командиру взвода. Дорогой стал размышлять. Если это сделал кто-нибудь из взвода, то ещё не всё потеряно. А если это был обход постов на уровне полка, и они забрали у меня винтовку, тогда моё дело труба.

Прихожу во взвод и вижу: стоит моя винтовка, прислонённая к шалашу, который солдаты построили для командира взвода и сержанта. Я, недолго думая, сразу же её схватил. Фу, отлегло... А Трефилов, командир взвода, оказывается, не спал, меня ожидал. Спрашивает из шалаша: “Так где твоя винтовка?” Отвечаю: “Вот, у меня в руках!” Он, конечно, долго меня ругал и грозил написать рапорт командиру полка, но я по его тону с самого начала уже догадался, что ничего плохого он мне не сделает. Когда эта процедура кончилась, сержант Афанасьев сказал: “Найди Барышникова и поставь его на пост вместо себя!”

Из этой истории я всё же сделал некоторые выводы. Впредь всякий раз, когда на посту или в боевом охранении я чувствовал, что могу уснуть, я ставил винтовку между колен, прислонял к плечу и ремень наматывал на руку, а руки сцеплял на животе. Один раз это устройство сработало. Однажды расположение полка окружили на ночь густой цепью постов. Я тоже туда попал. Мне указали место возле дороги, я выкопал неглубокую ямку, сел в неё и накрылся плащ-палаткой, потому что было холодно и шёл мелкий дождь. Так как перед этим я несколько суток не спал, то, конечно же, быстро уснул. Поздно ночью кто-то из полка проверял посты, подошёл ко мне сзади и начал потихоньку тянуть винтовку за ствол. При этом он ремнём потянул и мою руку, я сразу же проснулся, но виду не показываю, а так спокойненько говорю: “А что будет, если я нечаянно нажму на спусковой крючок?” Так как ствол был направлен прямо ему в живот, то он сразу сообразил, что от этого будет, и, не говоря ни слова, быстро ушёл.

Первые бои

Когда полк вступил в бои, командир полка держал наш взвод при себе в качестве резерва и для охраны НП. На второй день нас послали ночью пройти по всем местам, где днём наступал полк, и собрать брошенные пулемёты. Два дня полк вёл тяжелейшие бои за деревню Соболи, понёс огромные потери, но прорвать оборону противника не смог. Во главе с командиром взвода мы лазили по “нейтралке”, несколько раз нарывались на немцев. Немцы сразу же кидают осветительную ракету вверх в воздух. Пока ракета летит вверх, мы успеваем упасть на землю и вжаться в неё. Собрали мы все бесхозные пулемёты, их оказалось не так уж много, и занялись выносом раненых. Раненых оказалось на поле боя очень много, и мы до самого утра носили их. Вдвоём нести раненого на шинели или плащ-палатке тяжело и неудобно. Раненому тоже очень трудно, некоторые не выдерживали, и мы приносили уже трупы.

Перед рассветом командир взвода приказал возвращаться. Отошли от передовой в лесок и обнаружили, что одного солдата нет, — Барышникова. Так как немцы несколько раз нас обстреливали, то командир взвода решил, что Барышников где-нибудь на нейтралке лежит убитый или раненый, и приказал нам пройти снова по всем тем местам, где мы были ночью, и найти его. С большой осторожностью мы передвигались по нейтралке, но немцы нас обнаружили и взяли двумя пулемётами в такой оборот, что мы еле ноги унесли, по счастливой случайности все уцелели. Вернулись в тот же лесок и доложили командиру, что Барышникова не нашли. Он совсем пал духом: как же ему докладывать о потере солдата? На обратном пути прямо возле дороги под кустом увидели спящего в окопчике Барышникова. Оказалось, он отстал, ещё когда мы шли на передовую, залез в окоп и всю ночь проспал там. Солдаты, конечно, разъярились и хотели взять его в кулаки, но командир взвода не дал его бить.

Первый раз я попал на передовую где-то в районе Спас-Деменска. Передовая была в редком молодом лесу, заросшем кустарником. Совершенно нет обзора, кругом одни кусты. Немцы близко, их хорошо слышно, но не видно. Мы окопались, но нас сильно растянули, соседей ни справа, ни слева не видно. Возникло ощущение полного одиночества и сильного страха. Стало казаться, что вот-вот из-за куста выскочат немцы, схватят и поволокут в плен. Не страшно, если убьют, но очень страшно попасть в плен. Однако через несколько часов это ощущение прошло. Я стал очень внимательно наблюдать за лесом в направлении немцев. Немцы совсем близко, они что-то кричат, чем-то гремят, что-то таскают, всё очень хорошо слышно, хотя и не видно. И вдруг совсем близко от меня, метрах в пятидесяти, слышу удары топора, и с каждым ударом вздрагивает вершина берёзки, которую мне видно выше кустов. У меня под носом немец рубит берёзку! Прицелился по этой вершине, взял возле самой поверхности земли и запустил из своей СВТ очередь на весь магазин. Немец заорал, значит, я его ранил. У немцев поднялся крик, шум, открыли огонь в нашу сторону. Солдаты нашего взвода также стали стрелять. Перестрелка, которую я начал, продолжалась довольно долго. (Между прочим, эти мои первые в жизни выстрелы по немцам оказались единственными за всю войну результативными выстрелами — я ранил немца. После этого я выпустил по немцам тысячи пуль из СВТ, из ППШ, из “Дегтярёва”, из трофейного МГ-34, но результаты этой стрельбы видеть не приходилось, скорее всего, этих результатов просто не было.) Потом перестрелка стихла, и немцы начали рубить деревья во многих местах. Мы снова дружно стали открывать огонь по каждому звуку топора. Позже к немцам прямо на передовую приехала автомашина, и они начали сгружать что-то тяжёлое, по звуку мы определили — колючую проволоку. Мы открыли бешеный огонь в этом направлении, моя СВТ работала, как часы, и я выпускал магазин за магазином, так как у меня в вещмешке заряженных магазинов было много. Немцы снова подняли крик, а потом затихли, разгрузка прекратилась. Снова наступила тишина. Минут через 15–20 в этой тишине слышим: где-то далеко за немецкой передовой подряд три выстрела из тяжёлых пушек. Слышу нарастающий по частоте вой приближающихся тяжёлых снарядов, по звуку — калибр не менее 152 мм. Звук на высокой ноте резко обрывается, значит, упадут где-то рядом. Мгновенно оказываюсь на дне щели и вслед за этим слышу один за другим три тяжёлых взрыва: один — слева позади, другой — справа позади, а третий — тоже сзади, но совсем близко от моей щели. Меня забросало комьями земли от взрыва. Это возымело на нас очень сильное действие, мы поняли, что с этим шутки плохи, и стрелять перестали. Немцы разгрузили машину, она уехала, потом пришла ещё одна, потом по всей передовой начался шум и гам — немцы забивали колья, таскали проволоку, строили проволочное заграждение. Мы не стреляли и им не мешали. Потом, когда стемнело, к немцам приехала кухня и они загремели котелками. Мы не стреляли, но завидовали немцам, так как нам ужинать не дали.

С наступлением темноты мы перекликались друг с другом, постепенно эти переклички затихли, и мы дружно уснули каждый в своей щели, к большому неудовольствию сержанта Афанасьева, который бегал от одной щели к другой и, ругаясь матом, тормозил каждого за шиворот.

Утром мой сосед справа, старый солдат, сказал мне: “А ведь это они по тебе били из дальнбойных. Наш огонь мешал им строить проволочное заграждение, а твою СВТ они приняли за пулемёт и попросили артиллерию уничтожить пулемётную точку”.

Десна

В начале сентября 1943 года дивизия готовилась к наступлению и форсированию реки Десна. Наш взвод отправили на передовую и присоединили к стрелковому батальону. Позади нас была маленькая роща, а впереди — неубранное ржаное поле, и в этой ржи — цепь ячеек с солдатами батальона. За этим полем, довольно далеко, на буграх, поросших кустарником, — немцы. Ещё когда шли к передовой, то на некотором удалении от неё, в ложбинке, видели батарею тяжёлых реактивных снарядов, которые выстреливаются прямо из ящиков. Солдаты расчёта этой батареи монтировали наклонные металлические рамы и устанавливали на них ящики со снарядами в четыре этажа.

Мы окопались и стали ждать. Обстановка была напряжённая, нервная, как перед грозой. Туда и сюда, пригибаясь во ржи, бегают солдаты, передаются различные команды и распоряжения. Немцы ведут довольно частый огонь, в основном миномётный. Позади, правее нас в ложбинке, — наши миномёты, они тоже всё время ведут огонь. Всё это вместе взятое создаёт обстановку нарастающего возбуждения, тревожного ожидания, как будто поднимается какая-то волна и поднимает каждого из нас всё выше. В высшей своей фазе эта волна выдернет каждого из его ячейки и швырнёт всех вперёд, навстречу пулям и минам. И пойдёшь или побежишь, пренебрегая всеми страхами и опасностями, потому что под воздействием этой волны чувство твоей индивидуальности как-то расплывается, отодвигается на задний план, а доминирующим становится чувство твоей общности со всеми.

Но оказывается, как я это здесь увидел, есть люди, которые, почувствовав нарастание этой волны, реагируют на неё совсем иначе. Вслед за нами пришла какая-то группа солдат и с ними сержант, молодой парень, по внешности еврей. Откуда этот сержант взялся, никогда раньше я его в полку не видел. Они окопались на правом фланге батальона. И вот когда эта тревожная волна поднялась довольно высоко, и чувство возбуждения охватило всех, у этого сержанта не выдержали нервы. Он выскочил из своей ячейки и побежал вдоль цепи. Подбежал к лейтенанту, рухнул перед ним на колени и завопил: “Пошлите меня куда-нибудь отсюда, я здесь не могу!” Лейтенант заорал матом: “Марш на место!” — и схватился за пистолет. Сержант подхватился и побежал по ржи куда попало. В этот момент прямо перед ним ударила немецкая мина. Трус погибает первым — так говорили нам старые солдаты, и здесь я увидел наглядное подтверждение правильности этих слов.

Финал всей этой истории был весьма печален. Ударил залп реактивных снарядов, они легли за немецкой траншеей. Нам сказали, что всего будет четыре залпа, после четвёртого нужно вставать и идти вперёд. Второй залп накрыл передовую немцев. Они сразу же прекратили огонь, наступила тишина. Многие наши солдаты уже встали и приготовились идти. Третий залп пришёлся по нейтралке, а четвёртый — по нам. Это было страшно. В таком аду ни до этого, ни после мне бывать не приходилось. Причём страх усугублялся дикостью ситуации — по нам бьют свои! Я лежал на дне своей ямки, по всему телу барабанили комья земли, свистели осколки, и я вдруг, к своему величайшему изумлению, почувствовал дикий голод. В кармане нашёл замусоленный огрызок сухаря и стал жевать. И только недавно, читая в журнале статью по психологии, я узнал, что удивляться там было нечему, это, оказывается, нормальная реакция на стресс. Ну, а тогда, после залпа поднялся большой крик, потери батальона были очень велики.

Однажды за мной охотился немецкий пулемётчик. Меня послали с донесением в штаб полка, а идти надо было несколько километров. Тропинка, по которой я шёл, пересекала поросшую лесом лощинку. За лесом я немцам не виден и поэтому шёл спокойно и свободно. Когда лес кончился, тропинка пошла вверх через поле, засеянное горохом. Я полагал, что от передовой отошёл уже довольно далеко и немцам не виден. Но как только я вышел из-за леса, услышал свист пуль, а потом звук пулемётной очереди. Я упал и отполз в сторону — в горох. Только поднялся — снова очередь. Снова упал, сорвал стручок — горох оказался очень вкусный. Я стал ползать по полю и есть горох. Долго, не меньше получаса. Думаю — немец обо мне уже давно забыл. Оказывается, не забыл: как только я поднялся — снова очередь. Чёрт возьми, какой упрямый попался немец! Снова поел гороха, но идти-то надо. Пришлось перебежками преодолевать расстояние около полукилометра. И каждый раз, когда я поднимался, следовала очередь. Немец перестал стрелять только тогда, когда я перевалил через гребень и стал ему не виден. Теперь вспоминаю этот случай каждый раз, когда смотрю по телевизору футбольный или хоккейный матч с участием команд из ФРГ. Такое же фанатичное железобетонное упрямство в достижении своей цели. Оказывается, это черта немецкого национального характера.

О солдате Панченко

В нашем взводе был солдат Панченко, который всегда имел вид человека, подавленного большим горем. Всё дело в том, что он с самого начала, с момента мобилизации, вбил себе в голову, что он домой никогда уже не

вернётся, что он обязательно погибнет. И он каждый день жил, как последний день своей жизни.

В крайне тяжёлой ситуации, в которую мы попали в районе Дрибина, Панченко не струсил. Получилось так, что после занятия местечка Дрибин один батальон нашего полка оказался на правом берегу речки Ремиствянка, неподалёку впадающей в реку Проня, в непосредственной близости от немецкой передовой. Только немцы сидели в траншеях, выкопанных на сухом склоне, а мы сидели в болоте между этим склоном и берегом речки. Болото было осушено канавами, в канавах — вода, а на гребнях между канавами растёт капуста. Вот в этой капусте мы и лежали, окопаться глубже было нельзя, так как выступала вода. Немцам наше присутствие там крайне не нравилось, и поэтому они непрерывно нас контратаковали. Соседний взвод немцы окружили и уничтожили. Положение нашего взвода стало критическим: нас осталось около двадцати человек, и мы оказались отрезанными от речки огнём немецкого пулемёта. В этой ситуации старший лейтенант, который нами командовал, послал трёх солдат уничтожить немецкий пулемёт, который обосновался под печью разрушенной хаты. Солдаты Панченко, Потапов и дивизионный разведчик подползли к пулемёту по канаве и забросали его гранатами. Старший лейтенант, хотя и был ранен, продолжал нами командовать. Он очень толково организовал оборону, поэтому мы выстояли до конца дня. По его распоряжению разведчики днём высмотрели лазейки, по которым ночью всех нас оттуда вывели под самым носом у немцев к берегу реки. Через реку перебрались вброд, и, когда только-только забрезжил рассвет, мы были уже на левом берегу реки и по широкому мокрому лугу пошли к своим.

Панченко признался после, что здесь он был абсолютно уверен, что пришёл его последний час, а пулемёт пополз уничтожать потому, что понимал: если его не уничтожить, то он всех нас покосит.

Но предчувствие Панченко сбылось. Он прошёл всю войну и погиб на охоте в момент своей демобилизации уже после войны.

Оборона в Белоруссии

В конце 1943 года, когда дивизия перешла к обороне, в моей жизни произошли изменения. Они связаны с приказом Ставки, в котором сообщалось о требовании немцев прекратить применение термитных мин к «катюшам» и об их угрозе химической войны. Это расценивалось так, что немцы, возможно, собираются начать химическую войну и ищут подходящий предлог. Поэтому приказом запретили использовать подразделения химзащиты не по назначению, предлагалось доукомплектовать их личным составом и принять меры для повышения их специальной подготовки. Вот этот приказ и изменил нашу жизнь. Раньше мы только формально числились взводом химзащиты, а фактически нас всё время использовали или как стрелков, или как сапёров. К этому добавилось ещё одно обстоятельство: у нас забрали командира взвода старшего лейтенанта Трефилова, а на его место прислали старшего сержанта Зерчанинова. Со старшим сержантом мы конфликтовали. Поэтому по предложению начхима полка Ирмина меня и Глотова в порядке доукомплектования перевели в дивизионную химроту — 36 ОРХЗ. Вот так я оказался в химроте и стал осваивать воинскую специальность химика-разведчика.

Всю зиму и весну 1944 года дивизия простояла в обороне в Белоруссии. Две линии траншеи, выкопанные в первые дни обороны, к весне выглядели наспех вырытыми канавками. Настоящую оборону стали строить тогда, когда начали готовиться к летнему наступлению. Тогда на несколько километров в глубину обороны землю изрыли траншеями полного профиля, ходами сообщения и другими земляными сооружениями. Конечно, это полностью соответствует суворовскому принципу: «Хочешь наступать — готовься к обороне». Эта подготовка коснулась и химроты: целыми днями мы копали траншеи, а ночами ставили МОФы (минно-огневые фугасы). МОФы мы ставили совместно с дивизионными сапёрами. Вместе с сапёрами мы выходили ночью на нейтралку, сапёры размечали полосу и указывали нам место каждого фугаса. В этом месте мы копали неглубокую воронкообразную ямку и укладывали в неё 20 бутылок «КС» (жидкость, которая самовоспламеняется при контакте с воздухом). Сапёры в центре ставили противопехотную мину, засыпали зем-

лэй и маскировали. Полоса строилась так, чтобы атакующий немецкий танк, по какому бы пути ни пошёл, обязательно должен был наехать хотя бы на один фугас. При этом взрывается мина, взрывом все бутылки выбрасываются веером вверх, о корпус танка они разбиваются, жидкость прилипает к броне (она имеет такое свойство) и воспламеняется, в итоге танк загорается. Поставили мы этих МОФов много, но немецкие танки по ним не ходили. Позже нам рассказывали, что, когда дивизия пошла в наступление, на один фугас наехала повозка. Ездовой, обрезав постромки, вместе с лошадьми убежал, а повозка успешно сгорела полностью, как и должно быть.

Но это было позже. А тогда нам надо было для каждого фугаса доставить на нейтралку ящик с двадцатью бутылками “КС”. Их привозили машинами из армейских складов и выгружали на расстоянии более двух километров от передовой. Подвезти ближе мешали свежерытые траншеи. “КС” — вещь страшная, достаточно малейшего попадания воздуха в бутылку, как она воспламеняется и горит, её ничем не затушить — ни водой, ни землёй. Поэтому для транспортировки каждый ящик засыпался землёй, каждая бутылка была изолирована слоем земли от дна ящика и соседних бутылок. Ящик, конечно, становился очень тяжёлым. На машине везти можно, а нам надо было нести его на руках более двух километров, да при этом надо перебираться ровно через десять траншей и ходов сообщения (это я подсчитал точно, потому что перебираться через них много раз). Правила категорически запрещают транспортировку ящиков с бутылками без земли, поэтому мы сначала попытались нести их с землёй. На расстоянии в несколько десятков метров мы убедились, что это нам совершенно непосильно. Поэтому кто-то проявил инициативу, а все остальные эту инициативу дружно поддержали и стали делать так: бутылки осторожно вынимали из ящика, ящик переворачивали и высыпали землю, бутылки снова ставили в ящик и так несли. Нести вдвоём ящик с двадцатью бутылками совсем легко, но надоедают траншеи. Возле каждой траншеи останавливаемся, один лезет в траншею и осторожно переставляет ящик над головой на другую сторону, другой перепрыгивает, первый вылезает из траншеи и пошёл к следующей траншее. Пока добираемся до нейтралки, эту процедуру надо повторить десять раз. Утомительно, но ничего не поделаешь. К этому все приспособились, и конвейер исправно работал каждую ночь.

В одну из ночей я нёс ящик в паре с Лагутиным, а метров за сто впереди нас несли ящик Жаворонков и Мотыльков. Мотыльков — человек уже пожилой, родом из Москвы, на гражданке работал в Академии наук СССР, специалист по редким книгам. Так вот, этому Мотылькову надоело лазить в траншею и обратно, и он предложил своему напарнику прыгать через траншею вдвоём вместе с ящиком. Несколько раз они прыгнули удачно, а на предпоследней траншее, уже возле передовой, Мотыльков сорвался, упал в траншею, вырвал ящик из рук Жаворонкова и все двадцать бутылок вывалил на себя. Ночь была тихая и тёмная, дело было около полуночи, на передовой стояла абсолютная тишина. И вдруг мы услышали жуткий крик Мотылькова и увидели высокий столб огня. Немцы сразу же навешали ракет и открыли пулемётный огонь, нас прижали к земле. Когда к Мотылькову стало возможно подойти, то от него остался обгорелый труп. Живьём сгореть — смерть страшная.

Белорусская операция 1944 года

О наступлении 1944 года в моей памяти воспоминаний сохранилось мало. Очевидно, это объясняется тем, что мы находились во втором эшелоне дивизии.

Случилось так, что мы всю ночь ехали вслед за наступающей дивизией (химроты имела четыре машины “ГАЗ-АА”, а личного состава было всего двадцать человек), и рано утром командир роты капитан Бондарев решил сделать небольшой привал на завтрак. В полукилометре от дороги виднелась опушка небольшого леса, мы туда свернули. Когда подъезжали к опушке, услышали в лесу шум и крики, потом всё стихло. А когда мы въехали в лес, были крайне удивлены. Как мы после разобрались, оказалось, мы нечаянно спугнули немецкого генерала. По той дороге, что мы ехали, раньше нас ещё вечером отступали немцы и с ними этот генерал. Генерал, очевидно, решил, что оторвался от нас достаточно далеко, и свернул в этот лес на ночёвку. Генерал прекрасно выспался, утром проснулся и готовился бриться. И тут немцы

увидели наши машины. Мы перекрыли им выезд на дорогу, а ехать на машинах в глубь леса немцы, очевидно, не рискнули, поэтому они всё бросили и удрали в лес. Мы увидели три машины: одну легковую и две грузовые. В легковой машине, — кажется, это был “Адлер”, — был поднят капот и открыт ящик с инструментом: водитель копался в двигателе, а мы ему помешали. Рядом грузовой “Опель-блиц” с крытым кузовом, в кузове несколько солдатских ранцев, плащ-палатки и другие принадлежности экипировки немецких солдат, в частности, пулемёт МГ-34 с большим запасом лент с патронами. Мы сделали вывод, что в этой машине ехала генеральская охрана. И, наконец, самое главное — вторая машина: фургон на шасси “Опель-блиц” — походное генеральское жильё. У этой машины работал двигатель на малом газу, в фургоне горел свет, стояла раскладушка с неубранной постелью (у немцев были такие деревянные раскладушки, которые складывались гармошкой), на столике — приготовленные британские принадлежности, тёплая вода в серебряном стаканчике. Но наибольший восторг у солдат вызвал тримпель, на котором висел генеральский мундир со многими наградами и генеральские брюки. Оказывается, бедному генералу пришлось бежать в лес не только небритым, но и без штанов! Ну, конечно, все аксессуары генеральского быта достались нам в качестве трофеев, капитан взял себе раскладушку и бритвенный прибор, всё остальное растащили солдаты.

Грузовой “Опель” мы забрали с собой, слив в него горючее из остальных машин. Легковую и генеральский фургон мы бросили. Конечно, шофёры сняли с них всё, что представляло для них ценность. Из всех трофеев мне досталась немецкая треугольная плащ-палатка, да, кроме того, капитан приказал мне, как наиболее грамотному в отношении оружия, взять МГ-34 и всегда в движении устанавливать его на кабине полторки, где он сам сидел за рулём. Так мы в дальнейшем и ездили.

Ещё мне запомнился эпизод под Минском. Мы едем по лесной дороге, за рулём передней машины — капитан Бондарев, кузов машины загружен противохимическим оборудованием, а сверху пятеро солдат, в том числе и я с пулемётом МГ-34, установленным на кабине. Утро, тишина, прекрасная погода, вокруг лес, птички поют. О войне забываешь, душой овладевают самые разные сентиментальные чувства. Вдруг из леса выбегают на дорогу около десятка немцев с автоматами. Инстинктивно хватаюсь за пулемёт, но они поднимают руки. Капитан останавливает машину, немцы подбегают к нему, начинается разговор. Капитан немного знает немецкий, а один из немцев немного знает по-русски, и разговор идёт на дикой русско-немецкой смеси. Однако обе стороны понимают друг друга. Немцы просят взять их в плен. Капитан объясняет им, что он этого сделать не может, так как машины и так перегружены, их некуда посадить. Капитан советует им идти в ближайший райцентр, где есть комендатура или стоит воинская часть. Немцы отвечают, что это никак невозможно, так как в любом населённом пункте их сразу же схватят партизаны и расстреляют. Капитан говорит, что ничем помочь не может. Немцы очень разочаровались, повернули и ушли в лес. Капитан вдогонку спрашивает, зачем они таскают автоматы, если собираются сдаваться в плен? Немцы отвечают, что если на них нападут партизаны, то они будут защищаться.

В тот же день, когда мы приехали в заданный пункт и расположились недалеко от штаба дивизии, старшина роты Смирнов зачем-то поехал на велосипеде в ближайшую деревню. Расстояние было километров семь, почти всё время дорога шла лесом. Обратный старшина возвратился пешком, ведя велосипед в руках, и в сопровождении семи или восьми немцев, которые сдались ему в плен. Немцы были очень рады, надарили старшине кучу часов, зажигалок, портсигаров и других сувениров. Оказалась такая же история — немцы смертельно боялись партизан, но знали, что русские солдаты пленных не расстреливают. Поэтому ожидали в лесу возле дороги первого попавшегося солдата, чтобы сдать его в плен, и были очень рады, что не попали в руки партизан.

В период наступления дивизии на Неманском плацдарме не было подвоза горючего. Вся артиллерию перевели на конную тягу. В этой связи три машины химроты с основной частью оборудования были оставлены в деревне под Раковым. Там же осталось несколько солдат и командир взвода лейтенант

Капустин. Вперёд двинулась одна машина с командиром роты, на которую отобрали самый жёсткий минимум противохимического оборудования и слили всё горючее с остальных машин. На некоторое время этого горючего хватило, а потом в каком-то райцентре нашли бочку метилового спирта и дальше ехали на этом спирте. Правда, двигатель сильно грелся и плохо тянул, кроме того, спирт сильно испарялся и в бензопроводе всё время образовывались газовые пробки, поэтому машина сильно кашляла и чихала, но тем не менее ехала. Кроме того, вперёд двинулась подвода, которая была в роте, на ней ехал старшина со всем своим имуществом и повар Улановский с кухней. Весь остальной личный состав роты под руководством сержантов Пешкова и Жолнина во главе с командиром взвода лейтенантом Мухиным двигался пешком.

Когда появилось горючее, мы поехали выручать свои машины. В кабине — капитан за рулём и шофёр Зотов, в кузове — бочки с горючим и восемь солдат с сержантом Пешковым, и я в том числе. Мы считали, что едем от фронта в глубокий тыл. Оказалось совсем другое. Вся территория, которую мы считали тылом, по ночам оказывалась в руках отступающих немцев. Немцы двигались ночью по дорогам большими колоннами. Крупных населённых пунктов они, конечно, избегали, но малые деревни, которые им попадались вблизи дорог, они захватывали и полностью очищали их от всего съестного. После их набега в деревне не оставалось ни корки хлеба, ни курицы, ни телёнка или коровы, в общем, как после саранчи остаётся голая земля. Чтобы противодействовать этому, в некоторых деревнях организовывали самозащиту. Мальчишки набирали брошенного немецкого оружия и патронов, окружали на ночь деревню со всех сторон и всю ночь стреляли во всех направлениях от деревни, рассчитывая, что немцы, услышав стрельбу, в деревню не сунутся. Мы ехали долго, но нигде не встречали наших частей, в одном райцентре была наша коммандатура, и больше нигде ничего мы не встретили. Нас была на машине горстка, и нам всё время приходилось увёртываться, чтобы не напороться на немцев.

Но один раз всё-таки напоролись. Подъезжая к деревне, мы заметили, что в ней стоит какая-то воинская часть. Когда въехали в деревню, то увидели, что она полна немцев. Капитан скомандовал нам не стрелять и спокойно повёл машину через деревню. Справа и слева от нас немцы группами и в одиночку занимались своими делами, переходили через дорогу, а мы спокойно ехали, как будто так и надо. На крыльце одной хаты явно общественного назначения мы увидели немецкого полковника, который отчитывал нескольких офицеров, стоящих перед ним навытяжку. Увидев нас, полковник остановился с открытым ртом, однако никаких действий в отношении нас за этим не последовало. Какой-то немец, совершенно не обращая внимания на нас, прямо перед нашей машиной переводил через дорогу пару лошадей. Капитан был вынужден притормозить и просигналить, немец поднял голову, увидел нас и обалдел от удивления, но лошадей с дороги он уже убрал, и мы поехали дальше. На окраине деревни мы увидели большую группу немцев. Когда мы выехали за деревню, из этой группы по нам сделали несколько выстрелов, пули просвистели близко, но не попали. Капитан дал газ, и мы быстро уехали. Когда деревня скрылась из виду, капитан остановил машину и поинтересовался: “Ну, как, никто со страху в штаны не наложил?” Мы ответили, что всё произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели испугаться. Капитан признался, что больше всего боялся, чтобы не заглох двигатель, если бы машина остановилась, то живыми мы бы не остались.

Когда мы добрались до своих машин, оставленных под Раковым, и ехали обратно к фронту уже в составе четырёх машин, то к тому времени все отступающие немецкие части уже прошли, однако разрозненные группы немцев ещё были, днём они прятались по лесам и иногда появлялись в деревнях с целью добычи съестного.

Так в одной деревне, где мы ночевали, утром прибежал к нам человек с немецким автоматом, сказал, что он из партизан и что на окраине деревни только что была группа немцев, они ушли в лес, но их надо догнать и уничтожить. Для этого он попросил у капитана в его распоряжение солдат. Капитан послал с ним шесть человек во главе с сержантом Пешковым, и я попал в их число. Он долго водил нас по лесу, но немцев мы не нашли.

Тяга солдат к выпивке была колоссальной. При вступлении во всякую новую местность самая первая забота — а что тут есть такого, что годилось бы

выпить? Это не обязательно должна быть водка, это может быть любая жидкость, которая хотя бы отдаленно имела запах спирта. У нас в химроте нашли какую-то немецкую политуру, соорудили примитивный аппарат, перегнали её на этом аппарате и всю выпили. Оказалось, что сделана она была на метиловом спирте, и все, кто пил, расплачивались за это своими глазами и ногами. Шофёр Яновский долго ходил с палочкой, а старшина Бойцов совсем перестал ходить и был отправлен в госпиталь. Бойцов прислал письмо через год. Он всё ещё был в госпитале, и надежд на выздоровление никаких не было.

Ещё один случай, о котором тогда много говорили, произошёл в Литве. После форсирования Немана дивизия вела тяжёлые бои на плацдарме. В ходе этих боёв 94 ОПТАД и с ними батальон пехоты заняли спиртзавод километрах в семи-восьми от Немана. И, конечно же, сразу бросились искать спирт. Нашли в подвале большие ёмкости со спиртом. Дал очередь из автомата – и из каждой дырочки ударила струя спирта. Присосался к ней – и сосёт до полного умопомрачения. Кто вылез и где-то в кустах завалился спать, а некоторые уснули тут же, в подвале. А так как спирт из дырочек всё течёт, то подвал через несколько часов залило, и все, кто там спал, утонули в спирте. Немцы предприняли контратаку, но никто им сопротивления не оказал, так как все были мертвецы пьяны. Немцы без боя снова заняли спиртзавод, перебили всех наших пьяных солдат, но и сами перепились. Поэтому другие наши подразделения, переброшенные под этот спиртзавод, также заняли его без боя и накрыли там всех пьяных немцев. Между прочим, только после этого начали вылезать из кустов некоторые из наших солдат, занимавших завод в первый раз. Они не попались немцам на глаза и остались живы, проспав всю эту историю.

Самым лучшим моим другом в химической роте был шофёр Аскар Гумиров, татарин по национальности. Он старше меня был лет на семь или десять, но привлекал меня двумя качествами. Первое – он был очень добрый и честный человек, всегда готовый прийти на помощь, если тебе трудно. И второе – он виртуозно владел машиной. Там, где другие обязательно застревали и просили буксира, он каким-то чудом на своём “газике” обязательно проскакивал. Я сначала думал, что ему просто везёт. Но когда в нескольких поездках посидел рядом с ним в кабине, увидел, что никакого везения нет, а есть тонкий расчёт, виртуозное маневрирование газом и сцеплением и глубокое знание своей машины, её особенностей. Уже за одно это такого человека стоило уважать.

Ещё один друг был у меня в химроте и тоже шофёр – Павел Иванович Зотов, колхозный механизатор из Горьковской области. Был он человек добрый и весёлый, отлично разбирался в любой технике. Наши машины “ГАЗ-АА” были очень старые и растрёпанные, поэтому после каждого передвижения их необходимо было ремонтировать. Часто бывало так, что времени для ремонта было мало, тогда в помощь шофёрам выделяли солдат. Зотов почему-то всегда просил командира роты, чтобы ему в помощь дали меня. Постепенно это вошло в привычку, что мы ремонтируем с ним машину вдвоём, на этой основе и возникла наша дружба. Благодаря этому я фундаментально изучил машину, любой её узел мог разобрать и собрать, сейчас уже всё забыл, да и машины этой сейчас уже нет. Зотов предлагал обучить меня и вождению, но я не захотел.

О взятии Кёнигсберга

Всем известно, что Кёнигсберг был не просто город – это крепость, причём очень мощная. Основа её мощи – это кольцо фортов. Все форты имели собственные имена. Против нашей дивизии был форт “Королева Луиза”. Форт представлял собой большой земляной холм, на котором посажен лес. Лес посажен при строительстве фортов, так что деревьям было за пятьдесят лет. Внизу, у основания холма, – амбразуры для пушек и пулемётов. Форт рассчитан на круговую оборону. Слой земли на холме толщиной три метра. Под ним – железобетонные перекрытия форта толщиной два-два с половиной метра. Под ним следуют внутренние помещения форта – семь или восемь этажей, углублённых в землю. В форте созданы запасы боеприпасов, продовольствия, воды и даже сжатого воздуха из расчёта на то, что гарнизон форта может совершенно автономно продержаться и вести бой в течение весьма длительного времени.

Между фортами было построено много линий обычных укреплений, а впереди — минные поля глубиной около двух километров. Столь мощных минных полей мы за всю войну до этого не встречали. Сапёры говорили, что разминировать обычными способами эти мины не удаётся. И вообще немецкое командование было абсолютно уверено, что крепость Кёнигсберг никакая армия одолеть не может.

Мы прибыли под Кёнигсберг сразу после взятия Гранца. Потом вокруг Кёнигсберга стал концентрироваться весь 3-й Белорусский фронт. Когда мы только прибыли, нас удивило, что все окрестные леса — сплошная запретная зона. Большие участки леса огорожены железобетонным забором, на котором колючая проволока под током и везде надписи на немецком языке: запретная зона. Но на поверхности в этой зоне ничего нет, только помещение для охраны, а всё остальное под землёй. У одного из таких объектов мы некоторое время стояли. Это крупный завод по производству артиллерийских снарядов. Въезд в этот завод устроен в большом холме, туда проведена шоссейная дорога и узкоколейка. Перед отступлением немцы этот въезд взорвали, а сам завод и работавших там восемь тысяч наших военнопленных затопили водой.

Когда войска стали прибывать под Кёнигсберг в большом количестве, то все эти запретные зоны были заняты войсками, все заборы с проволокой повалены. Особенно много там было артиллерии. Такого скопления артиллерии всех видов и калибров я раньше нигде не встречал. В качестве главного калибра по специально построенной дороге подогнали батарею (четыре орудия) 380-мм пушек береговой обороны. Эта батарея своим залпом открывала артподготовку в день начала штурма Кёнигсберга.

Все эти войска, артиллерия, танки и весь подвоз — всё шло по единственной дороге через Гранц. На этой дороге было столпотворение. От Гранца до передовой — сплошной поток машин. Такое скопление машин на дороге было очень уязвимо с воздуха. Но никто этого не опасался. Дело в том, что вся немецкая авиация оказалась без горючего. Гигантское подземное бензохранилище, где хранилось горючее для всей немецкой техники в Кёнигсберге, в ходе наступления наших войск оказалось в наших руках. Поэтому наша авиация господствовала в воздухе безраздельно.

Незадолго перед штурмом под Кёнигсберг перебросили женский полк ночных бомбардировщиков. Под этим грозным именем скрывались самые обычные «кукурузники» — По-2. И вот несколько последних ночей перед штурмом эти женщины на своих «кукурузниках» всю ночь трепали немцам нервы. Одну из этих ночей я наблюдал, стоя на посту. Только стемнело — над городом появился первый самолёт. Сделал круг и навешал «фонарей». Потом делает второй круг и бросает бомбы. Бомбы маленькие, он их везет пять-шесть штук и бросает по одной, чтобы растянуть подольше. Как только первый самолёт закончил свои два круга, над городом появляется второй. И этот делает два круга: на первом — фонари, на втором — бомбы. И так всю ночь до рассвета. Немцы не имели ни единой минуты покоя: всю ночь над их головами «зудят» кукурузники. На следующую ночь всё начинается сначала.

Штурм Кёнигсберга начался гигантской артподготовкой. До этого нигде раньше не было такой артподготовки. Но на эту артподготовку и задачи возлагались особые, каких раньше тоже нигде не ставили. Артиллерия малых калибров должна была разминировать все минные поля, и она эту задачу выполнила. Практически это означало, что всю территорию минных полей перепахали взрывами, и поэтому все мины, которые там были, взорвались от детонации. Более крупные калибры били по огневым точкам и всяким оборонительным сооружениям, причём били до их полного уничтожения. По особой программе уничтожались форты. Сначала малым и средним калибрами уничтожали лес на фортах. Потом более крупным калибром снимали землю. Били до тех пор, пока взрывами снарядов разбрасывалась вся земля, и полностью оголялось железобетонное перекрытие. Потом низко летел самолёт и вёз только одну бомбу весом в одну тонну. Эту бомбу он аккуратно клал на это перекрытие, и она там взрывалась. Железобетон не выдерживал и «распукивался», как цветок. Если одна бомба не помогала, везли другую и бомбили до тех пор, пока перекрытие не проламывалось. Тогда немцы выбрасывали белый флаг и вылезали из своего гнезда. Вылезали все целые, раненых не было, но большинство из них оглохшие и полусумасшедшие. Таким образом, весь внешний оборонительный пояс был перепахан нашей артиллерией, и бои были перенесены

непосредственно в город. Но немцы были крайне деморализованы, ничего подобного они не ожидали, они рассчитывали на длительную осаду. Вскоре город был разрезан на две части. С одной стороны наступала наша 43-я армия, а с другой — II-я гвардейская армия генерала Галицкого, и в центре города они встретились. После этого у немецкого командующего хватило благоразумия капитулировать. И всего на взятие самой мощной крепости фашистской Германии наши войска затратили шесть дней — с 4 по 10 апреля 1945 года.

9 мая 1945 года

Когда в последние дни войны мы вступили в Померанию, дивизию растянули вдоль побережья Балтийского моря для его охраны. Против наших правых соседей были немецкие войска, которые остались в ловушке на косе Путциг-нерунг, а против нас немцев не было, поэтому не было и сплошной передовой, была только линия постов. Вот мне и пришлось стоять на таком посту всю ночь с 8-го на 9 мая 1945 года. Людей было мало, поэтому стояли по одному солдату, и расстояние между постами было приличное. И вот где-то после полуночи я вдруг услышал ожесточённую стрельбу из всех видов оружия, кроме артиллерии, причём у себя в тылу. По трассирующим пулям было видно, что стреляют вверх. Стрельба продолжалась несколько минут и затихла. Через некоторое время такая же стрельба вспыхнула в другом месте, потом в третьем. Я, конечно, догадался сразу, что это видно, как в разные подразделения приходит весть об окончании войны. Последние несколько дней это уже чувствовалось, все ожидали, что вот-вот война кончится, и это ожидание было невыносимым. Так я до самого утра и наблюдал стрельбу и ракеты в разных местах, а когда утром сменился и пришёл в расположение части, то увидел удивительную картину. Вся воинская жизнь остановилась, нигде никого на своём месте нет, все пьяные. В одиночку и группами бродят, куда кого ноги несут, орут песни, стреляют в воздух и вообще творят, что кто придумает.

Солдаты из соседней дивизии позже рассказывали, как они принимали капитуляцию немцев, которые стали выходить с косы Путциг-нерунг. Как только немцам передали по радио приказ из Берлина о капитуляции, они сразу же выбросили белые флаги, прекратили стрельбу и прислали своих представителей для согласования места и времени капитуляции. В договорённое время — это было во второй половине дня 9 мая — большая колонна немецких войск во главе с полковником прибыла в указанный пункт. Немцы пришли, как на парад, — оружие и обмундирование начищено до блеска. По команде полковника они сложили в общую кучу оружие и организованно отправились к месту сбора военнопленных.

Гдыня. Июнь 1945 года

Сразу же после окончания войны по указанию лондонского и польского правительства подпольная Армия Крайова начала готовить восстание против нас в Гдыне, к которому наша дивизия имела самое прямое отношение. Выбор Гдыни как места восстания, на мой взгляд, объясняется тремя причинами.

Первая — в Гдыне тогда не было наших войск, была только комендатура.

Вторая — Гдыня — порт, а в случае успеха восстания и создания плацдарма англичане могли бы им помогать морем, в частности, туда сразу же было бы доставлено эмигрантское правительство из Лондона.

Третья — население польской Прибалтики уже тогда отличалось своей прозападной ориентацией и особенно большой ненавистью к нам, поэтому действия подполья находили горячую поддержку всего населения. Население знало о готовящемся восстании, и антисоветские настроения достигли очень высокого уровня.

Однажды в конце июня дивизию подняли по тревоге и форсированным маршем направили в Гдыню. Вошли мы в Гдыню поздно вечером, а в четыре часа утра по специальному сигналу должно было начаться восстание. Так как о дате его начала знали все поляки, то знала и наша контрразведка. Знали всё: имена и квартиры руководителей, склады оружия, план восстания — в общем, всё, что надо было знать. Вечером войска вошли в город, а ночью контрразведка забрала всех, кого надо было забрать. Поляки ждали сигнала, но давать его было уже некому. А когда утром поляки вышли на улицы,

то увидели, что город полон русских солдат, на всех высоких домах – пулемётные точки, на всех видных местах – открытые позиции нашей артиллерии. И поляки стали такими милыми, вежливыми, предупредительными, прямо хоть на хлеб их намазывай вместо масла.

Но шёлковыми они стали только с виду, а на самом деле после неудачи восстания Армия Крайова изменила тактику и стала убивать русских солдат и офицеров, где только могла. Когда дивизия расформировывалась в декабре 1946 года, в Лауэнбурге (Леборке) осталось свыше двухсот могил русских военнослужащих, погибших от членов организации “Армия Крайова”.

О фронтовой пище

Вкратце воспоминания о солдатской фронтовой пище сводятся к тому, что её было очень мало и она была очень скверная. Единственный универсальный продукт, из которого она изготавливалась, – это крупа “шрапнель”, то есть рубленые ячмень или пшеница. Меню также было универсальным, установленным один раз на всю войну. На первое из “шрапнели” приготавливался суп. Юридически на солдатский котел выписывалось мясо, но фактически за всё время службы в 68-м стрелковом полку я в своем котелке мяса ни разу не обнаружил. Правда, когда вместо мяса выписывались консервы, то их следы иногда обнаруживались. Единственный продукт, которого в этом супе всегда было в достатке, – это лавровый лист. На второе тоже “шрапнель” варилась погуще и именовалась кашей. На третье, естественно, чай. Какие-либо отступления от этого универсального меню бывали крайне редко. Конечно, когда мы были в Прибалтике, то иногда весьма существенную поправку в меню вносила какая-либо продовольственная самостоятельность то ли самих солдат, то ли повара, то ли старшины. А хуже всего было весной и летом 1943 года. Всё это время мы находились в “зоне пустынь”, которую немцы создавали по приказу Гитлера при своём отступлении. Все деревни сожжены, население угнано, на полях и огородах бурьян в рост человека, никакой зелени в пищу нет. В моём голодном детстве я привык употреблять в пищу дикорастущие травы. Но солдатская служба и поиск съедобных трав – вещи несовместимые. Для разнообразия дополнительно к “шрапнели” иногда в суп закладывали сушёный картофель или морковь. Не знаю, кто это придумал и как их сушили, но точно знаю, что это вещь малосъедобная. Это какая-то чёрно-бурая лапша, которая в супе не разваривалась и во рту не разжёвывалась. Вследствие длительного питания в таком стиле у солдат пошли жуткие авитаминозы. У каждого это проявлялось по-разному, у многих это была “куриная слепота”. Ночью на марше в хвосте каждого подразделения во главе со зрячим проводящим тянулась длинная цепочка слепых, которые вынуждены были идти, держась друг за друга. Лично у меня куриной слепоты не было, зато была страшная цинга. Каждый зуб болтается во все стороны. От врачей мы знали, что для прекращения всех этих страданий надо съесть свежей печени. Поэтому все с нетерпением ждали вступления в бой. На второй или третий день после начала боёв у полковых разведчиков убило лошадь. Лошадь стояла в укрытии, а рядом росла сосна. Немецкий снаряд попал прямо в ствол сосны, высоко над ямой, и осколками поразило лошадь. Весть об этом быстро разнеслась по окрестным подразделениям, и все страдающие ринулись к этой бедной лошади. Она ещё не успела отойти, как ей штыками от СВТ распорол живот, вырвали печень, разрезали на куски, расхватали по котелкам, сварили на костре и съели. У кого была куриная слепота – исчезла сразу, в ту же ночь её уже не было. Моя цинга исчезла через несколько дней. В дальнейшем кто-то из учёных придумал радикальное средство борьбы с авитаминозом, которое применялось повсеместно. Перед тем как начать готовить пищу для солдат, повар набивает в котёл хвой, заливает водой и варит. Потом процеживает и на полученной зелёной и вонючей жиже варит и суп, и кашу, и чай. Это, конечно, отвратительно, но зато никаких авитаминозов.

О болезнях на фронте

Все учёные-медики, которым пришлось воевать, единодушно отмечают такой удивительный факт: организм солдата на фронте по отношению к болезням резко отличается от организма нормального человека в нормальной

обстановке. Это различие проявляется в двух направлениях. Первое: все неинфекционные болезни, которыми люди страдали до войны (например, различные пороки сердца, язвы желудка и прочее), на фронте у этих людей бесследно пропадали без всякого лечения. Второе: человек на фронте не заболел в такой ситуации, где он должен был обязательно заболеть при нормальной обстановке. Медики эти факты отметили, но не объяснили (если, например, говорят, что это объясняется особым состоянием нервной системы человека на фронте, то ясно, что это игра слов, а не объяснение). Я не медик, поэтому, естественно, ничего здесь объяснить не берусь. Я могу лишь из собственного опыта подтвердить, что такие явления действительно были.

В детстве я с трудом выжил в голодовку 1933 года, приходилось питаться всякой дрянью, вследствие этого у меня получился хронический гастрит. Он меня мучил до самой войны. Даже небольшой кусочек ржаного хлеба вызывал длительные и сильные боли в желудке. На фронте я забыл о своём гастрите, и мой желудок полностью отвечал всем солдатским стандартам, то есть мог переварить всё, за исключением гвоздей. До войны я болел часто многими простудными болезнями. За всё время войны я ничем не болел, даже лёгкого насморка ни разу не было. И это несмотря на то, что организм солдата на фронте подвергается очень сильным воздействиям, которые в обычной обстановке привели бы к заболеванию.

К таким воздействиям я отношу длительное отсутствие сна, очень большие физические нагрузки, скудное и нерегулярное питание. Очень часто все эти факторы действовали одновременно. Однажды нам пришлось шагать безостановочно четверо суток подряд без сна и без пищи. Утром на полчаса привал, всё остальное время шагай. Переходы по двое или по трое суток были много раз. В таких переходах больше всего доставалось ногам и плечам. Ноги доходили до такого состояния, что на привале, если сел, то сам без посторонней помощи уже не встанешь. А плечи страшно передавливались ляжками. Лямки от тяжёлого вещмешка с патронами, ремень от автомата, а до фронта — ещё и лямка от противогаза, и всё это на плечах. Прошло сорок с лишним лет, но у меня до сих пор при перемене погоды болят не только ноги, но и плечи, возникает ощущение, будто эти лямки до сих пор на моих плечах.

Наибольшее воздействие на мой организм оказало переохлаждение. Я не знаю, как для других солдат, тут могут быть индивидуальные особенности, но для меня это был наиболее сильный отрицательный фактор. Приведу несколько примеров. В Белоруссии есть такие места, где идёшь по земле, как по подушке, она под ногами прогибается: сверху — дёрн, а под ним — болото. Однажды поздней осенью 1943 года мне пришлось уснуть на такой поверхности. Уснул, конечно, сразу, как только представилась возможность, так как перед этим несколько суток не спал. Постепенно дернина подо мной стала прогибаться и в это углубление стала просачиваться вода. В этой холодной ванне я спал два или три часа. К тому моменту, когда меня разбудили и послали выполнять очередное задание, вся одежда на мне была насквозь мокрая. И было жутко холодно, так как температура была около нуля. В обычных условиях результатом всего этого было бы, как минимум, воспаление лёгких. А тогда у меня после даже насморка не было, я помёрз, пока одежда на мне высохла, и всё.

В начале зимы 1943 года нам устроили баню. Для этого в балке в двух километрах от передовой поставили большую палатку, в ней натопили металлической печкой, а под ноги положили доски. Ну, а раздеваться и одеваться, конечно, на снегу. Раздеваешься, всё обмундирование сдаёшь, а выйдя из бани, получаешь чистое. Чистое, конечно, относительно, но во всяком случае, без вшей. К тому времени, когда я вышел из бани, у старшины что-то там заело и за чистым обмундированием собралась большая очередь. Вот в этой очереди я и постоял где-то минут двадцать или больше. Гольный и мокрый, а мороз был и ветер. Замерз, конечно, страшно. Но последствий никаких, даже насморка не было.

Наиболее сильное переохлаждение за всю войну и за всю жизнь мне пришлось перенести под Мемелем в январе 1945 года. Мемель некоторое время был окружён (точнее почти окружён, так как немцы имели выход к морю). Наша разведка получила сведения, что немцы собираются танками прорвать наше кольцо и выйти из Мемеля сушей. В связи с этим было решено на нейтралке устроить противотанковые засады. Говорили, что там были солдаты

с противотанковыми гранатами, а нам было приказано устроить засады с зажигательными бутылками (зажигательные бутылки и дымовые шашки считались оружием химиков). Засады выставлялись два дня, участвовало в них от нашей роты по два человека. Я попал на второй день. Перед рассветом меня отвели на нейтралку и показали ямку, в которой я должен был пролежать всё светлое время суток. Ямка была очень мелкая и вся обледенелая. Я в неё втиснулся, лёг на левую сторону тела, а под правой рукой расположил бутылки с «КС». Мороз был небольшой, градусов 10°C, так что поначалу все было терпимо. Но на рассвете ветер подул с моря и пошёл дождь. Мороз и дождь. Шинель намочла и взялась ледяной коркой, по этой корке вода стала стекать и накапливаться на дне ямки. В этой воде мне и пришлось лежать весь день, так как деваться было некуда. Одежда снизу промокла до тела, и стало жутко холодно. Сначала, пока мёрзла только кожа, ощущение холода было обычным, только очень сильным. А потом, по мере охлаждения организма, стали мёрзнуть внутренние органы и появились непривычные ощущения, которых я ни разу до этого не испытывал: ощущение дикой, раздирающей боли во всём теле, особенно, как мне казалось, эта боль терзала кровеносные сосуды. После нескольких часов такой пытки у меня стало мутиться сознание, я стал очень нечётко воспринимать окружающий мир. В какой-то момент ощущение холода и все боли вдруг исчезли. От ног стала подниматься волна приятной теплоты, а по всему телу стало разливаться сладкое блаженство, очень захотелось спать. В полусонном мозгу медленно проплыла равнодушная мысль: так вот почему в литературе пишут, что трупы замёрзших часто находили с блаженной улыбкой на устах. Оказывается, остановка кровообращения сопровождается состоянием эйфории, ощущением полного блаженства. Вслед за этим возникает другая мысль, уже тревожная: так это значит, что я замерзаю! Если я поддамся искушению и усну, то уже никогда не проснусь! Громадным напряжением воли прогоняю сон и встряхиваю всё тело. Восстановление кровообращения сопровождается адской болью во всех кровеносных сосудах. Впредь я был осторожнее и переход в состояние эйфории не допускал, как это ни было мучительно. Потом кончился дождь, и в ямку, где я лежал, перестали поступать свежие порции холодной воды. Весь день на передовой было очень тихо и спокойно, никаких немецких танков не было. Как только стало темнеть, я немедленно выбрался из своей ямки и, с трудом владея ногами, ушёл в расположение роты. На другой день стало известно, что сообщение разведчиков не соответствует действительности. Как это ни удивительно, тогда сильнейшее переохлаждение обошлось для меня без всяких последствий, не было даже насморка.

Таким образом, на основании собственного опыта могу сделать вывод, что действительно самые сильные отрицательные воздействия на организм на фронте не вызывали обычных в таких случаях заболеваний. Однако это не значит, что все эти воздействия обошлись для наших организмов без последствий. И все мои многочисленные болезни теперь — следствие фронтовых воздействий на организм.

Что касается инфекционных заболеваний на фронте, то я не помню ни единого случая, чтобы какой-либо солдат заболел чем-либо инфекционным. И это несмотря на всю антисанитарию солдатского быта. Из литературы я знаю, что в первую мировую войну страшным бичом русских солдат на фронте был тиф. Потери от тифа были сравнимы с потерями в боях или даже превышали их. В эту войну тифа не было. Я считаю это громадной заслугой медицинской службы, в частности, систематической вакцинации всего личного состава войск. Периодически нам кололи комбинированную вакцину от всех инфекционных болезней: и от столбняка, и от холеры, и от тифа и других.

Об отношении к мёртвым и живым

Ясно, что война не бывает без убитых. Ясно и то, что мы пережили самую большую и самую страшную войну в истории человечества. Поэтому, естественно, убитых было больше, чем в любую другую войну. Когда я впервые увидел много убитых, это произвело на меня страшное впечатление. Это было в сентябре 1941 года на станции Лихачёв (г. Первомайск Харьковской области) после бомбёжки базара, где погибли около семисот человек. Это были горы трупов.

Позже, на фронте, я к трупам привык, как и все. Смерть на фронте — дело обычное и особых эмоций не вызывает. Но меня всегда беспредельно возмущало, что убитых часто не хоронили, их трупы оставались валяться там, где их настигла смерть. Мне особенно запомнился такой случай. Где-то в августе 1943 года полк вступил в лес, на лесной дороге лежал убитый солдат. Много людей и лошадей прошло мимо него, все его обходили, а подводы объезжали. Сколько офицеров мимо прошло, любой из них мог приказать своим солдатам оттащить труп в ближайшую ямку и забросать землёй. Но никто этого не сделал. Ночью по этой дороге пошли танки. Бедного солдата раздавили и перемешали с землёй, осталась на обочине одна нога. Человек отдал самое дорогое — жизнь, но не получил даже права на человеческое захоронение своих останков. Так эта нога и сохранилась в моей памяти как символ неуважения к человеку, полнейшего пренебрежения им. И всё это после широковещательных заявлений о ценности человека, которые мы часто слышали в предвоенные годы.

Все первобытные народы, которых Геродот называл варварами, очень почтительно относились к своим мёртвым. Если над мёртвым по какой-либо причине не совершен похоронный обряд, то для его близких это горе большее, чем сама его смерть. Если вы читали Гомера, то вспомните, сколько усилий предприняли троянцы, чтобы получить труп Гектора, убитого Ахиллом, и совершить над ним обряд захоронения. А скифы насыпали своим мёртвым курганы и клали в них огромные ценности. Короче говоря, люди с тех пор, как они стали людьми, всегда хоронили своих мёртвых. Позже был специальный приказ, и в деле захоронения был наведён порядок. Но это было гораздо позже, а тогда, в 1943-м, дело обстояло именно так.

Между прочим, я так и не знаю, захоронили ли тех солдат из армейской штрафной роты, которые полегли на немецкой проволоке в бою 26 января 1944 года, а потом всю зиму и весну немой укором маячили перед нашими глазами в своих белых масках.

Ну, мёртвые есть мёртвые — и при любом к ним отношении живыми уже не станут. Гораздо страшнее было то, что отношение к живым было ненамного лучше. Одним непродуманным словом отправляли на смерть сотни и тысячи солдат.

Но наибольшее впечатление произвёл на меня следующий случай. Через неделю после вступления в бой наш полк получил крупное пополнение, что-то около 500 человек. Их привезли из запасного полка, все солдаты 1925 года рождения, молодые и необстрелянные. Прибыли они в полк поздно вечером, закончили их принимать в два часа ночи, а уже в четыре часа утра полк перешёл в наступление. Приказано было взять какую-то деревню. Полк штурмовал эту деревню в продолжение двенадцати часов и не взял её. На подступах к этой деревне полегло почти всё полученное пополнение. Старые солдаты, хотя их было немного, все остались живы, а те, что прибыли с пополнением, почти все погибли. Объясняется это тем, что им не дали времени на адаптацию. Вот я ставлю себя на их место. Я старше их на один год и прибыл в полк тоже из запасного полка. Моё счастье, что я попал в часть, которая формировалась. А если бы и мне пришлось через два часа после прибытия идти в бой, то я оказался бы совершенно никудышным солдатом и погиб бы в первые минуты боя. Этого не произошло потому, что я привыкал к фронтовым условиям с апреля по август 1943 года — срок по фронтовым меркам огромный. И всё это время в обстановке постепенного приближения условий к боевым я учился. В солдатском деле, как и во всяком другом, есть множество тонкостей, которые нельзя изучить теоретически, но можно перенять только от сведущих людей. Вот этим тонкостям фронтовой жизни я и учился у старых, бывалых солдат, которые уже были на фронте раньше, имели ранения и боевой опыт. Поэтому, когда я пошёл на передовую, я уже соображал, где надо вставать, а где надо падать, когда надо идти, когда бежать, а когда ужом ползти, перед каким снарядом падать, а на какой внимании не обращать. То, что я уцелел на фронте, конечно, случайность, но диалектический материализм считает, что случайность есть проявление скрытой закономерности.

Через некоторое время после неудачного длительного штурма приехало около десяти «катюш». Они «сыграли» по деревне один залп и уехали. И вопрос о взятии деревни был решён быстро и радикально — вся деревня превратилась в один гигантский костёр. Спрашивается: если была возможность таким способом взять деревню, так зачем же положили пятьсот юных жизней?

Об оружии и снаряжении

Перед самой войной я окончил первый курс учительского института. Там нам читали военную подготовку. Мы фундаментально изучали оружие, причём не только данный конкретный вид оружия, но и общие принципы его устройства с подробным физико-техническим обоснованием. Я в совершенстве освоил технику прицельной стрельбы, так что в армии и на фронте я всегда стрелял метко, несмотря на моё слабое зрение. В силу всего этого за всю войну мне ни разу не встретилась такая конструкция оружия, в которой я самостоятельно не смог бы досконально разобраться. Знакомясь со многими видами оружия, я, естественно, сравнивал их между собой, о каждой конструкции у меня складывалось определённое мнение.

О достоинствах русской трёхлинейной винтовки Мосина написано очень много. Было ясно, что она морально устарела и роль основного стрелкового оружия выполнять уже не могла. Немецкая винтовка была легче и короче нашей, но она пользовалась всеобщим презрением наших солдат. Наш карабин с откидным штыком, который заменил винтовку, был уже значительно лучше, но всё равно основной проблемы он не разрешил. Её разрешил автомат ППШ. Из всех видов оружия самыми выдающимися по конструкции я считаю ручной пулемёт Дегтярёва и автомат ППШ. Какая гениальная простота! В РПД весь затвор — три железки, а в ППШ затвор — всего одна железка, которая совершает всего одно возвратно-поступательное движение и больше никаких движений. Следствие этой простоты — абсолютная нечувствительность к внешним воздействиям. Можно утопить в болоте, после этого вывалить в песок — и всё равно он будет стрелять.

Немецкий автомат и пулемёт МГ-34 — тоже оружие весьма серьёзное, уже только калибр автомата 9 мм вынуждает говорить о нём почтительно. Но это оружие страшно сложное. Затвор МГ-34 состоит из очень многих деталей сложнейшей формы, которые при выстреле совершают множество различных движений. И как следствие этого — это оружие работает безотказно только тогда, когда оно в идеальном порядке. При малейшем внешнем воздействии — чуть-чуть песочек или просто загустела смазка от холода — оно уже отказывает. Иначе говоря, немецкое оружие приспособлено к национальному характеру немцев, их педантичности, сверхаккуратности и добросовестности во всяком деле. А наше оружие так же хорошо приспособлено к нашей халатности, безалаберности и разгильдяйству. Кроме того, есть ещё одно существенное различие — в технологии изготовления. Для изготовления немецкого оружия требуется сложное оборудование и большой труд высококвалифицированных рабочих. Для изготовления нашего оружия ничего этого не требуется, технология его изготовления чрезвычайно проста, просто примитивна. Изготавливали его в основном женщины и подростки на самом простом оборудовании.

Расхваливая РПД и ППШ, я совсем не хочу сказать, что в них не было недостатков. Те, кто стрелял из РПД, знают, что в нём был очень существенный недостаток — очень неудачная конструкция магазина-диска. Заряжать его трудно и неудобно, при стрельбе он часто заедает. Я знаю, что к концу войны пулемёт Дегтярёва был полностью модернизирован, но из него мне стрелять не приходилось, поэтому ничего о нём сказать не могу.

В автомате ППШ можно указать два недостатка. Его ствол изготавливался отдельно и свободно вкладывался в кожух, жёсткой связи между ними не было. При стрельбе по стволу всё время ударяет затвор, вследствие этого отвод постепенно разбалтывается, и прицельная стрельба из такого автомата уже невозможна. Второй недостаток ППШ — неудачная конструкция предохранителя.

Автомат ППС, который появился в конце войны, мне не понравился — уж очень он игрушечный, несерьёзный.

Большое уважение вызывала у меня также конструкция СВТ. По своей огневой мощи — это грозное оружие, вполне сопоставимое с ручным пулемётом. Кроме того, это самое прицельное оружие из всех, из которых мне приходилось стрелять. По меткости стрельбы СВТ превосходила всё другое наше и немецкое стрелковое оружие. Я восхищался, как просто и остроумно конструктор превратил самозарядную винтовку в автоматическую. Мне очень понравился также штык к этой винтовке. Штык как холодное оружие мне употреблять не приходилось, но зато им при необходимости можно было и дров

нарубить для костра, и окопаться, и сделать много других солдатских дел. И очень жаль, что все неоспоримые достоинства СВТ сводились на нет единственным недостатком. Он состоял в том, что в деревянной ствольной накладке против газового поршня были сделаны прорези для выхода отработанных газов и охлаждения газового поршня. Когда ставишь винтовку к стенке окопа, она опирается о стенку как раз этими прорезями, в них попадает песок, который проваливается под газовый поршень. Из-за этого винтовка перестаёт работать, её надо разбирать и чистить. Чтобы избежать этого, я всегда эти прорези обматывал носовым платком (солдаты надо мной шутили: “Ты ухажи-ваешь за винтовкой, как за невестой”). И она меня ни разу не подвела.

В самом конце войны, уже в Мемеле, мне попала немецкая самозарядная винтовка фирмы “Маузер”. Она почти не уступала СВТ по меткости стрельбы, но была только самозарядной, а не автоматической. В её конструкции использованы основные идеи нашей СВТ, только получилась она сложнее и тяжелее, чем СВТ.

Уже в мае 1945 года мне попался новый немецкий автомат, похожий на наш современный АК. Но к тому времени и война, и оружие мне страшно осточертели, и я не стал его разбирать и изучать.

Что касается офицерского оружия, то здесь положение было совсем другое. Если сравнить наш ТТ и немецкий “парабеллум”, то сравнение явно не в пользу ТТ. Конечно, “парабеллум” тяжеловат, как всё немецкое оружие, но зато как он сидит в руке и как удобно из него стрелять! В руках хорошего стрелка – это грозное оружие. ТТ крайне неудобный для стрелка, неудачное положение центра тяжести весьма затрудняет прицельную стрельбу из него. Все другие пистолеты, которые встречались у немцев, также очень хорошие. Мне попадались “вальтеры”, “смит-вессоны”, “кольты”, много разновидностей “браунингов”, а один раз даже “маузер” в деревянной кобуре, которая может служить для него ложей.

С артиллерией я никоим образом не был связан, поэтому о достоинствах и недостатках пушек и миномётов ничего сказать не могу. Однако не могу не высказать своего восхищения дивизионной 76-мм пушкой ЗИС-3. Мне кажется, что это лучшая пушка за всю историю артиллерии. Аналогичная немецкая пушка против нашей была очень тяжёлой, неуклюжей и вообще безнадежно устаревшей.

Как я уже писал, главным моим занятием всё время, пока я был в 68-м стрелковом полку, было копать землю. Поэтому я могу здесь абсолютно авторитетно высказать своё глубочайшее презрение к тем уродцам, которые назывались у нас большой и малой сапёрными лопатами. Эти лопаты изготовлялись из такого отвратительно мягкого металла, что наточить их было невозможно, а копать ими землю – это мучение, пытка, особенно если в земле корни деревьев или камешки (а я что-то не помню, чтобы земля, которую я копал, была без корней или камешков. А если и была, то это была сухая глина, твёрдая, как бетон). Поэтому я был очень рад, когда мне попала немецкая малая сапёрная лопата. Вот это действительно солдатская лопата! Это универсальный и очень удобный инструмент для выполнения любых земляных работ. Ей не страшны ни камни, ни корни. Самое лучшее, что было в экипировке немецкого солдата, – это лопата.

Немецкий солдатский ранец с клапаном, покрытый телячьей кожей шерстью наружу, конечно, по сравнению с нашим вещмешком выглядит весьма внушительно, но эта внушительность скорее недостаток, чем преимущество, так как он очень тяжёлый. Да и, кроме того, телячьей коже можно было найти и лучшее применение.

Из всех деталей обмундирования я остановлюсь только на одной наиболее важной для солдата – обуви. Солдатам выдавали ботинки с обмотками. Что касается ботинок, то тут двух мнений быть не может – это очень хорошая обувь. Ноге в них удобно, ходить легко. Конечно, своим невзрачным видом они не могли соперничать с “шикарным” американским “чудом”, получаемым по ленд-лизу. Но это только по внешнему виду. А в деле американские ботинки – это кандалы, это издевательство над солдатскими ногами. Однажды мне пришлось в новых американских ботинках пройти два ночных перехода. В результате ступни моих ног пришли в такое состояние, что я некоторое время вообще ходить не мог. Так что о наших солдатских ботинках мнение может быть только положительное.

А вот что касается обмоток, то здесь вопрос сложнее. Для многих солдат была большой проблемой намотать обмотки так, чтобы в движении они не разматывались. Для меня такой проблемы не было. Технику их наматывания я освоил с первого раза и за всю войну не помню ни единого случая, чтобы у меня разматывались обмотки. Если ботинки целы, а обмотки намотаны плотно, то сквозь эту систему не проникает вода, снег, грязь и другое. Поздней осенью 1943 года мне пришлось много раз подряд переходить вброд довольно глубокий ручей, однако ноги оставались сухими. И вместе с тем обмотки – это большое зло для солдата, так как лишают ноги нормального кровообращения. В казарменных условиях ноги имеют передышку ночью. При очень больших нагрузках на солдатские ноги им всё время приходится сидеть на голодном пайке в отношении кровообращения. Солдаты дружно ненавидели обмотки. Никакая другая часть солдатского обмундирования не удостаивалась столь единодушного презрения, как обмотки. И поэтому при первой возможности солдаты старались от них избавиться.

Такая возможность впервые представилась летом 1944 года. Наши солдаты постепенно стали переобуваться в сапоги пленных немцев. Немецкие солдатские сапоги – обувь никудышная. Они очень тяжёлые, страшно грубые, ноги в них быстро устают, долго ходить в них трудно. Но тем не менее солдаты мирились с этими недостатками, лишь бы избавиться от обмоток. К концу войны все солдаты хитростью были обуты в трофейные немецкие сапоги. Мне наши солдаты достали хромовые сапоги немецкого офицера. Сапоги были очень хороши и пришлись очень хорошо на мои ноги, но их я обул только один раз. Их увидел старший лейтенант Капустин и забрал себе, заявив, что солдат хромовые сапоги не положены. Правда, надо отдать ему должное, взамен он отдал мне свои кирзовые сапоги. В этих сапогах я и ходил до конца войны и после войны, в них и демобилизовался. Оказалось, что кирзовые сапоги – очень хорошая и удобная обувь.

В зимнее время мне, как и всем солдатам, приходилось носить валенки, но об этой обуви я ничего хорошего сказать не могу, для фронтовых условий и мягкой зимы эта обувь неподходящая. Долго идти в них трудно, но самое главное – трудно сохранить их сухими.

Из всего прочего снаряжения очень большую роль в жизни солдата имел котелок. Наш двухлитровый котелок того времени был хорош своей ёмкостью, но был он очень тяжёлый и неудобный, поэтому при первой возможности солдаты его бросали и брали немецкий котелок, гораздо лучше приспособленный к солдатским потребностям.

О чувстве Родины

Слова о патриотизме, Родине до войны преподносились нам в школе, они употреблялись в газетах столь часто (как они произносятся и пишутся и сейчас), что превратились в избитый штамп и никаких чувств не вызывали.

Оказалось, что чувство Родины – это действительно высокое и святое чувство, но для “открытия” его нужно было попасть за пределы Родины. Я это почувствовал сразу же, как только мы переехали границу и попали в первый немецкий город на нашем пути – Тильзит (Советск).

И в России, и в Белоруссии сколько городов и сёл встречалось на нашем пути, и никаких особых эмоций это во мне не вызывало. Я их воспринимал как свои города и сёла, и они меня воспринимали как своего. В Тильзите же я резко, сильно, как-то прямо кожей ощутил, что я этому городу чужой, и он мне чужой и враждебный. И сколько мы двигались по Восточной Пруссии, меня не оставляло ощущение враждебности всего окружающего. Чужие и враждебные дома, немецкие двухметровые заборы с колючей проволокой, немецкий сверхпедаanticный порядок во всём. Я тоже люблю порядок, но не до такой степени. У немцев порядок – фетиш, перед которым надо преклоняться. Чужим и враждебным оказался даже немецкий лес.

За время войны на Смоленщине и в Белоруссии я очень привык к лесу. Лес солдату первый друг. В любую погоду: в жару и дождь, в мороз и слякоть – лес всегда укроет и обогреет, спрячет и защитит. Если надо, в лесу всегда построшь шалаш из лапника, если надо – землянку или блиндаж, всегда можешь разжечь костер берестой. Я представляю, как трудно было солдатам воевать на Украине, где почти нет лесов. Но в Восточной Пруссии –

это совсем другой лес, непривычный, чужой и враждебный. Деревья, в основном ель, посажены геометрически правильными рядами в трёх направлениях – в длину, ширину и по диагонали. Сучья и ветки обрезаны со всех деревьев строго до одинаковой высоты. Внизу – чистота и строгий немецкий порядок, сушняк на костёр – и то не найдешь, всё убрано и вылизано. И только пройдя Восточную Пруссию, в бывшем Польском коридоре мы встретили леса в русском стиле.

В Лауэнбурге мы стояли больше года, привыкли, и постепенно ощущение враждебности всего окружающего притупилось. Но зато нестерпимо, невыносимо захотелось домой. Родина стала казаться далёкой и очень желанной мечтой, всё бы отдал, лишь бы домой. Поэтому я очень понимаю и очень сочувствую старому русскому полковнику, которого наши солдаты встретили под Кёнигсбергом. Немцы перед отступлением угоняли всё своё население, но он спрятался и специально остался. А встретив нашего солдата, горько плакал. Рассказал, что он полковник старой русской армии, в гражданскую войну воевал в белой армии, эмигрировал в Германию и всё это время работал в поместье в качестве батрака. Он признаёт, что тяжко виноват перед своей Родиной, пусть его накажут, пусть даже расстреляют, но пусть разрешат перед смертью побывать в родных местах, ещё раз прикоснуться к Родине.

Я также очень хорошо понимаю композитора и пианиста Сергея Рахманинова, который эмигрировал в Америку, но перед смертью в 1942 году перечислил всё своё состояние (около трёх миллионов долларов) в фонд обороны СССР и просил только одного – разрешить ему вернуться, чтобы умереть на Родине.

Точно так же я понимаю Георгия Гамова, одного из крупнейших физиков XX века, который в возрасте 54 лет умер в США от ностальгии, от тоски по своей родной Одессе. Всех подобных людей я очень хорошо понимаю. И совершенно не понимаю многих нынешних, для которых Родина – пустой звук. Мне кажется, что только самые большие подлецы и отъявленные негодяи могут променять Родину на блеск заграничной мишуры. И я одобряю, когда такие уезжают в Израиль, в Америку. И не понимаю, почему их не отпускают. Пусть едут, меньше сволочей здесь останется.

Кто-то из писателей-фронтовиков в газетной статье заявил однажды, что у каждого была своя война. Эту мысль я полностью разделяю. Я в своих воспоминаниях описал войну такой, какой она была для меня, правда, не всю войну, а только ту её часть, которая связана с 70-й стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова дивизией, то есть с апреля 1943 года.

Война неожиданно ворвалась в нашу жизнь, безжалостно перепахала наши судьбы и глубокой бороздой разделила наше время на два периода, на две эпохи: “ДО войны” и “ПОСЛЕ войны”. Война всё изменила: и мы изменились, и страна наша изменилась, и весь мир изменился. И я благодарен судьбе за то, что мне довелось увидеть эти изменения. Очень многие, кто шёл рядом со мной, были так же молоды и ни в чём перед судьбой не виноваты, но до конца войны они не дошли. И от многих из них не осталось даже могилы на этой земле. И я всегда чувствую, что я живу благодаря им, они погибли и за меня. Но жизнь на Земле продолжается. И весь вопрос сейчас: была ли пережитая нами война последней или последняя война ещё в будущем?

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА

СОЗНАНИЕ И БЫТИЕ

Не секрет, что христианский мир переживает демографический кризис и – шире – кризис института семьи. На сессии “Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции” во время Петербургского международного экономического форума-2019 первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко рассказал, что падение рождаемости в России связано с бедностью. *“Мы связываем эту причину, – заявил замминистра, – с экономикой, прежде всего, с уровнем доходов наших семей, которые также за последние годы, если не падают, то рост в принципе остановился. Здесь есть чёткая связь, мы видим по показателям бедности: в числе бедных домохозяйств – 79% домохозяйства с детьми...”* В общем, ничего удивительного и нового: всем и всегда было известно, что такое “лишний рот”. Особенно если речь шла о крестьянских семьях. С каждым новым иждивенцем доходы работающих членов семьи уменьшаются. А с учётом сокращения доходов на время декрета материальное положение меняется очень чувствительно. Да, выплачивается так называемый “материнский капитал”, начиная со второго ребёнка. Но проблемы бедности эта сумма не решает, да и тратить её разрешается не на всё подряд. То есть государственная поддержка семьи недостаточна, чтобы молодые поколения граждан России не росли в бедности и скудости, чтобы имели возможность получать полноценное развитие и образование. Ведь поддержка государства – это не только пособия на детей. Это и наличие по всей стране достаточного числа рабочих мест, обеспеченных полноценной зарплатой. Это и условия, когда членам семьи не приходится жить за счёт отхожих промыслов или, как сейчас это называется, работать вахтовым методом, что отнюдь не способствует укреплению семейной жизни. Это и – сейчас недоступные – высокие пенсии, позволяющие пожилым людям жить за свой счёт и помогать детям и внукам; пенсии, не множачие иждивенцев, а следовательно, не увеличивающие нагрузку на работающих членов семьи.

Но если на отсутствие государственной поддержки общественным организациям стоит смотреть как на свершившийся факт, а самим организациям посоветовать как-нибудь самим разбираться в сложившихся условиях, то политика государства в отношении семьи, медицины, образования многими вполне справедливо квалифицируется как “недостаточная”. А учреждение новых семейных праздников вкупе с блиц-установкой по всей стране памятников Петру и Февронии воспринимается как издевательство и кощунство. Тем более что кризис семьи может быть назван системным кризисом. То есть сложилась или складывается такая ситуация, когда у людей в массе своей исчерпываются возможности, желание, внутренняя сила для развития, для перемен, для принятия решений и создания новых условий жизни.

В стране с начала 2000-х годов мало что изменилось в плане социальной структуры. Округлая, примерно 20% всего населения составляют элита и средний класс, 70% живут ниже среднего, 10% находятся за чертой бедности. Больше половины населения тратят на еду и обязательные платежи 2/3 семейного бюджета и не могут себе позволить поездку на отдых даже внутри страны. Почти треть населения в трудоспособном возрасте готова уехать из страны на заработки или на постоянное место жительства, если представится такая возможность. Из России за последние несколько лет уже уехало более двух миллионов квалифицированных специалистов. А это превышает потери за период гражданской войны. Известный российский учёный С. А. Дружилов утверждает, что за один лишь год с 2009-го по 2010-й Россия потеряла более миллиона рабочих мест только в обрабатывающей промышленности. В стране остаются регионы, где за последние 20 лет не было построено ни одного современного предприятия.

Разочарование граждан России в политике государства – налицо, как и утрата политиками народного доверия. Нет ничего удивительного, что при отсутствии веры в будущее, при невозможности содержать потомство не впроголодь и обеспечивать ему нормальное развитие желание создавать семьи у кого-то угасает.

И всё же не будем всё сводить к доходам. Тем более, что проблема действительно серьёзнее и глубже. Ведь кризис института семьи и демографический спад переживает не только наша страна. Вполне благополучные страны Запада находятся порой даже в худшем положении. В некоторых странах ЕС уже давно зафиксирован стабильно отрицательный прирост населения. Причём лидирует богатейшая в ЕС Германия, где смертность с 1970-х годов превышает рождаемость. С 1990-х годов такая же ситуация сложилась в Италии. А в докладе ООН “Перспективы населения мира – 2019” говорится, что *“в 2010–2020 годах 10 стран, все в Европе, испытали как отрицательный естественный прирост, так и отрицательное сальдо миграции. К ним относятся Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Польша, Португалия, Латвия, Литва, Республика Молдова и Румыния <...> Между 2019 и 2050 годами прогнозируется снижение на один процент или более населения 55 стран или регионов из-за устойчиво низкого уровня рождаемости, а в некоторых местах – из-за высоких показателей эмиграции. Наибольшее сокращение населения относительно его численности с потерями около 20 процентов и более ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, на Украине и островах Уоллис и Футуна”*.

И если оставить без внимания острова Уоллис и Футуна, можно заметить, что и во вполне зажиточных, в представлении наших сограждан, странах не всё благополучно с рождаемостью и семейственностью. В чём же тут дело? Почему в 1910 году средний возраст в Германии был ниже 24 лет, а в 2003 году превысил 40-летнюю отметку? Что же изменилось? Прежде всего, изменился мир, а также люди, его населяющие.

Не будем забывать, что мы живём в эпоху так называемого глобализма, что, по сути, означает власть в мире финансового капитала. Роль мирового финансового капитала возросла после отмены в 1970-е годы Бреттон-Вудской системы, когда была упразднена привязка доллара к золоту и утверждены плавающие валютные курсы. Формально доллар переставал быть главным платёжным средством, но фактически привязка к доллару, как рудимент Бреттон-Вудской системы, сохранилась до сих пор, что связано с экономическим и военным потенциалом США. Собственно, США и стали центром мировой политики глобализма и главным экспортёром капитала. Суть глобализма в том, что использовать капитал с максимальной выгодой можно только при открытых границах. Деньги должны поступать туда, где они могут работать наилучшим образом. Диктатура финансового капитала обязывает поддерживать в странах, ждущих инвестиций, низкий уровень инфляции и невысокие налоги на доходы от инвестиций, сокращение социальных расходов и максимальную приватизацию. Обязательным условием является также конвертируемость местной валюты и открытость для международных перемещений капитала.

Несмотря на то, что кому-то по сей день понятия “капитализм” и “социализм” кажутся анахронизмом, именно расхождение между двумя системами и определяет современную реальность. Смысл и цель экономики социализма – развитие социальной сферы, капитализма – снижение затрат на произ-

водство. Именно поэтому транснациональные корпорации размещают своё производство там, где дешёвая рабочая сила, низкие налоги и затраты на социальные нужды. Само собой разумеется, что власти, много рассуждающие об инвестициях, не станут особенно заботиться о высоком уровне жизни в своей стране, поскольку это сделает страну малопривлекательной для инвестиционного капитала. Можно возразить, что инвестиции дают рабочие места, помогают воплотить в жизнь новые проекты. Пусть так. Но в то же время инвестиции приводят к разбалансировке финансовой системы и к росту зависимости от экспортёров денег. И, конечно же, нелепо рассуждать о суверенитете при отказе контролировать вывоз капитала. Цель глобализма — это рынок без государства, это уничтожение сильных национальных государств, это, в конце концов, создание человека нового типа.

При этом атака на крупные государства и поддержка этносепаратизма вовсе не противоречат друг другу. Просто правительства малых государств более управляемы и более сговорчивы. Яркий пример тому — постсоветское и постъюгославское пространства. Когда украинцев учили кричать “Цэ Еуропа”, то смысл этой кричалки сводился именно к отрицанию своей национальной идентичности. Национальные государства создают помехи транснациональным спекуляциям. Финансовый капитал заинтересован, во-первых, в превращении производственных национальных экономик в транснациональные спекулятивно-перераспределительные, а во-вторых, в манипуляции народами и внушении массам идеи о необходимости разгосударствления. Именно с этой целью повсеместно, включая благополучные страны, осуществляется намеренная деградация образования, а с помощью деятелей культуры и искусства внедряется новое мировоззрение, основанное на разрушении традиционных связей и отказе от святынь. Традиционная семья как “ячейка общества” и основа государства тоже стала помехой в новом глобальном мире.

Когда 9 Мая в России поднимаются крики о “победобесии”, то исходят они не столько от русофобов, сколько от глобалистов, то есть от людей, обрубивших связи с местными традициями, ценностями и святынями. В каком-то смысле и они, конечно, русофобы, но лишь как ненавистники серьёзного отношения к традиции как таковой и к почитанию сакрального. Когда современные российские литераторы или кинематографисты клеветают на страну и народ, это, возможно, не потому, что они искренне Россию ненавидят. Просто для того, чтобы считаться сегодня элитой в международном масштабе, чтобы иметь доступ к широкой аудитории и премиальным фондам, нужно обозначить своё независимое положение по отношению к национальным интересам. Быть элитой сегодня — это значит не быть связанным с национальным началом. Современная элита должна служить не народу и не национальному государству, а транснациональному капиталу — фактическому хозяину мира. Элите предписывается подавать пример, способствовать появлению и распространению нового мировоззрения, нового образа жизни и нового отношения к традициям и святыням. Такая элита словно бы говорит народам: “Забудьте всё, что было. Пришло другое время. Учитесь жить по-новому. А всё, чему учили прежде, — ложь”. Кстати, не далее, как 20 июня прошлого года заместитель министра обороны Андрей Картаполов на заседании “круглого стола” в Думе заявил буквально следующее: “*Нашими партнёрами во главе с США организуется поддержка нетрадиционных религиозных структур, “независимых” изданий и медиаресурсов, а также недальновидных или откровенно враждебно настроенных политических деятелей, популярных медийных личностей и представителей культуры и искусства. При этом основные усилия направляются на разрушение цивилизационной государственной, идеологической, культурной, религиозной и тому подобной идентичности*”. Если уж в Министерстве обороны озаботились разрушением идентичности, то дело, надо полагать, приобрело характер устойчивой угрозы. Несмотря на то, что Россия открыла границы для финансовых операций, привлекает инвестиции и не преследует вывоз капитала, национальная и прочая идентичность сохраняет потребность у значительной части граждан страны в сильном государстве, национальных традициях, культуре и святынях. Именно эта потребность и должна быть уничтожена с помощью “медийных личностей и представителей культуры и искусства”.

К тому же время, что ни говори, действительно пришло другое. Интернет позволяет найти работу или снять квартиру в любой части света. Транспорт

даёт возможность перемещаться из страны в страну быстрее, чем сто пятьдесят лет назад переезжали из Москвы в Петербург. Осталось отказаться от всяких там идентичностей и признать, что “национальное – плохо, транснациональное – хорошо”. То есть плохо и глупо носиться с историей своей страны, желать стране и народу процветания и бороться за это процветание, глупо радеть за сильное государство. Государство – это вообще не комильфо, гораздо лучше быть свободным гражданином свободного мира, жить там, где больше нравится, где много солнца и хорошие пенсии, болтаться по миру вслед за транснациональными корпорациями, путешествовать, “кушать вкусные продукты”.

И нельзя отрицать, что попытки создать нового человека удались. Современный человек в значительной своей массе уже превратился в глобального кочевника, настроенного не на созидание, не на преобразование среды обитания, а на поиски другой, уже готовой и более подходящей среды. Так азиатские кочевники, перемещающиеся по степи с отарами или табунами, не озабочены посевом или выращиванием свежей травы для скота. Достаточно просто сняться с насиженного места и отправиться на поиски ещё не вытоптаных или не выжженных солнцем пастбищ, чтобы осесть и там до поры.

Глобальные кочевники – это люди, оторвавшиеся от своей традиционной среды и культуры, расценивающие эту традицию как отсталость или архаику, ненужную и непригодную. Но возможность скитаться по миру и разрыв с оседлыми традициями неизбежно диктует новое мировоззрение, меняет психику и восприятие, освобождает от культурных табу, от необходимости почитать общие когда-то ценности и чтить святыни. Отметим и то, что моногамная семья – такая же традиционная, классическая ценность, как и множество других ценностей, это особенность оседлой жизни и вполне определённой, сложившейся культурной среды. Кстати, когда мы ахаем по поводу утечки мозгов и вообще по поводу уехавших из страны сограждан, мы опять же забываем: глобализированный мир устроен таким образом, что одни страны экспортируют рабочую силу, привлекая при этом инвестиции для создания капиталоемкого производства, а другие страны, напротив, экспортируют капиталоемкие товары и предоставляют кредиты.

Человеку кажется, что это он сам, пересмотрев своё отношение к жизни, выбрал современный путь, наиболее приемлемый в современном мире. Путь, обусловленный развитием техники, транспорта, средств связи, открытием границ и новыми возможностями; путь, ведущий в обход устаревших традиций и всякой архаики. Но на самом деле человек просто стал экспортируемым товаром, кочевником, поддавшимся влиянию глобализаторов и включившимся в схему, предложенную финансовыми спекулянтами. Для этого нового племени или нового класса не существует ценностных центров или критериев соответствия. Рано или поздно, но такие люди начинают воспринимать мир в отрыве от каких бы то ни было корней или истоков, от любой первичной реальности. Ценность обретают успех и комфорт или удобство жизни. Но в такой системе ценностей семья отходит на второй план, тем более что “идеал соответствия”, то есть планка успеха, становится всё более трудно достижимым. И зачастую у посвятившего себя зарабатыванию денег или карьере ради “идеала соответствия” человека просто не остаётся ни сил, ни желания для создания семьи и пестования потомства.

Недавно в интернете попала интересная заметка. Учительница из провинции с горечью пишет о своих учениках – обычных российских подростках. С горечью, потому что, со слов учительницы, эти дети не любят свою страну. И патриотическое воспитание, внедрённое сегодня в школу, не в состоянии ничего исправить. Программа патриотизма не способна вызвать этот самый патриотизм. Да, дети слышали об истории, о Великой Отечественной войне и даже гордятся предками. Но свою страну, в которой они родились и живут, они не любят и не уважают. Более того, они уверены, что по окончании школы нужно уехать из страны, потому что здесь, как им кажется, они не смогут себя реализовать, найти хорошую работу и, в конце концов, дожить до пенсии.

Что интересного в этом рассказе? Во-первых, детям почему-то кажется, что, уехав, они непременно найдут хорошую работу и смогут себя реализовать. Хотя никаких даже намёков на гарантии чего-то подобного нигде в мире не существует. Во-вторых, дети считают, что в России до 65 лет они дожить не смогут, а в любой другой стране – без вопросов. Ну, допустим, дети наслушались

взрослых разговоров о пенсионной реформе и, не вполне понимая, что к чему, повторяют за взрослыми. Но самое интересное – это в-третьих: детские разговоры и суждения выдают совершенно других людей. Других по отношению к ушедшим поколениям, к преобразователям и первооткрывателям. По отношению к тем детям, кто мечтал быть космонавтом или учёным, а не “кушать вкусные продукты” и путешествовать, кто вообще умел мечтать. То есть подрастают люди, чуждые созиданию, освоению и покорению мира, кочевники, уже оторванные от родной традиции и культуры и нацеленные на поиски богатого пастбища. Никто из них не сказал, что хотел бы изменить существующий порядок, перестроить государство и преобразовать мир. Но при этом они уже понимают, что для качественного потребления “в этой стране” не созданы подходящие условия. Поэтому нужно сниматься с места и ехать туда, где эти условия существуют.

Мы не можем в точности утверждать, частный ли это случай, описанный учительницей, или подобные настроения широко распространились среди российских подростков. Но в любом случае, можно говорить о том, что глобализаторы своё дело делают. И новый человек в России сформировался. И этот новый человек – не выразитель интересов народа, не хранитель или создатель культуры, не просветитель и не устроитель лучшего будущего. Это глобальный кочевник и потребитель.

То, что в нашей стране поселилась бедность, а реформы, начиная с 1991 года, грабят и разоряют народ и государство, – это результат политики глобализаторов. Мы не входим в “золотой миллиард”, нам отведена роль ресурсной базы. Поэтому, оставаясь внутри этой системы, мы обречены быть поставщиками природных и человеческих ресурсов, импортируя капитал и капиталоемкое производство. Бедность тоже никуда не исчезнет, потому что она часть существующего порядка. И человек, чьё сознание зависит от бытия, никогда не станет другим.

Поэтому государственная поддержка – это, конечно, хорошо, но в изменившемся мире семья превращается в архаику, в отжившую плоть общества, в надоевшую и устаревавшую традицию. А стало быть, кризис семьи только начинается.

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
кандидат исторических наук

ПУШКИН И БОЛДИНСКИЙ КАРАНТИН

Советы поэта во время эпидемии 1830 года

*...Не хандри — холера на днях пройдёт,
были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...*

А. С. Пушкин, 1831

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...*

Ф. И. Тютчев, 1836

1. Почему Пушкин стал злободневен при коронавирусе?

Эпидемия коронавируса, как из ряда вон выходящее событие, не могла не вызвать волну мифотворчества, том числе и на просторах интернета. И вот там уже появились стихи, приписываемые не кому иному, а именно А. С. Пушкину, написанные им якобы в Болдино во время эпидемии холеры. Вот так начинается одно из них:

*Мой друг, пора на хутора!
Там средь унылой, серой хери
Нет преопаснейших бактерий
Для нашего с тобой нутра...*

Ясно, что это совсем не пушкинской слог, как и в другом стихотворении, обманувшем тысячи доверчивых читателей, поверивших, что это строки Пушкина:

*Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!*

*Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,*

*Вновь станут гладкими дороги,
И сад, как прежде, зацветёт...*

*На помощь разум призовём,
Сметём болезни силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.*

К Пушкину часто прибегали мистификаторы и раньше. Ещё в 1832 году в статье “Несколько слов о Пушкине” Н. В. Гоголь выступил с опровержением авторства нескольких стихотворений, приписывавшихся поэту: “Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильной известностью. Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда, наконец, выходишь из молодости и видишь эти глупости непрекращающимися. Таким образом, начали, наконец, Пушкину приписывать “Лекарство от холеры”...” Любопытно, что в ранней редакции “Ревизора” Гоголь поместил позднее снятую им из комедии реплику Хлестакова: “А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе, перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по сту бутылка, какова только для одного Австрийского императора берегут, и потом уж как начнет писать, так перо только: тр...тр...тр... Недавно он такую написал пиэсу “Лекарство от холеры”, что просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник с ума сошёл, когда прочитал. Того же самого дня приехала за ним кибитка и взяли его в больницу”.

Теперь с клонированием Пушкина всё опять повторяется. Конечно, в некоторой степени даже похвально, что внимание людей в нынешние суровые времена вновь привлекает к себе “солнце русской поэзии”, но почему бы не обратиться к его настоящим стихам и к его реальной эпопее с холерной эпидемией. Тем более что это очень поучительно для нас, переживающих сегодня, в эпоху коронавируса, схожие по накалу страстей моменты. Попробуем окунуться в те далёкие дни 190-летней давности, когда в 1830 году в России началась первая масштабная эпидемия почти не известной ранее в стране холеры – самого смертоносного инфекционного заболевания XIX века, вибрион которого удалось выделить медикам только в 1854 году, а действенные вакцины от этой заразы появятся и вообще только в начале XX века.

Эпидемии холеры – острого кишечного заболевания, зародившегося впервые где-то в Бенгалии, – продолжались в Евразии почти целый век, с 1816-го по 1923 годы. А на территории России холера была впервые массово зафиксирована в 1823 году в Астрахани, но потом в течение 6 лет она появлялась там же и в некоторых других местах лишь изредка. Однако в 1829 году в долине Ганга началась теперь уже настоящая, почти всемирная, пандемия холеры, перебросившаяся в Персию и Османскую империю, оттуда в Грузию, вновь в Астрахань, а потом в Оренбург и на Южный Урал, где уже в 1829 году было зафиксировано несколько сот смертей. Быстрому распространению холеры способствовало возвращение домой солдат русской армии с фронтов двух следовавших друг за другом войн – Русско-персидской 1826–1828 годов и Русско-турецкой 1828–1829 годов, охвативших значительные территории и десятки тысячи людей.

Напомним, что в первой из этих войн важную роль сыграл А. С. Грибоедов (о его “малярийно-чумных” злоключениях следовало бы потом рассказать особо), а во второй поучаствовал и сам Пушкин, совершивший свой знаменитый побег в Арзрум (Эрзурум) и переживший в то время встречу с ещё одной “азиатской заразой” – чумой, – которую долго путали в России с холерой.

Первый раз в жизни Пушкину пришлось встретиться с тяжёлой болезнью ещё во время его путешествия на Кавказ с Раевскими, а именно на Горячих водах летом 1820 года, когда его “схватила” малярия. Выздоровев от неё, Пушкин написал: “Я ускользнул от Эскулапа, // Худой, обритый, но живой. // Его мучительная лапа // Не тяготеет надо мной”. С тех пор поэт не очень-то жаловал докторов с их рвением и садизмом. В 1820 году лечивший его лейб-медик Я. Лейтон употреблял “меры чрезвычайные, в частности, сажал в ванну со льдом” и “за жизнь не ручался”. Пушкин рассказывал, что “лекарь обещал меня не уморить сразу”, и написал о нём едкую эпиграмму: “Аптеку позабудь ты для венков лавровых, // И не мори больных, но усыпляй здоровых...”.

Позднее поэт не раз вспоминал обобщённый образ лекаря, который “морит – за деньги, за деньги, за деньги”, называя явным признаком нынешней эпохи то, что “мучат смертных лекаря”.

Удивительно, что Пушкину, который всегда интересовался медицинскими вопросами и врачебными практиками, было известно о холере ещё задолго до эпидемии в Москве 1830 года. Об этом сам поэт рассказал в своей заметке “О холере”, написанной в Болдино и показывающей, какие жизненные перипетии приходилось испытывать автору “Евгения Онегина”:

“В конце 1826 года я часто видался с одним дерптским студентом (ныне он гусарский офицер и променял свои немецкие книги, своё пиво, свои молодые поединки на гнедую лошадь и на польские грязи. (*Здесь Пушкин имел в виду своего приятеля А. Вульфа. – С. Д.*). Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всём затверженное понятие в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял. Однажды, играя со мною в шахматы и дав конём мат моему королю и королеве, он мне сказал при том: “Cholera-morbus подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас”.

О холере имел я довольно тёмное понятие, хотя в 1822 году старая молдавская княгиня, набелённая и нарумяненная, умерла при мне в этой болезни. Я стал его расспрашивать. Студент объяснил мне, что холера есть поветрие, что в Индии она поразила не только людей, но и животных, но и самые растения, что она жёлтой полосой стелется вверх по течению рек, что по мнению некоторых она зарождается от гнилых плодов и прочее – всё, чему после мы успели наслышаться.

Таким образом, в дальнем уезде Псковской губернии молодой студент и ваш покорнейший слуга, вероятно одни во всей России, беседовали о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслию всей Европы”.

Получается, что Пушкин столкнулся с холерой ещё в далёком 1822 году и рассуждал о ней в 1826-м. В том же 1822 году с холерой познакомился и Грибоедов, о чём свидетельствует его откровенное письмо В. К. Кюхельбекеру из Тифлиса: “Умерли: Наумов, Юргенсон и мишхарбаш Бебутов, Шпренгель etc, etc... С тех пор налегла на меня необъяснимая мрачность... Пожалей обо мне, добрый мой друг! Помяни Амлиха, верного моего спутника в течение 15-ти лет. Его уже нет на свете. Потом Щербаков приехал из Персии и страдал на руках у меня; вышел я на несколько часов, вернулся, его уже в гроб клали. Кого ещё скосит смерть из приятелей и знакомых? А весной, конечно, привлечётся сюда cholera morbus, которую прошлого года зимний холод остановил на нашей границе. Трезвые умы, Коцебу, например, обвиняют меня в малодушии, как будто сам я боюсь в землю лечь; других жаль сторицею пуще себя”.

Грибоедов, несколько раз болевший “жестокой малярийной лихорадкой”, именно на Востоке ощутил “прелести” заморских инфекций, среди которых тогда господствовала чума. Вспомним, что с чумой встретился в 1829 году и Пушкин, проявив столь свойственную ему храбрость. О том, что впереди по пути следования в действующую армию Паскевича его ждёт чумная опасность, поэт узнал в середине июня, как раз после встречи с останками Грибоедова на арбе, когда он встретил “армянского попа”, ехавшего в Ахалцих из Эривани: “Что именно нового в Эривани? – спросил я его. – В Эривани чума, – отвечал он”. И чума не заставила себя ждать.

В середине июля, как писал Пушкин, “возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решил оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошёл гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слёзы. Мысль о чуме опять мелькнула в моём воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою”.

Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не сделал того, что можно было бы назвать безрассудством и за что уж точно полагался бы долгий карантин: “Любопытство однако ж превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумлённые. Я не сошёл с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город”.

Увидев зримо ужасы чумы, Пушкин правильно сделал, что срочно выехал из армии, он спешил миновать возникавшие вокруг карантины, и ему посчастливилось только один раз попасть в такой карантин во время своего одиннадцатидневного пути до столицы Грузии, в Гумри, на российско-турецкой границе, и непонятно каким образом просидеть там не принятые обычно для этого 14 дней, а только трое суток. Видимо, ему удалось как-то уговорить начальство отпустить его раньше времени. “В Гумрах выдержал я трёхдневный карантин”, — написал Пушкин в “Путешествии в Арзрум”, не оставив нам деталей этого пребывания. И факт остаётся фактом, что свой первый карантин в жизни он пережил за 1 год и 3 месяца до холерного карантина 1830 года в Болдино. Известен колоритный автопортрет поэта в профиль с монограммой “АП” и надписью, сделанной чужой рукой: “писанный им самим во время горестного его заключения в карантине Гумранском, 1829 год 28 июля”.

2. Пушкин на пути к Болдинскому карантину

В написанном в Болдино в 1830 году стихотворении “Румяный критик мой...”, давая отповедь, в первую очередь, Ф. Булгарину за его критику “Евгения Онегина”, Пушкин так вспомнил о своём карантине в Гумрах:

*Куда же ты? — В Москву, чтоб графских именин
Мне здесь не прогулять.
— Постой, а карантин!
Ведь в нашей стороне индийская зараза.
Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа
Бывало сиживал покорный твой слуга:
Что, брат? Уж не трунишь, тоска берёт — ага!*

Арзрумский, “немного бесшабашный” опыт повлиял на поведение Пушкина во время эпидемии холеры, которой он поначалу не очень-то и боялся. Ещё не отправившись в Болдино, поэт, живший в Москве у своего друга П. А. Вяземского, узнал от него, что холера уже подступила к Нижегородчине, куда направлялся Пушкин, но это ничуть не остановило его именно из-за “равнодушия”, полученного во время пребывания в Азии. Сам поэт так вспоминал об этом повороте в своей судьбе: “Спустя пять лет я был в Москве, и домашние обстоятельства требовали непременно моего присутствия в нижегородской деревне. Перед моим отъездом Вяземский показал мне письмо, только что им полученное: ему писали о холере, уже перелетевшей из Астраханской губернии в Саратовскую. По всему видно было, что она не минует и Нижегородской (о Москве мы ещё не беспокоились). **Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами. Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности**, а в моём воображении холера относилась к чуме, как элегия к дифирамбу.

Приятели (у коих дела были в порядке или в привычном беспорядке, что совершенно одно) упрекали меня за то и важно говорили, что **легкомысленное бесчувствие не есть ещё истинное мужество**”.

Очень интересные воспоминания оставил писатель М. Н. Макаров (1789–1847), который донёс до нас его прелюбопытный разговор с Пушкиным, состоявшийся ещё 20 августа 1830 года: “В последний раз я встретил Александра Сергеевича на похоронах доброго Василия Львовича. С приметною грустью молодой Пушкин шёл за гробом своего дяди; он скорбел о нём как

о родственнике и как о поэте. И. И. Дмитриев, подозревая причину кончины Василия Львовича холеру, не входил в ту комнату, где отпевали покойника. Александр Сергеевич уверял, что холера не имеет прилипчивости, и, отнесясь ко мне, спросил: **“Да не боитесь ли и вы холеры?” Я отвечал, что боялся бы, но этой болезни ещё не понимаю. “Не мудрено, вы служите подле медиков. Знаете ли, что даже и медики не скоро поймут холеру. Тут всё лекарство один courage, courage, и больше ничего”**. Я указал ему на словесное мнение Ф. А. Гильтебранта, который почти то же говорил. “О да! Гильтебрантов немного”, – заметил Пушкин. Именно так было, когда я служил по делам о холере. Пушкинское магическое слово courage (храбрость, бесстрашие. – фр.) спасло многих от холеры”.

Последние исследования медиков и психологов доказывают, что психическое состояние человека, его готовность к противодействию опасности, оптимистический настрой серьёзно влияют на иммунитет человека, на его восприимчивость к инфекциям и болезням. Получается, что Пушкин ещё 190 лет назад подсознательно понимал важность “куража и бесстрашия” в борьбе с холерой, которые, конечно, не должны были противоречить элементарным правилам гигиены и правильного поведения в повседневной жизни. (Думаю, что и сегодня “лекарство куража” действует в условиях коронавируса, и это особенно касается стов медиков, ежедневно сталкивающихся с больными!).

Уже на пути в Болдино Пушкин увидел приметы надвигающейся холеры: “На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши! Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случилось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой.

Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляют деревни, учреждаются карантинны. **Народ ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению.** Мятажи вспыхивают то здесь, то там”.

Вот так Пушкин очутился в плену, который обернулся самым фантастическим взлётом в его творчестве. А что же заставило поэта отправиться за 540 верст от Москвы? Дела житейские... Дело в том, что весной 1830 года поэт получил, наконец, согласие на его свадьбу с Натальей Гончаровой и должен был подготовиться к этому знаменательному событию. Отец выделил ему деревню Кистенёво с двумястами душами крестьян, и Пушкину следовало вступить в её владение. Он планировал после этого заложить её в Опекунском совете, а вырученные деньги использовать на приданое, которое он обещал дать в долг матери невесты, на организацию свадьбы и своего дальнейшего быта. К этому обстоятельству добавилась смерть в Москве 20 августа 1830 года дяди поэта Василия Львовича Пушкина. Поэту пришлось взять на себя все хлопоты и затраты по похоронам родственника, и, конечно, свадьбу пришлось в связи с этим отложить. А накануне отъезда поэт опять поссорился с матерью невесты и стал считать свадьбу почти расстроенной. 31 августа в письме к другу П. А. Плетнёву Пушкин так выразил своё тяжёлое настроение: “...У меня на душе: грустно, тоска, тоска... Осень подходит. Это любимое моё время – ...пора моих литературных трудов настанёт, – а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда... Еду в деревню, Бог весть буду ли там иметь время... и душевное спокойствие, без которого ничего не произведёшь, кроме эпиграмм на Каченовского”.

Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди! И времени для творчества выпадет вскоре Пушкину более чем достаточно, и душевное равновесие у него всё-таки появится, несмотря на все страсти, кипевшие вокруг. Поэт выехал из Москвы 1 сентября 1830 года и впервые въехал в нижегородскую вотчину Пушкиных 4 сентября. И он не мог знать, что уже через несколько дней, 9 сентября, в стране будет образована Центральная комиссия для пресечения холеры. В крупных городах начали разворачивать временные холерные больницы, а возглавить борьбу с холерой Николай I поручил министру внутренних дел А. А. Закревскому, который, в первую очередь, как писали современники, “принял очень энергичные, но совершенно нелепые меры, всю Россию изгородил карантинами, – они совершенно парализовали хозяйственную жизнь страны, а эпидемии не остановили”. Тысячи людей с лошадьми, товарами задерживались у многочисленных застав и должны были высиживать карантинны.

В тех, кто пытался без спроса пробираться через оцепления, приказано было стрелять. Всё это вызывало недовольство населения, перераставшее в некоторых местах в холерные бунты, как это произошло в 1830 году в Тамбове и Севастополе, где восставшие даже на несколько дней захватили власть в городе.

Напомним, что первые чумные карантинные возникли в Венеции в 1348 году: всех, прибывших тогда из мест, где свирепствовала чума, помещали в специально выстроенные дома на 40 дней. Итальянское слово *quarantena* означает именно 40 дней (*quaranta giorni*). Потом практика введения карантинных, в том числе в России, привела к устоявшемуся для них опытному путём сроку в 14 дней, причём этот срок следовало соблюдать на каждом карантинном, встречавшемся на пути. Чиновникам, заведовавшим карантинными заставами в 1830 году, было “приказано пропускать при 14-дневном карантинном очищении только едущих в каретах и колясках; весь же прочий люд, как пеших, так и едущих в телегах, кибитках и подобных тому повозках и обозах, останавливать и отсылать назад независимо от цели их поездки”. Такова была характерная примета России того времени: богатым были сделаны послабления и поправки!

3. Эпидемия холеры в Москве

В Москве начали заболеть холерой ещё в сентябре 1830 года, к октябрю число жертв составило более ста человек, а в конце этого месяца каждый день заражалось уже по 100 человек в день. Власти принимали все возможные меры для борьбы с эпидемией. В Москве был введён строгий карантин, город был оцеплен войсками, все въезды и выезды были перекрыты. В городе закрылись правительственные учреждения, фабрики, учебные заведения и театры. Улицы города опустели. Москвичи жгли листву и всё то, что давало много дыма, считая, что это спасает от распространения инфекции. Дома обрабатывали хлорной известью. По городу разъезжали кареты с больными в сопровождении полиции и страшные чёрные фуры с телами погибших.

В городе сложилась гнетущая атмосфера, все разговоры были только о холере и о том, кто заболел и кто умер. Горожане стали бояться ходить в храмы. 17 сентября 1830 года митрополит Московский Филарет писал в одном из писем: “Напрасно более бояться молитвы, нежели болезни. Неужели молитва вреднее болезни? Пережив три холеры прежде нынешней, я видел довольно опытов, что, где усиливалась молитва, там болезнь ослабевала и прекращалась”. Филарет, призывавший горожан к покаянию, 25 сентября отслужил молебен об избавлении от болезни в Успенском соборе, затем совершил крестный ход вокруг Кремля. Крестные ходы продолжались и в отдельных приходах города. Митрополит учредил Московский архиерейский временный комитет помощи нуждающимся, и по его призыву многие состоятельные люди делали значительные пожертвования, в том числе Николай I, дворяне Голицыны, Шереметевы, Самарины, Пашковы, купцы Аксёновы, Лепёшкины, Рыбниковы и многие другие.

По распоряжению властей в городе издавалась газета “Ведомости о состоянии города Москвы”, дававшая информацию о числе заболевших, умерших и выздоровевших. Эти “холерные листы” (106 выпусков), выходившие часто на четвертушках серой бумаги, издавались под редакцией профессора Московского университета М. П. Погодина и распространялись бесплатно. Они действительно успокаивали население, о чём свидетельствует одно из писем А. С. Хомякова: “Даже в 12-м году не с большим нетерпением ожидали газет, чем мы ваших бюллетеней”.

Однако устная молва передавала ещё больше сведений о холере, и, конечно, в самом преувеличенном масштабе. 30 октября это отметил П. А. Вяземский, который пережил дни эпидемии в своём подмосковном имении Остафьево: “Соберите все глупые сплетни, сказки, и не сплетни, и не сказки, которые распускались и распускаются в Москве на улицах и в домах по поводу холеры и нынешних обстоятельств, — выйдет хроника прелюбопытная. В этих сказках и сказках изображается дух народа... Стенографам и должно собирать её. В сплетнях общество не только выражается, но так и выхаркивается”. Жалко, что все эти сплетни и сказки остались не записанными. Вяземский отмечал лишь, что на городских заставах якобы поймали бежавших из Сибири декабристов с подвязанными бородами, а в своей “Старой записной

книжке” он ещё раз писал о том же: “На низших общественных ступенях холера не столько страха внушала, сколько недоверчивости. Простолюдin, верующий в благость Божию, не примиряется с действительностью естественных бедствий: он приписывает их злобе людской или каким-нибудь тайным видам начальства. Думали же в народе, что холера есть докторское или польское напущение”.

Как же конкретно боролись с холерой в Москве? Известно, что людей потчевали “вонючей хлористой извествью”, и такая диета, по словам А. И. Герцена, пережившего эпидемию, “одна без хлору и холеры могла свести человека в постель”. Популярным средством тогда стал так называемый “уксус четырёх разбойников”, в котором смешивали яблочный или винный уксус, измельченные травы вроде полыни, шалфея или мяты, чеснок, и все это настаивали несколько дней и потом употребляли. Немудрено, что чеснок вырос тогда в цене в 40 раз (заметьте: почти так же, как и при коронавирусе!). Среди средств от холеры часто применялось окуривание комнат можжевеловым дымом.

Очевидица событий А. Панаева в своих мемуарах перечисляла самые нелепые средства оздоровления: “Находились такие субъекты, которые намазывали себе всё тело жиром кошки; у всех стояли настойки из красного перца. Пили деготь. Один господин каждый день пил по рюмке бычачьей крови”. В “Московском журнале” среди спасительных средств называлась дегтярная вода, окуривание марганцем, серной кислотой и солью. Москвичам советовали избегать тесных и сырых помещений, одеваться теплее.

Медики, не понимая, как лечить холеру, нередко ставили на себе опыты её “прилипчивости”, доказывая, что от неё можно излечиваться. Так поступил, в частности, доктор В. Пассек, описавший это в очерке “Три дня в Москве во время холеры”. Однако многие медики гибли от заражений, в том числе известные врачи Ф. Депп и М. Мудров. Уже к 13 ноября холерой заразились 4 500 москвичей, из них 2 340 умерли, а 818 уже выздоровели. К концу января 1831 года общее число пострадавших от болезни москвичей составляло 8 576 человек.

Генерал-губернатору Москвы князю Д. В. Голицыну удалось привлечь богатых горожан к опеке заболевших и организации для них около 20 больниц. Они располагались в самых разных зданиях и даже в знаменитом Доме Пашкова. “Купцы давали даром всё, что нужно для больниц: одеяла, бельё и тёплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря en masse привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они оставались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодёжь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями, и всё это без всякого вознаграждения, и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы”, — писал А. И. Герцен, сравнивая эпидемию в Москве с парижской эпидемией 1849 года, когда “бедные люди мёрли как мухи”.

Карантин приходилось переживать многим знаменитым людям, например, В. Белинскому, сидевшему в изоляции со студентами-словесниками Московского университета, или А. Герцену, оставившему зарисовку того, какова была тогда московская жизнь: “Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрёстках и толковали об отравителях. Кареты, возившие больных, двигались шагом, сопровождаемые полицейскими. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Всё это сильно занимало умы. Страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали...”

Холера оставила отпечаток и на творчестве юного М. Лермонтова, сидевшего на Малой Молчановке в доме своей бабушки. 5 октября Михаил написал стихотворение “Смерть бойца”, оставив под ним подпись “Во время холеры morbus”:

*Хотя певец земли родной
Не раз уж пел об нём,
Но песнь — всё песнь; а жизнь — всё жизнь!
Он спит последним сном*

Ещё через несколько дней – вновь стихотворение, и опять с названием “Смерть” и описанием героя, стремящегося “только дальше, дальше от людей”.

Заметную и драматическую роль в событиях московской эпидемии сыграл император Николай I, который, узнав о её начале в Петербурге 24 сентября, в тот же день написал Д. В. Голицыну: “Уведомляйте меня эстафетами о ходе болезни... Я приеду делить с вами опасности и труды”. Напомним, что бабушка императора Екатерина II во время эпидемии чумы 1771 года так и не посетила Москву, а её внук пошёл на беспрецедентный риск, стремясь успокоить граждан первопрестольной. Именно он своим указом ввёл карантин в Москве: “Государь... к скорейшему прекращению заразной болезни холеры в Москве соизволил признать нужным, чтоб сия столица с 1-го октября на некоторое время была оцеплена и никто из оной выпускаем, а равно и впускаем в оную не был, кроме следующих с жизненными и другими припасами”. Прибыв в Москву 29 сентября, государь оставался там до 7 октября, чем предотвратил распространение в городе паники и хаоса.

В эти дни император лично проверял соблюдение противохолерных мер и организацию лечения заболевших. “Государь сам наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города, отдавал повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежных вспомоществованиях неимущим, об учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей, беспрестанно показывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях”, – вспоминал позднее А. Х. Бенкендорф. Император даже обходил торговые ряды, убеждая купцов не торговать фруктами и плодами, которые могли быть заражены.

Мужественное поведение императора вызвало горячее одобрение подданных, в том числе поэтов. Так, старый и уже слепой, хотя и не очень известный поэт Н. М. Шатров оставил такие восторженные строки:

*Царь-Отец Сам приезжает
С нами страх и труд делить,
Сам везде распоряжает
И готов на всех пролить
Милостей возможных море,
Чтоб утешить в общем горе
Страждущих детей Своих,
Положить скорбям пределы,
Притупить заразы стрелы
И спасти Москву от них*

Митрополит Филарет встретил императора в Москве следующими словами: “Ты являешься среди нас как царь подвигов, чтобы опасности с народом твоим разделять”, – а П. А. Вяземский в эти же дни так оценил поступок государя: “Приезд государя в Москву есть точно прекраснейшая черта. Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу владыке”. Не обошёл стороной эту тему и Пушкин, написавший в Болдино стихотворение “Герой”, которое автор специально подписал: “29 сентября 1830 года. Москва”, хотя написал он его месяцем позже. Поэт сравнивал, по сути, легендарное посещение Наполеоном чумного госпиталя в Яффе с приездом в Москву Николая I, утверждая позднее, что “великодушное посещение государя воодушевило Москву, но он не мог быть одновременно во всех 16-ти заражённых губерниях”.

Поэт в стихотворении “Герой” говорит в диалоге с другом:

*Не та картина предо мною!
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клеймённый мощною чумою,
Царицею болезней... он,
Не бранной смертью окружён,*

*Нахмурясь ходит меж одрами
И хладно руку жмёт чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость... Небесами
Клянусь: кто жизнью своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой...*

И завершил Пушкин свой стих, по сути, провозгласивший императора Николая I “другом неба” и героем, известной сентенцией о природе власти:

*Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...*

Вот тебе и Николай Палкин! Мы видим здесь, правда и в косвенном виде, совсем иной портрет во многом оболганного в нашей истории императора, к которому Пушкин относился и с уважением, и с добрыми чувствами за его дела на благо страны, многих людей и за помощь самому поэту. В начале ноября 1830 года Пушкин в письме к П. А. Вяземскому ещё раз скажет о подвиге Николая I: “Каков государь? Молодец! Того и гляди, что наших каторжников простит...” А 24 февраля 1831 года в письме к Плетнёву, похвалив государя за благодеяние по отношению к Н. И. Гнедичу, автору перевода гомеровской “Илиады”, Пушкин напишет: “Оно делает честь Государю, которого искренне люблю и за которого всегда радуюсь, когда поступает он “умно и по-царски”.

А теперь обратимся к тому, что же происходило осенью 1830 года в самом Болдино и что советует нам сегодня из далёкого далёка, из карантинной самоизоляции великий Пушкин.

4. Болдинские испытания Пушкина

В мировой истории есть примеры того, как знаменитые люди во время различных карантинных, в том числе чумных и холерных, умудрялись творить и дарить человечеству великие творения. Вспомним хотя бы Лукиана, написавшего в 165 году во время чумной эпидемии своего “Александра, или Лже-пророка”, Джованни Бокаччо с его великим “Декамероном”, написанным примерно в 1352–1354 годах во Флоренции, Уильяма Шекспира, создавшего в 1605–1606 годах свои бессмертные трагедии “Король Лир”, “Макбет”, “Антоний и Клеопатра”, Джона Милтона, закончившего во время такой же эпидемии 1665–1666 годов свой знаменитый “Потерянный рай”, и Антона Чехова, трудившегося в качестве врача во время эпидемии холеры и написавшего в те суровые дни немало рассказов. Однако никто из перечисленных писателей не сможет соревноваться по объёму и разнообразию написанного Пушкиным в дни его Болдинской осени, длившейся не так уж и много – всего около 80 дней, не считая времени, потерянного на дорогу туда и обратно и на выезды из имения, которые заняли не менее 5–6 дней.

“Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал, – так сам Пушкин рассказывал о своём творческом порыве в переписке со своим другом Плетнёвым. – Вот что я привёз сюда: 2 последние главы Онегина, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Анопуге. (Имеется в виду “Домик в Коломне”. – С. Д.) Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий. Именно: “Скупой Рыцарь”, “Моцарт и Сальери”, “Пир во время чумы” и “Д. Жуан”. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Ещё не всё: написал я прозой 5 повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся...”

Пушкин имел здесь в виду свои знаменитые “Повести Белкина”. И к этому списку творений следует добавить 10-ю, уничтоженную, но одновременно

и зашифрованную Пушкиным главу “Евгения Онегина”, “Сказку о попе и о работнике его Балде”, “Сказку о медведихе”, целый ряд литературно-критических заметок и много писем. Получается, что, не случись тогда вспышки холеры, наследие Пушкина было бы менее впечатляющим! **Отсюда следует первый совет, который передал нам сквозь время Пушкин: несмотря ни на какие эпидемии, сложности и испытания, надо трудиться и творить!**

Конечно, карантин поэта в Болдино не очень-то напоминает то, что испытывают сегодня в городах спасающиеся от коронавируса люди. У Пушкина была свобода действий в рамках имения и природных окрестностей, и он не зря оставил о своём заточении такие бодрые слова: “Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; ездди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает”. Как тут поэту было не “наготовить всякой всячины, прозы и стихов”, как он сам выражался!

Справедливости ради следует уточнить, что почти весь сентябрь, — а это более 25 дней, почти треть всей Болдинской осени, — поэт в Болдино держала не холера, а самые прозаические дела. Приехав туда, он сразу подал прошение о вступлении во владение сельцом Кистенёво, но выяснилось, что поэт мог претендовать только на часть имения — 200 из 500 душ, и требовалось оформить их в индивидуальную собственность. И вот 16 сентября кистенёвские крестьяне присягнули своему новому владельцу, а ещё через две недели было готово свидетельство о правах собственности, что позволило поэту позднее заложить имение в Опекунском совете за 40 000 рублей и тем самым решить, хоть и на краткое время, свои денежные проблемы накануне свадьбы, пустив часть этих денег на приданое (11 000 руб.). К началу октября поэту можно было бы уезжать из Болдино, но “неведомый ранее зверь” уже вступил в свои права. Ещё 9 сентября Пушкин написал о нём Плетнёву, вспомнив при этом о своём недавно умершем дяде и намекнув на “пахнущее на него” дыхание смерти: “. . . Приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня **колера морбус**. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдино да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию”.

Как видим, чувство юмора и иронию поэт совсем не терял в те тревожные дни, оставив нам **свой второй завет — использовать чувство юмора для укрепления духа!** В письме к своей невесте Пушкин даже назвал как-то холеру “миленькой особой”: “Ещё более опасаясь я карантинных, которые начинают здесь устанавливаться. **У нас в окрестностях — Cholera morbus (очень миленькая особа)**. И она может задержать меня ещё дней на двадцать!” А вот образец самоиронии поэта над своими свадебными тревогами в письме к Плетнёву от 9 сентября: “Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает. . .”

Даже с самой невестой поэт позволял себе тогда шутить, смешивая любовные чувства и выдумки о том, что его дед якобы повесил в Болдино француза-учителя: “Наша свадьба точно бежит от меня; и эта чума с её карантинными — не отвратительнейшая ли это насмешка, какую только могла придумать судьба? Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка (где, замечу в скобках, мой дед повесил француза-учителя, аббата Николая, которым был недоволен). Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней всё моё счастье.

Позволяете ли вы обнять вас? Это не имеет никакого значения на расстоянии 500 верст и сквозь 5 карантинных. Карантины эти не выходят у меня из головы”.

В письме к Плетнёву от 29 сентября Пушкин упомянул в качестве смешного случая и свое выступление перед крестьянами: “. . . Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху умер, да не стоишь ты этого подарка”. Дело в том, что Пушкина, как и многих других дворян, обязали проводить среди местных жителей разъяснительную работу о том, что такое холера и как от неё уберечься. И он, как вспоминала жена нижегородского губернатора А. П. Бутурлина, на вопрос, что же он делал

в Болдино, отвечал, что “говорил проповеди... Да, в церкви, с амвона, по случаю холеры. Увещевал их. “И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете, а если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь”.

Смех смехом, но Пушкину было предложено Лукояновским уездным предводителем дворянства принять должность по надзору за холерными карантинами. Поэт, сославшись на то, что он не помещик здешней губернии, отказался и в ответ не получил от начальства в начале октября разрешение на проезд до Москвы. Позже, находясь в Лукоянове, то же самое требование Пушкин выслушал не от кого-нибудь, а от самого министра внутренних дел А. А. Закревского, отвечавшего за борьбу с холерой во всей России. И всё равно поэт смог увильнуть тогда в итоге от исполнения такого сложного и рискованного поручения...

Готовясь отправиться в Москву в конце сентября, Пушкин сначала узнал от соседки по имению княгини А. С. Голицыной, что до Москвы его ждут 5 карантин, в каждом из которых придётся провести по 14 дней, он написал об этом невесте, а потом предпринял первую попытку прорваться в столицу. Как Пушкин сам сообщал в своей записке “О холере”, “вдруг 2 октября получаю известие, что холера в Москве. Страх меня пронял – в Москве... но об этом когда-нибудь после. Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава!

Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку. Я стал расспрашивать их. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать. Я доказывал им, что, вероятно, где-нибудь да учреждён карантин, что я не сегодня, так завтра на него наеду, и в доказательство предложил им серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многие лета”.

Однако Пушкину всё равно пришлось вернуться назад. И после этого у него не могло не испортиться настроение в создавшейся критической ситуации: “Что до нас, то мы оцеплены карантинами, но зараза к нам ещё не проникла. Болдино имеет вид острова, окружённого скалами”. Вот выдержки из его писем того времени: “я совершенно пал духом”, “в каком я должен быть сквернейшем настроении”, “собачьем настроении”, “я бешусь”, “будь проклят тот час, когда я решился... пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров”, “и эта чума, с её карантинами, – разве это не самая дрянная шутка, какую судьба могла придумать?”, “проклятая холера! Ну, как не сказать, что это злая шутка судьбы?”

Всё происходившее поэт возвёл в разряд судьбоносных событий. Вот как он писал о холерных опасностях в своих гениальных “Дорожных жалобах”, рождённых в Болдино и вобравших в себя все злоключения поэта на жизненных дорогах:

*Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непворонный инвалид.*

*Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.*

Но поэт всё-таки нашёл в себе силы “не зачахнуть” и “не околеть со скуки” в вынужденном карантине. Он в итоге признал для себя неизбежность, как бы мы себе сейчас сказали, **самоизоляции**, и это позволило ему сформулировать для нас ещё один **важный – третий по счёту – совет выживаемости в экстремальных условиях эпидемий**. Послушаем, как он изложил его в письме к невесте 11 октября: “**Добровольно подвергать себя опасности заразы было непростительно**. Я знаю, что всегда преувеличивают картину опустошений и число жертв; одна молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то, что от чумы умирает только простонародье, – всё это прекрасно, но **всё же порядочные люди тоже должны принимать меры предосторожности, так как именно это спасает их, а не их изящество и хороший тон**”.

Пушкин ещё не раз говорил о необходимости соблюдать строгие меры, осуждая тех, кто **“ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению”**, и отвергая миф о холере, что **“порядочные люди никогда от неё не умирают, как говорила маленькая гречанка”**.

Важно, что к таким выводам Пушкин пришёл, несмотря на свой опыт “легкомысленного отношения к опасностям”, приобретённый им во время путешествия в Арзрум. В письме к Плетнёву около 29 октября он ещё раз вспомнил об этом опыте: “Знаю, что не так страшен чёрт, як его малюют; знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки, да отдалённость да неизвестность — вот что мучительно”.

О том, как осторожен был Пушкин, свидетельствует и его письмо к невесте в начале ноября с осуждением поведения дворян, прятавшихся от эпидемии именно в зачумлённой Москве, хотя они имели возможность покинуть столицу: “Как вам не стыдно было оставаться на Никитской во время эпидемии? Так мог поступать ваш сосед Адриян, который обделывает выгодные дела. Но Наталья Ивановна, но вы! — право, я вас не понимаю”. А в письме к композитору А. Н. Верстовскому поэт давал вот такие советы против холеры своему другу Нащокину: “Итак, пускай он купается в хлоровой воде, пьёт мяту — и, по приказанию графа Закревского, **не предаётся унынию**”.

5. “Пир во время чумы”, или Приметы пушкинской мудрости

Болдинская осень подарила нам расцвет драматургического таланта Пушкина, проявившегося ранее в “Борисе Годунове”. И создавая свои “Маленькие трагедии”, поэт не мог обойти темы эпидемий, обратившись почти единственный раз в своей жизни к переводческому ремеслу: попытке перевода, скорее, впрочем, переложения с отсечением лишнего и усилением важного, трагедии не очень известного в то время шотландского поэта Джона Вильсона (1785–1854) “Чумной город”, посвящённой событиям “великой чумы” 1665 года, унесшей в могилу 68 тысяч человек. Пушкин написал лишь одну неполную сцену трагедии (в оригинале было три акта в тринадцати сценах), и поэтоу обозначил в подзаголовке: “Из вильсановой трагедии: The city of plague”.

В этой краткой сцене поэт уместил и картины чумного ужаса, когда кругом правит “зараза, гостя наша”, и преступную беспечность пирующих во время чумы: “Но много нас ещё живых, и нам // Причины нет печалиться”, — и воспоминания о былой благодатной жизни, которые живописует поющая Мери:

*Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресенье бывала
Церковь Божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.
Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща тёмная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит, —
Тихо всё. Одно кладбище
Не пустеет, не молчит.*

Председатель Вальсингам, самая трагическая фигура действия, потерявший во время чумы и жену, и мать, поёт “Гимн в честь чумы”, в котором безрассудство пиршества пытается оправдать ставшими хрестоматийными словами об “упоении в бою”:

*Как от проказницы Зимы,
Запрёмся так же от Чумы!*

*Зажжём огни, нальём бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.*

*Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъярённом океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.*

*Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обрести и ведать мог.*

Вроде бы это гимн смелости, бесстрашию и героизму, гимн людям, идущим напролом, опасностям навстречу, но не на фоне же чумы такой героизм следует проявлять! И, конечно, весь этот пафос осуждается самим автором, который вводит в действие Священника, призывающего прекратить постыдный пир и обратиться к молениям:

*Я заклинаю вас святою кровью
Спасителя, распятого за нас:
Прервите пир чудовищный, когда
Желаете вы встретить в небесах
Утраченных возлюбленные души.
Ступайте по своим домам!*

Но Председатель, не желающий подчиняться, отвечает: “Домá у нас печальны — юность любит радость”. Анна Ахматова говорила, что ни в одном из творений мировой поэзии не звучат так резко вопросы морали, как в “Пире во время чумы”. И, конечно, Пушкин вложил в эту трагедию свои размышления о том, как надо вести себя в условиях будоражающей сердце опасности, отсюда его знаменитое: “Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю...”.

Болдинская осень вообще оказалась переломным моментом в судьбе Пушкина, в эти три месяца поэт фактически закончил своё главное творение — “Евгения Онегина”, укрепил себя в роли драматурга со своими гениальными “Маленькими трагедиями”, сказочника, укреплявшего традиции русской национальной сказки, и литературного критика, живо откликающегося на новинки литературы, а главное — он всё больше и больше склонялся к прозе, сделал заявку на это своими неожиданными “Повестями Белкина”. В последующие годы Пушкин всё более явно становился прозаиком (вспомним: “Лета к суровой прозе клонят...”) и историком, причём профессиональным, с постоянной работой в архивах и изучением первоисточников. А чисто поэтические занятия постепенно уходили у него на второй план.

По сути, именно в Болдино Пушкин пережил высший расцвет своего поэтического творчества. Об этом могут свидетельствовать хотя бы такие примерные цифры: если в 1828–1830 годах Пушкин, не считая поэм, сказок и драм, ежегодно сочинял около 50 лирических стихотворений, то в 1831–1832 годах таких стихотворений появлялось уже не более 10 в год, в 1833–1834 годах — не более 20, в 1835 году — около 25, а в 1836-м — всего лишь около 15. А ведь только в Болдино за 80 дней родилось более 30 стихотворений, да ещё каких!

А что касается личной жизни поэта, то сразу после Болдина его ждала свадьба, появление потомства и совсем иная шестилетняя семейная жизнь, во многом поменявшая образ его существования. Пушкин как будто бы чувствовал в болдинские дни, что он оказался на переломе своей судьбы, и потому посчитал необходимым, что называется, высказаться по полной. Холера,

смерть дяди, хлопоты о деньгах и ещё не устроенной свадьбе, раздумья о счастье, любви и смерти – всё это соединилось тогда странным образом. Всплеск творчества и жизненных коллизий поэта осенью 1830 года не мог не вылиться в потрясающие духовные, философские и эмоциональные открытия, наполнившие его строки биением чувств. Не углубляясь в литературоведческий анализ рождённых в Болдино произведений, приведём лишь самые яркие жемчужины пушкинского гения того периода, связанные с темой настоящей статьи.

Поразительно, но во многих болдинских творениях, причём не только первого периода заточения, сквозит мрачное настроение поэта, да ещё и овеянное постоянным дыханием смерти и даже бесовщины. Взять хотя бы первое стихотворение, рождённое в Болдино – “Бесы”, в котором “бесы разны” просто роятся вокруг, сбивая поэта с пути. Причём в те погожие осенние дни поэт писал почему-то именно о “мутной вьюге” и снеге, ему было “поневоле страшно”, а сердце его “надрывалось”:

*Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!..*

*Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?..*

*Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...*

Старый Бес и бесёнок появляются также в “Сказке о попе и о работнике его Балде”, которую, кстати, Пушкин так и не закончил, наметив план того, как Балда попадает к царю и спасает его дочь, одержимую бесом. В “Сказке о медведихе” мужик рогатиной вспорол брюхо медведихи, забрал домой трёх медвежат, заставив горевать “вдовца горемычного” медведя. Тема смерти явно звучит и в “Гробовщике”, где герой повести Адриан Прохоров зовёт на своё новоселье “мертвецов православных”, а те приходят к нему в гости, но только во сне. В “Станционном смотрителе” главный герой повести умирает после того, как его дочь сбежала с гусаром, а он спивается в отчаянии от этого. В повести “Выстрел”, в основе которой лежит дуэльная история, её герой Сильвио погибает в конце повествования во время греческого восстания. “Скупой рыцарь” завершает сцена смерти Барона, вызывающая заключительные слова Герцога: “Он умер. Боже! // Ужасный век, ужасные сердца!” (Как будто поэт говорит о нашем, XXI веке!!!). И прекрасно известно, что коварное отравление Моцарта ядом, брошенным в его стакан Сальери, составляет главный стержень известной трагедии Пушкина (“Гений и злодейство – // Две вещи несовместные”). А статуя Командора является в “Каменном госте” перед Доном Гуаном, и “пожатые каменной десницы” становится мстостью за грехи последнего: “Я гибну – кончено – о, Дона Анна!”

В уже цитированных “Дорожных жалобах” поэт вообще много раз предполагает, как ему суждено будет погибнуть: “На большой мне, знать, дороге // Умереть господь судил. . .” И не мудрено, что он мечтает оказаться в Москве, как бы призывая нас сегодняшних “сидеть дома”, или, другими словами, **самоизолироваться**:

*То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошёл же, погоняй!..*

Даже в любовной лирике болдинской осени, наполненной печальными мотивами, то и дело сквозит тема смерти. Так, в “Прощании” поэт “в последний раз” прощаясь, вероятнее всего, с “милым образом” Елизаветы Воронцовой, выражает свою горечь, вспомнив о своём заточении:

*Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя всё, меняя нас.
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.*

*Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.*

А в пушкинском стихотворении “Заклинание”, которое является откликом на мистическое стихотворение Барри Корнуолла, обращённое к умершей возлюбленной, вообще присутствуют загробные картины. Автор ночью, когда “пустеют тихие могилы” зовёт к себе тень мёртвой Леилы, хотя и уточняет, что делает это не для того, “чтоб изведать тайны гроба”:

*Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, холодна, как зимний день,
Искажена последней мукой.*

*Приди, как дальняя звезда,
Как лёгкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне всё равно: сюда, сюда!..*

В образе Леилы Пушкин мог зашифровать, по мнению пушкинистов, ещё одну свою давнюю любовь к Амалии Ризнич, которая умерла от чахотки в Италии. А за несколько дней до отъезда Пушкина из Болдино он написал ещё одно стихотворение–прощание с прошлой любовью, в котором из “края мрачного изгнания” возлюбленная (не Амалия ли Ризнич снова?) звала поэта в “край иной”:

*Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.*

*Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...*

Как видим, мрачные настроения, да ещё с налётом смертельного ореола, то и дело проявлялись у поэта в болдинские дни, но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не находил и в тех гнетущих обстоятельствах лучи света и надежды, а также поводы для стойкости, весёлости и даже озорства, как он это

сделал в поэме “Домик в Коломне”, в своих сказках и в письмах к друзьям. Знаковым здесь можно считать гениальное стихотворение “Элегия”, в котором поэт, несмотря на “угасшее веселье”, печаль, “унылый путь” и горе, верит в будущее:

*Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнующее море.*

*Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.*

Пушкин в этом стихотворении провидчески увидел свой дальнейший жизненный путь, в котором труд, горести, заботы и треволненья будут соседствовать и с наслажденьями, и с творческой гармонией, и главное — с любовью! Поэту ещё рано было умирать, не сделав того, что предназначено судьбой, и он откровенно говорит о своём желании жить и о смысле человеческого бытия: “мыслить и страдать”. В черновиках было: “и мечтать...” Но поэт сделал важную замену, понимая, что в страданиях скрыта тайна жизни.

Поэт не верил в счастье (“На свете счастья нет...”) и в письме к П. А. Осиповой из Болдино прямо признавался: “В вопросе счастья я атеист; я не верю в него”. Но он всё равно в глубине души ждал этого счастья и надеялся, что его улыбка всё-таки блеснёт ему на склоне лет, потому-то он и добивался так яростно своей свадьбы. И искомое счастье в оставшиеся годы, без сомнения, ему улыбнулось, хотя, может быть, и не в такой степени, как этого хотелось, и не в том обличии, как это рисовалось ранее. Не случайно же тотчас после свадьбы у Пушкина вырвалось: “Одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось...”

А пока в Болдино поэт искал для себя опору не только в творчестве и надежде на улыбку судьбы, но и в обращении к истории своего Отечества, что явно проявилось и в последних главах “Евгения Онегина”, в том числе в десятой, и в обращении поэта к его родословной, и в выведенной поэтом формуле патриотизма:

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.*

Любопытно, что в черновиках этого стихотворения Пушкиным были зачёркнуты такие слова и строки: “Они священны человеку... И ты к отечеству любовь... Святыня... Семья...” В рукописи осталось и зачёркнутое автором четверостишие, продолжавшее размышление о “двух чувствах”:

*На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.*

“Самостоянье человека”, его свобода, достоинство и независимость всегда были жизненным идеалом поэта, и он не мог не выразить ещё раз свои пристрастия на болдинском переломе судьбы.

Завершив в Болдино “Путешествие Онегина”, в котором его герой странствует именно по родным просторам, а не по границам, Пушкин, потерявший уже надежду на свои собственные путешествия в дальние страны, делает знаменательный поворот в своём давнем стремлении к побегу: теперь уже не за океаны и моря, а в северные русские дали, что впоследствии отразится на многих его произведениях. А в болдинском заточении поэт в стихотворении “Когда порой воспоминанье...” откровенно признаётся, что, когда “в пустыню скрыться я хочу”,

*Тогда, забывшись, я лечу
Не в светлый край, где небо блещет
Неизъяснимой синевою,
Где море тёплой волной
На пожелтый мрамор плещет,
И лавр и темный кипарис
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Далече звонкою скалой
Повторены пловца октавы...*

*Стремлюсь привычною мечтою
К студёным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикий
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И холодной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок...*

Заметим: поэт хочет бежать не в тёплую Италию с мрамором, кипарисами и скалами (как странно, что именно там сейчас свирепствует эпидемия коронавируса!), а в дикие зимние края, под которыми, по мнению пушкинистов, поэт скрывал или Соловецкие острова, или остров Голодай на окраине Петербурга, где были захоронены тела декабристов. В любом случае, тяга к родной земле возрастала у Пушкина в последние годы его жизни, но это тема уже другого исследования.

6. Как не зачахнуть в карантине, или Главный завет Пушкина

Пушкину в Болдино в октябре 1830 года приходилось не раз опровергать в своей переписке слух, что он “холерой схвачен или зачах в карантине”. Его больше всего тревожила неизвестность: где же его невеста? Успела ли она с семьёй покинуть Москву? А писем от неё всё не было и не было. Пушкин готовился даже получать уже знакомые ему по чумному карантину в Гумрах проколотые для окуливания хлором или известью письма: “В чумное время дело другое; рад письму проколотому; знаешь, что по крайней мере жив, и то хорошо”.

Только 26–27 октября из пришедшего от Натальи Николаевны письма он узнал, что Гончаровым пришлось пережить эпидемию в самой Москве. И вскоре, 9 ноября, Пушкин решается на новый побег из карантина, он пересекает всю Нижегородскую губернию и около Муромы въезжает во Владимирскую губернию, где его около деревни Севастлейки задерживают в карантине

и отправляют назад. Поэт едет в Лукоянов и требует свидетельства, что он следует не из зачумленного места, и подорожную до Москвы, но получает отказ. Он пишет жалобу губернатору в Нижний Новгород и возвращается в Болдино, проехав почти 420 верст и потеряв несколько дней на это путешествие. И вскоре опять признаёт необходимость **“самоизоляции”**: **“...Я не стану больше торопиться; пусть всё идёт своим чередом, я буду сидеть сложа руки”**.

Наконец, 27 или 28 ноября Пушкин всё-таки получает из Нижнего Новгорода свидетельство на проезд до Москвы, и 29 ноября туда выезжает. Однако 1 декабря в деревне Платав (ныне деревня Платова Орехово-Зуевского района Московской области), в 70 верстах от Москвы, поэт был остановлен. **“Я задержан в карантине в Платаве: меня не пропускают, потому что я еду на перекладной; ибо карета моя сломалась, — писал он невесте. — Умоляю вас сообщить о моём печальном положении князю Дмитрию Голицыну (генерал-губернатору Москвы. — С. Д.) — и просить его употребить всё своё влияние для разрешения мне въезда в Москву... Или же пришлите мне карету или коляску...”** И Пушкину повезло: вместо 14 дней, благодаря чьему-то вмешательству, он пробыл в карантине только 3 дня (так же, как и в Гумрах в 1829 году) и уже 5 декабря добрался до белокаменной. Болдинская осень подошла к концу...

Однако эпидемия холеры в России ещё продолжалась. Затихнув в декабре, весной 1831 года, с наступлением тёплых дней она вновь вернулась в Москву, но в более скромных масштабах. Её распространение перекинулось тогда на запад, в Петербург и Польшу, а оттуда и в Европу. И Пушкин, который, по его собственным словам, после Болдина **“оброс бакенбардами, остригся под гребешок — остепенился, обрюзг, — но это ещё ничего — я сговорён... и женюсь”**, вступал в новую полосу своей судьбы. И поэт передал нам из того времени **ещё один — четвёртый — совет, как выживать во время эпидемий**. Он писал Е. М. Хитрово 9 декабря, сразу после возвращения в столицу: **“Россия нуждается в покое. Я только что проехал по ней... Народ подавлен и раздражён. 1830-й год — печальный год для нас! Будем надеяться — всегда хорошо питать надежду”**.

“Надеяться!” — вот главный завет поэта, переданный им нам через века и годы. И хотя 2020-й, високосный год мы тоже можем назвать **“печальным годом”**, его испытания рано или поздно завершатся, и мы будем потом вспоминать о нём, как о частице прошлого...

Первые признаки холеры появились в Петербурге ещё в апреле 1831 года, вызвав, в отличие от Москвы в предыдущем году, сильную панику. Коварность болезни и её ужасные симптомы породили поверье, что люди заболевают и умирают вследствие отравлений, в которых замешаны доктора и полиция. А в связи с тем, что появление холеры совпало по времени с польским восстанием, многие приписывали отравления проискам поляков, посыпавших якобы ядом посадку овощей и воду. Толпы людей начали бродить по улицам и избивать тех, кто казался им отравителями. Во время вспыхнувшего в июне 1831 года в Петербурге холерного бунта на Сенной площади была разорена расположенная там больница, а несколько медиков и полицейских были убиты. Почти трое суток бунтовавшие делали в городе, что хотели. На Сенную площадь пришлось вывести войска, и вновь народ успокоило лишь появление самого императора Николая I, снова проявившего себя героем.

После ослабления холеры в Петербурге она появилась в Финляндии и дошла в итоге через всю Европу до Лондона. О размахе страшной эпидемии, прокатившейся по России, свидетельствуют громкие имена её жертв даже среди самых высших слоёв общества: несостоявшийся император Константин Павлович, знаменитый аристократ Н. Б. Юсупов, бывший московский генерал-губернатор Ю. В. Долгоруков и бывший министр внутренних дел В. С. Ланской, генерал-фельдмаршал И. И. Дибич, командовавший тогда действующей армией. Кроме того, умерли живописец Александр Иванов, балерина Авдотья Истомина, художник-декоратор Пьетро Гонзаго, архитектор Карл Росси, пианистка Мария Шимановская, славянофил Иван Киреевский, герои Отечественной войны 1812 года Александр Ланжерон и Василий Костенецкий, мореплаватели Василий Головнин и Гаврила Сарычев. По официальным данным министерства внутренних дел, из 466 457 заболевших холерой в целом в России умерло 197 069 человек, а в Москве погибло 4 846 человек, то есть только 2 процента всех умерших.

18 января 1831 года, через полтора месяца после возвращения в Москву, Пушкин, узнав о смерти своего друга А. И. Дельвига, которую он перенёс очень тяжело (“вот первая смерть, мной оплаканная... никто на свете не был мне ближе Дельвига”), констатировал: “Нечего делать! Согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. **Меня не так легко с ног свалить. Будь здоров – и постараемся быть живы**”.

Постараемся быть живы! – вот ещё один – пятый – завет Пушкина. В июле 1831 года, когда холера вновь сильно проявила себя, особенно в Петербурге, Пушкин в письме к другу Плетнёву, утешая того после смерти Дельвига и его близкого приятеля Молчанова, сказал, пожалуй, свои **главные слова** об отношении к напастям эпидемий: **“Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу.** Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрёт и Жуковский, умрём и мы.

Но жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и люблю.

Вздор, душа моя; **не хандри – холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы**”.

Не хандрить! Коронавирус “на днях пройдёт”, будем и “мы живы и веселы”! Эти слова следовало бы адресовать сегодня миллионам россиян. И чем является этот призыв, как не важным лекарством при любых инфекционных напастях?

7. “Лекарство от холеры” и Пушкин

И здесь мы подходим к одной загадке, ещё не до конца расшифрованной филологами: а кто же был автором известного в России и ходившего по рукам стихотворения “Лекарство от холеры”, о котором упоминалось в начале статьи? Как утверждает исследователь-пушкинист А. В. Дубровский, специально занимавшейся этой темой, некий аноним в условиях обострения холеры, охватившей Петербург, специально поставил подпись широко известного “национального” поэта под своим стихотворением, чтобы сделать “этот текст популярным в народе”. И Пушкин в данном случае вовсе не нуждался в защите Гоголя: “Вероятнее всего, поэт попросил Гоголя опровергнуть его авторство в случае с приписываемой ему пресловутой “Первой ночью” – и Гоголь откликнулся на эту просьбу в статье “Несколько слов о Пушкине”. Что же касается “Лекарства от холеры”, о котором поэт никогда не упоминал, то Гоголь (во второй редакции своей комедии) просто пустил читателя по ложному следу...”

В Рукописном отделе Пушкинского Дома хранятся пять списков “Лекарства от холеры” под именем А. Пушкина, отличающиеся друг от друга лишь старинными мерами аптекарских весов (гран, лот, драхма, унция). Вот как выглядит текст одного из вариантов этого стихотворения, которое представляет собой очень интересный исторический источник, и не только потому, что его приписывали Пушкину. В нём мы можем увидеть действительно всеобъемлющий рецепт того, как можно побороть даже страшную болезнь, если соединить в одном эликсире и противопоставить ей рассудок, доброту, веру, терпение, совесть, мудрость и молитву:

Лекарство от холеры

*Возьми разсудка восемь гранов,
Пять лотов сердца доброты,
Шесть драхм сердечных минералов,
И столькок мыслей простоты,
Толки всё это камнем веры,
Прибавь терпения без меры,
Сквозь сито совести просей,
И в чашу мудрости глубоко
Сто унций умственного соку*

*На специи сии налей,
Покрой игрой воображенья,
Молитвой тёплой согрей.
Тогда ты в этом эликсире
Найдёшь всё то, что нужно в мире
С блаженством лестным для людей,
Сядишь пред зеркалом природы,
Сочти лета свои и годы
И понемножку капли пей.*

А. Пушкин

Честно говоря, это стихотворение, напиши его сам Пушкин, ничуть не испортило бы его наследие, а кто в действительности написал эти строки, даст Бог, ещё выяснится в будущем...

В 1831 году Пушкин продолжал внимательно следить за ситуацией с распространением в стране холеры, становясь постепенно знатоком этой темы, в том числе и в экономическом аспекте. Так, он занёс в свою записную книжку: "Покамест полагали, что холера прилипчива, как чума, до тех пор карантинны были зло необходимое. Но коль скоро начали все замечать, что холера находится в воздухе, то карантинны должны были тотчас быть уничтожены... В прошлом году карантинны остановили всю промышленность, заградили путь обозам, привели в нищету подрядчиков и извозчиков, прекратили доходы крестьян и помещиков и чуть не взбунтовали 16 губерний". В другом месте Пушкин писал уже скорее как социолог и историк: "Народ ропщет, не понимая **строгой необходимости карантинны и предпочитая зло неизвестной заразы непривычному своему стеснению быта**".

В 1830-1831 годах Россия пережила страшную эпидемию холеры. Но та ещё не раз собирала в стране и в мире кровавую жатву. И каждый раз казалось, что речь снова идёт о выживании. Почти через 18 лет после Болдинской осени В. А. Жуковский, попавший в Европе в водоворот вновь наступавшей повсюду холеры (вот тебе и спасительная Европа!), только и мечтал оказаться поскорее в России. Он писал П. А. Вяземскому 23 июля 1848 года: "...Я кувыркаюсь в воздухе между ракетами двух холер. И при этом какое разорение для кармана! И при всех этих удовольствиях надо ещё слышать и **слушать вой этого всемирного вихря, составленного из разных бесчисленных криков человеческого безумия, вихря, который грозит поставит всё вверх дном...**"

Вот и 2020 год начался с **воя нового всемирного вихря**, который опять грозит поставит всё вверх дном: **теперь уже вихря коронавируса!** Но Россия переживёт и этот вихрь, как она переживала ещё более страшные испытания. А чтобы всем нам быстрее и легче затушить этот очередной вихрь, следует обращаться к опыту прошлого и к пушкинским заветам, звучащим спасительно и мудро: **коронавирус "на днях пройдёт", будем и "мы живы и веселы"!**

Вёшки, 7-14. 04. 2020

БОРИС КУРКИН

ТЕМА ЧУДА В ТРАГЕДИИ А. С. ПУШКИНА “БОРИС ГОДУНОВ”

Есть в “Борисе Годунове” тема, о которой практически не принято говорить с самого момента его выхода в свет. И это несмотря на то, что у Пушкина она звучит во весь голос. Это тема чуда, точнее, чудес, совершающихся в “пространстве” произведения.

Чудеса, описанные Пушкиным в “Борисе Годунове” (беседа умирающего царя Феодора с “мужем светлым”, нетленные мощи убиенного царевича, прозрение старца по молитве Димитрию) – это прямое указание на сосуществование и проявление взаимодействия двух миров: духовного (“тонкого”) и земного, горнего и дольного. И не только в “пространстве” его трагедии, но и в нашей с вами практической повседневной жизни. Соответственно, история предстаёт в трагедии не только и не столько в виде комбинаций и некой равнодействующей человеческого своеволия в форме столкновения и взаимодействия социально-политических сил (“самости”, на языке православных богословов), а в виде Провидения, то есть осуществления Промысла Божьего.

И нет ничего удивительного в том, что русские дореволюционные и советские авторы сознательно замалчивали тему чуда в “Борисе Годунове”. Но если умалчивание столь важного аспекта трагедии в советские времена можно отнести на счёт государственной политики атеизма, то объяснить игнорирование этой темы подданными православного царя невозможно иначе, как их убеждённою в “несущественности проблемы” и внутренним неприятием всякого рода “поповских сказок”, а также следованием идейной моде дореволюционной поры, господством позитивизма в науке, атеистичного по своей природе.

Таким образом, понимание и трактовка трагедии напрямую зависят от того, как смотреть на всё происходящее в трагедии: в свете Евангелия или через оптику исторического позитивизма, истмата. Религиозное и материалистическое прочтение трагедии дадут два совершенно разных результата, даже если интерпретировать её социально-политические аспекты.

Во втором варианте для исследователя останется закрытым источник всего происходящего и сущего – воля Божия во всей её непостижимости.

Нельзя сказать, чтобы отечественные исследователи вообще замалчивали тему чуда в “Борисе Годунове”, но освещалась она вскользь, почти с усмешкой. Первое, что приходило им на ум, это реализация пушкинского

требования к драматургу “воскресить минувший век во всей его истине”. Именно для этого, отвечал на наш вопрос А. А. Карпов. Развивая свою мысль, он утверждал, что “христианская мифология”, “фольклорные образы и формулы” используются в “Борисе Годунове” с целью раскрытия душевных состояний героев произведения. Тем самым, чудесам отводилась чисто иллюстративная функция, а сами они объявлялись художественным вымыслом.

Между тем, Пушкин настолько точно и верно следовал букве и духу русских источников, что это дало ряду критиков повод упрекать его в “иллюстративности”, а саму трагедию рассматривать как род бытописательства.

Пытались ответить на вопрос о смысле и значении чудес в трагедии американский автор Ф. Раскольников и израильский автор И. Серман. Чудеса для первого – выражение представлений Пушкина о жизни и истории как об иррациональном процессе (вещие сны Бориса и Самозванца, старца в монологе Патриарха, явление “мужа светла” Феодору и его смерть, “трепетанье” мёртвого Димитрия, рассказ Шуйского о нетленном трупе царевича, рассказ Патриарха о чудесном прозрении старца)¹, а для второго – изображение Пушкиным иррациональности сознания русского человека с его вечной надеждой на чудо и отсутствия у него (и по сию пору!) способности трезво смотреть на себя и своё собственное положение².

Тезисы двух авторов не проясняют, но ещё более затемняют суть вопроса и требуют разъяснения понятий “рационального” и “иррационального” в первом случае и комментариев относительно чудес, описанных в трагедии, помимо народной веры в чудесное спасение царевича, – во втором. Серману, кажется, даже не приходило в голову, что вера русского человека в Самозванца как подлинного Димитрия могла быть обусловлена не верой его в чудо воскресения из мёртвых, а вполне земными причинами, например, подменой Царевича. Да так, собственно, русские люди и думали.

В целом вопрос о смысле и значении чудес в трагедии носит основополагающий, мировоззренческий характер. Пушкин, в сущности, не выдумывал чудеса, о которых говорилось в его трагедии: о них повествовали летописи, жития святых и иные источники XVII века, которые поэт изучал самым серьёзным образом.

Уже в самом начале “Бориса Годунова” Пимен наставляет Григория:

*Описывай, не мудрствуя лукаво,
Всё то, чему **свидетель в жизни** будешь:
Войну и мир, управу государей,
**Угодников святые чудеса,
Пророчества и знаменья небесны...***

Тон задан: свидетельства о святых чудесах угодников, пророчествах и небесных знаменьях должны восприниматься читателем, как реалии жизни. Но что означает изображение чуда в “Борисе Годунове”, какой смысл несёт оно?

В связи с этим уместно будет вспомнить, что говорили о чуде православные святые. “Бог идеже хочет, побеждается естества чин: творит бо, елика хочет” (“когда пожелает Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет”, – поётся в Великом каноне прп. Андрея Критского).

“Чудеса суть действие Божие”, – наставляет Иоанн Дамаскин³. По этим определениям необычные дела, совершаемые диаволом или людьми, им обладаемыми, не есть чудеса.

“Что такое чудеса? – поучает свт. Филарет Московский. – Дела, которые не могут быть сделаны ни силою, ни искусством человеческим, но токмо всемогущею силою Божиею. Например, воскресить мёртвого”⁴.

Совершенно очевидно, что в обрисованном Пушкиным мире оно означает присутствие Бога Отца Вседержителя, “Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым”. По справедливому замечанию М. М. Дунаева, это вест “о воле Творца, поскольку совершаемые чудеса ни о чём ином поведать и не могут”⁵.

Едва ли не единственным отечественным автором, затронувшим мистический пласт “Бориса Годунова”, стал барон Е. Ф. Розен. “Высшая сила, –

отмечал он сразу же по выходе в свет трагедии в 1831 году, – решительно вмешивается в людские дела и представляет пример ужасной кары”⁶. Отрепьеву, продолжал барон, “открывается мир сверхъестественный”, и он “избирается во мстители за Димитрия посредством бесовского сновидения. Мы не видим, каким образом ослепляет он народ и приводит в исполнение своё исполинское предприятие!”⁷. К слову сказать, его эссе было опубликовано на немецком языке и до широкой публики не дошло.

Перейдём же теперь к выяснению значения и смыслов каждого из чудес, явленных нам в “Борисе Годунове”. Отметим, что каждое из них несёт свою конкретную смысловую нагрузку.

Первое чудо: преставление блаженного царя Феодора Иоанновича

Великим чудом является переданная словами Пимена беседа умирающего царя с ангелом (“мужем светлым”):

*...Свершилося неслыханное чудо:
К его одру, царю едину зримый,
Явился муж необычайно светел,
И начал с ним беседовать Феодор...*

Этот эпизод русской истории был известен поэту из “Повести о честном житии царя и Великого Князя Феодора Ивановича всея Руссии”, составленного Патриархом Иовом, а также “Летописи о многих мятежах и разорении Московского государства...”, правда, в слегка изменённой версии. Из “Бориса Годунова” же явствует, что в тексте был использован именно первый из указанных источников.

Уместно будет напомнить, что царь Феодор Иоаннович является местночтимым московским святым. В “Книге глаголемой описание о Российских святых...” он поставлен в лике Московских чудотворцев.

Был чудотворцем, от мощей которого происходили исцеления, и прославленный в 1989 году во святых первый Патриарх всея Руси Иов, от мощей которого происходили исцеления и иные чудеса. При отпевании Иова “...и во время, егда служаху божественную литургию, на лице сего святейшаго Иова патриарха бысть аки роса велика, Дионисий (архимандрит. – **Б. К.**) же ту росу отираше, и смочиша два полотенца. По отпетии божественной литургии, егда понесоша к погребению, и тогда лицо его бысть светло, яко живу ему сущу”⁸.

Это также не могло не быть известно Пушкину.
Но вернемся к тексту трагедии:

*И все кругом объаты были страхом,
Уразумев небесное виденье...
<>
Когда же он преставился, палаты
Исполнились святым благоуханьем,
И лик его, как солнце, просиял...*

Какой смысл несёт в себе это изображённое Пушкиным чудо?

*Бог возлюбил смирение царя,
И Русь при нём во славе безмятежной
Утешилась...*

Отечественное литературоведение видит в этих словах в лучшем случае противопоставление царя Феодора – “Ангела-Царя” (как называет его пушкинский Годунов) царю Иоанну, хотя здесь можно было бы сделать важный вывод: благодать царя – залог спокойствия и процветания державы. Но не делается даже этого. Вопрос же о том, какой смысл несёт в себе в художественном произведении явление “мужа светла”, даже не ставится.

Совершенно сознательно обходит его и весьма авторитетный в кругах американских литературоведов автор К. Эмерсон, вскользь замечая, что

подробности сцены беседы умирающего царя с ангелом и “последовавшее за предсмертным видением “святое благоухание” и “осиянный лик” мертвеца” — “стандартные средства описания смерти святых, и Пимен пересказывает их с уверенностью составителя, приукрашивающего биографию монарха-помазанника Божьего”⁹.

Кавычки, расставленные Эмерсон в тексте, свидетельствуют о её глубокой убеждённости в том, что “этого не может быть, потому что не может быть никогда”. И нельзя не поражаться тому, что маститый по американским понятиям литературовед совершенно не различает пространство литературного произведения, в котором, как минимум, допустим художественный вымысел, и пространство десакрализованной повседневности, в которой живёт сам.

В итоге вопрос о смысле сказанного Пушкиным даже не может быть задан. А ведь всё предельно просто: Пушкин изображает мир, в котором присутствует и являет себя человеку Бог.

Второе чудо: трепетание мёртвого тела убиенного царевича Дмитрия

Вторым чудом, о котором упоминается в трагедии, свидетелем которому становится Пимен, является трепетание мёртвого тела царевича:

*...Укрывшихся злодеев захватили
И привели пред тёплый труп младенца,
И чудо — вдруг мертвец затрепетал...*

Это трепетание тела описано в Житии царевича Дмитрия свт. Дм. Ростовского. О том же повествовалось в Латухинской Степенной книге, подаренной купцом Латухиным Н. М. Карамзину, который, как принято считать, и ввёл её в научный оборот: “Тело же святого на мног час трепеташа”.

Наконец, о том же самом говорится и в “Летописи о многих мятежах и разорении Московского государства...” — в книге, которую Пушкин внимательнейшим образом читал в Михайловском: “О чудо предивно и ужасно, како мертвенное тело трепеташеся на великой час, аки голубь!”

Однако нигде из перечисленных источников не говорится о том, что мёртвое тело царевича затрепетало при виде убийц. Так что можно с полным правом говорить, что этот эпизод Пушкиным выдуман. Возникает вопрос: “С какой целью?”

Уже в советские времена Б. Г. Городецкий прокомментировал пушкинское изображение чуда так: “По распространённому среди многих народов поверью, убитый судорожно трепещет при приближении своего убийцы”¹⁰.

По мнению О. Р. Арановской, Пушкин “угадал здесь характерное поведение толпы, направляемой коллективным воображением”¹¹. Автор ссылается при этом на статью “Прикосновение к трупу” из “Энциклопедии колдовства и магии”, в которой описываются аналогичные народные поверья.

Ничего не говорится по существу и в Историко-литературном комментарии к трагедии Л. Лотман. Лишь в более позднем комментарии автора отмечалось, что “слово “затрепетал”, возможно, возникло под впечатлением следующих строк Карамзина: “Девятилетний святой мученик лежал окровавленный в объятиях той, которая воспитала и хотела защитить его своей грудью; он трепетал, как голубь, испуская дух, и скончался, уже не слышав вопля отчаянной матери...”¹².

Весьма забавно звучат в связи с этим слова К. Эмерсон, утверждавшей, что “Угличские события являются предметом слухов, клеветы, бреда; даже рассказы очевидцев, таких как Шуйский и Пимен, являются своекорыстными, полными лицемерия и **поддельных чудес**”.

По Эмерсон, смысл изображаемого Пушкиным чуда следует понимать следующим образом: Пимен, не будучи сам очевидцем убийства царевича, тонко манипулирует Григорием и направляет его на путь самозванчества и свержения царя Бориса, то есть готовит его в качестве орудия возмездия царю, поскольку тот, в отличие от Иоанна Грозного, монахов-де не жалует. Любопытно, что мысль заморской русистки, по её же собственным словам, совпадает с трактовкой образа Пимена В. Мейерхольдом.

Идею, подробенную читателю учёной американкой, подхватывает и развивает её соотечественница М. Гринлиф. С её точки зрения, чудо трепетания мёртвого тела может быть объяснено “известными физиологическими

рефлексами, которые следуют за отсечением головы”¹³. Правда, голову царевичу никто не отсекал ни в реальной истории, ни в пушкинской трагедии, но не это для Гринлиф главное. Суть дела, по её мнению, в том, что сам Пимен не был свидетелем убийства царевича, а посему его “показания” не могут быть приняты всерьёз. “Условности “чудесного” повествования маскируют то обстоятельство, что Пимен ничего, кроме мёртвого тела и беснующейся толпы, мгновенно нашедшей нужных ей козлов отпущения, не *видел* – разве только какие-то мелочи”.

Гринлиф почти дословно повторяет Эмерсон, видя в Пимене провокатора, а в Отрепьеве – орудие свержения Годунова¹⁴. Так трагедию Пушкина превращают в сногшибательный политический детектив, триллер и саспенс.

Достоин сожаления то обстоятельство, что в Приложении к “Независимой газете” “Ex Libris” от 3 марта 2007 года на работу М. Гринлиф была опубликована сугубо положительная рецензия¹⁵.

Смысл же чуда трепетания мёртвого тела – в доказательстве вины Бориса. Некоторые авторы справедливо отмечают, что Пушкин нигде не приводит “прямых доказательств” вины Годунова в убийстве царевича. Но именно это косвенное доказательство и создаёт требуемый художественный эффект: вина Бориса становится для читателя бесспорной.

Третье чудо: исцеление слепого пастуха

Третьим чудом в трагедии Пушкина становится исцеление слепого пастуха после его проникновенной молитвы на могилке царевича Дмитрия – история, поведанная старцем Патриарху.

И в этом случае Пушкин ровным счётом ничего не выдумал: всё было взято им из русских источников XVII века.

Принято считать, что исцеления у гроба Дмитрия начались после прославления царевича и перенесения его святых мощей в Москву. Однако в “Житии царевича Дмитрия Угличского” (“Четьи Минеи” свт. Дмитрия Ростовского), которое также изучал Пушкин, сказано: “Царствующу же Борису Годунову на престоле Московскаго государства, начаша во Углече от гроба святаго новаго мученик Дмитрия царевича бывати чудеса и подаватися болящим исцеления, егоже бо прослави Бог на небеси, причислив к лику святых мучеников, того восхоте прославити и на земли, якоже и преждних страстотерпце российских князей, Романа и Давида, от Святополка пострадавших, прославил”¹⁶. “Даде убо сему новому страстотерпцу Российскому царевичу князю Дмитрию ту благодать дабы от честных мощей его источалися целбы недугом человеческим, сие же в почесть и прославление страдалческакия неповинно излиянныя крове, во обличение же и студ изливашым ю. И приходяще о чудесах святаго новаго мученика Дмитрия слух во уши царю Борису, он же возвещающим то смертными прещениями запрещаше, да не яве творят сего в людех”¹⁷. Иными словами, чудеса, согласно русским источникам, известным Пушкину, начались ещё до причисления царевича к лику святых, что и отразил поэт в своей трагедии.

В житии, составленном Дмитрием Ростовским, перечислены чудеса исцеления слепых у гроба царевича Дмитрия: диакона Григория, девицы Мавры, жены Феодосьи, девицы Анны, расслабленного с детских лет сторожа Вознесенского монастыря Симеона, Стефанова сына. Желая исцелиться, он провёл ночь у гроба царевича, заснул и увидел во сне “пришедша к нему отрока младя в светлей одежде и глаголюща ему с запрещением: “востани, что седиши zde; он же воспрянув от сна, исполнися ужаса и ошуты себе быти здрава”.

Как это походит на историю слепого пастуха (“маститого старца”), о котором Патриарх рассказывает Борису и боярам в Царской думе! На это обратил в своё время внимание В. А. Бочкарёв, справедливо отметивший, что, “создавая “Бориса Годунова”, Пушкин вдохновлялся не только летописями, но и житийной литературой”¹⁸.

Иной точки зрения придерживается В. В. Василик. Основываясь на работе С. Ф. Платонова, писавшего, что “в 1606 году жители Углича не могли указать место погребения царевича духовенству, присланному из Москвы за его телом”¹⁹, В. В. Василик утверждает, что эпизод с прозрением старца Пушкиным выдуман, поскольку чудотворения от мощей царевича начались после обретения его мощей²⁰.

Ещё одна американка, С. Сандлер, пишет по этому поводу, что “Патриарх не говорит о том, что он видел или что записал, он пересказывает историю, услышанную от третьего лица”²¹.

Таким образом, мы опять имеем дело с сомнениями американских авторов относительно правдивости “свидетельских показаний”, правда, теперь уже не Пимена, а Патриарха.

Конечно же, такое смешение “правды жизни” и “правды литературы” выглядит весьма забавно. Остаётся лишь догадываться о том, что сказали бы К. Эмерсон, М. Гринлиф и С. Сандлер, доведись им анализировать не “Бориса Годунова”, а, скажем, “Кота в сапогах” или “Красную Шапочку”.

А вот с утверждением американки Сандлер, что “чудесный случай, рассказанный Патриархом, менее всего похож на то, что современники Пушкина могли воспринимать как исторический факт”, не согласиться просто невозможно.

Смысл чуда исцеления старца – свидетельство прославления царевича Димитрия на небесах. Оттого-то царь Борис становится “святоубийцей”, а Гришка Отрепьев, объявивший себе царевичем Димитрием, присвоивший себе его святое имя, – святотатцем и еретиком.

Отечественные историки, как, например, С. Ф. Платонов, и современные западные литературоведы задают прямой вопрос: “За какие подвиги был прославлен во святых царевич Димитрий, если единственным, за что его причислили к лику святых, является то, что он был убит?” Но если для нас вопрос иностранца-атеиста понятен, то как быть в таком случае с православным во святом крещении и атеистом, судя по его работам, историком Платоновым, открыто и цинично усомнившимся в правомерности канонизации царевича Димитрия? “Канонизация царевича Димитрия – одно из препятствий для исследования”, – пишет он А. С. Суворину²². Для Платонова сведения о чудесах, свершившихся при открытии мощей св. царевича Димитрия, были сродни сфальсифицированному полицейскому протоколу. Почти в издевательском тоне писал он о поиске и обретении утраченной могилы царевича – одного из самых почитаемых на Руси святых.

Ответ на вопрос, за что прославлен царевич Димитрий, даёт нам современник Пушкина св. Филарет Московский (Дроздов), проповедь которого, прочитанная в 1822 году, могла быть известна поэту: “Церковь, таинница (хранительница тайн. – **Б. К.**) путей и намерений Божиих, возобновляет и прославляет память их, на тот конец, чтобы приучить нас к мысли о неповинном страдании и соделать нас готовыми предать на сие души наши, если на то будет воля Божия”²³.

От мысли, что мы страждем по воле Божией, – продолжает святитель, – неверующий ужаснулся бы и возроптал бы на верного Создателя. “Но верующий, углубляясь в сию мысль, обретает в ней обильный источник утешения, который растворяет сладостью всякую горечь. Одобряющая и обнадёживающая мысль о воле Божией, о воле верного Создателя, мирит верующего с угрожающею мыслию о неповинном страдании”.

Как говорит по сему поводу святой апостол Пётр, “страждущие по воле Божией да предадут Ему как верному Создателю души свои, делая добро” (1 Петр 4, 19).

Четвёртое чудо: феерический успех Самозванца

Невообразимый успех Самозванца поражал современников. Вот что писал по этому поводу свидетель и очевидец событий И. Масса: “Польские капитаны, дворяне и всадники, придя в уныние, говорили, что невозможно завоевать такую страну, равную целому миру, ибо у них для того так мало силы и войска, говоря: “Ежели мы не можем взять такого маленького городка и каждодневно ожидаем нападения большого московского войска, то что будем делать, когда подступим к большим городам? Всё, что мы приобрели до сих пор, отпало к нам по большей части само; сверх того, мы ссудили его всем без малого вероятия что-либо вернуть”, – и приводили ещё другие подобные жалобы – и впадали в совершенное уныние; того ради Димитрий был весьма опечален, смиренно просил их не приходить в уныние и не впадать в трусость”²⁴.

Сейчас трудно себе вообразить, но Самозванец не взял ни одного города “копьем и мечом”: все города и веси были взяты подметными (“прелестными”)

грамотами – “листочками” того времени. И тут впору вспомнить Наполеона, прошедшего через двести лет прогулочным шагом по маршруту о. Эльба – Париж без единого выстрела, и фюрера, которому поначалу тоже феерически везло.

Успех Самозванца поражал спустя два века и Карамзина, “ведь свергнуть Бориса Годунова с царства замыслили не потомки Рюриковы, не князья и вельможи, им гонимые, не дети и друзья их. Сие дело умыслил и совершил презренный бродяга именем младенца, давно лежавшего в могиле... Как бы Действием сверхъестественным тень Дмитриева вышла из гроба, чтобы ужасом поразить, обезумить убийцу и привести в смятение всю Россию. Начинаем повесть, равно истинную и невероятную”²⁵.

Ему вторил в своём отзыве на трагедию Пушкина историк Н. А. Полевой: “...смелый, сильный, могущий властитель” вдруг нисходит в могилу “от бродяги, дерзкого расстриги, от ничтожной толпы его сообщников... никогда фантазия никакого поэта не превзойдёт поэзии жизни действительной”²⁶.

История Лжедмитрия I полна фантастических и необъяснимых, с точки зрения современного обыденного сознания, событий и явлений, описанных современниками Смуты. И о них историки (назовём хотя бы классиков жанра Н. М. Карамзина, С. М. Соловьёва, В. О. Ключевского, не говоря уже о современных учёных) предпочитали говорить либо “для красоты слога”, либо замалчивать, поскольку те явно противоречили неписаному “символу веры”, исповедуемому академической наукой.

И по сию пору остаётся без должного внимания пророчество о Самозванце старца Тихона, ставшее известным ещё до появления на Руси слухов о самозванце: “В одиннадцатое лето по убиении своём (1602 год. – **Б. К.**) явился благоверный царевич князь Димитрий некоему из почтенных старцев, живущих там, в городе Угличе, по имени Тихон, и сказал ему так: “Некто назовётся у вас именем моим царским, сыном отца моего, благоверного царя и великого князя всея России Иоанна Васильевича, и сядет на престоле царском Российского государства, и того властолюбца и губителя моего Бориса с престола свергнет и царства лишит, и весь род его погубит; и сам тот ложно назвавшийся <именем моим> недолго будет царствовать, но жестоко жизни своей лишится и убиен будет; и иные же последуют ему и так же позорно закончат <путь свой>”. И впоследствии всё это сбылось по словам богоизбранного сего венценосца”²⁷.

Впрочем, это уже совсем иная тема.

А что говорят и думают относительно успеха Гришки Отрепьева герои пушкинской трагедии?

Бродяга безымянный ...мог ослепить чудесно два народа, – говорит Отрепьеву Марина.

*Да, чудеса... и думал ли ты, Мнишек,
Что мой слуга взойдёт на трон московский? – говорит Мнишеку Вишневецкий.*

*Опасен он, сей чудный самозванец,
Он именем ужасным ополчен, – говорит царь Борис.*

Недаром же война с самозванцем становится для него боем с тенью.

Сверхъестественный успех Самозванца Пушкин выразил в высшей степени оригинально: читатель и зритель расстаются с героем в сцене “Лес”, из которой мы узнаём, что всё войско его “побито в прах”. Казалось бы, полная катастрофа. Так нет же! Некие волшебные и потайные силы вносят океанного Гришку в Кремль. Одним этим Пушкин показывает, насколько волен Самозванец в своей судьбе, каковы “пределы и параметры” его “свободы”. Это ли не проявление чуда?

На это смысловое значение сцены “Лес” обратил пристальное внимание В. С. Непомнящий, справедливо отметивший, что Григорий Отрепьев – “только орудие гнева, молния сжигающая и исчезающая. <...> Григорий выполнил миссию, к которой оказался пригоден. Он хотел сделать правду своею служанкой – и сам стал её послушным орудием”²⁸.

*Беспечен он, как глупое дитя;
Хранит его, конечно, Провиденье...*²⁹, – говорит, глядя на Отрепьева, Гаврила Пушкин.

Так устами своего героя Пушкин даёт посильное человеку объяснение случившемуся: Провидение. Напомним, что синонимами его являются, по мнению святых отцов, идиомы: Промысл Божий, Божья воля. Именно такое понимание Провидения мы видим в трудах свт. Иоанна Тобольского (Максимовича), прп. Иоанна Дамаскина и др.

То, что Гришка продал душу дьяволу, явствует из его рассказа о чудесном трижды повторившемся сне:

*А мой покой **бесовское** мечтанье
Тревожило, и **враг** меня мутил...
И три раза мне снился тот же сон.
Не **чудно** ли?..*

Ряд авторов полагает, что сон Григория – это некое “пророчество, таинственное чудесное предсказание. Так он воспринимает свой троекратно повторяющийся сон”.

С этим утверждением едва ли можно согласиться: бесовским является именно мечтание о власти, которым соблазняет Отрепьева враг рода человеческого, а сон является предупреждением: “Вот что ждёт тебя, Григорий, если поддашься искушению!” Так Пушкин показывает борьбу ангельских и демонских сил в сердце и душе Отрепьева, оставляя “за кадром” попытки его соблазнения и релаксации.

О том, что являет собой феномен самозванца, говорит Царю и боярам Патриарх: “*Обман безбожного злодея и мощь бесов*”. Это и есть, по Пушкину, формула успеха Самозванца.

Вспомним и эпитеты, которыми награждают Отрепьева пушкинские Патриарх и Игумен: “*Сосуд диавольский*” (Патриарх), “*грамота далась ему не от Господа Бога*”, “*бесовский сын*” и т. д. Но и здесь Пушкин ничего не сочиняет, а лишь дословно воспроизводит эпитеты, которыми награждали исторического Самозванца русские авторы.

Следует отметить, что сыскные дела – так называемые изветы, расспросные и обыскные речи, эти “отчёты руководителей правоохранительных органов” времён, непосредственно предшествующих явлению Самозванца, – свидетельствуют о неслыханном нашествии на Русь всякого рода колдунов, волхвов, чародеев и прочей нечисти. Показательно и то, что в отличие от Лжедмитрия I – “бесовского сына”, inferнальной фигуры – Лжедмитрий II остался в памяти народной всего лишь в качестве вора (“Тушинского вора”) – тривиального государственного преступника.

Кстати, анафему окуяанному Гришке продолжали петь и при жизни Пушкина, так что поэт мог регулярно слышать её в первую Неделю (воскресенье) Великого поста – на праздник Торжества Православия.

Спустя годы он приведёт в своей “Истории пугачёвского бунта” поразительное свидетельство об одном свершившемся чуде, оставленное без комментариев. Вот оно: “...колокольня, зашатавшись, в ретраншамент до основания вся обрушилась, и хотя валилась с такою удивительною тихостию, что человека с три на самом верху оной спавших, почти не разбудя, на землю и с постелями их снесло (чему в рассуждении мною уже описанной высоты почти верить трудно), да и пушку, которая также на самом верху была с ея лафетом, безвредно на низ составило, а при том каменье по крепости ни мало не разбросало (ибо по тихости сего падения, все они повалились в одну грудку); однакож по отменной огромности высокого толь строения не могло обойтись, дабы близ сорока пяти человек до смерти не задавило*. Сии несчастные большею частию были егери седьмой команды, из которых несколько человек на самой колокольне для смотра неприятельских в городке движений и в них стреляя особой пикет имели, другие между церковью и колокольнею на сделанной каменной стене на часах стояли и в особом

* Сверх до смерти подавленных были ещё и такие, человек, я думаю, до 20-ти, которые хотя и живы, по некоторым членам повреждены, зачем и в госпиталь отосланы.

тут же шелашике под часами спали; а прочие из них с сержантом были в своей кибитке, которая подле самой же колокольни была. Кроме сих подавлены и те канонеры, которые при бывших на колокольне пушках находились, казаки и погонщики, которые в колокольне борозду прорывали и кои были при сей работе у присмотру; а нисколько подавлено и зевак, которых куриозность тут для одного смотрения завела. Все они, кажется, могут несчастными наиболее потому назваться, что умереть им, по-видимому, нужды никакой не было; ибо со всех сих мест, во ожидании будущего подрыва, можно б было их свести, да и в работу оную лучше б, думается, употребить тех злодеев...³⁰.

Автором письма был капитан А. П. Крылов, руководивший в 1774 году обороной Яицкого городка, — отец великого русского баснописца. Есть ли у нас основания не доверять служившему “отлично благородно” русскому офицеру?

Любопытно, что бывший ленинградский, а позднее американский литературовед А. Долинин тоже не стал комментировать сей отрывок из пушкинской “Истории...”³¹.

Пушкин изображает мир русской истории и Смуты, равно как и всей человеческой истории, в виде взаимодействия зримого и незримого, горнего и дольного миров, в основе которого лежит Божий Промысл. Через десять лет — в 1836 году — он скажет о Провидении как сути истории, “которую нам Бог дал”, в своём знаменитом письме к Чаадаеву от 19 октября. Скажет по-французски: “...telle que Dieu nous l’a donnée”. Но тем яснее смысл сказанного: “такую, какой нам Бог её дал”. И если в русском языке выражение “Бог дал” может рассматриваться в качестве фигуры речи, то, сказанное по-французски, оно имеет совершенно однозначный смысл — “Бог дал”.

И одним из проявлений Промысла Божьего является чудо (“случай”, как называет его Пушкин).

В трагедии “Борис Годунов”, сугубо литературном произведении, Пушкин проявил себя как остро мыслящий историк, возвративший читателя от современного ему и прогрессировавшего день ото дня секулярного взгляда на историю с его поиском “законов общественного-исторического развития” к осознанию истории рода человеческого как результата Промысла Божьего.

А теперь спросим себя: “Как выглядела бы трагедия, обойдись Пушкин без рассказов о чудесах?” Выглядела бы она точно так, какой увидели её многие современники поэта, не обратившие на них внимание, каждый на свой вкус и лад — “бытописанием”, “исторической иллюстрацией”, “картиной нравов”, одним словом, набором “картинок с выставки”, а то и вовсе “галиматьей в Шекспировом роде”³².

Все её интерпретации свелись бы исключительно к истории земной, “посюсторонней” — боярским интригам, недовольству “народных масс”, “борьбе классов”, “дворянскому восстанию”, “крестьянской революции” и даже “демократической революции” (три последних оценки принадлежат перу одного и того же автора — историка М. Н. Покровского)³³. Набор вариантов безграничен. И потому совершенно закономерно молчание авторов, толковавших (и толкующих поныне) трагедию Пушкина исключительно в историко-социологическом, “материалистическом”, в частности, марксистском плане.

И впрямь, какой смысл имеют при таком прочтении отдающее “идеализмом и поповщиной” явление “мужа светла” благотивному царю Феодору? Или трепетание мёртвого тела Димитрия? Исцеление старца на могилке убитого царевича? Наконец, фантастический успех Гришки Отрепьева?

В этом свете становится понятно, отчего с такой настойчивостью и усердием проводилась в отечественном (и зарубежном) литературоведении мысль о всеограждающей сечественной “мнения народного” как “двигателя” и “движителя” Смуты — главной причине успеха Самозванца в его безумном и безнадежном, казалось бы, деле войны со всемогущим и мощнейшим государством.

Пушкин вводит в трагедию чудеса, дабы показать, что событиями дольного мира история не исчерпывается. И, более того, не является собственно историей. История же, по Пушкину, есть Промысл Божий.

Пушкинский взгляд возвращает нас к источнику этих бед и пониманию их первопричины, заключённой в отказе от христианских ценностей (с недавних пор стыдливо именуемых у нас “традиционными”) и фактической подмене их,

что и ведёт к катастрофическим последствиям в жизни человека, народа и государства.

Проявление чуда в трагедии — это свидетельствование о великом и незримом небесном порядке, который никоим образом нельзя нарушать. Все попытки подправить несовершенства жизни путём активного вмешательства могут приводить к последствиям куда более худшим, а посему должной мерой поведения и “инструкцией по выживанию” в земном мире, спасением человека, народа и страны становится жизнь по Заповедям и преодоление искушения своеволием. Так с помощью изображённых в трагедии чудес Пушкин излагает своё видение философии, а вернее, богословия истории России.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См.: Раскольников Ф. “Борис Годунов” в свете исторических воззрений Пушкина. // Статьи о русской литературе. М.: Вагриус, 2002. С. 61.
- ² Sermanl. Z. Paradoxes of the Popular Mind in Pushkin’s “Boris Godunov” // *Slavic and East European Review*. 1986. Vol. 64. № 1. P. 39; Серман И. Свободные размышления. Воспоминания. Статьи. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 160.
- ³ Иоаннъ Дамаскинъ прп. Точное изложение Православныя вѣры. Полное собрание творений Св. Иоанна Дамаскина. Томъ I. С.-Петербургъ: Издание Императорской С.-Петербургской Духовной Академіи, 1913. С. 272.
- ⁴ Филарет, свт. Московский. Пространный христіанский катехизисъ Православныя Кафолическія Восточныя Церкви. Издание шестьдесят шестое. Москва, въ Синодальной Типографіи, 1866. С. 15.
- ⁵ Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в XVII–XX вв. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви, 2003. С. 93.
- ⁶ Розен Е. Ф. Мнение барона Е. Ф. Розена о драме А. С. Пушкина “Борис Годунов” (Из дерптского журнала “*Dorpatser Jahrbücher*”) // Пушкин в прижизненной критике (1831–1833). / Ларионова Е. О. (ред.). СПб: Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 2003. С. 260.
- ⁷ Розен Е. Ф. Указ. изд. С. 263.
- ⁸ Исторія о Первомъ Патріархѣ Іовѣ. // Русская историческая бібліотека, издаваемая Императорскою Археографическою Комиссією. Памятники древней русской письменности, относящіяся къ Смутному времени. Томъ тринадцатый. СПб, 1891. Стб. 939.
- ⁹ Emerson C. Boris Godunov: The Shakespeare Connection. // In: *Transpositions of a Russian theme / Caryl Emerson*. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, Cop. 1986. P. 128.
- ¹⁰ Городецкий Б. П. Трагедия А. С. Пушкина “Борис Годунов”. Комментарий. Л.: Просвещение. Ленинградское отд., 1969. С. 126.
- ¹¹ Арановская О. Р. О вине Бориса Годунова в трагедии Пушкина // Вестник русского христіанского движения. Париж–Нью-Йорк–Москва. № 143. IV – 1984. С. 151–152.
- ¹² Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в двадцати томах. Том 7. Драматические произведения. Примечания. СПб: Наука, 2009. С. 654.
- ¹³ Гринлиф М. Пушкин и романтическая мода. Фрагмент. Элегия. Ориентализм. Ирония. СПб: Академический проспект, 2006. — С. 344.
- ¹⁴ Гринлиф М. Указ. соч. С. 171–173 и далее.
- ¹⁵ Гертман О. Прямо деться некуда. // http://www.ng.ru/ng_exlibris/2007-03-29/11_bitov.html.
- ¹⁶ Св. Димитрій Ростовскій. Житіе царевича Димитрія Угличскаго // “Четыр Миней”. Т. 4, Июнь–Август. СПб: Аксион эстин, 2009 // Репринт изд. Киево-Печерской лавры, 1764 г. Л. 28 (оборот).
- ¹⁷ Св. Димитрій Ростовскій. Указ. соч. Л. 28 (оборот) и л. 29. В переводе это будет звучать так: “Когда же царствовал Борис Годунов на царстве Московского государства, начались в Угличе от гроба святого нового мученика Димитрия царевича происходить чудеса. Больным подавалось исцеление, ибо кого Бог прославил на небе, причислив к лику святых мучеников, того захотел прославить и на земле, как и прежних страстотерпцев российских князей Романа и Давида (т. е. Бориса и Глеба), от Святополка пострадавших. Ибо дал этому новому

- страстотерпцу российскому царевичу князю Дмитрию ту благодать, чтобы от его честных мощей источались исцеления недугам человеческим. Это же для чести и прославления неповинно изливаемой страдальческой крови, в обличение и стыд пролившим её. И дошёл слух о чудесах святого нового мученика Дмитрия до ушей царя Бориса, он же принесшим его под угрозой смерти запрещал, чтобы не разглашали это людям. Ибо стыд и срамота покрывали его лицо и был обличаем внутри совестью, как Каин, сам себя снедал и пытался, окаянный, скрыть светильник под спудом, но не мог утаить величия Божия, которые являлись на том страстотерпце”.
- ¹⁸ Бочкарёв В. А. Трагедия А. С. Пушкина “Борис Годунов” и отечественная литературная традиция. // Учеб. пособие для студентов / В. А. Бочкарёв. Самар. гос. пед. ин-т им. В. В. Куйбышева. Самара: Изд-во СамГПИ, 1993. С. 6-7.
- ¹⁹ Платонов С. Ф. Борис Годунов. М.: Аграф, 1999. С. 174.
- ²⁰ Василик В. В. Солнце русской поэзии и грозы истории: К 180-летию со дня гибели А. С. Пушкина. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018. С. 36-37.
- ²¹ Сандлер С. Далекие радости. Александр Пушкин и творчество изгнания. Серия: Современная западная русистика. Пер. с англ. Г. А. Крылова. СПб: Академический Проект, 1999. С. 110.
- ²² См.: Платонов С. Ф. Письмо А. С. Суворину от 19 июля 1894 года. // Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками: В 2 тт. / Отв. ред. С. О. Шмидт; Ин-т славяноведения. Том I: Письма С. Ф. Платонова, 1883–1930. М.: Наука, 2003. С. 40.
- ²³ Филарет, митрополит Московский [Дроздов]. Слово в день Святаго Мученика Благовернаго Дмитрия Царевича. // Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Творения. Слова и речи в пяти томах. Т. 2. 1821–1826. М.: Новоспасский монастырь, 2005. Репринт. С. 89.
- ²⁴ Масса Исаак. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. С. 84.
- ²⁵ Карамзин Н. М. История государства Российского. В 3-х книгах. Кн. 3: История государства Российского, т. IX–XII / Примеч., словарь М. Зиминой. СПб: ООО “Золотой век”, ТОО “Диамант”, 1997. С. 440.
- ²⁶ Полевой Н. А. Борис Годунов. Сочинение Александра Пушкина. СПб, 1831 // Пушкин в прижизненной критике (1831–1833). / Ларионова Е. О. (ред.). СПб: Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 2003. С. 218.
- ²⁷ Житие царевича Дмитрия Иоанновича, внесённое въ Минеи Иоанна Милютина. // Русская историческая библиотека, издаваемая Императорскою Археографическою Комиссиею. Памятники древней русской письменности, относящиеся къ Смутному времени. Томъ тринадцатый. СПб, 1891. Стб. 912-913.
- ²⁸ Непомнящий В. С. Пушкин. Избранные работы 1960–1990-х гг. Т. I. Поэзия и судьба. М.: Жизнь и мысль, 2001. С. 351-352.
- ²⁹ В первом прижизненном издании “Бориса Годунова” 1831 года (с. 121), первом посмертном 1838 года (с. 121), а также последующих изданиях слово “Провиденье” в соответствии с правилами орфографии того времени печаталось с заглавной буквы. И в том был глубокий смысл, поскольку оно является синонимом выражений “Промысл Божий” и “Воля Божья”.
- ³⁰ Пугачёвщина. Частное письмо из Яицкого городка, 15 мая 1774. // Архивъ князя Воронцова. Книга шестнадцатая. М.: Типографія П. Лебедева, 1880. С. 486.
- ³¹ Dolinin A. Historicism or providentialism? Pushkin’s history of Pugachev in the context of French romantic historiography. // Slavic review (Summer 1999). Vol. 58. № 2. P. 291–308.
- ³² Лазаревскій А. М. (публ.) Выдержки изъ писемъ актёра В. А. Каратыгина къ П. В. Катенину // Русскій Архивъ 1871. № 6. С. 0243.
- ³³ См.: Покровский М. Н. Русская история. Т. 1. СПб: ООО “Издательство “Полигон”, 2002.

АЛЕКСАНДР РАЗУМИХИН

“Я ЧИСЛЮСЬ ПО РОССИИ...”

К теме финала жизни Пушкина исследователи подходили постоянно и с разных сторон. Дуэльный вариант был рассмотрен Н. Я. Эйдельманом, который не прошёл мимо страшной нервической разгорячённости, владевшей поэтом и толкавшей его на необъяснимые действия в 1836 году. Тогда он настойчиво шёл на столкновения с людьми. Шесть раз за год Пушкин щекотал нервы игрой со смертью. Только в феврале не без труда удалось предотвратить поединки Пушкина с чиновником по особым поручениям в Министерстве иностранных дел С. С. Хлюстиным, с князем Н. Г. Репниным-Волконским, старшим братом декабриста князя Сергея Волконского, внуком по матери фельдмаршала князя Н. В. Репнина, с прозаиком и поэтом графом В. А. Соллогубом. Поводы, по которым он посылал свои вызовы, были столь легковесны, что их можно назвать надуманными.

“Если бы одна из трёх несостоявшихся дуэлей всё же произошла, — резонно рассуждал Эйдельман, — какие бы это имело последствия? Даже при исходе, благоприятном для обоих участников (разошлись, обменявшись выстрелами), эпизод невозможно было бы скрыть от властей; по всей видимости, Пушкина <...> ожидало бы наказание, например, ссылка в деревню. Таким образом, судьба сама бы распорядилась: в любом случае, прежней придворной жизни пришёл бы конец...”

Ставил ли Пушкин тогда чётко перед собой цель выйти на поединок и затем получить по суду отставку и ссылку в деревню? Однозначно признать это трудно. Даже если ответ будет “нет”, подсознательно он всё-таки понимал: дуэль — какой-никакой, но выход, не самый лучший, но способный так или иначе разрубить образовавшиеся жизненные узлы. При этом его мало заботил тот факт, что утрированная чувствительность в вопросах чести в свете и в обществе осуждалась.

Распорядись тогда судьба иначе, и Пушкин избрал бы такой вариант своего поведения и развития событий (а значит, развязка последовала бы зимой 1836 года), и, как справедливо заметил историк и пушкинист В. С. Листов, и с чем нельзя не согласиться, “потом никто, конечно, и не вспомнил бы мелкую подробность того бального сезона — ухаживаний какого-то кавалергарда за светской дамой”. Однако, увы, история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Избранный Пушкиным путь и последовавшие трагические события привели его к последней, состоявшейся дуэли на Чёрной речке.

И хочется разобраться в деталях происшедшего, присущих не нашему времени, а ушедшему в историю. И начать возвращение в те дни хочется с вопроса: с какого дня и часа для Пушкина начался обратный отсчёт времени его жизни?

С момента, когда, покинув кабинет царя в Кремле, Пушкин оказался втянутым в череду нескончаемых неприятностей? Они то грозно разрастались, то затухали, но, увы, не прекращались до самой его смерти. Хотя, казалось бы, не предвещали фатального характера дальнейших событий.

С момента, когда Николай I благоволил разрешить Пушкину сочетаться браком с юной красавицей Натальей Гончаровой? Он тогда и помыслить не мог, чем это для него обернётся.

С момента, когда Поэт почувствовал вдруг навалившееся на него жуткое одиночество: и в личной жизни, и в литературе? А ведь тогда он уже имел несчастье быть публичным человеком. А как заметил сам Пушкин (в записке графу В. А. Соллогубу), “вы знаете, это ещё хуже, чем быть публичной женщиной”.

С момента, когда совокупность бесконечных осложнений последних лет, до определённого времени ещё как-то позволявшая Пушкину оставаться на плаву, под грузом огромного и всё возрастающего денежного долга, который превысил 130 000 рублей, неотвратимо потянула его к трагической гибели? Выплатить такую сумму у Пушкина не было ни малейшей надежды: ни более чем приличное жалованье, ни литературные заработки не позволяли ему этого сделать.

С момента, когда атмосфера унижительных, ненавистных слухов о внимании, которое уделяет Николай I Наталье Николаевне, и о демонстративном ухаживании Дантеса лишила Пушкина покоя?

С момента, когда стала очевидной невозможность спастись от всего этого отъездом в деревню?

Кто-то увидит во всём этом цепь случайностей, кто-то – совокупность неотвратимых сил, которые толкали поэта к гибели. Классический случай, подтверждающий, что правда, как всегда, у каждого своя.

Споры о причинах, которые привели к роковой дуэли, в известной мере совмещены с желанием понять, кто виноват в смерти Александра Пушкина. На этот счёт существует гораздо больше версий, чем могло бы показаться, – слишком неоднозначны все свидетельства, слишком много было слухов и разноречивых рассказов. Очевидцев этой в общем восприятии семейной драмы, приобретшей масштаб национальной трагедии, оказалось предостаточно: начиная от приятелей, друзей, недругов, врачей и заканчивая Бенкендорфом, императором и самой Натальей Николаевной. И это опять тот случай, когда правда у каждого своя.

Безусловно, история гибели великого Поэта настолько запутана, что не всегда удаётся понять, почему и как всё произошло. Однако общую канву событий здравые современники видели и понимали уже тогда. Граф Владимир Александрович Соллогуб, чьё обращение к мемуарам было естественным и даже неизбежным, если вспомнить об автобиографичности его прозы, в “Воспоминаниях” о пережитых днях, в известной мере, представил точку зрения, которая для нас, потомков, представляет наибольшую ценность для понимания последнего года жизни поэта. Отличительная черта его воспоминаний о Пушкине состоит в “проницательности общего взгляда и точности расставленных акцентов”.

И потому несколько слов о самом мемуаристе. Да-да, Владимир Александрович, тот самый граф Соллогуб, кому в 1836 году Пушкин отправил скоропалительный вызов на дуэль. Она не состоялась: между писателями произошло примирение. Посредником при этом выступил П. В. Нащокин. Позже отношения Пушкина с графом стали, как говорят в таких случаях, близкими и доверительными. Насколько? Судите сами. Именно он, обговаривая условия дуэли с секундантом Дантеса д'Аршиаком, приложил усилия, чтобы не допустить поединка. В итоге тогда, 17 ноября, Соллогуб смог предотвратить поединок. Он принял участие в попытках отменить и последнюю дуэль Пушкина, но на сей раз безрезультатно.

Обратившись к его “Воспоминаниям”, можно увидеть, что ноябрьское столкновение Пушкина с Дантесом (с обоими Геккеренами), пусть и более серьёзное среди других, несостоявшихся, дуэлей, виделось не просто современнику, а человеку, находящемуся непосредственно “в теме”, самому недавно получившему вызов от Пушкина, не заслуживающим серьёзного внимания. Серьёзная история стала не в результате появления скандально известного “Диплома Ордена рогоносцев”, который традиционно признаётся и причиной, и одновременно поводом для трагической дуэли. Тогда “Диплом...” сыграл

свою роль для дуэльного вызова Дантеса, но поединок с ним не состоялся – не без участия Соллогуба его смогли предотвратить.

Среди подозреваемых в авторстве “Диплома...” в разное время и разными лицами ещё назывались:

министр просвещения, президент Российской Академии наук граф С. С. Уваров;

жена вице-канцлера графиня М. Д. Нессельроде, давний враг Пушкина, на свадьбе Дантеса с Е. Гончаровой она была посажёной матерью жениха, которому покровительствовала* (ничего неестественного в том не было: дело в том, что Дантес являлся родственником, точнее, свойственником графа Нессельроде. Мать Дантеса Мария-Анна-Луиза была дочерью графа Гацфельдта, родная сестра которого стала супругой графа Франца Нессельроде, принадлежавшего к тому самому роду, что и граф Вильгельм Нессельроде, отец российского министра иностранных дел);

безвестный Дмитрий Карлович Нессельроде, сын вице-канцлера и министра иностранных дел;

голландский дипломат, посланник при императорском дворе в Петербурге, барон Луи-Борхард де Бовервард Геккерен, имевший самые тесные отношения с четой Нессельроде (Д. Ф. Фикельмон записала в дневнике ещё в 1829 году о Геккерене: “...лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь (в Петербурге) считают его шпионом г-на Нессельроде”) – тот самый “старик-Геккерен”, “Геккерен-отец”, что “усыновил” Жоржа Дантеса, сделал его Жоржем Геккереном;

Идалия Полетика (урожд. де Обертей), незаконнорожденная дочь графа Г. А. Строганова и Ю. П. Строгановой (урожд. графини д’Ойенгаузен), которой Екатерина, Александра и Наталья Гончаровы приходились троюродными сёстрами. Идалия Полетика чувствовала себя ущемлённой, занимая в свете двусмысленное положение “воспитанницы” графа Строганова;

и даже Фаддей Булгарин.

Правда, следует признать: устрой следствие указанным персонажам перекрёстный допрос, вряд ли они точно назвали бы имя автора “Диплома...”

Картина появления сфабрикованного пасквиля будет неполной без самой причудливой и сложной версии, принадлежащей Татьяне Щербаковой, автору нескольких исторических эссе, в центре которых – фигура Пушкина. Следуя трактовке Щербаковой, основной зачинщицей затеянной “партии” против Пушкина в свете была графиня Софья Бобринская (урожд. графиня Самойлова) – она была младшей дочерью графа А. Н. Самойлова от брака с княжной Е. С. Трубецкой. Организация “заговора” против поэта и доведение ситуации до дуэли – дело её рук. Успех интриги обеспечили родство графини с Николаем I (её муж был внуком императрицы Екатерины II) и тесная интимная дружба с императрицей Александрой Фёдоровной, которая поощряла и “курировала” кипучую “деятельность” своей подруги. Искушённая сводня, графиня свела 40-летнюю императрицу со своим 23-летним кузеном князем А. В. Трубецким, который и стал закопёрщиком в изощрённой травле Пушкина.

В ближайший круг общения с Бобринской и Трубецким входили Геккерены – отец с сыном – и несколько офицеров Кавалергардского полка, “красных” и “наикраснейших” (одних – потому что носили красные мундиры, других – потому что императрица принимала самых близких к ней особ в красной комнате). Вот их-то и использовала в своих целях графиня. Что двигало ею? Мечь. Это чувство по отношению к Пушкину объединило тогда представителей сразу нескольких известных родов: Бобринских, Толстых, Голицыных, Бахметовых, Горчаковых, замешанных в историю с авторством поэмы “Гавриилиада”. Что же касается Нессельроде и других высокопоставленных особ, принимавших участие в травле, то их поведение можно объяснить влиянием императрицы, попавшей под чары юного офицера, направляемого его кузиной Софи. Таким, по версии Татьяны Щербаковой, был расклад сил в нашушедшей истории о делах давно минувших дней.

* Между прочим, сын Николая I, император Александр II, как следует из рассказа придворного вельможи, князя А. М. Голицына, в Зимнем дворце среди ограниченного круга лиц говорил за столом: “Ну, вот теперь известен автор анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина; это Нессельроде”.

Затеявая интригу против Пушкина, графиня Софья Бобринская вовсе не помышляла о смерти поэта. Для “красных” офицеров-кавалергардов рассылка “Дипломов...” была очередной, как сегодня говорят, “прикольной” игрой светской молодёжи. Они так просто развлекались. Какую-то роль здесь могла сыграть и Идалия Полетика – поучаствовала. Хотя первоначально столицу полнили слухи, будто подмётные письма вышли из дома Хитрово-Фикельмона. Граф Бенкендорф наблюдал не столько за Пушкиным, сколько, по поручению Николая I, за фаворитом императрицы Трубецким и заодно за его приятелями “красными” кавалергардами, одним из которых был его агент, красавчик Жорж Дантес. Трубецкой демонстрировал перед Александрой Фёдоровной, какой он “крутой”, ему всё нипочём и все кавалергарды “ручные”. А императрица разыгрывала свою партию по отношению к Николаю I и Наталье Пушкиной: причём не из ревности, а из желания немного по-женски “ущипнуть” мужа. Тут как нельзя более кстати подвернулся её брат, принц Фридрих Карл Александр Прусский, заприметивший Пушкину. Ну, как не порадеть родному человечку? Назначается приватный бал с “кадрилями” Натальи Николаевны и её искusstеля брата Карла.

Про графиню Софью Бобринскую, затеявшую великосветскую склоку, за всем шумом в связи со смертью поэта, забыли: опять же сыграли свою роль родство графини с Николаем I (напомню, её муж, граф А. А. Бобринский, был двоюродным братом Александра I и Николая I) и её дружба с императрицей. Кстати, Александра Фёдоровна на правах близкой подруги, посвящённой в интимную жизнь графини Бобринской, могла бы ответить на вопрос, почему именно та оказалась в центре интриги против Пушкина. Кажется, лишь императрица знала, что у графини для козни имелся личный мотив. Её интрига была направлена не столько против Пушкина, сколько против Пушкиной. Дело в том, что, когда Дантес по заданию Бенкендорфа “увлёкся” Натальей Пушкиной (чтобы своим демонстративным ухаживанием перебить слухи о внимании, которое уделяет Наталье Николаевне Николай I), кавалергард вынужден был безжалостно бросить свою тайную любовницу, которая была на 15 лет старше младшего Геккерена. Так что Натали воспринималась Бобринской как разлучница.

Насколько оправдана версия Татьяны Щербактовой – рассуждать не стану. Скажу одно: её сложная конфигурация и множественность действующих лиц позволяют сделать несколько выводов. В гибели Пушкина не был повинен один конкретный человек. Дантеса нельзя назвать исполнителем, а Геккерена-старшего – заказчиком. Происшедшее не представляло собой никакой тайны. Хотя после гибели Пушкина Вяземский и записал, что смерть поэта – великая тайна. Похоже, это была обычная жизненная ситуация, в которой, на первый взгляд, сложное по сути своей довольно просто, а то, что видится простым, оказывается запутанным и каверзным.

Ясное дело, ни против Николая I, чья супруга сводничала своему брату, ни против принца Фридриха Карла, положившего глаз на Натали, ни даже против старшего Геккерена (Пушкин почему-то был убеждён, что именно он сфабриковал – это пушкинское слово “fabriquée” – “Диплом...”) что-либо предпринять у Пушкина не было никакой возможности. Все трое по официальному своему положению драться не могли. Поэтому в первый раз, 4 ноября, вызов был послан “приёмному сыну” Геккерена как “ухажёру” Натали, а второй раз, 16 ноября, отправлено письмо крайне оскорбительного для дипломата содержания в расчёте на то, что последует ответ от Дантеса, наверняка соучастника фабрикации “Диплома...”.

Как бы то ни было, судьбе угодно было, чтобы сбылось давнее, услышанное Пушкиным ещё в 1819 году пророчество известной петербургской ворожеи Шарлотты Кирхгоф: “...проживёт долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека”. Жорж Дантес был блондином.

Будем откровенны, о Пушкине и при жизни, и после говорили разное: поэт и притворщик, честный и откровенный. Холодный циник? Не без того. Но не более других, к кому мы не предъявляем подобных претензий. В школе нам Пушкина “ставят на пьедестал”, делают из него полубога и объясняют, какой это был светлый, гармоничный, жизнерадостный и поэт, и человек. А после школы до конца жизни для большинства из нас такое представление о Пушкине оказывается единственно верным и справедливым. Хотя оно не что иное, как часть великого мифа, связанного с его именем.

Когда-то Викентий Вересаев решил нарушить эту благозвучность и попытался обосновать версию о двух Пушкиных: поэте, чей весёлый гений явил нам чистую и гармоничную поэзию, и человеке, жившем необузданными страстями, с душой, исполненной цинизма.

Позже Генрих Волков в книге «Мир Пушкина. Личность, мировоззрение, окружение» предложил иную версию, из которой следовало, что поэт-трудоголик просто-напросто не любил признаваться в своей напряжённой поэтической работе, наоборот, поддерживал в окружающих иллюзию, что он предаётся лени и праздности, а стихи у него пишутся по наитию, сами собой. Мол, Пушкин всегда стыдился и стеснялся своего трудолюбия, усердия и даже своей привязанности к жене и детям и «старался камуфлировать» эти качества напускным цинизмом, гусарской бравадой. (Нечто похожее любят рассказывать и про баснописца Ивана Крылова, только там поэт будто бы прятался за свою лень.)

Честно говоря, обе версии, как Вересаева, так и Волкова, стоят друг друга, и спорить с ними нет желания. И дело вовсе не в том, что людей, которые нравятся всем, нет ни среди живых, ни даже среди мёртвых. Просто, если присмотреться, у обоих в образе Пушкина воплощены все расхожие представления о поэте-сверхчеловеке, у которого врождённый талант соседствует с неискоренимыми пороками.

Вместо спора хочется предложить иное видение личности Пушкина и как поэта, и как человека, что для него было неразрывным. Поэтому главное в разговоре о личности Пушкина – решить, как смотреть на неё, выбрать точку зрения.

Начнём с того, что, работая всю жизнь столько, сколько он работал, Пушкин постоянно пребывал в состоянии необычайного нервного напряжения. С этим, думается, никто спорить не станет. Но и тогда, когда по каким-то причинам Пушкин был вынужден не работать, он был «зол на целый свет», места себе не находил, это угнетало его ещё сильнее – так что нервное напряжение ничуть не спадало.

Вот цена – признаем, чрезвычайно высокая, – которую он платил за свою гениальность: он расплачивался за неё собственными нервами, как в таких случаях говорят, сжигал себя. При том внутреннем огне, какой полыхал в нём, в повседневной жизни он испытывал груз целого букета комплексов, которые сизмальства болезненными проявлениями мучили его.

Эта тема, конечно, интересная, а главное, все понимают, очень щекотливая. Она тоже из уже упоминавшегося разряда: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Всё верно. С одной стороны, мы вроде бы непременно желаем навести абсолютную ясность и в большом, и в малом. С другой стороны, мы хотим слышать только то, что хотели бы услышать, и никакой другой, пусть правдивый, но неприятный ответ нас не устраивает.

Известно, что болезненная обидчивость и сверххранимость от любого неосторожного слова доводили Пушкина много раз (порой насчитывают до полутора сотен дуэлей с участием поэта, что трудно даже считать мифом – это чистой воды вымысел) на грань либо самоубийства (чаще всего картель, вызов на дуэль, исходил именно от него, да и поводы для дуэлей зачастую бывали совершенно незначительными), либо убийства (Бог миловал – ни в одной дуэли он не убил человека).

Можно предположить, что Пушкин был из тех людей, которые просто не могут не обижаться – им это состояние необходимо, оно им на пользу. (Точно так же, как существует их противоположность, так называемые люди-«вампиры», готовые из других «пить кровь», – они не могут иначе, потому как лишь унижая и обижая других, они чувствуют себя лучше.) Но такая модель поведения не соответствует реальному поведению Пушкина, не подтверждается его поступками и переживаниями.

Зато есть множество фактов, подтверждающих наличие не одного и не двух комплексов, бороться с которыми у Пушкина далеко не всегда находились силы.

Начнём с очевидного. Маленький рост (у Александра Сергеевича реальный рост без каблуков был 2 аршина 4 вершка – в метрическом измерении 160 сантиметров), заставлявший его глядеть на окружающих и особенно на женщин снизу вверх. Стереотипы на сей счёт строги: мужчина должен быть выше женщины – и точка. Обсуждению не подлежит.

Маленькие мужчины обычно и не обсуждают, а стараются компенсировать свой, как им видится, недостаток, воспользуемся современным термином, ростом карьерно-личностным. Вспомните Наполеона (тот был даже выше Пушкина – 169 см, как указано в “Словаре Наполеона”), чей рост ещё при его жизни стал притчей во языцех, из-за него, собственно, комплекс и получил название “комплекс Наполеона”.

Но, может быть, Пушкина ничуть не смущал его невысокий рост? Может быть. Но однажды он почему-то взял и обронил, что маленький рост – “самый глупый”. А ещё, было замечено, пушкинское восприятие людей было довольно своеобразным: для него именно рост любого человека был первой и, значит, главнейшей приметой. При этом Пушкин почему-то избегал слов: короткий, коротенький, коротышка, махонький, мелкорослый, предпочитая употреблять выражение “невысокого роста”. И именно эти невысокого роста люди у Пушкина зачастую отважны, сильны, отмечены лихостью или, иногда, страданием. В южной “ссылке” Пушкин, человек не злопамятный, но имевший хорошую память, сочиняет на графа Толстого-Американца эпиграмму (в противовес традиционному мнению, она не имеет никакого отношения к графу М. С. Воронцову) довольно прозрачного содержания, имеющую непосредственное отношение к рассматриваемой теме:

*Певец-Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Кот<орый> б<егал> и крич<ал>,
И, поклянись, не гро<мче> Гр<афа>.*

Так что, даже рано вкусив славы (публика вспыхивала аплодисментами, когда он входил в театральную ложу), став кумиром общества, он явно испытывал не самые приятные ощущения от своего роста, причинявшие ему если не душевную боль, то неудобства. Даже тогда, когда он позволял себе с усмешкой говорить про свой рост: “Меня судьба, как лавочник, обмерила”. Ему порой было некомфортно среди других людей, он боялся, что когда кто-то глядит на него, то смотрит именно на его рост, какой он маленький.

Вдобавок к этому невысокий Пушкин имел стремление восполнить малый рост большой физической силой и отвагой. Пушкин внутренне боялся, что кто-то, взглянув на то, какой он маленький, посчитает его недостаточно мужественным. Отсюда его знаменитая привычка носить с собой тяжёлую железную палку и бесконечные вызовы на дуэли, а ещё раньше – частые мальчишеские драки. В психологии, кажется, это называется “комплексом Александра”.

И характерный выбор при женитьбе, когда невеста оказалась заметно выше него ростом (у Натальи Николаевны рост 175,5 см, то есть она на 15,5 см выше Пушкина, на каблуках – выше на голову). Тем самым Пушкин как бы говорил всем: “Пусть я маленький, зато жена высокая, и всё мне нипочём!” Внешне вроде бы нипочём. На балах, как вспоминают современники, он держался от жены подальше. На балах и Вера Вяземские свидетельствуют: “Пушкин не любил стоять рядом с своею женой, и шутя говаривал, что ему подле неё быть унижительно: так мал был он в сравнении с нею ростом”.

Сначала он боялся выглядеть смешно. Потом, стиснув зубы, наблюдая, как Наталья танцует с высоченным императором Николаем и как тот за ней ухаживает, как здоровенный белокурый красавец Дантес открыто волочит за ней, боялся, что их рост и физическая красота окажутся для жены привлекательнее его ума и таланта.

Трудно сказать, есть ли тут прямая связь, но не может не удивлять: стихов жене Пушкин не писал. Он, написавший столько строк любовной лирики. Он, всегда приписывавший окружающим черты, которые хотел в них видеть: друзьям, женщинам, царю, и воспевавший затем эти черты в них, о жене в стихах ни слова. Разве что “Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...”

Комплексы проявлялись в мелочах: и в болезненной чувствительности, и в ущемлённой, как ему казалось, гордости, и в склонности к злой насмешке, и в таких частых у него переходах от ссоры к миру и вновь к ссоре, и в скандальности поведения (чтобы обратить на себя внимание) – и сопровождали Пушкина всю жизнь.

В детстве у него была мысль: почему я такой ущербный, что даже матери не нужен? Он боялся, что его никто не любит.

В отрочестве была мысль: а что если я не смогу реализовать свой поэтический дар? Он боялся, что не состоится как поэт.

В лицейские годы он, скатываясь всё ниже и ниже по результатам учёбы, пытался утвердить себя в мальчишеской среде с помощью физической ловкости, силы, умения постоять за себя. На память приходят слова Пушкина: “*Всё научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр.*”.

Он боялся, что однокурсники не примут его, не отзовутся на его привязанность к лицейскому кружку. Писатель Иван Лажечников, впервые встретив его, удивлялся: “*С любопытством смотрел я на эту небольшую худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой...*”

А тут ещё эта внешность. Нет, конечно, мужчине вовсе не обязательно быть красавцем, но ведь и смахивать на обезьяну — тоже радости мало. В 1814 году он преподносит друзьям-лицеистам свой стихотворный портрет-исповедь (по-французски), и там две конкретные самооценки:

*Суций бес в проказах,
Суцая обезьяна лицом.*

К тому же отголоски африканских корней, намёки на рабское происхождение. В ответ он бросится эксцентрически подчёркивать своё африканское прошлое (вы все белые, а я чёрный и вообще “потомок негров безобразный”). Ему так хотелось доказать всему миру свою значимость — он боялся, что не получится, какая-нибудь ерунда возьмёт да помешает.

После декабристской драмы, когда из его жизни стали уходить самые близкие друзья, к нему приходит осознание возможности собственной смерти, а вместе с ним частая тоска, он оказывается ещё более ранимым и беззащитным, капризным, мнительным и раздражительным. Вынужденный жить на пределе своих возможностей — творчество требовало от него высшего напряжения жизнеутверждающих сил, — Пушкин в какие-то моменты всё же снижал, и тогда перо вдруг выводило:

*Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.*

Он боялся смерти, и свой страх пытался компенсировать успехами в личной жизни. Кончина матери усилила мысль о смерти, которая и без того всё чаще проскальзывала в разговорах, звучала в его стихах:

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...

Бедность, постоянно язвившая его самолюбие, вечное отсутствие денег очень тяготили его — он боялся, что не в состоянии содержать семью. Самое скверное, что заботы о растущей семье, о средствах к существованию мешали работать.

Ему уже четвёртый десяток, а он: “Батюшки! Ведь я до сих пор ничего не сделал в этой жизни!” И попробуй его разубеди. “Борис Годунов” вызвал, мягко говоря, недоумение, “Евгений Онегин” не закончен, “Дубровский” не закончен, на “Историю Пугачёва” глядят как на произведение вредное и опасное... Печатать написанное цензура не даёт. Не удивительно, что ещё при жизни Пушкина немало литераторов принялись хоронить талант поэта и говорить об угасании светила. Он боялся, что годы прожиты напрасно — комплекс потерянного времени. Накануне женитьбы, за неделю до свадьбы, Пушкин пишет одному из давних приятелей: “*Молодость моя прошла шумно и бесплодно*”.

Страх временами то подступает, и тогда он выплёскивает его:

*...И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава...*

то отступает, давая отдых измученной душе.

Вспомнился “донжуанский список” Пушкина, вписанный в альбом сестёр Ушаковых. Он ведь не что иное, как эхо комплекса неполноценности. В чём его проявление? В агрессивном сексуальном поведении, которое сопровождается постоянным хвастовством своими похождениями устно и в письмах приятелям, даже женщинам. Эта сторона поведения человека с таким комплексом довольно хорошо изучена психологами на Западе.

Никакая гениальность не была в состоянии избивать его от этих чувств. Когда они вспыхивали – всегда неожиданно, – всё рвалось, наваливалась усталость, делалось страшно и мутно, хотелось всё оттолкнуть. Возникало ощущение, будто в глубине что-то шевелится, но не выходит, прячется, аж тошно. Куда-то девался сон. И вообще, зачем он, сон? Но минуют несколько дней, иногда недель, и снова всё как прежде, словно ничего и не было. В светлые периоды в душе возникла перемена: появлялось желание (или потребность?) читать Евангелие.

Как мог, Пушкин боролся со своими комплексами. В этом ему помогало опьянение творчеством – оно помогало преодолевать недуг. Можно заметить, в записях и стихах он всегда сдержаннее, чем его настроение и “думы долгие”. Но чем дальше, тем труднее становилось справляться со своими страхами, которые лишь подтверждали так часто повторяемую им бесспорную для него мысль о несовершенстве человеческой природы. И ещё, в Пушкине, для которого литература была самоценна, удивительным образом уживались презрение к суду общества и страх перед этим судом.

Вельможная свора, “жадною толпой стоящая у трона”, находила удовольствие злословить в его адрес, “дразнить” поэта слухами, травить интригами, чернить жену, терзать его разгорячённое самолюбие, доводя до состояния неуправляемой ярости. Всё как заведено, как принято, ничего нового.

В последние дни, незадолго до гибели, его видели “мрачным, как ночь, нахмуренным, как Юпитер во гневе”, он “прерывал своё угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом”. Ему уже недолго оставалось бояться и мучиться. Скоро покой, которого он так жаждал, придёт к нему за оградой Святогорского монастыря.

Собственное психологическое состояние Пушкина не могло не найти отражения в его творчестве. Когда вглядываются в отношение поэта к современникам и культурному наследию прошлого, традиционно стараются вникнуть в очевидное: подражает – кому и как? оригинален – насколько и в чём? Но есть ещё одна интересная тема, присутствующая в скрытой форме, – тема психологического механизма творчества Пушкина.

Не углубляясь сильно в неё, попробуем всё же приглядеться: сказалась ли закомплексованность Пушкина на творческом поведении поэта, отразилась ли она, с точки зрения психологии, при создании того или иного его произведения?

Как в обычной жизни, боязнь, что кто-то сочтёт его недостаточно мужественным, часто толкала его бросать вызов на дуэль и требовать ответа, точно так же вызовы и “требования ответа” сопровождают творческий путь Пушкина. Начиная с того, что 15-летний юный гений на лицейском экзамене своим стихотворением, по сути, бросает вызов престарелому патриарху российской поэзии Державину, и тот в качестве ответа фактически передаёт юному сопернику поэтическую эстафету. С той же целью – вызов – Пушкин посылает “Руслана и Людмилу” другому признанному мастеру, Жуковскому, и тот в ответ передаёт автору поэмы свой портрет с надписью: “Победителю-ученику от побеждённого учителя”. Характер вызова носит довольно большое количество часто именно с этой целью созданных Пушкиным произведений, даже без учёта эпиграмм.

Вызов и ответ на него не просто присутствуют, а порой формируют сюжет целого ряда произведений Пушкина. В “Египетских ночах” Клеопатра бросает вызов своим поклонникам:

*Свои я ночи продаю.
Скажите, кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?*

Причиной смерти Дон Гуана становится безрассудная смелость, с которой тот бросает вызов каменной статуе. В “Медном всаднике” “дрожащая

тварь” – Евгений – бросает вызов статуе царя: “Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебе!”

В какой-то мере и сама смерть поэта оказалась следствием того, что он бросил вызов судьбе и времени, оборвав нить жизни так рано.

Можно добавить: не было бы Пушкина, с его болезненными срывами и безысходными страхами, мнимыми и реальными, преодолением им всего и вся в творчестве, не определилась бы, вероятно, наша национальная вера в удивительное жизнеутверждающее начало, которое оставляет свет надежды в самых безнадежных, трагических ситуациях, дарит свет и тепло, мудрость и уверенность, заряжает энергией и надеждой.

Александр Сергеевич не был баловнем судьбы. Однако неизменно признавался образцом душевной гармонии. Пока в 1925 году не был опубликован труд марксиста и психиатра Я. В. Минца, объявившего Пушкина психопатом. А вскоре в другом исследовании поэт был назван “болезненным эротоманом”, страдающим “гипертрофированным развитием половых желёз”. С тех пор появилась целая библиотека, состоящая из публикаций многочисленных эскулапов-диагностов на тему о необузданной чувственной натуре Пушкина. Среди них врачи, сексологи, психологи, психиатры, читая которых, невольно вспоминаешь 101-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов “Плоды раздумья” Козьмы Пруткова: “Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя”.

Наделённый пламенной страстностью, Пушкин обладал ясным и отчётливым сознанием, светлым и уравновешенным умом, разумным пониманием сущности истин и духа правды. Внутренней энергии, которой он был наделён от природы, хватало ему для гениального претворения жизни в поэзию, для рождения поэтических образов и звуков. А здравого смысла – для глубокого постижения истории и написания содержательной прозы.

Но, как видим, всё это не приносило ему успеха в житейской практике. В повседневной жизни он был заложником угнетающих его придворных обязанностей и светских связей. Летом 1834 года в письме жене, которая тогда находилась в Полотняном Заводе, он писал из Петербурга:

“Хорошо, коли проживу я лет ещё 25; а коли свернушь прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их папеньку схоронили, как шута, и что их маменька ужас как мила была на аничковых балах. Ну, делать нечего. Бог велик; главное то, что я не хочу, чтоб могли меня подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма”.

Его мучили, буквально душили, мысли, что венценосный радетель Николай I и приставленный им опекун Бенкендорф сочтут его неблагодарным. Нет сомнений, к этому времени уже чётко сложился этот “любовный” треугольник, система отношений в котором и предопределила, в конечном счёте, трагический исход событий. Это был, можно сказать, принципиальный и образцовый треугольник. В его основании находились две знаковые фигуры века, два придворных дворянина: Пушкин и Бенкендорф. А вершину венчала центральная фигура государя императора. Глядя на эту выверенную конструкцию, каждый вспоминал любимое изречение Николая I: “Русские дворяне служат государству, немецкие – нам”.

Полагаю, мы не поймём отношений Пушкина с властью, если будем смотреть на поэта и государя без учёта выбора каждым из них своего предназначения и сути занятия, которое приносит ему наслаждение. Они ведь не только очень по-разному “зрели мир”, но, что куда существенней, по-разному “зрели себя в этом мире”. Подтверждением могут служить два красноречивых эпизода из их жизни.

Начнём с Пушкина. В 1829 году один лицеист вскоре после выпуска из императорского Царскосельского лицея встретил Пушкина на Невском проспекте. Поэт, увидав на нём лицейский мундир, подошёл и спросил:

- Вы, вероятно, только что выпущены из Лицея?
- Да, только что выпущен с прикомандированием к гвардейскому полку,
- ответил лицеист и в свою очередь спросил:
- Вы тоже воспитывались в нашем Лицее?
- Да.
- А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?
- Я числюсь по России, – ответил Пушкин.

Теперь очередь царя. Осенью 1827 года – спустя год после аудиенции, данной возвращённому из Михайловского Пушкину, – Николай I встретил в Петербурге на Невском проспекте мальчика-гимназиста в расстёгнутом мундире. Дело это, в сущности, стоившее не более, чем замечания гувернёра, стало предметом специального расследования, точно произошло событие государственной важности. По приказу императора военный генерал-губернатор столицы П. В. Голенищев-Кутузов (тот самый, который распоряжался казнью декабристов) разыскал “виновного”. После чего последовал рапорт генерал-адъютанта непосредственно императору: *“Неопрятность и безобразный вид его, по личному моему осмотру, происходит от несчастного физического его сложения, у него на груди и на спине горбы, а сюртук так узок, что он застегнуть его не может”*.

Из чего следует: военный генерал-губернатор Петербурга лично осматривал больного мальчика, дабы убедиться, что в его “безобразном виде” не кроется никакой крамолы. Ознакомившись с донесением, император начертал на нём резолюцию с предписанием: задержанного отослать к министру народного просвещения, которому объявлялся выговор за то, что гимназиста *“одели в платье, которого носить не может”*.

Сам по себе этот эпизод можно считать ничтожным, однако он чрезвычайно показателен для личности Николая I, о котором строгий опекун “поднадзорного мальчишки” Пушкина Бенкендорф писал: *“Развлечение государя со своими войсками, по собственному его сознанию, – единственное и истинное для него наслаждение”*.

Пушкин же в принципе не помещался в подобные рамки сознания. В повести “Египетские ночи”, основной темой которой стали предвзятость и противоречивость положения творца в обществе, Александр Сергеевич писал:

“Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеимён и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по её мнению, он рождён для её пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? – красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждёт уж элегии”.

“Духовной жаждою томим”, Пушкин сам дал точное определение своего мирозерцания. Его можно встретить, читая стихотворение “Демон” (“В те дни, когда мне были новы...”):

*Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь...*

Впрочем, по этому поводу требуется уточнение более общего порядка: поэт принимал лишь такое бытие, которое основано на человечности. “Герой, будь прежде человек”, – писал он в черновиках “Евгения Онегина”. Позже эту мысль поэт высказал печатно и более резко в стихотворении “Герой” (“Да, слава в прихотях вольна...”):

*Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...*

Стала неким штампом мысль, что западники видят в Пушкине носителя европейской культуры, славянофилы – хранителя “русского духа”, традиционалисты – основателя традиций, модернисты – разрушителя традиций... Пушкин у всех был и есть разный. У Белинского – свой, у Льва Толстого – свой, у Цветаевой – свой, у Тынянова – свой, у Юрия Лотмана – свой, у Юрия Лощица – свой.

Но странное дело, есть детали, которые не вписываются ни в один “нарисованный” портрет Пушкина, будь он “кисти” Гоголя, Аполлона Григорьева, Добролюбова, Иннокентия Анненского, Вл. Соловьёва, Андрея Платонова, Вадима Кожинова, Юрия Селезнёва...

Например, к какому полюсу отношений Пушкина и Николая I отнести строки из письма поэта Наталье Николаевне (1834), касающиеся царя: к тому, к которому склоняют сторонники версии, что государственный и патриот Пушкин был почитателем государя, или к их противникам?

“На того я перестал сердиться, потому что, toute réflexion faite**, не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к говну, и вонь его тебе не будет противна, даром что gentleman***. Ух, кабы мне удрать на чистый воздух”.*

И всё же обнаруживается ключевой пункт, который позволяет, на мой взгляд, понять то, каким образом у Пушкина происходило писательское прозрение мира и места человека в нём. Сначала, справедливо заметил А. Балдин, “Пушкин считал, что через память его рода ему было дано особое сочувствие к русской истории”. Позже Пушкин придёт к убеждению, что человек **живёт в истории**, а не в те или иные выпавшие ему дни и годы. И, наконец, он выдвинет идею гуманности как меры исторического прогресса. Гуманности, которая, по мысли Пушкина, не ограничивалась обычным мягкосердечием, а исходила из чувства справедливости – глубинной и основополагающей особенности характера русского народа.

В этом смысле Пушкин дал начало отечественной классической литературе, обращённой к поискам правды. Великой литературе, следующей голосу совести, духовному началу, ясно различающему добро от зла, сознающей вину человека, но устремлённой к идеалу. Литературе, которая стала самым удивительным и самым загадочным явлением европейской культуры.

Отечественное бытие для Пушкина возникало из синтеза “связи времён” и идеи преемственности. По сравнению с большинством своих современников, Пушкин исторический кругозор имел неизмеримо шире, и русское историческое прошлое он любил гораздо сильнее. Эта любовь позволяла ему, во-первых, сознавать, что историческая правда – штука сложная, **многослойная**; во-вторых, верить в то, что история определила высокое предназначение России; в-третьих, понимать дух, “нерв” каждой отдельной исторической эпохи. Поэтому он никогда не мерил, скажем, 1760-е годы меркою 1830-х годов и наоборот.

Нашему нынешнему, пристрастному мнению можно найти подтверждение в общеизвестных суждениях самого поэта (в стихах и в прозе):

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.*

*Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.*

“Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости; кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства”.

“Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездой двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т.е. историей отечества”.

“Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблён, но клянусь честью, что ни за что на свете я

* На **того**. . . – на Николая I, скорее всего, за вскрытие почтой личных писем Пушкина.

** в сущности говоря (фр.).

*** джентльмен (англ.)

не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог её дал”.

“Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство”.

“Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на неё никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведённое крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера... России определено было высокое предназначение... Её необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабождённую Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено rasterзанной и издыхающей Россией”^{*}.

“Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые её потрясли, но у нас было особое предназначение. Это Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех”.

Эта небольшая подборка тезисов, органичных для взглядов Пушкина, способна показать, что он и на события своего века, и на себя, живущего в нём, глядел с той же исторической рассудительностью. Он жаждал перемен в отечестве. Первая встреча с Николаем I заронила у него надежду на такие перемены. Но стихия истории качнула государя в другую сторону. Сначала восстание гвардии в момент его воцарения, затем революционные события в Европе 1830-го и 1848 годов насторожили, разочаровали взошедшего на престол Николая I. Пушкин одним из первых уловил и понял, что приоритеты государя изменились. Главным для того стало не допустить в России никаких изменений. Вообще никаких изменений. Столь же чуткий человек, шеф жандармов А. Х. Бенкендорф сформулировал новую историческую позицию императора так: “... Прошлое России — удивительно, настоящее — более чем великолепно, будущее — выше всего, что может представить самое пылкое воображение”.

Надо признать, что прогнозы “дорожной карты”, как ныне модно называть план дальнейшего развития, достижения политических, социальных и иных целей, у Пушкина и Николая I разошлись. Но даже если и так, зачем ещё и перечесть? Сколько раз умные люди советовали поэту жить в мире с царём, со всем окружением, не лезть на рожон, не разбрасываться своими эпиграммами, о чём-то забыть, с кем-то примириться, одним словом, смириться. На что он надеялся? С точки зрения двора, вёл себя, как безумец. Даже Жуковский не сдержался и в 1834 году раздражённо написал, что ему “надо бы пожить в жёлтом доме”.

Оказалось, что осознание всемогущим государем и поэтом в камер-юнкерском мундире своего предназначения и жизнеощущения определило направление их исторического движения в разные стороны. Их взаимоотношения — ещё при жизни Пушкина — стали предметом толков, имеющих не только личный характер, но и политический. Они только усилились после трагической гибели поэта и не стихли до сих пор.

Вариации на эту тему столь многообразны, что не поддаются количественному измерению. Что же касается их содержательного наполнения, то тут присутствуют убеждения, к примеру, что смерть Пушкина — результат заговора, руководимого лично царём; что из Пушкина сделали врага самодержавия, а у него были прекрасные отношения с государем; что с Николаем I Пушкин

^{*} А не Польшою, как ещё недавно утверждали европейские журналы; но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагоприятна (прим. Пушкина).

почти сроднился, хотя и не всё в их взаимоотношениях было безоблачным... Самое красочное словоблудие принадлежит Н. Ф. Шахмагонову:

“Пушкин и Николай Первый оказались по одну сторону баррикады, возведённой в России духовными наследниками тех, кто пытался уничтожить Державу 14 декабря 1825 года. <...> Государь Император Николай Павлович и Русский гений Александр Сергеевич Пушкин стали соратниками по борьбе, смысл которой был в проведении Русской контрреволюции, контрреволюции, направленной против чужебесия и западничества, внедрённых в Россию в начале XVIII века. И светская чернь ненавидела как Царя, так и поэта примерно за одно и то же. Царь стал Самодержавным вождём этой Русской контрреволюции, а поэт – её идеологическим вождём, её вдохновителем, её просветителем, её поистине блистательным, зовущим за собою широкие народные массы трибуном”.

Ответ на один из первостепенных для судьбы Пушкина вопросов обычно предлагается видеть в его поэзии, прежде всего, в так называемом “Николаевском цикле”. В него включают несколько стихотворений, написанных поэтом между 1826-м и 1834-м годами и обращённых к императору Николаю I или содержащих оценку его деятельности. Такой подход можно принять, но лишь в случае, если ключом к пониманию этого пласта пушкинской поэзии станет лишение её политической тенденциозности, без которой обходится редкое прочтение стихотворений “Пророк”, “Стансы” (“В надежде славы и добра...”), “Друзьям” (“Нет, я не льстец, когда царю...”), “Герой” и четырёх произведений в поддержку позиции государя в польском вопросе: “Клеветникам России”, “Перед гробницею святой...”, “Бородинская годовщина” (“Великий день Бородина...”), “От Вас узнал я плен Варшавы...”.

Позволительно ли считать их противоречивыми? В определённой мере, да. В тех же “Стансах” одни предпочитают увидеть проявление проправительственной позиции Пушкина, но другие полагают, что поэт не столько приветствовал содеянное государем, сколько направлял его державную волю, следуя желанию приблизить встречу с друзьями.

Из чего исходил поэт? Скорбя о казнённых и сосланных в Сибирь друзьях, товарищах, братьях, он, однако, их не оправдывал. Пушкин понимал, что они повинны в военном мятеже и понесли наказание согласно принятым тогда судебным нормам. Так что закон есть закон.

Произвол Александра I отправил поэта сначала на Юг, а потом загнал в Михайловское. 6-летнюю опалу прервал вступивший на престол Николай I. С ним у Пушкина в 1826 году возникают надежды не столько на более либеральное царствование, сколько на больший правопорядок в государстве:

*В надежде славы и добра
Гляжу вперёд я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.*

Но правдой он привлёк сердца...

“Правда” для Пушкина объединяет здесь нравственные и правовые нормы. Спустя годы в дневниковой записи (1834), сопоставляя Александра I и Николая I, Пушкин отметит их принципиальную разницу, которая заключается в том, что захваченная незаконным путём власть лишает себя нравственной возможности осуществлять правосудие:

“... Покойный Государь окружён был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря... Государь, ныне царствующий, первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать”.

Утверждение права, которое предполагает милосердие, ни в коей мере не означало для поэта терпимости к правонарушениям. Власть, считал Пушкин, обязана соблюдать законы сама и требовать того же от подданных. Неспособность обеспечить правопорядок вызывала у Пушкина презрение. Почему у него такое отношение власти и правопорядку?

Да потому, что вся история России предшествовавшего столетия полна заговорами, дворцовыми переворотами, убийствами, порождавшими безнравственность и беззаконие, которое оказывалось источником великих бед

России в прошлом и настоящем. Таковое случалось не только с Александром I. Екатерина II вступила на престол в результате заговора и убийства своего мужа Петра III. Пушкин-историк писал по этому поводу:

“Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободрённые таковою слабостью, они не знали меры своему корыстолюбию... Отселе... совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста всё крало и всё было продажно. Таким образом развратная Государыня развратила своё государство”.

Тема противоправного захвата власти и его последствий неоднократно возникала в творчестве Пушкина: в “Борисе Годунове”, в повести “Дубровский”, в “Капитанской дочке”. Обращение к истории убеждало творца в неизменности того, что в реальной жизни беззаконие склоняет властителя к поступкам безнравственным и безответственным, порождая новые беззакония. Восприятие закона и особенно проявлений его в такой специфической сфере, как престолонаследие, во многом объясняет отношение Пушкина к Николаю I. Только от законного правителя он мог ожидать воплощения своих надежд на просвещённое, справедливое, милосердное царствование.

Но – и это немаловажно – в обществе всё больше сказывался раскол. Оппозиционные настроения ширились, охватывая определённую часть дворянства. Идея самодержавной власти и сама лояльность императору теряла своих сторонников. Пушкину, можно видеть, приходилось оправдываться за проявление своей приверженности Николаю I, которая воспринимались как подобо-страстие перед императором.

Осенью 1830 года как отклик на приезд Николая I в заражённую холерой Москву родилось стихотворение “Герой”, и поэт, публикуя его, не желает афишировать своё авторство. Поддержка царя звучит в центральном стихотворении на польскую тему – “Клеветникам России”. Патриотический пафос, мотив прославления мощи России, обращение к её былой и сегодняшней славе, резкие слова в адрес тех, кто извне призывал к военному вмешательству в русско-польские дела, и тема милосердия и достойного великодушия, проявленного победителем, вызвали оправданное желание автора представить произведение царю.

Однако Пушкин счёл неприличным лично передать его Николаю I или хотя бы подписать ему. Он воспользовался своим знакомством с А. О. Россет, которая входила в круг приближенных к Николаю I. Через неё царь, случилось, даже передавал Пушкину свои замечания о его произведениях. Так ли было в действительности, или отношения между ними приобрели характер приятельских много позже, в соответствии с известным принципом испорченного телефона, сегодня сказать с уверенностью нельзя. Бесспорны лишь два факта. Сама Александра Осиповна говорила: “Пушкин не мой поэт. Мой поэт Вяземский”.

Тем не менее, когда Пушкин напечатал свои известные стихи на Польшу, он прислал” ей “экземпляр и написал карандашом” записку. В ней высказался, будто именно от Россет узнал про “плен Варшавы”. Хотя в действительности о том, что Варшава взята, уведомила его “графиня Ламберт, которая жила в доме Олениной против Пушкина”. Позже в своих мемуарах это признает сама Александра Россет. Почему же Пушкин в записке сослался на неё? Можно предположить, что ход (сегодня его можно считать маркетинговым), избранный поэтом, гарантировал ему, что таким образом стихи будут непременно представлены императору. Ведь какая женщина устоит перед тем, чтобы не похвастать перед царём, что не без её участия родились на свет столь патриотические стихи...

После 1834 года прямо или косвенно относящихся к Николаю I стихов Пушкин не писал, их отношения продолжались, но впереди уже замаячила развязка, которая имела сугубо прозаический характер. Наглядным подтверждением тому стало пушкинское письмо министру финансов графу Е. Ф. Канкрину. Тема послания, на первый взгляд, банальная. Пушкин просит казну принять в счёт погашения его долга в 45 тысяч рублей нижегородское имение, пожалованное ему отцом. Это если читать слова, из которых сложены строки письма.

Но тот же самый текст окажется совсем не так прост, если читать написанное между его строк. Чтобы понять истинное содержание письма и уловить связь с реальностью, следует принять во внимание, что написано оно

6 ноября 1836 года, то есть через день после появления анонимных писем с “Дипломом Ордена рогоносцев”. Если учесть, что трагическая дуэль между Пушкиным и Дантесом произошла 27 января (8 февраля) 1837 года, то обращение к министру финансов случилось за два с половиной месяца до поединка. К конфликту с Геккеренами финансовая тема письма отношения никакого не имела. Там всё укладывалось в кодекс дворянской чести, чётко прописывающий порядок поведения в подобных ситуациях.

Тема денег касалась совсем другого лица – Николая I, потому что сумма была дана Пушкину в долг царём. Письмо содержало довольно однозначную комбинацию: долг желаю вернуть “сполна и немедленно”, а вот прощение долга – милость-подачку – принять не желаю. Заложенная в послание конфликтная составляющая легко прочитывалась. Реакцию царя предугадать было несложно. Поэтому в ответе министр предложение Пушкина назвал “неудобным”, сказав, что “во всяком подобном случае нужно испрашивать высочайшее повеление”.

Как это часто бывало у Пушкина, когда он писал письма на имя Бенкендорфа, имея в виду адресатом Николая I, так и тут строки, посланные министру, фактически обращены государю. В письме умолчание важнее содержания. На словах письмо о возврате долга. По сути оно недвусмысленно говорило: “Продолжать играть роль покладистого мужа, купленного царскими подачками, не желаю. Поэтому заberi свои деньги”. По логике содержащийся между строк смысл очень близок тем словам, что Пушкин обратит к царю при личной встрече 23 ноября: “... признаюсь откровенно, я и Вас самих подозревал в ухаживании за моей женой...”, – в которых слышалось желание охладить притязания царя.

Так что вопрос – кто был объектом возмущения Пушкина, Геккерены или государь? – не встаёт. Конфликт с царём решения не имел и не мог его иметь. Возмущение могло быть гневным, неутраченным, но в результате оставалось бессильным. Единственный, против кого Пушкин мог что-то предпринять, – это Дантес. Принципиально важно другое: несоразмерный гнев Пушкина на Геккеренов, хоть на старшего, хоть на младшего, хоть на обоих вместе, объясним лишь в том случае, если для Пушкина главная фигура в “Дипломе...” не он, а император (очевидный намёк на его связь с Натальей Николаевной).

Кровь ещё не пролилась, но ждать оставалось недолго. Можно сказать, что история о всем известной красавице и трёх мужчинах подошла к концу. Она подвела черту под закрученным сюжетом, где жизнь одного из них оказалась оборванной трагической дуэлью, которой он сам и добивался, второму судьба уготовила роль “стрелочника”, а третьему просто был не нужен скандал в благородном семействе, он мог позволить себе отойти в сторону.

Начиная с 23 ноября, когда, казалось бы, Пушкина и Дантеса удалось развести и в Аничковом дворце Николай I по просьбе Жуковского принял Пушкина, о жизни Александра Сергеевича можно слышать одни предположения. О самой встрече поэта и царя с глазу на глаз ни один из собеседников письменных воспоминаний не оставил. По слухам в кругу Пушкина, известно, что император будто бы принял сторону Пушкина и взял с него слово не драться. Одновременно все его друзья-приятели в один голос утверждали, что после разговора с государем Пушкин стал ещё мрачнее и раздражительнее. Что произошло между ним и царём во время аудиенции в Аничковом? Нет не то что фактов, нет даже намёков на них. Достоверны лишь два последовавших события. Пушкин нарушил данное царю обещание не доводить дело до дуэли, и он сделал условия поединка заведомо убийственными.

Как, почему принято это решение, чем оно мотивировано, что за ним стоит, неужели поэт рассчитывал, что именно его пуля окажется для Дантеса смертельной, а его ждёт ссылка, или наоборот, сам шёл на верную гибель? Здесь напрашивается только один ответ: сделанный им выбор в ряду других, повседневных, стал самым значимым в его короткой жизни.

Конечно, мы вправе недоумевать: зачем он прочертил такую её траекторию? И что тут сказать? Принимая беспрерывно ежедневно, ежечасно, ежеминутно свои решения, мы и творим свою непредсказуемую жизнь. Сами выбирая друзей и недругов, любимых и нелюбимых, решаясь на то или иное действие: отправляясь в поездку, решаясь на свидание (или отказывая в нём), читая ту или иную книгу (или не желая её вообще открывать), вступая в беседу (или, наоборот, избегая любых контактов с тем либо другим человеком), занимаясь делом (либо отказываясь что-нибудь делать, предпочитая, как

Обломов, валяться на диване), приступая к написанию произведения, сочиняя стих, размышляя над прозой, читая написанное вслух соседям и друзьям, давая советы (либо воздерживаясь от них), обращаясь за помощью или избегая её, мы, собственно, и формируем свою судьбу, которая включает в себя окружающих нас людей и поступки, какие мы в конечном счёте совершаем. Сильная личность тем и отличается от слабой, что способна принимать неординарные решения.

Вообще-то говоря, для Пушкина принять такое решение было актом свободы. Той самой, которую он всегда воспевал и к которой он стремился. Его жизнь нельзя представить и понять вне времени, в которое она произошла. Пушкин прожил свою жизнь именно так, как ему следовало её прожить, как он мог её прожить в конкретных исторических обстоятельствах.

Вл. Соловьёв, одна из центральных фигур в российской философии XIX века, размышляя о судьбе Пушкина и о личной нравственной ответственности человека, в 1897 году писал:

“Ни эстетический культ пушкинской поэзии, ни сердечное восхищение лучшими чертами в образе самого поэта не уменьшаются от того, что мы признаём ту истину, что он сообразно своей собственной воле окончил своё земное поприще. Ведь противоположный взгляд, помимо своей исторической неосновательности, был бы уничижителен для самого Пушкина. Разве не уничижительно для великого гения быть пустою игрушкой чуждых внешних воздействий, и притом идущих от таких людей, для которых у самого этого гения и у его поклонников не находится достаточно презрительных выражений”.

Статья, в которой появились эти строки, вызвала тогда немало печатных возражений. Позиция, заявленная в ней, по сию пору принимается далеко не всеми. Мысль, что Пушкин сделал осознанный выбор, затеяв заведомо смертельную дуэль, часто отрицается, что называется, с порога. Но даже в таком виде жизнь Пушкина предстаёт в виде мифа. Религиозная аргументация его представляет судьбу поэта как “провидение Божие”. Эстетическая аргументация, например, Ю. Лотмана склоняет к тому, что Пушкин создал “не только совершенно неповторимое искусство слова, но и совершенно неповторимое искусство жизни”. Лотману Пушкин видится “победителем, счастливецом, а не мучеником”.

Тем самым Юрий Михайлович предложил некую разнонаправленную альтернативу: или мученик, или счастливец. По принципу: или чёрное, или белое. Подход, напоминаящий его же взгляды на детство Пушкина. Лотману, как помним, Сашкин детство в семье виделось несчастливым, без всяких там оттенков и переходов. Отличие лишь в том, что детство Пушкина воспринималось им в тёмных тонах, а жизнь в целом – в светлых. Но “штриховать” судьбу Пушкина одним цветом будет необъективно. По той хотя бы причине, что в ней хватало и резких поворотов, всевозможных конфликтов и разных кульбитов, как изящных, так и грубоватых.

Победитель, по Лотману, и счастливец Пушкин, меж тем, должен был с невозмутимым спокойствием воспринимать следующие одна за другой волны обвинений его в подбострастии к императору. Должен был не чувствовать себя мучеником, читая в “Северной пчеле” болгаринские гадости, наподобие “Анекдота”, где чёрным по белому писалось, например, что Пушкин “чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтобы позволяли ему наряжаться в шитый кафтан”.

Ему вроде бы было не привыкать к нелестным пассажам в свой адрес. Чего только он не слышал на протяжении своей короткой жизни буквально с самого начала творческого пути. Вечно находились те, кого не устраивало чуть ли не каждое его слово. Помнилось, как критик, скрывшийся под псевдонимом “Житель Бутырской слободы”, возмущался “грубостью” “Руслана и Людмила”, называя поэму “гостем с бородой, в армяке, в лаптях”, затесавшимся в Московское Благородное собрание и кричащим зычным голосом: “Здорово, ребята!” В сознание нынешнего читателя, для которого пушкинские сказки вошли в фонд русской классики на правах шедевров высшего ранга, с трудом укладывается мысль о том, что они оказались напрочь не поняты почти всеми современниками сказок. Их называли неудачными, бледными, искусственными.

И вообще в Пушкине было, на взгляд окружающих, много лишнего. При этом самая важная и определяющая черта его натуры – он был готов про

кого угодно и где угодно сказать острое “словцо”. Эпизодов такого рода не счесть. Особенно знаменит следующий: 11 марта 1821 года Пушкин, Липранди и ещё несколько офицеров обедали у бригадного генерала Д. Н. Бологовского. Собрались отметить новоиспечённого подполковника Дерезинского, о производстве которого в тот день был получен приказ. Вдруг неожиданно для всех Пушкин, приподнявшись несколько, произнёс: “Дмитрий Николаевич! Ваше здоровье”. — “Это за что?” — спросил генерал. — “Сегодня 11 марта”, — отвечал полуосоловевший Пушкин. Никто тоста не понял, хотя за столом было человек десять, вспоминал Липранди, но генерал вспыхнул и сделался не в своей тарелке. Ровно за 20 лет до того обеда Бологовский стоял на карауле в Михайловском дворце в ночь на 11 марта 1801 года, когда задушен был император Павел, и сам принимал участие в убийстве. По уверению императора Александра I, Бологовский приподнял за волосы мёртвую голову императора, ударил её оземь и воскликнул: “Вот тиран!”

Странные эпизоды из жизни Пушкина, а позже анекдоты про него сохранялись в памяти людей много лучше того, что поэтом было написано. Впрочем, написано — вовсе не значит, что напечатано. Только 247 произведений, или 26% созданного, было опубликовано при жизни поэта. Остальные три четверти его наследия издавались на протяжении 150 лет после его смерти. Грустная статистика: Пушкин при жизни не увидел напечатанными 77% написанных им стихотворений, 84% поэм, 82% сказок, 75% пьес, 76% романов и повестей в прозе. Исторический по преимуществу писатель так и не увидел выпущенными в свет 98% своих исторических исследований. Из писем до нас дошла примерно треть, из дневников — четверть.

И это ещё не всё. Пушкинский период был дворянским: и окружение поэта, и нравы среды, и характеры людей, и литература, и общественное мнение. Соответственно, и главный герой времени был дворянин, человек, далёкий от прозаических жизненных забот. А новая русская литература (Пушкин именовал её “вшивым рынком”), которую мы ассоциируем с именами Булгарина, Полевого, Надеждина, идущая на смену дворянской, формировалась совсем иным слоем образованных людей — разночинной интеллигенцией. Это было другое “крыло” литературы, которое противопоставляло себя дворянскому: и как социальный слой, и как новая идеология. Её носителями зачастую являлись сторонники разномастных радикальных политических преобразований — либералы, демократы, прогрессисты, нигилисты, революционеры, социалисты. Каждый из них решал свои утилитарные задачи. Тем не менее, истиной и благом провозглашалось объединяющее их — то, что становилось орудием общественного переворота.

Народное благополучие, людское счастье, о чём высказывалось общественное мнение интеллигенции, оборачивалось на каждом шагу отрицанием дворянского просвещения, этики, культуры в широком смысле этого слова, потому что они стояли на пути заветного клича: “Долой самодержавие!” Лозунг этот роднил их с декабристами. Принципиальное отношение к идеям совершенствования на крови у Пушкина сформировалось ещё во время работы над “Борисом Годуновым”.

Ему объясняли, что век и Россия идут вперёд, а он топчется на месте, предлагая читателю “Домик в Коломне” да “Барышню-крестьянку”. То, что Пушкин стал поэтом действительности (за что его в 1830-е годы перестали понимать), эти другие не знали, да и знать особо не хотели. Для революционных демократов он был чужаком, вчерашним днём литературы. Почему? Поэт, околдованный историей, вглядывающийся в рисунок прошлого и изучающий приёмы композиций старины, считали провозвестники революции, не может быть соратником по борьбе. И вообще пиетет к историческому прошлому — занятие никчёмное. Поэт гражданином быть обязан, он должен глядеть в завтрашний день и своим словом приближать его. Нечто подобное Пушкин уже слышал ранее от друзей-декабристов. Наступать второй раз на те же грабли желания не возникало. Но и места себе в новой литературе Пушкин не находил.

Ситуация, если вдуматься, тривиальная, если исходить из пушкинских строк, увидевших свет ещё в 1828 году в стихотворении “Поэт и толпа”:

*Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,*

*Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.*

Тогдашние радетели прогресса не просто заметили эти строки, они страшно на них обиделись, вернее, из-за них обиделись на Пушкина. Ишь ты, “рождены для вдохновенья”. Поэт должен служить обществу, а не музам. Надо ли удивляться, что кому-то не без оснований кажется (об этом говорил ещё Александр Блок), что в своё время голос Белинского походил на голос Бенкендорфа именно в силу его утилитарности. Полагаю, сам же Пушкин наверняка находил тогда много общего между устремлениями декабриста Рыльева и суждениями всевозможных сторонников революции, готовых вырвать Россию из варварства. Каким образом? Смиренно признать свою отсталость и учиться всему у Запада. Сам Пушкин стоял на позиции, что у каждого народа своя физиономия, свой дух и путь.

Общественно-политические симпатии и антипатии, присущие Александру Сергеевичу, позволяют назвать его консерватором. Это заключение подтверждается пушкинским убеждением, что история творится не массой средних людей (“Жалкий род, достойный слёз и смеха! // Жрецы минутного, поклонники успеха!”), а избранными лидерами, теми, кто наделён тонким чувством исторической традиции и проникнут заботой о мирной непрерывности политического развития. Исходя из этого, Пушкин и в поэзии, и в политических размышлениях прославляет “разумную волю единиц, меньшинства, призванного управлять человечеством”, и презирает “чернь”, толпу, где господствует общее обывательское мнение.

Отсюда ненависть Пушкина к демократии (“народу”, который “властвует”; “большинству, нагло притесняющему общество”) в “её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве”, когда “всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству”.

Вторым компонентом пушкинского консерватизма было осознание им укоренённости культурного развития и творческого начала в традициях прошлого. Залогом величия человека служит любовь “к родному пепелищу”. Отсюда его презрение к той части придворного дворянства, в ком он видел временщиков, “прыгающих в князья из хохлов”. Далеко не всем власть имущим в любые времена такой подход Пушкина “к отеческим гробам” был по душе. Не вошли, к сожалению, в кладезь мудрых мыслей народа его слова:

“Я без прискорбья никогда не мог видеть уничижение наших исторических родов... Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ! Образованный француз или англичанин дорожит строкою летописца, в которой упоминается имя его предка...; но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездю двюродного дядюшки, чем историей своего дома, т.е. историей отечества. И это ставите вы ему в достоинство. Конечно, есть достоинство выше знатности рода — именно достоинство личное... Имена Минина и Ломоносова вдвоём перевесят все наши старинные родословные. Но неужто потомству их смешно было бы гордиться их именами?”

С консерватизмом Пушкина связана и его убеждённость в необходимости мирной непрерывности культурного и политического развития. К мыслям на эту тему он возвращался неоднократно. Достаточно вспомнить самые знаковые его высказывания:

“Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!”

“Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества”.

“Устойчивость — первое условие общественного блага. Как согласовать её с бесконечным совершенствованием?” (фр.)

Значит, консерватор? Но как тогда быть с его вожделием личной независимости и требованием свободы культурного и духовного творчества? Они вроде бы соотносятся с либеральными ценностями. А принципы духовной независимости личности и невмешательства государства в сферу духовной культуры? Они ведь тоже из той же колоды. Как и утверждение независимости личности в частной жизни. Пушкин в определённой мере готов был пожертвовать

политической свободой, но жить без семейственной неприкосновенности (*inviolabilité de famille*) — считал невозможным. Плохо представляя себе реальную жизнь сосланных в Сибирь декабристов, он, однако, по-писательски размашисто в письме жене, зная, что его прочтёт не только Натали, определит самоощущение: “Каторга не в пример лучше”.

Случившееся с Пушкиным стало как раз расплатой за то, что он, надо признать, не был ни консерватором, ни либералом, не стремился стать ни западником, ни славянофилом. Он был тем самым гением с тонким чувством исторического бытия, который, не имея желания примкнуть к какому-то одному лагерю, исходил из непризнания права на революцию. Ни для кого. Ни для царя Петра I. Ни для друзей-декабристов. Ни для тех, кто под разными флагами и лозунгами шёл им на смену.

Пушкин оказался, можно сказать, “последним из могикан”, кто верил в то, что духовная ценность художественной литературы основана на независимости и чувстве чести, храбрости и благородстве, носителями которых являлись русские писатели-дворяне. “Нужны ли они (эти качества. — **А. Р.**) в народе так же, например, как трудолюбие? — спрашивал он, и сам же отвечал: — Нужны, ибо они *sauve garde** трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества”.

Характерно, что ценность старинного родового дворянства всегда рассматривалась Пушкиным с точки зрения общегосударственного и культурного интереса. При этом он резко отвергал все эгоистические сословные притязания дворян. Единственной привилегией, по мысли Пушкина, должна была оставаться наследственность дворянства, которая служила гарантией его независимости, тогда как “противоположное есть необходимое средство тирании, или, точнее, бесчестного и развращающего деспотизма”, считал он.

В этой связи главным политическим условием нормальной государственно-общественной жизни им выдвигалось общее требование прочного правопорядка. Сегодня кому-то кажется странным, но Пушкин, вечно вынужденный отражать нападки цензоров (среди которых первым был Николай I), тем не менее обосновывал даже правомерность цензуры. Правда, при этом он подчёркивал необходимость, чтобы “устав”, которым цензура руководствуется, был не только “священ и непреложен”, но ещё и, говоря современным языком, прозрачен.

Пушкин, по сути, требовал ясного и чёткого разграничения цензурного контроля от эстетической и моральной опеки. “Эк куда хватил! Ещё умный человек!” — сказал бы по этому поводу гоголевский Городничий, уверенный, что и спустя 100 лет решение проблемы немногим сдвинется с места. Надо понимать, генерал-губернатор не зря направил в столицу представление на должность именно его, Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского, а там Сенат назначил его главой уездного города. Что-что, а он прекрасно понимал, что в России не просто “горе от ума”, а смертельно опасно родиться с душой и талантом.

С момента появления Пушкина “свободно, под надзором” в Москве можно заметить, что в его жизни *бывали странные сближения*. Чем внимательнее их рассматриваешь, тем больше многое кажется удивительным. Впечатляет, например, факт — явно неординарный и потому вызывающий недоумение, — что в первый же рабочий день после венчания на царство от нового императора Николая Павловича Романова следует распоряжение: “Пушкина призвать сюда”. Что, других, более важных забот нет? Выходит, своё царствие Николай I начинает с Пушкина. Дело случая? Или продуманный, чем-то обусловленный, может, даже вынужденный шаг?

Пушкинские современники, литературные ретрограды, называли отвратительными поэмы молодого автора, содержащие просторечия и фольклорные элементы. Позже стали говорить, что дерзкий Пушкин посмел невероятно расширить лексикон. В пору моей молодости звучало, что Пушкин был реформатором русской литературы и русского языка. Сегодня я смею думать, что ни о каких реформах, будь то литературы или языка, он не помышлял. Революции и в этой области он не желал. Писал, как думал. Думал играючи. Любил играть словами, не почитал за грех включать в игру и европейские слова. При этом оставался самим собой: отстаивая народность литературного

* *sauve garde* — охрана (фр.).

языка, Пушкин избегал, что было для него естественно, крайностей. Его противники полагали, что это они с разных сторон “клюют” Пушкина, и надеялись его “заклевать”. А он не в шутку, а всерьёз боролся как против карамзинского “нового слога”, так и против “славянщины” Шишкова и его сторонников:

“Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали”.

“Истинный вкус состоит не в безотчётном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности”.

И русский язык сделал свой выбор – он отдал предпочтение Пушкину, пошёл следом за ним.

Какого из *странных сближений* ни коснись, в каждом всё сходится – и вокруг факта самой гибели Пушкина, и вокруг последних дней его жизни, и вокруг трактовок его судьбы последующими поколениями. Вера, как известно, важнее правды. Особенно в ситуации, когда правда противоречит тому, что мы принимаем на веру. Трудно отделаться от мысли, что будь нам доподлинно известно, каковы реальные причины (или причина) ухода Пушкина из жизни, кто автор “Диплома Ордена рогоносцев”, почему поединок на Чёрной речке сопровождала целая цепь случайностей (и случайностей ли?), мы могли бы...

Что мы могли бы? Лучше понять Гения? Вмешаться? Что-то исправить? Не допустить? А он сам хотел этого? Не уверен. Но мы всё же пытаемся...

Ничего нам не объяснив, Пушкин сделал свой выбор. А мы всевозможными гипотезами и версиями, путём интерпретации косвенных данных, а то и просто придумками (потому что данных нет) хотим нарушить его последнюю волю. Причём зачастую автор какой-нибудь новой гипотезы выдаёт её за непреложный факт. И почти всегда при этом мы имеем дело с идеологизированным подходом. Сколько раз я сталкивался с тем, что, вбрасывая только одну возможную интерпретацию, автор подаёт её не как предположение, а как якобы “доказанный” факт. Однако про все иные версии “забывает”, других как будто и нет. О том, насколько это ненаучный подход, и говорить не хочется.

Гипотез, связанных со смертью Пушкина, масса. Какая из них более правдива? Понять это уже невозможно: информация о дуэли и причинах, приведших к ней, уже давно “функционирует” по правилам современных информационных сетей, когда десятки мнений и свидетельств опровергают друг друга. Одно бесспорно: что гибель Поэта по сию пору является живой болью для большинства россиян.

Так случилось – после гибели поэта очень быстро заговорили о том, что внешние условия Пушкина, несмотря на цензуру, были исключительно счастливыми. Что вражда светской и литературной среды к Пушкину преувеличена. Что не Уваров, Бенкендорф, Кукольник и Булгарин представляли свет. Что едва ли был когда-нибудь в России писатель, окружённый таким блестящим и многочисленным кругом верных друзей, людей из его среды, понимающих и сочувствующих. Ведь находились рядом с ним Виельгорские, Вяземские, Жуковский, Гоголь, Баратынский, Плетнёв. Было ли так на самом деле? Увы, нет! Можно предположить, что окружение Пушкина после его смерти предполо, чтобы о них говорили только хорошее.

Живут по сей день ещё два взаимоисключающих мифа: один – о прекрасной любви великого поэта к красавице; другой – о муках Поэта, жена которого не вынесла тяжести повседневности жизни с Гением. А в действительности случилась странная история: внешне семейная коллизия – вроде про любовь, а любви-то и нет как будто, одни деньги, долги да пустые хлопоты, мешающие Гению заниматься делом, предназначенным судьбой. И одновременно роман века, как я назвал для себя семейную историю Пушкина и Натальи, а сам Александр Сергеевич счёл возможным обозначить тремя словами “Проклятая штука счастье!...”

Наверно, нелишне будет отметить, что понятия о добре и зле у разных людей имеют довольно пёстрый характер. Соответственно, столь же противоречивы мифы, высвечивающие то или иное отношение к людям и событиям. К примеру, история показывает, что на протяжении веков всё, что полезно для России, будь то наведение порядка внутри государства или отстаивание интересов нашей державы на мировой арене, одними постоянно осуждается, как не следующее неким нормам; другими, наоборот, восхваляется, иной раз безмерно, как деяние, устремлённое к идеалу.

Один из самых жёстких мифов о Пушкине тяготеет к мысли, что в 1831 году Пушкин отходит от прежних друзей и единомышленников. Хотя справедливее было бы сказать, что не Пушкин отходил, а от Пушкина отходили “прежние друзья”, которые сочли, что поэт перестал быть выразителем того, что почитается европейскими ценностями. По сей день можно слышать упреки, что вслед за женой он тогда стал стремиться жить светской жизнью, а свет диктовал свои условия. Мол, платой за связи, протекцию, частые контакты с высшей знатью, министрами и самой царской фамилией оказалось его приспособление к их образу мыслей. Отсюда-де возник другой Пушкин, то и дело обращающийся к Бенкендорфу и жаждущий доказать свою лояльность.

Ещё бы! “Друзей” шокировало появление стихотворений “Клеветникам России” и “Бородинская годовщина”, поводом для создания которых стали призывы ряда депутатов французского парламента к вмешательству в военные действия на стороне польских повстанцев против русской армии и известие о взятии ею Варшавы.

Дошло до того, что Долли Фикельмон перестала с Пушкиным здороваться. Неприязненно воспринял “Клеветникам России” и А. И. Тургенев. А огорчённый этими стихами Вяземский, сразу охладевший к поэту, пишет Хитрово: “Станем снова европейцами, чтобы искупить стихи совсем не европейского свойства...” Он тогда даже занёс в свою записную книжку горькие для него размышления о неминуемых последствиях от таких стихов Пушкина:

*“За что **возрождающейся Европе** любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию, нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем к ней. **Народные витии**, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим, или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим”.*

Если не знать, что строки эти написаны 22 сентября 1831 года, можно предположить, что дата их рождения – осень 2019-го. Это к вопросу о том, что (как заметил в стихотворении “Опытная Соломонова мудрость, или Выбранные мысли из Екклесиаста” (1797) Николай Михайлович Карамзин) “ничто не ново под луною: // Что есть, то было, будет ввек”. И ещё о том, что предвставить и понять атмосферу того времени нам не так уж и трудно.

Переключка времён вовсе не притянута здесь за уши. Во всяком случае, политические аллюзии донельзя очевидны. Прозорливее многих “русских европейцев”, обвинявших Пушкина в отсталости, оказался Чаадаев, когда писал поэту в непростую для того минуту:

“Мой друг, никогда ещё вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы – национальный поэт; вы угадали, наконец, своё призвание. Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать. <...> Я не знаю, понимаете ли вы меня, как следует? Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нём больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране”.

Стихотворение “Клеветникам России”, действительно, было благосклонно встречено Николаем I. Но у Пушкина тогда возникло не только желание напроситься в дворники дома Петра Великого в нидерландском Саардаме. У него мелькнула иллюзорная мысль о возможности оказать влияние на правительство. Подумалось о заманчивой возможности соединить мощь власти и неподкупность слова честных русских литераторов. Каким образом? Через Бенкендорфа Пушкин обратился к Николаю I с просьбой разрешить ему издание официальной политической газеты. И вроде бы к проекту Пушкина проявили интерес. Но кто и каким образом? Разрешение было дано, но среди поддержавших идею оказались вчерашние арзамасцы Блудов и Уваров, сотрудничать с которыми Пушкин желания не имел. И он остыл к своему замыслу. А затем и вовсе от него отказался.

Мысль, что наша цель – “быть европейцами”, она ведь не сегодня родилась. И даже не в пушкинскую эпоху. Но уже тогда инакомыслящие вынуждены были выслушивать не только обвинения в нежелании мерить всё по эталонной европейской мерке (ведь в Европе всецело властвуют передовые идеи), но и сопутствующие требования предать забвению собственную историю и традиции своего народа.

В дни горячих “споров” не с одним князем Вяземским Пушкин дал жёсткий поэтический ответ всем, кто Европу любит больше, нежели Россию, потому что она им не по вкусу. Эти строки не увидели света при жизни поэта. Черновик стихотворения был опубликован (под заглавием “Полонофил”) лишь в 1903 году в виде, требовавшем реконструкции. Эту работу проделал много позже С. М. Бонди. И в окончательном виде оно было напечатано лишь в 1987 году (в угловых скобках помещены слова, реконструированные С. М. Бонди):

*Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды <чистый> лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.*

*Когда безмолвная Варшава поднялась,
<И ярым> бунтом <опьянела>,
И смертная борьба <меж нами> началась
При клике: “Польшка не згинела!” —*

*Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда <разбитые полки> бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести.*

*<Когда ж> Варшавы бунт <раздавленный лежал>
<Во прахе, пламени и> в дыме,
Поникнул ты главой и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.*

Стихи более чем убедительно доказывают, что примирение русскости с западным “просвещением” в ущерб русскости (на чём настаивали доморощенные европейцы, без пяти минут интеллигенты, обвинявшие поэта в отсталости) было для Пушкина невозможно.

В сегодняшних терминах подобная эволюция взглядов заслужила бы тираду, мол, от либерализма, характерного для поэта в молодые годы, он вернулся в сторону глубокого осознания традиционных моральных ценностей. И это стало, надо признать, ещё одной причиной среди прочих, по которым он вышел на свою последнюю дуэль. Потому что утверждать, будто дуэлью Пушкин пытался оградить жену от жизненных невзгод, защитить оскорблённую честь большого ребёнка, имеющего, меж тем, уже четверых детей, значит, самим спускаться на “детский уровень”.

В 1900 году было опубликовано письмо поэта и философа, основоположника раннего славянофильства А. С. Хомякова к Н. М. Языкову, написанное 1 февраля 1837 года, всего через 5 дней после выстрелов на Чёрной речке, то есть тогда, когда пушкинская трагедия была горяча и требовала от каждого безразличного своего осмысления. Оно увидело свет почти на 10 лет раньше, чем Борис Модзалевский всерьёз заговорил на эту тему. Но времена после гибели Пушкина изменились, и суждения обоих уже как-то не вписывались (да и сейчас они традиционно воспринимаются многими неодобрительно) в картину приторного умиления от одного имени поэта:

“Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему очень хотелось рискнуть жизнью, чтоб разом от неё отделаться или её возобновить. Его Петербург замутил всякими мерзостями; сам же он себя чувствовал униженным и не имел ни довольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтобы с ним помириться”.

Бесспорно, гибель Поэта в этой внешне семейной коллизии, — вывод, какой прозвучит много позже, — была в полном смысле слова исторической трагедией. Но прежде, подчеркну, это была величайшая личностная трагедия Поэта, который “в плоть одел слово “Человек””. Поэта, который ушёл *недолюбив, не дописав...*

Понятие “миф” не всегда имело уничижительный оттенок, обозначая необоснованное утверждение, лишённое опоры на надёжное доказательство. Если исходить из того, что главное в мифе — это всё же содержание, а не соответствие историческим свидетельствам, то пусть не основным, но важным в нём будет отправная точка, которая способна стать началом повествования

на ту или иную тему. В этом смысле миф по смыслу близок тому, что мы называем гипотезой.

Самая большая мифическая смута происходит непосредственно вокруг дуэли. Основная масса мифов рождена тем, что многое в тот день по непонятным причинам, как говорится, пошло не так и сопровождалось необъяснимыми странностями.

Странно, что виновным в смерти поэта вот уже сколько времени признаётся Дантес-Геккерен-младший, тогда как известно, что, получив от Пушкина оскорбительное письмо, оба Геккерена бросились за советом к старому графу Строганову, и тот уверил их, что в такой ситуации нужно стреляться. После чего не Пушкин вызвал Дантеса, а Дантес вызвал на дуэль Пушкина. Приходится признать, что этот факт остаётся необъяснимым, если мы будем оставаться при мнении, что причиной трагедии была ревность Пушкина. Если бы гнев Пушкина был адресован Дантесу, вызов был бы послан непосредственно ему, как это и произошло в ноябре.

Но всё это время проявлений ревности или недовольства по отношению к жене в Пушкине не наблюдалось. Могло ли такое быть, если бы речь шла о ревности к Дантесу? Ничуть. Но если причиной было поведение царя – ситуация видится принципиально иной.

Кое-кто считает странным, что секундант Пушкина, Данзас, ничего не сделал для примирения противников, больше того, не предотвратил убийство Пушкина, хотя мог донести о дуэли властям, но не сделал и этого. Да, Константин Данзас был всего лишь лицейским приятелем, но вовсе не близким другом Пушкина. Что касается примирения, то, согласившись быть секундантом, он следовал указаниям Пушкина и дотошно разрабатывал с секундантом противной стороны д'Аршиаком условия *“смертельной дуэли”*. Упрекать его в этом не приходится. Довольно неуклюжий на вид, он в Лицее имел прозвище *“Медведь”*, в том числе за то, что с равнодушием относился ко всему происходящему вокруг. Доносить же о дуэли для боевого офицера было неприемлемо. А вот пострадать за недоносительство, наоборот, было нормой.

Странно другое: он, вопреки дуэльным правилам, почему-то не озаботился присутствием на месте врача и кареты (раненого поэта пришлось увозить в экипаже Дантеса-Геккерена). Странно, что сходитья противники начали по сигналу, данному Данзасом, – он махнул шляпой, – тогда как следовало считать до трёх, после чего уже должны были последовать выстрелы.

Странно, что Дантес выстрелил, не дойдя до барьера (брошенной на снег шинели), тогда как было условлено, что противники должны стрелять одновременно.

Странно, что, договорившись об условиях *“смертельной дуэли”*, секунданты зарядили пистолеты меньшим количеством пороха в надежде, что так полученные ранения окажутся лёгкими, тогда как при реконструкции дуэли Пушкина и Дантеса учёным удалось установить, что именно это стало причиной смертельного ранения. Если бы заряд пистолетов был обычным, то пуля, застрявшая в животе у Пушкина, прошла бы навывлет, не причинив смертельного вреда. А вот ранение Дантеса от срикошетившей пули закончилось бы летальным исходом.

Станным кажется назначение умирающему Пушкину пиявок, только усилившее кровопотерю и анемию. И это в ситуации, когда у его постели (точнее, у дивана) собрался, как в таких случаях говорят, цвет медицины – начиная с лейб-медика Арендта, ранее поставившего неверный диагноз заболевшему Дельвигу. Казалось бы, доктор, который имел громадную практику в городе, поскольку был опытейшим хирургом (со слов современников, он был *“баснословно счастливым оператором”*), не предпринял попытку извлечь пулю, что тогда уже умели делать. Вместо этого Николай Фёдорович предпочёл стать посредником между раненым Пушкиным и царём.

Есть мнение, что именно слова Арендта убили в Пушкине-пациенте волю к жизни, когда он прямолинейно высказался: *“Я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды”*. Нельзя исключать, что Александр Сергеевич хотел услышать другой ответ. Но после этих слов он предпринял попытку самоубийства. Собравшиеся вокруг умирающего позже восторгались мужеством, с каким Пушкин переносил жуткие боли, а он как раз и не желал их терпеть.

Впрочем, и современные медики расходятся во мнениях, можно ли было спасти его даже в наши дни. Многие специалисты сходятся на том, что ранение было безнадежным, и в результате поэт умер от сепсиса, вызванного перитонитом.

О том, что при вскрытии тела Пушкина пулю не извлекали, известно по утверждению Владимира Даля. Странно, что возможность сейчас найти её и точно определить, из какого оружия стреляли и смертельно ранили поэта, а следовательно, и кто стрелял, другими словами, верно ли предположение, что стрелял снайпер из ружья (такая гипотеза высказывалась неоднократно), никого не интересует. А ведь, исходя из траектории пули, напрашивается вывод: она пришла не со стороны Дантеса, а сбоку, следовательно, выстрел был произведён кем-то третьим, и не из пистолета. Судя по всему, снайпер стрелял из стоявшего неподалёку сарая.

Слышатся голоса, что вскрывать могилу кощунственно. Но мы знаем о вскрытых могилах Ивана Грозного, Тамерлана, а в Европе извлечены из могил и изучены останки Рафаэля, Петрарки, Данте, Шиллера.

Со времён Пушкина прошло уже столько десятилетий, что они начали складываться в века. И надо признать: мало что изменилось. Вряд ли получится досказать, доказать, докопаться до многого из того, что тогда было в реальности, о чём лишь вскользь и бегло упоминали современники поэта. Даже зная больше, они зачастую говорили и записывали куда меньше. Одни лакуны были продиктованы цензурой, другие – недостатком понимания происходящего, кто-то умалчивал или смягчал, кто-то врал, желая ввести в заблуждение, кто-то из своих соображений цедил сквозь зубы, потому что не питал симпатий.

Была ещё одна причина для пробелов в оценках и просеивания фактов. Она и по сию пору имеет место в работах о Пушкине. Я даже не имею в виду политическую составляющую, изменчивую даму, в разные времена примеряющую шляпки разнообразных фасонов. Но нельзя отрицать, что всегда писалось и говорилось с оглядкой на общественное мнение, с учётом, что на тебя может обрушиться общественное негодование. “Недопустимая откровенность” никогда не приветствуется – так уж устроено человеческое сообщество.

Каждого, забывшего об этом, подстерегает возмущение, в лучшем случае – тихое, а нередко и агрессивное. Причём не только в сторону переступившего порог “разрешённого”, но и в адрес того, о ком были его слова. Не сделать хуже, не нанести вред памяти великого поэта – мотив не из последних, который многими знавшими и окружавшими Пушкина принимался в расчёт, когда они брались за воспоминания о нём. Самый простой и очевидный пример – знаменитые “Записки о Пушкине” лицейского одноклассника и преданного его друга Ивана Ивановича Пущина.

В 1855 году пророческое письмо о вынужденном замалчивании, об “умышленных непрочтениях” (как текстов поэта, так и страниц его биографии) адресовал современникам и потомкам один из ближайших друзей поэта С. А. Соболевский:

*“Публика, как всякое большинство, глупа и не помнит, что и в солнце есть пятна; поэтому не напишет об покойном никто из друзей его, зная, что если выскажет правду, то будут его укорять в недружелюбии из всякого верного и совестливого словечка. <...> Итак, чтобы не пересказать лишнего или не досказать нужного – каждый друг Пушкина должен молчать. По этой-то причине не пусть пишут об нём **не знавшие** его <...> то есть мало касаясь его личности и говоря об ней только то, что поясняет его литературную деятельность”.*

Написанные почти через два десятка лет после гибели Пушкина слова Сергея Александровича удивительным образом стали сбываться ещё в тот момент, когда поэт лежал на смертном одре в своём рабочем кабинете в доме на набережной Мойки, 12.

Теперь мы знаем: роковой выстрел за Чёрной речкой, отняв у России 37-летнего Пушкина, лишил её не комплексующего грешника с бешеными страстями, который пил, курил, постоянно волочился за женщинами, богохульствовал, был азартным игроком, а божественного Пророка. Пророка не придворного, а общенародного.

Повторю: он хотел от жизни не славы, не почестей, а совсем уж чего-то нереального, слишком многого: права на спокойствие и свободу, на творческий простор. Хотя, почему “слишком”? Для его гения это было в самый раз. Не вышло – ишь чего возжелал!

Однако и в часы душевной тяготы, когда наваливался страх смерти, и в часы просветления Муза к нему являлась. Он с благодарностью принимал её в любом состоянии.

Но одно он понял только на смертном ложе: умирать оказалось не страшно, жить в последние годы было куда страшней.

ЭДУАРД АНАШКИН

ТРЕВОЖНОЕ НЕБО СИБИРИ

О книге критики и публицистики В. Семёновой “Под небом родным и тревожным”

Пристальным вниманием к творчеству и судьбам писателей-сибиряков, чьи имена стали знаковыми для современной русской литературы, отмечена новая книга Валентины Семёновой, выпущенная в серии “Моя Сибирь” издательством “Вече”. Достаточно назвать два имени – Распутин и Вампилов, – и всё становится ясно. Это фактор душевного и духовного сопричастия. А вот фактор профессиональный состоит в том, что Валентина Семёнова при всей своей любви к литературе, никогда не уходила от острых вопросов современности. Ведь именно острые вопросы и делают литературу современной и актуальной. Многие очерки и статьи прежде, чем стать книгой, прошли проверку в известных литературных журналах, как региональных, так и центральных: “Сибирь”, “Наш современник”, “Простор” и других...

Возможно, кто-то, увидев обложку книги, спросит: “Почему это родное небо видится писателям тревожным?” Да ведь потому, что оно – родное и остаётся родным, хотя его безоблачное сияние порой сменяется шквалом из дождя и снега.

О том, что тревожит наше сибирское и российское литературное и жизненное небо, честно написано в книге Семёновой. А название этой книге дал, что совсем не удивительно, очерк о роли Валентина Григорьевича Распутина в жизни земли Иркутской. Конечно, Распутин – писатель не просто всероссийского, но и мирового уровня. Но тем более интересно читателю, каким образом это мировое литературное явление, которое в мире называют Валентин Распутин, связано со своей малой родиной.

Я бы назвал Распутина не просто явлением литературы. Это явление русской природы, русского духа, связанного с природой. Отсюда и такое разнообразие граней распутинской темы, которое отражено Семёновой: “Распутин и Иркутск: защита памятников старины”; “Распутин и Байкал: борьба с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом”; “Распутин и православный “Литературный Иркутск””; “Распутин и Восточно-Сибирское книжное издательство”; “Распутин и Дни русской духовности и культуры “Сияние России””; “Распутин и альманах “Тобольск и вся Сибирь”...”

Сибирь была и осталась навеки главной любовью Валентина Григорьевича... Ныне становится всё безлюднее эта великая земля, на которой выпала честь родиться героям книги Семёновой. Давая России ресурсы для жизни, Сибирь, как мать, изнемогающая под тяжестью забот о детях, сама делается слабее. А ведь слова о том, что могущество России будет прирастать Сибирью, сказаны не вчера. И сегодня они актуальнее, чем были раньше! И речь

не только о материальном, ведь ресурсы сибирские – не только нефть, газ, золото, алмазы и прочее, что Господь в изобилии дал благословенной земле. Это, в первую очередь, сибиряки. Люди совершенно особенного склада, я бы сказал – русские люди в наиболее полном их воплощении! Сибирь, словно некий таинственный тигель, выплавляет людей высокого алмазного достоинства. Достоевский без сибирской ссылки не стал бы тем Достоевским, перед которым склонилась не одна Россия, но и весь мир. Чем был бы XX век великой русской литературы без писателей-сибиряков – Распутина, Вампилова, Астафьева и многих других?..

Будучи при жизни признан русским классиком, Распутин никогда не восседал в *башне из слоновой кости*. Он был не наблюдателем, но творцом современности, и не только в литературе. Он жил и творил в потоке самых актуальных проблем своей страны. Кто-то скажет, мол, отнимал золотое время и талант от возделывания русского литературного поля. А я не соглашусь! Ведь жизнь питала распутинский гений, потому всё, что создавал классик на ниве словесности, было так живо воспринимаемо народом, во благо которого он тратил свои силы.

Поднимать огромную тему – Распутин и его малая родина – дело непростое и очень ответственное. Тут нужна и широта кругозора, и скрупулёзность при рассмотрении фактов и деталей. От души хочу поклониться Валентине Семёновой за то, что она взялась за этот гуж! Ведь то, что перечислено выше, – это далеко не вся распутинская тематика. Сюда следует добавить и Аталанку с Усть-Удой, порт Байкал, Иркутскую православную женскую гимназию и Иркутскую областную библиотеку им. И. И. Молчанова-Сибирского. Добавить сотрудничество писателя с издательством Сапронова, с иркутскими театрами... И всюду он был своим, родным!

Книг о Распутине сегодня пишется немало, благо живы ещё люди, которые имели счастье знать его лично. Я и сам, грешный, не мог удержаться, чтобы не рассказать современникам, каков он, “мой” Распутин, которого я увидел впервые совсем молодым человеком на том легендарном Читинском зональном семинаре начинающих писателей. Но то, как пишет Семёнова о Распутине, отлично от многого, сказанного о нём, именно своей добротной хрестоматийностью. В том числе и тем, как органично вписана распутинская тема в тему сибирской литературы, не подминая её под себя, а высвечивая лучше.

Первая статья, открывающая книгу, “Оправдание или спасение?..” является своего рода личной духовной платформой автора в осмыслении литературы, жизни общества и конкретного человека. Эта статья о том, что заветы, данные в Библии, не только не устарели, но именно сегодня, когда каждый из нас делает свой выбор между добром и злом, без подсказок партии и прочих руководящих сил, именно сегодня можно соотносить нашу жизнь и литературу с канонами библейскими. Вся лучшая отечественная литература, в том числе созданная в советский, официально атеистический период, – православна по сути своей.

Из произведений наших выдающихся писателей исходит тот свет, который иначе как библейским и божественным назвать нельзя. Он пронизывает произведения, даёт им гарантию если не вечности, то очень-очень долгой жизни. Он уводит от вездесущей сиюминутной конъюнктуры. Соотнесение ветхозаветных и новозаветных заповедей в трактовке Семёновой поражает своей простотой и глубиной в применении к нашей стране. Это именно то, что люди старшего – нашего! – поколения привыкли называть человеческими отношениями, где поддержка, взаимопомощь, желание отдать себя на общее дело лежало в основе жизни. Когда слова “человек человеку друг, товарищ и брат” не звучали как анахронизм. Это движение настоящей литературы к человеку, к душе его, помощь в непростые времена. И движение души читателя навстречу Слову.

О том, какой вклад внесли писатели в духовную жизнь не только своего края, но и России в конце 1980-х – начале 1990-х годов, автор свидетельствует в беседе с составителем-редактором “Литературного Иркутска” – газеты, на несколько лет взявшей православное направление.

Читатели знают, как много потрудился Распутин в этом издании, но мало кому известно, что инициатором первого православного выпуска, посвящённого 1000-летию Крещения Руси, была молодая, но уже уверенно заявившая

о себе писательница Валентина Сидоренко. Это благодаря её энергии, с какой погрузилась она в православные источники, поднятые из редких фондов, вслед за первым появились новые выпуски и были привлечены к сотрудничеству современные авторы из богословской сферы, а также известные писатели России, кому был близок православный взгляд на действительность. В беседе прозвучали имена тех, кто входил в редколлегию, активно помогал выходу газеты, кто раскрывал важные темы с духовной точки зрения, и вся эта информация даётся, что называется, из первых рук.

Кто знает, прочти тогда внимательнее наша измотанная реформами страна статью Распутина “Интеллигенция и патриотизм”, вышедшую в январе 1991 года, и сделай правильные выводы, может, не произошло бы столь резкого падения под откос... В 1993 году “Литературный Иркутск” прогремел на всю страну тем, что опубликовал материалы круглого стола, проведённого совместно с авторами журнала “Наш современник”: Вадимом Кожиновым, Ксенией Мяло, Татьяной Глушковой, Игорем Шафаревичем. И, конечно, Валентином Распутиным. Горжусь, что у меня есть этот номер “ЛИ” – библиографический раритет, подаренный В. Семёновой, тоже принимавшей участие в издании газеты.

Надо сказать, что слова “от автора” содержанием книги подтверждаются полностью: всё, что написано – не плод “досужих размышлений”, а собственный опыт участия в событиях или свидетельство о них.

Особая боль исходит от страниц, посвящённых Восточно-Сибирскому книжному издательству, которому Валентина Семёнова отдала много лет. Его расцвет в 70-е годы и гибель в перестроечное время происходили на её глазах. В текст естественно вплетены воспоминания о том, как им с коллегами не удалось остановить обрушение. Спустя годы бывший редактор даёт своё видение катастрофы и говорит о важнейшей роли государственного издательства как регионального культурного центра, собиравшего литературные и краеведческие силы. При этом вовсе не отвергается и книгоиздательство частное. Просто у них разные задачи, считает автор.

Заголовок “*Быть или не быть* в Иркутске театру юного зрителя?” говорит сам за себя. Это написано по горячим следам борьбы иркутской общественности за назначение театра служить детству. И здесь авторский взгляд не сторонний, это личный опыт дискуссий в кабинетах чиновников и на газетных полосах, с обоснованиями и выводами.

Можно открыть книгу в любом месте – будет ли это статья об “Утиной охоте” А. Вампилова или о прозе А. Гурулёва, В. Нефедьева, В. Огаркова, поэзии Т. Суровцевой и А. Горбунова, или о постановках Распутина и Шукшина на иркутской сцене, или своего рода диалог со Ст. Куняевым о поэзии Серебряного века, переходящий в размышления об истоках творческого порыва, – везде чувствуется самостоятельность и взвешенность авторского подхода к оценке явлений, проблем, судеб. И потому не побоюсь сказать: книга Валентины Семёновой выходит за рамки местной литературы и убеждает, что понятие “малая родина” – далеко не только территориальное.

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ”, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

Мой заместитель по журналу Александр Иванович Казинцев, ревностно следящий за творчеством литературной молодёжи, близкой “Нашему современнику”, недавно опубликовал в нём свои обширные размышления о романе Андрея Тимофеева “Пробуждение”. Роман был напечатан в журнале в 3-м и 4-м номерах за 2019 год и быстро обрёл известность. В августе 2019-го в “НС” была напечатана большая рецензия иркутской писательницы Валентины Семёновой. А следом в прессе появилось столько откликов, что Александр Иванович не смог сдержать восторга: *“Роман вызвал живой отклик. 17 материалов в газете “Правда”, 2 статьи и 70 комментариев на сайте “Росписатель”, 2 рецензии в “Дне литературы”, по одной в “Нашем современнике” и “Красной весне” (газете движения “Суть времени”)*” (А. Казинцев в “Друзья и враги “Пробуждения””. Наш современник, № 3. 2020).

“Роман вызвал живой отклик...” – это правда. Но отклик отклику рознь. Мы в журнале по-настоящему ценим и публикуем те отклики, которые пришли нам по почте от стихийного читателя и почитателя, взволнованного той или иной журнальной публикацией и написавшего нам о своих оценках и чувствах. Именно такое искреннее простодушие радует нас. Именно поэтому я как главный редактор тридцать лет тому назад для переписки с друзьями журнала создал отдел, который у нас называется по-разному – “Слово читателя”, “Читательская почта”, “Нам пишет читатель”. Именно такая связь, которая начинает работать на тираж и популярность журнала, дорога нам. Читатель, порой неожиданно посылающий нам свой “отклик” о Распутине, Рубцове и других наших классиках, имеет совсем другую цену, нежели найденный для отклика функционер.

А 17 откликов в газете “Правда”, которыми гордится Казинцев, появились на страницах популярной газеты не “сами собой”, а благодаря усилиям старейшего сотрудника газеты “Правда” Виктора Кожемяко, давнего друга нашего журнала. Спасибо ему за помощь А. Казинцеву, который, пофамильно перечисляя авторов этих откликов, не забывает об их статусе: “А. Опанасенко, секретарь по идеологии Приморского райкома партии”, “Коммунист А. Крюков из Ростова-на-Дону”, “А. Александров, секретарь Тамбовского обкома КПРФ”, “Е. Мельников, член КПРФ из Орла” и т. д. Слава Богу, если эти коммунисты станут постоянными друзьями журнала, как стали ими сотни читателей России, с которыми я веду личную переписку многие годы, фамилии которых, если начну их вспоминать, едва ли уместятся на журнальной странице.

Но, как бы то ни было, отклики на страницах “Правды” — заслуга Казинцева, и я понимаю его, захотевшего ещё большего триумфа. Он, не дождавшись стихийных писательских писем о романе, заказал настоящую полноценную статью о романе Тимофеева не кому-нибудь, а известному воронежскому критику Вячеславу Лютому. Осенью 2019 года Лютый с охотой принял этот заказ, а спустя полгода с лишним рассказал мне, что, работая над статьёй, он пытался быть объективным, но в конце концов понял, что Казинцев ожидал от него другой оценки. После нескольких месяцев ожидания ответа от Казинцева Лютый узнал, что статья не будет напечатана в “Нашем современнике”, поскольку Александр Иванович почему-то отдал её в “Правду”.

— Я тогда, — сказал мне по телефону Лютый, — написал письмо Казинцеву с просьбой отозвать её из “Правды”, на что Казинцев ответил мне, что не может влиять на сотрудников “Правды”. Но ведь я писал не для “Правды”, а для близкого мне “Нашего современника”! — с горечью закончил Вячеслав Дмитриевич.

“Статью Вячеславу Лютому заказал я, — пишет Александр Казинцев в “НС”, — и предназначалась она для “Нашего современника”. Я знал Вячеслава Дмитриевича как вдумчивого критика, чуждого дешёвой патетики и в то же время обладающего широтой видения. Однако полученный материал заставил меня сомневаться в объективности В. Лютого”. Странная история! Вся вторая часть статьи Казинцева из “Нашего современника” (№ 3 за 2020 год), названная “Правдоискатели и мастера злословья”, посвящена не роману Тимофеева, а злополучной статье Лютого, как будто бы специально написанной по заказу Казинцева, чтобы разгромить её. Вот несколько антилютовских характеристик из казинцевской статьи: “Откровенная пошлость формулировки не слишком хорошо характеризует критика Лютого”, “В. Лютый совершает фундаментальную ошибку”, “Хочу напомнить Вячеславу Дмитриевичу, что профессионалы должны отвечать за свои слова”, “Лютый просчитался с точки зрения идеологии”, “Лютый неправ с художественной точки зрения”, “Лютый просчитался и с точки зрения социологии”, “К сожалению, Лютый этим пренебрегает...” и т. д.

По словам А. Казинцева, В. Д. Лютый использует мысли Чернышевского из романа “Что делать?” лишь затем, чтобы именем революционного демократа “гвоздить” (так у А. Казинцева) молодого писателя Тимофеева. И за это “преступление” В. Лютый получает от А. Казинцева гневное прозвище “Воронежский Зоил”. И такого рода язвительных и уничижительных по отношению к известному критику “шпилек” у Казинцева пруд пруди. Так в чём же дело? Может быть, Казинцев разозлился на Лютого за то, что тот не оправдал его надежд и не создал блистательного полотна, которое было соткано семнадцатью откликами, помещенными в газете “Правда”?

Допустим. Но почему наш опытнейший и добрейший соратник по журналу не понял, что гораздо естественнее было бы вернуть автору статью, а не становиться в позу “мастера злословия” и не устраивать Лютому публичную порку за статью, тобою же заказанную. И тобою же отравленную, словно в корзину, в газету “Правда”. Мне не верится, что причиной этому стала весьма “теплохладная” оценка Лютым романа Тимофеева. Скорее всего, Казинцева разгневало отношение Лютого к движению “Суть времени”, которое стоит в центре романа Тимофеева и о котором Лютый пишет если не сочувственно, то с объективностью историка: “Постепенно в сюжете романа начинают вырисовываться контуры политического движения под названием “Суть”, в котором угадываются черты кургиняновской организации “Суть времени”. Лидер и идейный вдохновитель этой “партии” носит фамилию Кургузов <...> модель нового общества и идеология “Сути” кажутся герою — в начале романа как бы со стороны, а в финале уже изнутри движения — достаточно убогими, схематичными, “кургузыми” <...> столкновение главного героя с внутренним обиходом “Сути” оказывается взаимно непримиримым”. А вот несколько “антикургузовских” отзывов из статьи Казинцева “Друзья и враги «Пробуждения»” о том, как речи “Кургузова-Кургиняна” действовали на героев романа Тимофеева: “Кургузов и его окружение программируют сознание участников”; “А дальше начинается обработка сознания”; “В его (Кургузова. — А. К.) словах была одна повторяющаяся мысль”; “Даже вдумчивый Володя поддается внушению: “живое ожесточение этих слов действовало на меня”; “Однако у него хватает здравомыслия, чтобы отметить “ожесточение” в речах руково-

дителя “Сути”; “В другой раз Володя выражается более точно – “безумное ожесточение”; “Лицо Кургузова замерло на экране, искажённое остервенелой гримасой”; “Имя Кургузова облагоде для членов ячейки магической силой”, – он, по словам Казинцева, “обольщает неспящих”, от его сторонников идёт “запах стаи”, и элита кургузовского движения “может только убивать тех, кто с ней не согласен”. Одним словом, тимофеевский Кургузов чем-то похож то ли на тургеневского Базарова, то ли на Верховенского из “Бесов”, то ли на исторического террориста Нечаева.

Простительно молодому писателю Тимофееву сочинять о “Кургузове” и движении “Суть” либеральные “фейки”. Но его наставник должен был бы помнить “допутинское” течение истории с конца 80-х годов прошлого века, когда Сергей Ервандович Кургинян (а не Сергей Владиленович Кургузов) как публицист, мыслящий историк, публичный оратор и режиссёр разоблачал и высмеивал “суть” горбачёвщины, ельцинизма и яковлевщины. Вспоминаю, как действовал Кургинян в восьмидесятые-девяностые годы, когда в 1988 году вступил в КПСС – в то время, когда из неё демонстративно дезертировали Ельцин и Шеварднадзе, когда ренегаты на глазах у всего народа жгли партбилеты, а он в это время уезжал в горячие точки – в Карабах, Вильнюс, Душанбе, чтобы гасить там пламя ненависти к Москве и России.

В сентябре 90-го года он разработал для Верховного Совета механизм репрессий и конфискации против дельцов теневой экономики, разрушающих страну. В те же дни он в союзе с Виктором Алкснисом подготовил для депутатского корпуса документ, называющийся “Стратегия национального спасения России”.

30 сентября 1993 года Сергей Ервандович обратился ко всем защитникам Белого Дома с предупреждением о готовящейся провокации, а во время штурма парламента находился в одном ряду с генералами Ачаловым и Макашёвым. Не получилось у них остановить в сентябре 93-го падение России в бездну, но все они вели себя честно и сделали всё, что могли, не испугавшись ни репрессий, ни клеветы, ни унижений. В те времена Кургинян словом и делом поддерживал коммунистов России во время президентских выборов 1996-го... А вспомним начало путинской эпохи, во время которой с блестящим знанием истории и с патриотическим воодушевлением Кургинян и его единомышленники Александр Проханов, Максим Шевченко и Геннадий Зюганов буквально уничтожали на телевизионных дуэлях в передаче “К барьеру!” своих либеральных противников – Сванидзе, Гозмана, Резника, Пивоварова и прочих выкорышей Березовского и Ходорковского.

Эти страницы борьбы за историю нельзя забыть. Как и события 2011-2012 годов, когда возникла прямая угроза антипутинского государственного переворота, когда проспект Сахарова и Болотную заполнили боровые и новодворские. Именно тогда чрезвычайными усилиями таких идеологов нашего патриотизма, как Проханов и Кургинян, на Поклонной горе и на Ленинских горах были продемонстрированы столь серьёзные возможности масс, что жаждающая либеральных реваншей тусовочная пятиколонная нечисть после её разгрома на Болотной площади отступила, скрипя зубами от бессилия... Да, Тимофеев, видимо, этого не помнит, но Казинцев... Неужели забыл, что именно в 2011-2012 годах Сергей Кургинян был и еженедельным автором газеты “Завтра”, и верным соратником Александра Проханова? Можно питать личную неприязнь к Кургиняну, как к человеку сложному и порой увлекающемуся своими представлениями о том, куда и как идёт история, но забывать о его вкладе в идеологическую жизнь страны в самое что ни на есть роковое время нельзя! “Кургузов” – это не Кургинян. Это безответственная выдумка автора романа “Пробуждение”, почему-то поддержанная Казинцевым.

Да и сейчас многие наши телевизионные поединки (“Время покажет”, “Вечер с Владимиром Соловьёвым”, “60 минут”, “Место встречи”, “Право знать”) становятся настоящей политически-исторической школой для участников и зрителей, когда на арене появляется Сергей Кургинян. Да, молодой писатель Тимофеев может не помнить многого из нашей многострадальной истории на рубеже XX и XXI веков. Но как может опытный редактор Казинцев соглашаться с тимофеевской точкой зрения на “Суть времени” и её создателя, когда он сам опубликовал в “Нашем современнике” несколько выдающихся работ Сергея Ервандовича? Вот они: “Финансовая война” (“НС”, № 5, 1991), “Ответное действие. Меморандум клуба “пост перестройки” (“НС”, № 7, 1992),

“Капкан для России, или Игра в две руки” (“НС”, № 2, 1993), “Второй фронт” (“НС”, № 9, 2007).

В сущности, Сергей Кургинян вместе с Сергеем Кара-Мурзой и Вадимом Кожинным, с Ксенией Мяло, Олегом Платоновым, Михаилом Лобановым, Александром Зиновьевым, с Леонидом Ивановым и Владимиром Бушиным выкладывал могучий историко-публицистический фундамент журнала. Сергей Ервандович под руководством ответственного сотрудника “НС”, отвечающего за раздел публицистики, напечатал в журнале лучшие свои работы. А что через несколько десятилетий он получил в награду? – Карикатурную фамилию “Кургузов”. О времена! О нравы!

* * *

Перелистываю пожелтевшие страницы “Нашего современника” и думаю о том, как нелегко было нам в эпоху перестроечной разрухи сохранять на страницах журнала объективную правду о “сути времени” и не утратить при этом свободу мысли. Вспоминается 1998 год, 80-летие Солженицына. Главный редактор принимает решение опубликовать об Александре Исаевиче статью Вл. Нилова, публициста из второй волны эмиграции, который (на взгляд главного редактора) бесстрашно и честно оценивал разрушительную роль автора “Архипелага...” в деле расчленения СССР.

– Ставим в номер! – сказал я.

Однако неожиданно для главного редактора и коллектива редакции, а также для значительной части читателей трое авторитетных членов редколлегии – Валентин Распутин, Игорь Шафаревич и Владимир Бондаренко – положили на мой стол коллективное письмо, в котором выразили своё несогласие с Вл. Ниловым и Ст. Куняевым. Они сочли, что такое “антисолженицынское” письмо недопустимо печатать в журнале, отмечающем 80-летие писателя. В противном случае они заявили, что выйдут из редколлегии журнала. Но главный редактор, очутившийся в труднейшем положении, так ответил своим друзьям: “Я напечатаю и статью Нилова, и ваше письмо. Но обращусь к читателям с просьбой, чтобы они высказались, кто прав и кто виноват в “споре славян между собой”. Так оно и случилось: большинство читателей при всём их уважении к легендарной троице – Распутину, Бондаренко и Шафаревичу – согласились с моим решением. Вот что такое, на мой взгляд, свобода мысли и свобода действия, чего я не нашёл в дискуссии о романе Тимофеева. Казинцев, наверное, помнит эту давнюю историю и, думаю, не обидится на меня, как не обиделись тогда Распутин, Шафаревич и Бондаренко, дорожившие своей и чужой свободой.

А что касается отношений с молодёжью, то я сам за свою литературную жизнь написал по меньшей мере несколько десятков предисловий к сборникам молодых поэтов, иногда по их просьбам, иногда по собственному желанию. Многие из моих питомцев стали весьма известны любителям поэзии – это Юрий Перминов (Омск), Николай Колмогоров (Кемерово), Владимир Скиф (Иркутск), Татьяна Брыксина (Волгоград), Надежда Мирошниченко (Сыктывкар), Василий Струж (Волгоград), Марина Струкова (Тамбов), Максим Ершов (Сызрань), Геннадий Морозов (Рязань), Владимир Урусов (Москва), Нина Карташева (Солнечногорск), Олег Кочетков (Коломна) и многие, многие другие. Давая им напутствие: “Доброго пути!” – я никогда не слушал ничьих советов (в том числе их собственных) и писал о них затем, чтобы помочь им понять самих себя, не диктовал и не поучал, но объяснял читателю сущность их дарования и характера. Этакой “отстранённости” я, видимо, научился у Пушкина, которого перечитываю всю жизнь и наизусть помню его размышления о смене поколений в нашей земной жизни из стихотворения “К вельможе”:

*Смотри: вокруг тебя
Всё новое кипит, бывшее истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить...*

А может быть, Александр Иванович “пошутил” и с Тимофеевым, и с Лютым, и с Кургиняном?

* * *

Мой комментарий к нашей внезапно возникшей дискуссии начался с “откликов” на них и заканчивается публикацией стихийных писем, пришедших из великой русской литературной провинции на электронную почту журнала. Читал ли их Казинцев – не знаю. Но меня эти “отклики”, никем не запланированные, возникшие стихийно, никем не заказанные, да ещё и требующие некоторой цензуры, привели, мягко говоря, в некоторое смущение. Печатать или не печатать? Но ведь их авторы столько души в них вложили! Ну, как не поверить чувствам нашей любимой поэтессы Дианы Кан, которая с неподдельной простотой и неожиданной пронизательностью, несвойственной женщинам, с душевным тактом и глубокой печалью пишет:

С недоумением (мягко говоря!) прочитала в мартовском номере журнала “Наш современник” текст заместителя главного редактора журнала Александра Казинцева. Во второй части публикации имеет место быть необъективное отношение к одной из работ выдающегося современного критика и многолетнего автора журнала “Наш современник” Вячеслава Лютого. Казинцев пишет, что Вячеслав Лютый якобы не оценил по достоинству роман молодого (35-летнего) прозаика Андрея Тимофеева. Весьма удивила столь эмоциональная реакция Александра Казинцева, поскольку по тональности статья Вячеслава Лютого весьма спокойная и аргументированная. И стало ясно, что Казинцев абсолютно далёк от концептуального понимания творчества Лютого. Ибо Вячеслав Лютый поднял профессиональный критический жанр до самодостаточного и поставил его в один ряд с “господскими” жанрами поэзии и прозы. Он потому и стал ярким явлением современной литературы, что своими эссе о том или ином поэте или прозаике говорит не столько об авторе, сколько через его тексты осмысливает тенденции и особенности выпавшей на нашу долю эпохи. И тут уж говорить о каком бы то ни было пристрастном, “личном” отношении критика к автору не приходится. Лютый своим творческим вкладом в отечественный критический жанр давно заслужил право иметь собственное мнение: это авторитет, признанный ведущими писателями России. А молодому прозаику Андрею Тимофееву выпала большая честь, что Вячеслав Лютый обратил внимание на его произведение и высказал своё мнение, к которому, если пишущий хочет творчески взростеть, ему надо, конечно, чутко прислушаться. Здесь сто́ит, наверное, поднять вопрос о некоей особой “зоне творческого комфорта”, куда ныне старательно пытаются поместить так называемых “молодых” писателей, выделяя их в специальную, привилегированную исключительно по причине возраста, категорию.

Что такое молодой писатель? Лермонтов погиб в 26 лет. Павел Васильев сгинул в аналогичном возрасте. Есенина убили в тридцать лет. Шолохов написал основные части своего гениального романа, даже не достигнув 30-летия... Но эти люди никак не входили в категорию “молодой писатель”. Это были подлинные мастера, очень и очень зрелые творцы!

Поскольку я немало работаю с литературной молодёжью, то часто бываю свидетелем того, как, к примеру, 20-летние поэты насмешливо отзываются о 30-летних, именуя их, скажем так, “старичками”. Возраст в литературе относителен. Можно быть молодым (в смысле, неопытным) писателем и в “сороковник”. А можно – зрелым мастером в 25 лет. Конечно, на фоне литераторов пенсионного возраста 35 лет – это почти юность. Я вообще категорически против разделения профессиональной писательской среды по полу, возрасту, конфессиям, регионам и так далее. Деление возможно только одно – по жанрам! Критик, поэт, публицист, прозаик, эссеист-очеркист... Всё остальное – подмена, которая и привела к тому, что профессиональные писательские союзы многими сегодня воспринимаются, как кружки по интересам. Да, хор пенсионеров и хор пионеров неплохи сами по себе. Но лишь в рамках самодельного творчества, не более того! Мы должны сохранить высокопрофессиональный подход к литературе и передать этот принцип следующим за

нами поколениям. Потому что никакой возраст и никакие связи (как и прочее) не сделают слабые тексты сильными, и наоборот.

Те же врачи, коль скоро сегодня по причине коронавируса они находятся в центре общественного внимания, делятся по специализации, а не по наименованию: молодые-неумелые (лечат, как могут) и пожилые-опытные. По специализации: кардиолог, терапевт, онколог... Да и среди кардиологов, в свою очередь, есть кардиохирурги, кардиотерапевты и т. п. И уж никак не “молодые кардиологи” и “опытные кардиологи”. Если вы пришли в поликлинику, а вам сказали: “Мы вас направляем к молодому врачу!” – а вы вообще-то собирались на приём к окулисту, то вы будете явно в недоумении!..

Поэтому эссе Александра Казинцева я, в определённой степени, считаю даже полезным. (! – С. К.) Потому как оно – информационный повод задуматься и поговорить о недопустимости каких бы то ни было подмен в литературной творческой иерархии. И привести формат литературной дискуссии в профессиональные рамки.

**Диана Кан,
г. Оренбург**

А это профессиональный отклик нашего постоянного автора из села Майского Самарской области Эдуарда Анашкина:

Правду говорят, что в период Великого поста обостряются все искушения рода человеческого. О том сразу мне подумалось, как прочёл в любимом своём журнале “Наш современник” эссе Александра Казинцева “Друзья и враги «Пробуждения»”. Неприятно удивила вторая часть эссе. Объектом критики совершенно неожиданно для меня стал выдающийся современный критик Вячеслав Лютый. Если кратко, то за то, что недостаточно восхитился романом молодого прозаика Андрея Тимофеева, который, как и Вячеслав Лютый, является автором “Нашего современника”. При всём уважении к многолетнему заместителю главного редактора Александру Казинцеву подумалось, а почему выдающемуся критику, как ему является Вячеслав Дмитриевич Лютый, кто бы то ни было диктует, что ему писать? Молодой романист должен быть счастлив уже тем, что на его произведение обратил внимание критик такого уровня, человек очень востребованный и, уж конечно, очень занятой. Пусть даже обратил внимание по просьбе заместителя главного редактора журнала Александра Казинцева, но обратил ведь! Не отделался дежурным: “Молодой? Ну, молодец! Пусть пишет и старается!” И тут надо не критиковать критика, тут молодому романисту надо очень внимательно прочесть то, что пишет Лютый в своём эссе. Если, конечно, романист хочет творчески расти, а не остаться навечно в категории “молодой писатель”, из которой надо побыстрее всякому автору вырастать, как из коротких штанишек. Когда такой опытный критик, как Александр Казинцев, обвиняет Вячеслава Лютото, что для него существуют какие-то симпатичные или несимпатичные герои, то это выглядит очень странно. Для профессиональной критики нет симпатий. Есть герои, хорошо и объёмно выписанные прозаиком. И есть герои, написанные поверхностно. Аналогично: нет хороших и плохих книг. Есть книги, написанные хорошо. И есть книги, написанные плохо. Анна Каренина – симпатичный герой? Или несимпатичный? А Обломов? А Печорин? А Раскольников? А Григорий Мелехов, который воевал то за красных, то за белых? Это симпатичные или несимпатичные люди? Это живые люди, которые в художественном исследовании прекрасны именно тем, что в них порой трагически, порой комически сочетаются человеческие достоинства и неизбежные человеческие же несовершенства. Как бы читатели ни порицали Анну Каренину, как бы ни спорили о судьбе Григория Мелехова – эти персонажи потому и не отпускают нас, что кажутся даже более живыми, чем живые реальные люди. Тем и прекрасна литература, что в ней мы восхищаемся тем, чем порой не восхищаемся в жизни. Она учит нас не нотациями, а ситуациями. Потому и не спутаешь ни с какими другими эссе Вячеслава Лютото, что он не делит персонажей и авторов на симпатичных и антипатичных.

А ведь творчество Лютото ценят не только писатели и интеллектуалы. Для меня куда как показательнее был случай, когда прочитавшая в книге стихов предисловие Лютото сельская женщина, которой я дал почитать книгу, на мой вопрос, как ей понравились стихи (имя автора в данном случае не суть

важно), кивнула – стихи хорошие. Но тут же добавила, что не меньше, если не больше, понравилось ей предисловие в книге. Потому что оно и доброе, и строгое одновременно! Спросила меня: “А Лютый – это его, стало быть, фамилия или псевдоним? Уж больно строгий! Но умён, умён-то как! Прямо Белинский наших дней...”. Вот оно – признание народное, когда критику читают наравне со стихами, о которых пишет критик! В 2016 году мы немало лично общались с Вячеславом Лютым на Всероссийском празднике “Сияние России” в Иркутске и на родине Валентина Григорьевича Распутина, куда всех нас, гостей праздника, возили. Я всё думал – стоит ли рассказать Вячеславу Дмитриевичу этот случай с сельской почитательницей его таланта? Всё-таки не стал говорить. Женщина сказала восхищённо, она, поди, и других-то критиков, окромя Белинского, не знает. Но если говорить не по-читательски, а по-литературному: Лютый, конечно, не Белинский. Свой почерк, своё видение задач литературы, свой классовый подход и партийность, которые я определил бы так – максимально качественная литература. Вот с этих позиций и надо рассматривать творчество Лютого. Знаю, что очень-очень многие писатели России восхищаются острым и ювелирно-точным пером Вячеслава Дмитриевича. Но когда критической статьёй восхищаются рядовые читатели – вот это и есть настоящее признание! Собственно, Лютый ни в чьей защите не нуждается. Это одно из самых ярких имён современной литературы. **Печалит меня в этой ситуации другое – не хотелось бы, чтобы журнал “Наш современник”, пусть даже из лучших побуждений, из журнала собирания лучших литературных сил России и бывшего СССР превратился в площадку, сеющую вражду между своими авторами. Сила – в единстве и в признании права коллег на то, что они считают нужным сказать.** Лютому цензоры не нужны. Это не какой-то начинающий молодой литератор, которому ещё надо доказать своё право на звание писателя без извинительной добавки “молодой”. Доказать не статьями о нём, не принадлежностью к свите того или иного маститого литератора, а только собственными текстами. Как написала когда-то, тоже будучи молодой, Юнна Мориц:

*Живи на то, что скажешь только ты,
А не на то, что о тебе сказали.*

**Эдуард Анашкин,
село Майское Самарской области**

А это, может быть, чересчур страстное письмо нашего автора, живущего в г. Саров, полученное Дианой Кан, которое она сочла необходимым тоже прислать в “Наш современник”:

Дианочка, здравствуй! Обнимаю тебя, моя хорошая.

А теперь извини, о совсем грустном. Опять же извини, нет сил писать более, чем написал Нестругину. Поэтому перешлю тебе письмо, отправленное ему.*

Саша! Поделилась сегодня Римма Лютая со мной вот такой новостью: в “Нашем современном” (в мартовском) А. Казинцев изволил дать премерзкую статью, в которой он под флагом “Чувства Родины” топчется на имени нашего с тобой друга, называя Славу по сути врагом (надо думать и литературы, и Родины). Этот критик своё действие облекает в якобы разговор о романе Тимофеева “Пробуждение”, оперируя именами Достоевского, Чернышевского, Толстого. Я непременно назову вещи своими именами, чуточку остыв. Но, Саша, вот в чём дело: во-первых, я вполне оправданно боюсь, что чувства в моём послании будут преобладать над сутью. И, во-вторых, орфография-то у меня хромает.

Не сможешь ли ты мне справиться со вторым моим недостатком, хотя излишек чувств в послании тоже как бы не был лишним. И потом, ну, ладно у себя в Фейсбуке я размещу письмо. Но мне хотелось бы, чтобы оно досталось как можно большей читательской аудитории! Как и где это сделать? Как ты думаешь, могу ли я обратиться с таким посылом к Дорошенко? Меня вовсе не волнуют возможные последствия для моих публикаций. Меня интересует,

* А. Нестругин – воронежский поэт.

сможет ли он дать хотя бы моим письмом отповедь этой грязи? А может, подскажешь какие-то другие издания или пути? Как жаль, что я “неживой” со своей коляской. Я бы нашёл дюжину перчаток и утащил (...) в честный перчаточный век!

Диана! Я, помимо неприятных отношений твоих к Дорошенко, могу только догадываться об остальной гамме чувств. Но сейчас я прошу тебя дать мне совет: куда и как ткнуться? Можно же и совместное письмо дать?

Римма написала наотмашь, что статья заказная. Если так, то тем более нельзя им спускать! Напиши мне, что думаешь. Обнимаю. Ведь эту гадость нельзя так оставлять.

**Геннадий Ёмкин,
г. Саров**

Иные авторы сочли нашу дискуссию столь серьёзной, что не ограничились короткими и страстными откликами и разродились целыми исследованиями конфликта, одно из которых, выкроив для него несколько журнальных страниц, мы решились опубликовать. Автор исследования – прозаик Василий Киляков, неоднократно публиковавшийся у нас в журнале.

“А был ли мальчик?...”

(По следам статьи А. Казинцева “Друзья и враги “Пробуждения”)

Нынешнее сумбурное время, меняя нас, сместило и перенаправило и самые веши наших путей: они развернулись как-то совсем иначе, непредсказуемо, неожиданно. Дела достойные мы перестали замечать. Мелковатые склоки принимают масштабы бедствий. Люди, уважаемые за прошлые заслуги, вдруг выкидывают такие “коленца”, что диву даёшься. В чём причина? Может, поменялись стороны света на компасе? Нет. Глобализация, коронавирус влияет на природу мышления, нравственность и поступки человеческие? Не знаю, не могу понять.

Мне возразят: так было всегда. Прежние авторитеты тускнеют; зажигаются новые “звёзды”; бывшие надежды, утратив высоту, превращаются в песок... Виновата в этом, конечно, не только пандемия инфлюэнцы: что-то в мире невидимо трансформируется, динамически меняется – и эта материализовавшаяся новизна начинает жить своей жизнью. Цель превращается в мнимость, высокие идеалы катастрофически снижаются до чего-то примитивного, плоскостного. Ждёшь от человека, судя по былым его действиям, одного, а получаешь нечто, противоположное ему же самому, только прежнему. Вот и я удивился одной из недавних статей Казинцева А. И., которая была воспринята мною как нечто совершенно неожиданное. Иначе как “оказией” её и не назовёшь. Здесь вполне уместен замечательный совет именитого писателя: “... не прикасайтесь к идолам, на руках останется позолота”.

Может ли быть наше время не только горьким, но и восхитительным? Наверно. А если помнить, что мы все в одной лодке, исполнимо ли требование, которое транслируют ныне по всем каналам и сайтам: “Держаться подальше друг от друга”? Нет, конечно. Подальше – это на сколько? На расстоянии “чиха” или “укуса”?

Невзирая на вспышку коронавируса, весьма желалось мне поехать к уважаемому мною заместителю главного редактора “Нашего современника” А. И. Казинцеву, и вот по какому поводу. Опубликовал он в любимом мною, включая и меня, журнале “Наш современник” прелюбопытную статью “Друзья и враги “Пробуждения” за своим авторством. И разбирается в ней великий (ну, если не великий, то великолепный – на эпитеты критик не скупится) роман молодого писателя А. Тимофеева “Пробуждение”. Доверчиво вчитываясь в текст статьи и листая журнальные страницы, я время от времени переводил взгляд на свои пальцы. Нет, вируса я не увидел. А “позолота” осталась...

Да, понимаю: отстаивая этот “воспитательный” и “многоуровневый” опус, авторитетный автор защищает даже и не сам “роман”, а идею иного, лучшего

социального мироустройства. Идею, которая и по духу, и по нравственному строю близка не только ему, но и мне. “Надо что-то менять, необходимо. Проснитесь!.. И в первую очередь – молодые”, – таков пафос статьи. Именно в расчёте на такое “пробуждение” Казинцев отстаивает своё право на свою работу и свою помощь молодым авторам. И особенно – А. Тимофееву. На что как редактор имеет все основания. Настораживает другое. Вот над этим-то “другим” и сто́ит поразмыслить.

А ведь (как ни парадоксально) хорошо, хотя и невыполнимо то, что держаться сегодня надо с соблюдением дистанции. Иначе нас утащит, закрутит и смоеет в воронку усобиц “COVID-2019”. Заражение, похоже, происходит и на ментальном уровне. В самом деле, не нового ли пробуждения социума – и давно уже! – все мы чаем?.. Так и прежде: ожидали “свежего ветра свободы”, а получили – “сквозняки” да “ураганы”, мусор, летящий навстречу движению, песок, застилающий глаза... А когда проморгались, увидели, что “проморгали” самое важное – опоздали.

Опус Тимофеева потому и виделся насущным, что он как будто именно о том, как необходимо скорое нравственное и действенное пробуждение мыслящей и творческой молодёжи в наше время. Она, молодёжь наша, идёт-пробирается козыми тропами вверх, ищет проходы к правде, смыслу, даже – к вере... Ну, тут Тимофееву повезло: у него случился наставник такой опытный, влиятельный, разумный, преданный делу... Без страха и упрёка и в крупном, и в мелочах.

И здесь, казалось бы, причина проста: увидел Казинцев молодого даровитого автора. Разглядел его давно, помогал ему в написании романа, приглашал для правки домой, ревновал об успехе, подсказывал, вёл. А тотчас после публикации заказал заботливо несколько статей о выпестованной новинке, и не абы кому. Среди планируемых отзывов критиков – высокопрофессиональный В. Д. Лютый, уже многих молодых литераторов поддержавший своим авторитетом и добрыми публикациями. И отчего-то был А. И. уверен в успехе, ожидая получить от него статью вполне комплиментарную или даже хвалебную... Таковую, чтобы, ух!.. Но Лютый, в своё время очень положительно оценивший раннюю повесть Тимофеева “Навстречу”, в новом произведении автора, претендующем на романский жанр, не увидел заявленной высоты, новизны, величия замысла и его исполнения. Тут бы редактору и задуматься, и, возможно, поспорить; согласиться или попытаться переубедить оппонента. Вместо этого читаю – и не верю глазам. Да полно, Казинцев ли это, Александр ли Иванович? Безапелляционная “отповедь” Лютому, не признавшему роман удавшимся. Да ещё и в какой форме... В итоге редакционная статья, предполагавшаяся стать разгромной, на деле ничего, кроме недоумения, не вызывает.

Так кто же они в действительности, эти враги “пробуждения” нашей молодёжи? Может быть, я? Или В. Д. Лютый? Вовсе нет. Нам ли, пожившим в разные времена и многое видевшим на своём веку, путать вещь и ветошь, доску со святцами? Неододеланный артефакт – с его идей, задумку автора о предмете – с её неловким исполнением?.. Да, социализм вернее и справедливее капитализма, согласен. Но... “зачем же стулья ломать”?..

“Хрустобулочки”-идеалисты внушают, что при царе-батюшке жили, как в раю. Но монархия, мать порядка, – идеал и мечта, и стремление...

Однако есть иная крайность. По статистике опросов, до 37% молодых и относительно молодых людей (до сорока лет) одобряют прискорбные события в нашем Отечестве 1991–1993 годов: расстрел парламента и приход к власти Ельцина. В голове – опилки!.. И с этим, конечно, необходимо работать. И важная часть этой работы – написание хороших, крепких и умных книг, интересных и доказательных. Желательно – сверстниками тех, к кому обращены эти книги. А они не доверяют публицистике: сухие цифры и доказательства ими не принимаются, а зачастую лишь настаораживают.

И как тут не согласиться с Казинцевым, что роман, да молодым написанный о молодых и о наболевшем – дорогого стоит. Но ведь об этом, главном, в статье его едва упоминается. Сама же статья А. И. двухчастная...

В первой части под заглавием “Чувство Родины в эпоху смуты” автор пытается доказать нам, что “роман” А. Тимофеева (условно продолжим называть сей опус так), во-первых, не имеет себе равных в наше время. И второе: что он удался и состоялся вполне. Далее перо редактора разогналось,

разогрелось, как гвоздь для подковки, да так, что трудно остановить (и сам автор статьи в этом признаётся).

А во второй части статьи, поименованной “Правдоискатели и мастера злословья”, Казинцев выдвигает нелепое обвинение: в его трактовке В. Д. Лютый (за творчеством которого я, к слову, слежу с 1996 года) как критик, оказывается, враг этого самого “пробуждения” молодёжи, а поскольку не понял высоты “романа”, то и не заслуживает доверия. Однако Лютый в своём вполне аргументированном и на личности не переходящем отзыве на опус Тимофеева говорил отнюдь не о самом авторе, даже и не о пробуждении молодых как таковом, а именно – о новом произведении молодого прозаика. О героях, в нём действующих или бездействующих. О подлинности характеров, о достоверном или недостоверном описании событий, о воплощении замысла.

Казинцев же с очевидной горячностью увлекает нас в пучину событий. Но не самого романа, а того действия, что завязалось вокруг выхода его в номере “Нашего современника”.

Само по себе тимофеевское “Пробуждение” – не программа и не сигнал к действию. Да, пожалуй, даже и не художественное произведение. Это следующие друг за другом длительные, часто расплывчатые и необязательные монологи и рассуждения. И не стоит ссылаться на стилистику европейского “нового романа”: и время, и место – другие, они нынче требуют определённости.

Начать с того, что “роману” Тимофеева, который так вкусно подаёт уважаемый заместитель главного редактора “НС”, было отказано в публикации в нескольких толстых литературных журналах. В переизданиях – тоже. Его отвергли и журнал “Москва”, и “Роман-газета”. Введённый в список премий для молодых авторов от партии “Справедливая Россия”, он не получил признания и там. Выдвинутый на конкурс “Золотой Витязь”, тоже не был отмечен даже дипломом. Не имея никаких предубеждений ни против Тимофеева А., ни, уж тем более, против Казинцева А. И. и, скорее, огорчённый неудачей одарённого литератора, чем удивлённый, вспоминаю я первый прочитанный мною рассказ Тимофеева “Свадьба”. Психологически выверенный, этот рассказ тотчас убедил меня, что появилось новое имя на нашем литературном небосклоне. А вот “роман” не порадовал. Словно разные люди писали два этих произведения. Но что ж из того? Ждём. Многие, даже крупные писатели творили неравнозначно, примеров хоть отбавляй. Тревожна не эта творческая неудача молодого писателя; тревожна причина нападков Казинцева на несогласных с его подачей этого опуса, не согласных хвалить заурядную литературную неудачу. И вот они уже и враги “пробуждения”? Здесь невольно видишь какую-то затаённую месть, желание не переубедить даже, а, как говорят в народе, “накинуть платок на чужой роток”. Атака на “вражеские позиции” ведётся маститым публицистом со знанием дела и с хорошей артподготовкой, с апелляциями к великим, с точным цитированием и указанием места цитаты в десятинике и прочее...

Читаешь – и хочется остановить его словами Фрейда: “Дорогой А. И., иногда сигара – это просто сигара”. До смешного доходит, право слово, создаётся впечатление, что из всех “кинжалов” сверхзвуковых, из всех “посейдонов”, из самоновейших пушек и установок “град” ведётся нескончаемая пальба... В небо, как в копеечку, причём по ничтожному поводу.

Дело даже не в том, что Лютый В. Д. – фигура в современной отечественной литературе абсолютно не равнозначная начинающему автору, который по имеющемуся “романическому” поводу был оценён мастером невысоко; Лютый – фигура, не требующая никаких подтверждений, одобрений и доказательств (пусть даже и Казинцева) ума и таланта; фигура, давно состоявшаяся и едва ли не единственная по масштабу в нашей сегодняшней литературе. Лютый не только сам делал и делает бесконечно много для развития отечественной литературной школы, но и, как упоминал я, вывел уже не одного автора в писатели и поэты, известные и уважаемые. Достоин внимания одно то уже, что на заказанную статью известного направления и известных ожиданий он пишет критику объективную и компетентную и не меняет собственного мнения в угоду мнимой “удаче” и “полезности”, не играет в поддавки. Председатель Совета по критике Союза писателей России, В. Д. Лютый честно излагает своё мнение в статье на сайте “Русский писатель” (публикация “В координатах духа и воли” от 12.12.2019). А вот то, что его статью о романе Тимофеева

не опубликовал тот же Казинцев в “Нашем современнике” лишь потому, что она не лестная, будем говорить прямо, — это обстоятельство как раз вовсе не на пользу уважаемому журналу. Мало того, но и его “разнос” “врага” со ссылками на великих, от собраний сочинений Пушкина до Достоевского, с указаниями на тексты Боратынского и проч., и проч., — эта атака, ей-богу, не то что повергает в недоумение, но выглядит поистине карикатурно.

Не скажу точно: когда, при каких обстоятельствах, в каком настроении и в каком томе, на какой именно странице, но А. С. Пушкин в известном эпизоде выдвинул Булгарину главный упрёк: “... Беда, что скучен твой роман”. А это уже 1830-й год, и гений в зрелом возрасте говорит так прославленному и влиятельному чиновнику от литературы и писателю. И этого довода, кажется, вполне достаточно. Что-то изменилось сегодня во взгляде на литературу наших дней? Или скучный роман стало возможно оправдать “воспитательной” целью? Вряд ли. Так с чем же мы имеем дело? С прямой (хотя и не известной нам) заинтересованностью в необходимости признания именно этого опуса? Опять-таки: не знаю. Но, читая “роман”, по шуму вокруг него ждал я одного, а получил совершенно другое. Экая вышла “оказия от Казинцева”, ей-богу! Зря потраченное время.

Даже понимая, что даровитые романы жизненно необходимы сегодня именно в противовес премированным сто раз сомнительным “патриотам”: и “Патриоту” А. Рубанова, и его “патриотам”, которые устраивают свою жизнь, продавая телогрейки-ватники, топоры и лопаты (а на большее они, видно, и не способны, судя по тексту), которые лишь на словах планируют Луганск и бои за правду и пробуждение, а кончают жизнь в США, в Филадельфии, в обнимку с доской для сёрфинга... Даже когда мы ужасаемся гриппующим персонажам Сальникова (“Петровы в гриппе и вокруг него”), всё же одно для нас остаётся несомненно: качество текста, живость повествования, интерес, прежде всего, — это “детали” для романа и для автора, даже молодого, совершенно необходимые*.

Да, у Тимофеева главный герой, пусть и сомневающийся, не едет в Калифорнию, а предполагает в конце повествования везти инсулин для спасения живых в Луганск, что само по себе похвально. Но, судя по характеру персонажа, как-то слабо верится в то, что сие предположение реально. Володя Молчанов вряд ли способен на такой поступок, ведь действия персонажей естественно исходят из прожитого ими опыта. И если уж случится подлинное пробуждение главного героя, то оно начнётся именно в районе боевых действий и только там, на минных полях, с кровавыми бинтами... Пробуждение-противостояние. А митинги, споры, рефлексии и размышления, скорее, всё же ближе по колориту к “Петровым в гриппе” и рубановскому “действию через бездействие”. То есть, как и во всяком слабом романе, именно сам замысел его и восстаёт на изображённые в тексте характеры (о чём подробно и точно пишет Лютый В. Д.). Ведь и текст, и здравый смысл сопротивляются, да и сами характеры: фактура не та.

Понимая, что все мы существуем, и уже давно, “в гриппе коронавируса” — в бесславном, лживом, униженном сюрреалистическом общественном пространстве, — Лютый называет свою статью “В координатах духа и воли”. И здесь главное требование к писателю (хоть и молодому), и главный упрёк его “роману”. Как было не заметить этого Казинцеву? Ведь на поверхности лежит!.. Или это обида и поза?

Даже и понимая, что нужен достойный ответ всей той туфте, которая обречена на якобы звёздное “сияние” при поддержке денежных мешков либералов, даже и зная это, сопротивляясь ему, мы должны идти иным путём — путём таланта и качества написанного; путём доказанной и явленной во всех координатах правды. То есть требовать и от себя, прежде всего, именно того, чего нынешней литературе так не хватает, как ни горько это признавать... Как и творческому опусу Тимофеева, при должном к автору уважении. И здесь бесполезно и даже, пожалуй, вредно опытным критикам и редакторам подыгрывать молодёжи, подмигивать и не договаривать. И, напротив, скитаясь по пустыне нашей бесплодной литературы, негоже, “аки лев рыкающий”, кидаться на ближнего, причём на того, кто разделяет наши убеждения. Не красит

* Речь идёт о книгах прозаиков А. Рубанова и В. Сальникова, изданных “АСТ” и награждённых множеством литературных премий.

охотничья стойка старшего “защитника молодых” – готовность загрызть того, кто написал “не то и не так”, как им предполагалось, или – в пику лицеприятной газете “Правда”. А кроме “Правды”-то и не удостоил никто сей роман своим вниманием...

Какое удивительно странное, непонятное время! Литература будто застыла у некоей белой черты на гауптвахте: “Решай, ты по ту сторону или по эту от белой черты, между свободой и карцером?! Если по эту – присаживайся, и мы механической машинкой выстрижем тебе полголоты. Даже и не выстрижем, а надёргаем тупыми её лезвиями, космато и с кровью... И отправляйся, куда прикажут: или на плац внутреннего двора, или в камеру. – Почему? За что? – Да просто потому, что я здесь решаю. – А кто вы: фельдфебель? старший прапорщик? – Страшный прапорщик”, – как говорили “на губе” в моей молодости.

“Ох, и несдобровать тебе, автор Василий, – скажут мне; и будут, конечно, правы. – Старшие прапорщики, если они долго при власти, делаются уж как свирепы!..”

А ситуация и впрямь запущена давно, дальше некуда. Но необратимо ли? Казинцев – человек верующий и, уповаю, простит меня, грешного, Великим постом. Помню, читал я в 2018 году прелюбопытную статью “Поколение “НС”. Читая, почувствовал какую-то дисгармонию – и только лишь на второй странице насчитал... аж тринадцать раз повторяющиеся местоимения “Я” и “Мы”. И бросил считать. Дальше – больше: уж столько мёда, прямо рекой течёт. “Что-то не то творится... то ли с “Нашим современником”, то ли с Казинцевым А. И., – подумалось тогда. – Какой-то культ личности. Опытный публицист должен бы избегать этих местоимений и медовых потоков, тем более от себя и о себе, да во всех превосходных степенях. “Я” да “Мы”... так работаем с молодыми, как никто!..” Этак, подумалось, он и в языкознании скоро себя покажет, и в партии... того. И всплыл в памяти некий персонаж из фильма “Волга-Волга”. Впрочем, дело прошлое: прочитал тогда, пораздумал – и забыл... Вроде даже и смирился: как-никак, второе лицо в уважаемом журнале; может, оно и ничего, может, так и верно, правильно...

А теперь уж по накатанной: что ни год, что ни номер журнала, то “подарок” себе, любимому. Вот и в прошлом году, на 65-летие Казинцева – статьи в том же “НС” Рубрика называется: “Кто для вас Казинцев?” Трудно предположить, что рубрика эта была случайностью или неожиданностью для заместителя главного редактора, подписывающего каждый очередной выход журнала, – то бишь для него самого, А. И.; этого в принципе быть не может. И кого только не случилось в череде его восхвалявших: и З. Прилепин, и Чеслав Кирвель, и Н. Рыжков, и Е. Степанов, и А. Колпакиди, и – вот чудеса! – автор будущего “Пробуждения” А. Тимофеев... Ох, и дифирамбы выдали там “на-гора” о нём! Сколько патоки, сколько сладкого... Право слово, дай Бог долгой жизни уважаемому Казинцеву А. И., но порой и на поминках столько не скажут. “Именины сердца!..” Не призываю ни к мудрости, ни к скромности – были бы берега.

Вот по статье “Друзья и враги “Пробуждения” тотчас и видишь, во что перерастает этакое самолюбование да самоуважение. Едва кто правду вымолвил – тотчас “к ногтю” несогласных! Позвольте, но Вы же сами попросили высказать мнение о романе? Своё, подчеркну, мнение. Человек согласился, прочёл этот, прямо сказать, нечитательный текст. Написал вполне спокойный по тону, аргументированный, хотя и нелицеприятный отзыв. И в ответ получил не то что благодарность и гонорар, а прямо какое-то преследование за неблагонадёжность. Так, что ли? Да право, уж не запущена ли ситуация непорочно, не теряем ли все мы уважаемого друга и единомышленника? И с чего такая ревность не по разуму: всё за молодых и для молодых!

Так стоит ли воевать с испытанными, честными и проверенными временем мастерами по малейшему поводу и без повода? Да и есть ли уверенность в том, что и А. Тимофеев непременно продолжит развиваться по намеченной Казинцевым канве? Или тоже взбрыкнёт и сорвётся? Честно говоря, не знаю. Вот как описывает сам Тимофеев один из своих разговоров с преподавателем по Литинституту М. П. Лобановым вслед съезду молодых писателей в Липках (“Уроки литературы и жизни”. “НС”, № 1, 2017): “Как-то, съездив первый раз на Форум молодых писателей в Липки, я пришёл на семинар и стал говорить, что там, у либералов, много талантливых молодых ребят, и мы должны пы-

таться привести их к себе, и это было бы здорово. А он (М. Лобанов) так лукаво сощурился и вдруг с улыбкой спросил: “А вы сами, Андрей, часом ещё не либерал?” И тогда я как-то смутился и стал отчаянно доказывать, что нет и никогда не буду”.

Это “нет и никогда не буду” – похвальное, конечно, заявление. Дай Бог, коли так, а если нет? Если и Тимофеев, заматерев и слиберальничав, уйдёт в сторону? И что ж нам останется: трубка да цинковка, как индийскому брахману, А. И.? А мы уже как будто на всё готовы, на всё “ради молодости и неопытности их юной”: шашкой рубать... перессориться между собою. И спросит нас в свой черёд “племя младое, незнакомое”: где же ваша мудрость? И что делать тогда с этой больной задумкой: полярно разъединить, развести патриотические силы по принципу: “Бей своих...?”

“17 материалов в газете “Правда” (о романе), 2 статьи и 70 комментариев”, – говоря о значительности заявленного романа, напоминает Казинцев. Семидесяти, как ни искал, я не нашёл, а пять есть. Возможно, я не умею искать... “2 рецензии в газете “День литературы” и в “Нашем современнике”, и в “Красной весне” (“Суть времени”)”. Да, звучит весьма убедительно и с претензией на то, чтобы “срезать” отзыв-размышление В. Д. Лютого. Но по факту... как-то определённо маловато. И интереса к тимофеевскому опусу не пробуждает. Но автору статьи “о друзьях и врагах” это не мешает сделать невероятно веские заключения на основе представленных публикаций.

Нимало не смущаясь, Казинцев заявляет: “Конечно, первой приходит мысль о таланте писателя. И мы ещё будем говорить о его мастерстве. Однако талант – понятие субъективное, кто-то способен оценить, кто-то нет”. И так опытной рукой маститого публициста А. И. подводит нас к пониманию неизбежного диагноза: если я прочёл “роман” Тимофеева и не восхитился им, то дело не в “романе”, а во мне самом, это как пить дать. Просто не способен-де оценить. Несоответствие читателя, так сказать, размаху таланта автора произведения.

Однако, читая апологию “Пробуждения”, никак нам не понять ни этого “сам дурак”, ни этого “просто не способен” – с какой целью сказано? А далее ещё мутнее: А. И. вдруг решается открыть тайные пружины действия, так сказать, самое изначальное начало, первый посыл написания сего “романа” и повествует: “В марте отмечали пятую годовщину присоединения Крыма и начала Донбасской кампании. Я торопил Андрея”. И Казинцев “пошёл на серьёзный риск: отдал в типографию первые две части, ещё не зная, чем кончится роман” (ну, Достоевский Ф. М., ни дать ни взять). И, конечно, с честью вышли оба поделника из создавшейся ситуации. Как говорят, по таланту и удача. Или вот тоже: кто не рискует, тот не пьёт шампанского. “Риск оправдался...” (ещё бы!) – “опыт критика”... Затем это рискованное мероприятие оценит и публицист Виктор Кожемяко, всё в той же “Правде”. И цитаты, и сцены митинга из романа, в общем-то, заурядные: “В Москве майдану не бывать...” и прочее.

Заговорит Казинцев о “пластах” и “уровнях” сложного текста “Пробуждения” – и опять цитаты, опять-таки из “Правды”, но уже молодого критика Юрия Харлашкина (№ 112, 2019)... Всё идёт в дело для доказательства той идеи, что “роман” велик. И всё яснее звучит это “сам дурак” из суфлёрской будки на втором плане, всё слышнее читателю именно суфлёр... И так неторопливо и весома, *andante* подводит к удару в литавры опытный литературный лоцман Казинцев. И вот оно: “браво и брависсимо”!.. Но опять-таки: зачем, с какой целью? К чему такому важному меня так уверенно готовил драгоценный А. И.?

Вот, к примеру, отрывок из восторженной его статьи: “Уже на второй странице автор сталкивает порыв Кати, пришедшей на митинг поддержать любимого, с безразличной мощью толпы. “Катя изо всех сил замахала ему ладошкой, но Андрей не заметил”. Это умиляет Казинцева. Он пишет: “Здесь зерно любовного сюжета – до последних страниц, до прозрения Андрея, его превращения из зомбированного пушечного мяса в мыслящего и чувствующего человека, – события будут воспроизводить ту же матрицу”. И так, из зерна будьте любезны – прямиком аж “в матрицу”. И далее, тут же: “Писатель ещё раз закрепляет мотив одиночества Кати, предельно расширяя его смысл. Уходя с митинга, Володя обернулся – и не смог различить Катину фигуру посреди огромной площади”. То есть Катя была. Но её не увидели. И настигает вопрос:

а была ли и впрямь Катя, если она никак и ни на что не повлияла? И вопрос этот вторит пушкинскому, а затем и горьковскому лейтмотиву: “А был ли мальчик?” (собственно, в данном случае – девочка), – если никто дитя не видел?

Странно, но и это умиляет опытного критика. Напоминает ему впечатляющее действо наглядного одиночества человека в толпе. Так влюблённый ищет и находит в предмете своей любви одни достоинства и подтверждение этих достоинств. “Столкновение человеческого порыва и надчеловеческого безразличия поднято на новый уровень, достигая впечатляющего обобщения, – пишет Казинцев. – Если в первом случае Андрей мог заметить жест Кати (он стоял всего в нескольких шагах от неё, но, увлечённый речами ораторов, не оглядывался), то во втором – фигурку девушки не различить: масштаб человеческий сменяется масштабом истории”. Ну, убил, добрейший А. И., наповал убил!.. Вот что бывает, когда мастер хвалит “мастера”, пусть и молодого. Прямо слёзы на глазах. “Масштаб истории!” – ни больше ни меньше. Катю никто не видел, но это не недоразумение, вовсе нет. Это задумано, чтобы показать... величайшее одиночество маленького человека в масштабе истории. Не увидеть человека в толпе митинга – это, страшно молвить: масштаб! И далее в том же духе. Короче, ныряем в ванну с головой. . .

Хочется закончить с гауптвахтой. Было так. Всё у той же белой черты на гарнизонной “губе” в городе Киеве. На плац молодой боец принёс починенные берцы старшему (“страшному”) прапорщику. Тот был грузен, краснолиц. Всё вертел их в руках и с похмелья никак не мог сообразить, припомнить что-то. Я подошёл к нему, глядел, как он долго потел и мучился, и, как ни старался, не мог напялить принесённые бойцом берцы. “Товарищ прапорщик, вы язычок выньте”, – посоветовал ему боец. Прапор поднял на него взгляд тяжёлых запущих глаз, подумал – и, натягивая ботинки, высунул язык. . .

Отчего пришла на память эта картина, припомнилась?.. Никак понять не могу. Или всё же есть какая-то связь? Решать читателю. . .

**Василий Киляков,
Г. Электросталь**

Ко всему вышесказанному не мешает добавить, что Вячеслав Лютый, насколько это возможно было, оставался критиком не “осуждающим” Тимофеева, а внимательно “рассуждающим” о романе: “Отдадим должное характерам некоторых героев и изобразительности последних страниц “Пробуждения”. Андрей, усталый, душевно зажатый, но отчётливый в словах и поступках, фигура с биографией, скрытой от посторонних глаз долгой и мучительной прошлой жизнью. Этот образ обязательно пригодится автору потом, в других историях. <...> в финале романа нескончаемый монолог Молчанова смолкает, и зрение, наконец, обретает свои важнейшие права: видеть окружающее без прикрас – вглядываться в лица современников – отмечать всё, что свидетельствует о добре и зле, без привычного начётничества”. Читаешь эти оценки романа и думаешь: побольше бы нам таких добросовестных критиков.

P.S.: Я, как главный редактор журнала, отвечающий за всё, что в нём происходит, приношу извинения читателям и авторам “Нашего современника” за то, что не ознакомился с материалами мартовского номера в то время, когда он готовился к публикации.

В первую очередь, конечно, мне помешала вирусная эпидемия, ворвавшаяся в мой дом и чуть было не сокрушившая жизнь нашей семьи. Кроме этой напасти, ознакомиться со злополучной дискуссией мне помешала обострившаяся глаукома, из-за которой врачи запретили мне нагружать глаза чтением. Да и, конечно, меня подвело доверие к моему опытному заместителю, который не счёл нужным познакомить меня со своим рискованным для журнала “антикуриняновским” и “антилютовским” сочинением.

Но огорчительнее всего то, что в вышеприведённых письмах-откликах есть правильные упреки: “Не хотелось бы, чтобы “НС” из журнала собирания лучших литературных сил России превратился в площадку, сеющую вражду между авторами” (из письма Э. Анашкина). “Тем более нельзя им спускать! – это нам с Вами, Александр Иванович. – Ведь эту гадость нельзя так оставить” (из письма Г. Ёмкина). “А вот то, что его статью (статью В. Лютого. – **Ст. К.**) о романе Тимофеева не опубликовал Казинцев в “Нашем современнике” лишь

потому, что она не лестная, — это обстоятельство как раз не на пользу уважаемому журналу” (из статьи В. Киякова “А был ли мальчик?..”) В этой же статье Кияков упрекает А. Казинцева за то, что в прошлом году в связи с его 65-летием в журнале было опубликовано множество дифирамбов, славящих юбиляра (от Н. Рыжкова, З. Прилепина и т. д.), но этот упрёк я не считаю основательным, поскольку такого рода похвалы мы печатали по адресу и других сотрудников журнала — Александра Сегеня, Сергея Куняева. Да и я, грешный, получил их немало, особенно в дни 80- и 85-летия. А что остаётся делать, если государство не замечает лучший толстый литературный журнал, в упор не видит его роли в культурной жизни страны? Остаётся уповать на отзывы читателей, начиная с Патриарха Всея Руси и кончая скромными библиотечными работницами, знающими истинную цену “Нашему современнику”. А что касается нашей скандальной “вирусной” дискуссии, то да будет этот “несчастный случай” уроком всем её участникам, о чём наш нижегородский автор Ярослав Кауров, поэт и доктор медицинских наук, пишет в “отклике” от 21 апреля 2020 года:

Дорогой Станислав Юрьевич! Христос Воскресе!

Пусть это возгласие утешит все горести, пресечёт все сомнения, пригнет боль. О чём были наши страхи до эпидемии? Что терзало душу и не давало видеть красоту, бесконечную красоту мира? Какие надежды и помыслы занимали утомлённый разум? Что из них осталось в душе, а что испарилось, как волна, попавшая на раскалённый солнцем камень?

На эти вопросы нужно ответить всем живущим в наше время. Испытание было неминуемо. Слишком многое накопилось. Безумие тех, кому в жизни досталось богатство и власть, — вот настоящая зараза. Она постепенно поражала даже самые нищие слои, которые, на самом деле, всегда являются самыми духовными.

И как мудро поступил Господь! Если бы он изменил климат и поверг народы в бездну смерти, разорения и нищеты, высшие (псевдовысшие) слои переехали бы туда, где климат оптимальный. Если бы разразилась ядерная война — они укрылись бы в замках и подземных убежищах. А от этой заразы не укрыться ни одному толстосуму. Наворованное не спасает.

Нищета — это не всегда глупость, как пытались объяснить нам последние 30 лет. Это ещё и страх Божий. Это нежелание, невозможность управлять жизнью других. Страх ошибиться и принести боль и несчастья. Неприятие подлости, жадности, бесконечной жестокости, которая и формирует состояния.

В нашем мире ничего нельзя просчитать. Интриги бесполезны. Чаще всего интриган гибнет первым. Компания жаждущих богатства — это банка с пауками. Банку встряхивают, и наверху оказываются случайные кровососы. Если они к тому же и тупы (что бывает чаще всего — умный не лезет в банку), то начинают считать себя избранными.

В кельях самоизоляции нам дано прислушаться к себе, к этому миру, взглянуть в глаза близких, посмотреть долго и внимательно на небо. Даже через форточку.

Зараза распространялась давно, с тех времён, когда в советской стране соседи начали шептаться, провожая взглядом вора или цеховика: “Умеет жить!!!” Потом эти умельцы выкрали страну, и на празднике под названием “малина” поделили её. А потом вы всё помните сами. За эту заразу Америка расплавивается больше всех. Алчность, неумение и нежелание помогать другим позволяет косить бизнесменов-жуликов как налившуюся соком высокую траву.

Нужно понять, что на самом деле нам нужно гораздо меньше, чем пытались внушить нам реклама. Самодостаточным не бывает скучно. Бесятся неполноценные. Нужно понять, жильё — от бури, одежда — для тепла и срам прикрывать, еда — для здоровья, а свобода и любовь — для всех.

Без реальной опасности до нашего сознания ничего не приходит. Нужно пройти эти испытания с пользой для души. Только вера может дать чувство защищённости, вера — это доверие к Богу. Воля Твоя! Да будет воля Твоя! Здоровья и радости Вам и Вашим близким! Доверия! Веры!

**Ярослав Кауров,
г. Нижний Новгород**